



**ЧАРЛЪЗ  
ДИККЕНС**



**ДАВИД  
КОППЕРФИЛД**

## Annotation

«Жизнь Дэвида Копперфилда» — поистине самый популярный роман Диккенса. Роман, переведенный на все языки мира, экранизированный десятки раз — и по-прежнему завораживающий читателя своей простотой и совершенством.

Это — история молодого человека, готового преодолеть любые преграды, претерпеть любые лишения и ради любви совершить самые отчаянные и смелые поступки. История бесконечно обаятельного Дэвида, гротескно ничтожного Урии и милой прелестной Доры. История, воплотившая в себе очарование «старой доброй Англии», ностальгию по которой поразительным образом испытывают сегодня люди, живущие в разных странах на разных континентах.

Издание дополнено примечаниями.

- 
- [Чарльз Диккенс](#)
    - [Глава I](#)
    - [Глава II](#)
    - [Глава III](#)
    - [Глава IV](#)
    - [Глава V](#)
    - [Глава VI](#)
    - [Глава VII](#)
    - [Глава VIII](#)
    - [Глава IX](#)
    - [Глава X](#)
    - [Глава XI](#)
    - [Глава XII](#)
    - [Глава XIII](#)
    - [Глава XIV](#)
    - [Глава XV](#)
    - [Глава XVI](#)
    - [Глава XVII](#)
    - [Глава XVIII](#)
    - [Глава XIX](#)

- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [Глава XXII](#)
- [Глава XXIII](#)
- [Глава XXIV](#)
- [Глава XXV](#)
- [Глава XXVI](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXVII](#)
- [Глава XXIX](#)
- [Глава XXX](#)
- [Глава XXXI](#)
- [Глава XXXII](#)
- [Глава XXXIII](#)
- [Глава XXXIV](#)
- [Глава XXXV](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)

- [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)
  - [35](#)
  - [36](#)
  - [37](#)
  - [38](#)
  - [39](#)
  - [40](#)
-

**Чарльз Диккенс**  
**Давид Копперфильд**  
**Том II**

# Глава I

## ПОТЕРЯ

Приехал я в Ярмут вечером и остановился в гостинице. Я знал, что запасная комната в доме Пиготти, — так называемая «моя комната», — вероятно, скоро будет занята, если уже не занята, той гостьей, которой все живущее должно уступать мест; вот почему я не только пообедал в гостинице, но и заказал там номер.

Было десять часов, когда я вышел на улицу. Большинство лавок уже закрылось, и город имел скучный вид. Подойдя к лавке Омера и Джорама, я увидел, что ставни ее закрыты, но входная дверь распахнута настежь. В глубине лавки, покуривая трубку, сидел на своем обычном месте мистер Омер. Я вошел и спросил его, как он поживает.

— Боже мой! Да неужели это вы, мистер Копперфильд? — воскликнул старый гробовщик. — Ну, а как вы вообще поживаете? Пожалуйста, садитесь! Надеюсь, мой дым вас не беспокоит?

— Нисколько, — ответил я, — я даже люблю дым — только из трубки другого.

— А не из своей, значит? — со смехом откликнулся мистер Омер. — Да это к лучшему, сэр: курение — плохая привычка для молодого человека. Садитесь же. Я-то курю ведь из-за своей астмы.

Говоря это, он встал, чтобы придвинуть мне стул. Затем, ужасно запыхавшись, он уселся на прежнее место и принялся так жадно сосать свою трубку, словно в ней было все его спасение.

— Я очень огорчен, получив такие печальные вести о мистере Баркисе, — проговорил я.

Мистер Омер посмотрел на меня с серьезным видом и покачал головой.

— Не знаете ли вы, в каком состоянии он сейчас? — спросил я.

— Мне самому хотелось бы спросить вас об этом, сэр, и не делаю я этого только из чувства деликатности. Это, видите ли, одна из плохих сторон нашего ремесла: если кто-либо болен, нам неприлично справляться о его здоровье.

Подобное соображение раньше не приходило мне в голову, хотя, входя в лавку, я и думал со страхом о том, что снова услышу роковой стук молотка. Но как только старый гробовщик высказал эту мысль, я сейчас же с ним согласился.

— Да, да, вы понимаете меня, — сказал мистер Омер, кивая головой, — нам никак нельзя справляться о здоровье: пожалуй, для многих было бы смертельным ударом, скажи им только, что Омер и Джорам шлют им свой привет и хотят знать, как сегодня они себя изволят чувствовать.

Мы кивнули друг другу головой, и мистер Омер стал опять «запасаться воздухом» из своей трубки.

— Это одна из причин, — снова заговорил он, — мешающих часто в нашем деле выказывать то внимание, которое хотелось бы часто проявить. Возьмем хотя бы меня. Ведь не год какой-нибудь я знаю Баркиса, а целых сорок лет, и вот подите же: не могу я отправиться к нему в дом и спросить, как он себя чувствует.

Я согласился со стариком, что это действительно неприятная сторона его профессии.

— Нельзя сказать, чтобы я был эгоистичнее других людей, — прибавил он. — Где уж особенно думать о себе, когда каждую минуту из вас, как из прорванных мехов, может дух выйти вон, да к тому же, вы еще и дедушка.

— Конечно, — отозвался я.

— Я не к тому вам все это говорю, — продолжал мистер Омер, — чтобы жаловаться на свое ремесло, — нет, во всяком деле есть и хорошие и дурные стороны. Я только хотел бы, чтобы головы у людей были поумнее.

Тут мистер Омер с самым добродушным видом затянулся несколько раз, а затем снова заговорил:

— Так вот, из-за этого мы должны были все время довольствоваться тем, что узнавали от Эмилии. Она-то ни в каких алчных замыслах нас не заподозрит и относится к нашим расспросам так, словно мы — невинные овечки. Минни и Джорам сейчас только отправились туда, чтобы узнать от Эмилии (она теперь после работы уходит к тетке, помогать), как себя чувствует бедняга Баркис. Если вы сообразовываете обождать возвращения дочери и зятя, то они вам все подробно расскажут. А пока чем бы мне вас попотчевать? Не угодно

ли стакан воды с морсом? — Я-то лично употребляю этот напиток потому, — прибавил мистер Омер, беря стакан, — что мне думается, он, прочищает дорогу моему дыханию. Но тут, конечно, дело не в дороге, — прибавил он хриплым голосом. — Я часто говорю дочери: «Дайте мне, дорогая моя, только побольше дыхания, а дорогу ему я уж и сам найду».

В самом деле, ему не хватало дыхания, и страшно было видеть, как он еще смеется. Когда старик несколько пришел в себя, я, поблагодарив его, отказался от воды с морсом, говоря, что недавно только пообедал; затем прибавил, что охотно обожду его дочь и зятя, раз он так любезно предлагает мне это сделать, и тут же спросил его, как поживает маленькая Эмми.

— Хорошо, сэр, — ответил мистер Омер, вынимая изо рта трубку, чтобы почесать себе подбородок, — но, по правде сказать, я буду рад, когда наконец ее свадьба уже состоится.

— А почему? — спросил я.

— Да она сама не своя. И не то чтобы она из-за этого подурнела, — совсем нет, даже напротив — еще похорошела. И дело у нее не хуже идет: как работала за шестерых, так и теперь работает. Но у нее, понимаете ли, нет той живости, той энергии... Как бы это вам объяснить?.. — задумался старик, опять почесывая подбородок. — Ну, представьте себе лодку. Гребцам командуют: «Наддай раз! Наддай два! Наддай три!.. Пошло!.. Ура!..» Так вот, значит, этого самого я не вижу теперь в Эмми.

Мимика и жесты, которыми мистер Омер сопровождал свою речь, были до того красноречивы, что я вполне добросовестно мог кивнуть головой в знак полного понимания. Моя сообразительность, видимо, понравилась старику, и он продолжал:

— Видите ли, я объясняю себе это главным образом тем, что она не пристроена. Не раз после окончания работы я говорил об этом и с ее дядюшкой и с женихом — и каждый раз указывал им на эту причину. Вы, конечно, не могли забыть, — проговорил с доброй улыбкой старик, кивая головой — что за любящее существо эта маленькая Эмми. Есть такая поговорка: «Из свиного уха не сошьете себе шелкового кошелька». А я так думаю, что можно, если только за это взяться с юных лет. Вот сумела же эта самая Эмми из своей старой



баржи создать такой уютный уголок, что после него и во дворец мраморный не захочется.

— Это правда, — подтвердил я.

— Просто трогательно видеть, как эта хорошенькая крошка с каждым днем все больше и больше жметя к своему дяде. Вот из-за этого, видимо, у нее в душе и борьба происходит, а зачем, спрашивается, эту борьбу напрасно затягивать?

Я внимательно слушал доброго старика и всем сердцем соглашался с ним.

— Так, видите, — добродушно-спокойным голосом продолжал рассказывать мистер Омер, — я не раз объяснял им это и даже говорил: «Не думайте, пожалуйста, что Эмилия связана временем ученья. Устраивайтесь, как вам удобно: Эмилия принесла нам пользы гораздо больше, чем можно было ожидать, так как выучилась несравненно скорее, чем обыкновенно выучиваются ученицы, и потому Омер и Джорам всегда могут одним росчерком пера уничтожить договор и дать ей полную свободу, как только вы этого захотите. Если в будущем она пожелала бы на новых условиях работать у нас, мы будем очень рады, а не пожелает — ее дело. Во всяком случае, на ней мы ничего не потеряли. А кроме того, могу ли я, — прибавил мистер Омер, слегка прикасаясь ко мне своей трубкой, — старик, еле переводящий дух, дед, имеющий внуков, мешать счастью такой юной красотки с голубыми глазами!

— Конечно, ни в коем случае, — отозвался я.

— Ни в коем случае, — повторил старик. — Вы совершенно правы. Ну, так вот, сэр, ее двоюродный брат... ведь вам известно, что она собирается выйти замуж за своего двоюродного брата?

— О да! — ответил я, — Я хорошо его знаю.

— Ну, понятно, вы его знаете. Так этот ее двоюродный брат, сэр, повидимому, прекрасный мастер, очень хорошо зарабатывающий, благодарил меня как настоящий мужчина (и вообще вел себя так, что я стал о нем очень высокого мнения), а затем пошел и заарендовал преуютный домик, просто загляденье! Сейчас он убран и обставлен, как игрушечка. И я думаю, что не затянулись бы болезнь бедняги Баркиса, они с Эмилией уже были бы женаты. А теперь вот со свадьбой приходится повременить.

— Ну, а как Эмилия, мистер Омер, стала ли она спокойнее? — спросил я.

— Нет, — ответил он, снова почесывая свой двойной подбородок. — Да, знаете, этого и ждать нельзя, когда, с одной стороны, предстоит разлука с любимым дядей и вообще перемена, а, с другой стороны, все это затягивается. Смерть Баркиса, конечно, не надолго задержала бы свадьбу, а вот только, если болезнь затянется... Как видите, положение довольно-таки неопределенное.

— Да, вижу, — согласился я.

— И именно из-за этого, — продолжал свой рассказ мистер Омер, — Эмилия в каком-то подавленном настроении, какая-то взволнованная, и я бы даже сказал — больше прежнего. С каждым днем кажется, что она все крепче и крепче любит своего дядю и все меньше хочет расставаться со всеми нами. Стоит ей услышать от меня ласковое слово, чтобы на глазах у нее заблестели слезы, а если бы вы видели ее с дочуркой Минни, вы бы этого никогда не забыли. Боже мой! Как она обожает этого ребенка!

Воспользовавшись тем, что мы с мистером Омером пока одни, я спросил его, не слышал ли он чего-нибудь про Марту.

— Ах, сэр, мало хорошего, — ответил старик, с удрученным видом качая головой. — Да, история эта очень печальна во всех отношениях. Признаться, сэр, я никогда не ожидал от Марты ничего подобного, — не хотел бы говорить этого при дочери, мне от нее досталось бы, — но повторяю: никогда не ожидал этого, да и никто из нас не ожидал.

Мистер Омер раньше меня расслышал шаги возвращающейся дочери и, дотронувшись до меня трубкой, мигнул мне, предостерегая.

Сейчас же вслед за этим появилась Минни с мужем.

Они сообщили, что мистеру Баркису «так плохо, как только может быть», и он в беспмятстве. Доктор Чиллип, только что бывший у больного, уходя, с грустью сказал в кухне: «Если б к Баркису собрать докторов и аптекарей со всего света, то они все равно не в состоянии были бы помочь ему, разве только аптекари смогли бы отравить его». Узнав обо всем этом, а также о том, что мистер Пиготти у сестры, я решил сейчас же пойти туда. Пожелав доброй ночи мистеру Омеру, мистеру и миссис Джорам, я направился к Баркису.

Теперь, когда над ним питала смерть, он рисовался мне каким-то новым, иным существом.

На мой легкий стук дверь вышел мистер Пиготти. При виде меня он совсем не так удивился, как я ожидал. То же самое и заметил, когда через некоторое время ко мне спустилась моя Пиготти. Потом в жизни я не раз убеждался, что в ожидании этой страшной, всегда неожиданной гостьи — смерти — ничто уж не может удивить.

Я пожал руку мистеру Пиготти и прошел в кухню, а он в это время тихонько запирает дверь. Маленькая Эмилия сидела у огня, закрыв лицо руками; Хэм стоял подле нее. Мы с ним заговорили шопотом, прислушиваясь ко всякому звуку, доносившемуся с верхнего этажа. Мне казалось очень странным, что в кухне нет мистера Баркиса, а помнится, в прошлый приезд я не обратил на это внимания.

— Вы очень добры, мистер Дэви, что к нам пожаловали, — сказал мистер Пиготти.

— Необыкновенно добры, — прибавил Хэм.

— Эмма, дорогая, — крикнул ей мистер Пиготти, — взгляните только кто здесь! Ведь это наш мистер Дэви... Ну, подбодритесь же, милая. Неужели так и не скажете слова мистеру Дэви?

Она дрожала всем телом, я как сейчас это вижу. Рука девушки была ледяная, и теперь еще я чувствую ее холод. Она выдернула у меня свою руку, а затем, соскользнув со стула, подошла к дяде и, вся дрожа, молча прижалась к его груди.

— У нее такое нежное сердечко, — начал мистер Пиготти, лаская огромной, грубой рукой роскошные волосы своей любимицы, — что она не в силах выносить такое горе. У таких молодых и боязливых, как моя птичка, это естественно, мистер Дэви, — она ведь еще не привыкла к горестям.

Эмилия еще крепче прижалась к дяде, но молчала и не поднимала головы.

— Становится поздно, дорогая моя, — промолвил мистер Пиготти, — вот Хэм пришел за вами. Идите же с ним, у него тоже любящее сердце... Что, Эмми? Что такое, красавица моя?

До меня не долетел звук ее голоса, но мистер Пиготти, наклонив голову, видимо, что-то разобрал, так как проговорил:

— Вы, значит, хотите остаться со своим дядей? Ну что вы, кошечка моя! Оставайтесь с дядей, когда ваш будущий муженек

нарочно пришел, чтобы проводить вас домой! Видя такую крошку рядом с грубым рыбаком, как я, никто не поверил бы, что это возможно, — прибавил он, с бесконечной гордостью глядя на нас с Хэмом, — но это все потому, что у моря не больше соли, чем у моей дорогой маленькой глупышки любви к своему дяде.

— Эмилия права, мистер Дэви, — обратился ко мне Хэм. — Ну, если уж ей так хочется, а она взволнована и, так сказать, перепугана, тогда уж лучше я ее здесь оставлю до утра, да и сам, пожалуй, останусь.

— Нет, нет, — возразил мистер Пиготти, — вам, женатому или почти женатому человеку, совсем не годится прогуливать рабочий день. И тоже невозможно вам, не спавши всю ночь, потом работать, — вконец выбьетесь из сил. Идите-ка лучше домой, а за нашей Эмилией — не беспокойтесь — присмотрим.

Хэм послушался совета дяди и, взяв шапку, собрался уходить. Когда он поцеловал свою невесту, девушка еще крепче прижалась к дяде, словно отстраняясь от своего избранника. Не желая никого беспокоить, я сам пошел запереть дверь за Хэмом, а когда вернулся, то застал мистера Пиготти еще за разговором со своей любимицей.

— Ну, а теперь я поднимусь наверх, — заявил он. — Надо сказать тете, что здесь мистер Дэви: это ее немножко подбодрит. А вы, дорогая моя, пока сидите у огонька, погрейте свои ледяные лапки. Не надо так бояться и так близко принимать все к сердцу... Что? Вы хотите идти со мной? Ну что ж, пойдете, пойдете!.. Знаете, мистер Дэви, — обратился он ко мне с тем же гордым видом, — если б меня выгнали из дому и я был бы принужден спать в канаве, то и тогда она не оставила бы своего дядю. Но уж скоро, скоро, моя девочка, у вас будет другой...

Когда через некоторое время я, поднимаясь наверх, проходил мимо своей маленькой комнатки, мне в темноте показалось, что на полу в ней лежит распростертая Эмилия, но я так и не знаю, была ли это действительно она, или только игра света и тени.

Перед этим, сидя один на кухне у горящего очага, я задумался о том, до чего боится смерти маленькая хорошенькая Эмми, и мне тут пришло в голову, что, быть может, этот страх, так же как и то, что рассказывал мне мистер Омер, и является причиной происшедшей в ней перемены. Продолжая сидеть в одиночестве, среди торжественной

тишины, царящей во всем доме, считая удары маятника стенных часов, я стал больше понимать страх Эмилии.

Наконец появилась моя Пиготти. Она обняла меня и без конца благодарила за то, что я приехал утешить ее в горе. Она стала умолять меня подняться наверх, рыдая говорила, как всегда любил и восхищался мною мистер Баркис, как он до последнего момента, пока не впал в беспамятство, не переставал говорить обо мне. По ее словам, если только он придет в себя, то ничто земное не сможет его так порадовать, как мое присутствие.

Однако ж, когда я увидел Баркиса, то возможность порадовать его чем-либо показалась мне маловероятной. Лежал он в очень неудобной позе, положив голову и плечи на злосчастный сундучок, принесший ему столько волнений и страданий. Мне объяснили, что когда он был уже не в силах сползть с кровати, чтобы отпирать этот сундучок, а также не мог с помощью той трости, о которой я уже упоминал, удостовериться в его присутствии, то велел поставить его на стул подле себя и с тех пор и днем и ночью лежал на нем, обнимая его. Рука Баркиса и теперь покоилась там. Время и жизнь уходили от него, но заветный сундучок он так и не мог выпустить из своих рук. Последние его слова, перед тем как он потерял сознание, были: «Там только старье».

— Баркис, дорогой мой, — почти веселым тоном начала Пиготти, нагнувшись над мужем, в то время как мы с мистером Пиготти стояли у постели в ногах умирающего, — здесь мой дорогой мальчик, мой дорогой мистер Дэви, тот, который сосватал нас с вами. Помните, что вы мне через него передавали? Да неужели вы не хотите поговорить с мистером Дэви?

Но Баркис был так же нем и бесчувствен, как и сундучок, на котором лежала его голова.

— Он уйдет с отливом, — прошептал мне мистер Пиготти, заслоня рот рукой, чтобы сестра не могла услышать его.

Мои глаза были так же влажны, как и глаза мистера Пиготти, но я все-таки не мог не переспросить его шопотом:

— С отливом?

— У нас здесь, на морском берегу, люди умирают только во время отлива, а рождаются во время прилива, — пояснил Пиготти. — Мне

кажется, что он уйдет с отливом, в половине четвертого утра, а если переживет этот, так уйдет со следующим.

Мы остались подле умирающего. Час проходил за часом... Каким-то непонятным образом Баркис словно чувствовал мое присутствие, ибо когда он стал еле внятно бредить, то, несомненно, ему грезился тот день, когда он отвозил меня в школу.

— Начинает приходить в себя, — тихо промолвила Пиготти.

А брат ее, дотронувшись до моей руки, прошептал со страхом и благоговением:

— Скоро отлив, и он с ним уйдет.

— Баркис, дорогой мой... — заговорила, наклонясь к нему, Пиготти.

— Клара Пиготти-Баркис, — слабым голосом крикнул умирающий, — нет женщины на свете лучше вас!

— Посмотрите, дорогой, вот мистер Дэви, — сказала Пиготти, заметив, что муж открыл глаза.

Я только хотел спросить его, узнает ли он меня, как он сделал попытку протянуть мне руку и проговорил очень внятно, с милой улыбкой:

— Баркис согласен.

Наступил отлив, и он ушел вместе с ним...

## **Глава II**

### **ЕЩЕ БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ**

Мне не трудно было согласиться на просьбу моей Пиготти остаться у нее до тех пор, пока останки бедного извозчика не совершат своего последнего путешествия в Блондерстон. Давно уже Пиготти на свои личные сбережения купила небольшое место на нашем кладбище, по соседству с могилой своей «милой девочки», и вот на этом месте оба они должны были быть похоронены. Даже теперь мне приятно вспомнить, как я был счастлив в эти дни, что своим присутствием и тем, в сущности, очень немногим, что я старался делать для няни, и мог высказать ей благодарность и утешить ее. Боюсь, однако, что я еще больше радовался, — и это уж была, как бы сказать, радость чисто профессиональная, — радовался тому, что взял на себя хлопоты по утверждению духовного завещания и разъяснению его содержания.

Могу поставить себе в заслугу то, что мне пришло в голову искать завещание именно в заветном сундучке покойного.

И действительно, после некоторых поисков завещание было найдено там, на дне лошадиной торбы.

Кроме сена, в ней оказалось следующее: старинные золотые часы с цепочкой и печатями, бывшие на мистере Баркисе в день его свадьбы, но потом их никогда и никто не видел; серебряная вещица, изображающая ножку и служившая для чистки трубки; миниатюрная игрушечная посуда в футляре в виде лимона; вероятно, когда-то эта игрушка была куплена для меня, когда я был еще ребенком, но потом Баркис не смог с ней расстаться. В той же торбе были обнаружены восемьдесят семь с половиной гиней, двести десять футов стерлингов новенькими банковыми билетами и несколько квитанций на вклады в государственный банк. Тут же были лошадиная подкова, фальшивый шиллинг, кусочек камфары и, наконец, устричная раковина.

Выяснилось, что сундучок этот мистер Баркис целыми годами всюду возил с собой. А чтобы отвлечь всякое положение, он придумал басню, будто этот сундучок принадлежит некоему мистеру Блэкбою, которому он, Баркис, и должен выдать его по первому требованию.

Все это было тщательно выписано на сундучке, но от времени буквы почти стерлись.

Вскоре для меня стало ясно, что недаром мистер Баркис всю жизнь дрожал над каждым грошом. Таким путем он собрал одними деньгами около трех тысяч фунтов стерлингов. Проценты с одной тысячи фунтов стерлингов он пожизненно завещал своему шурина мистеру Пиготти, а после смерти шурина этот капитал должен был быть разделен поровну между моей няней, миленькой Эмми и мной или теми из нас, которые в это время окажутся в живых. Все остальное как движимое, так и недвижимое имущество он оставлял своей жене, одновременно делая ее своей душеприказчицей.

Читан громко, со всевозможными формальностями, это завещание и без конца поясняя его наследникам, я чувствовал себя настоящим проктором. Мне впервые тут пришло в голову, что «Докторская община» действительно является более важным учреждением, чем это мне до сих пор казалось. Рассмотрен самым внимательным образом завещание, я заявил, что оно во всех отношениях составлено совершенно правильно, сделал при этом одну или две отметки карандашом на полях документа и сам, по правде сказать, был удивлен своими познаниями.

Всю неделю до похорон Баркиса я провел в изучении завещания, в составлении описи имущества, доставшегося Пиготти, в приведении в порядок всех ее дел, — словом, к моему и нянинному восторгу, был ее постоянным советником и руководителем. Из-за всех этих хлопот мне не пришлось ни разу повидаться с Эмилией, но я слышал, что недели через две собралась самым скромным образом отпраздновать ее свадьбу с Хэмом.

Во время похорон я не играл главной роли, если можно так выразиться, то есть не облекся в черный плащ и в траурную шляпу с крепом, словно воронье пугало, а рано утром отправился пешком в Блондерстон и был на кладбище, когда Пиготти с братом привезли туда гроб с телом Баркиса. Сумасшедший джентльмен выплядывал из окна моей бывшей детской. Ребенок мистера Чиллипа, свесив через плечо няни свою тяжелую голову и выпучив глаза, смотрел на пастора. Мистер Омер, отойдя поодаль, старался отдышаться. Никого другого не было, царил полная тишина... Когда все было кончено, мы



с час бродили по кладбищу, а перед уходом сорвали себе на память несколько молоденьких листочков с дерева над могилой матушки.

На следующий день мы с моей старой няней должны были ехать в Лондон для утверждения духовного завещания. Эмилия, как всегда, целый день работала у мистера Омера. Вечером мы все условились встретиться в старой барже. Хэм должен был в обычное время привести свою невесту домой. Я решил опять-таки, не торопясь, вернуться пешком. Брат и сестра поехали на телеге, привезшей гроб Баркиса, и, прощаясь, сказали, что, когда стемнеет, будут ждать нас у горящего очага.

Я расстался с ними у ворот кладбища и не сразу направился в Ярмут, а еще прошелся немного в сторону Лоустофта, Вернувшись потом на Ярмутскую дорогу, я, не доходя мили или двух до той переправы, о которой я уже раньше упоминал, зашел в приличный трактир и там пообедал. Уже вечерело, когда я добрался до Ярмута. Тут пошел сильный дождь с ветром, но так как из-за туч проглядывала луна, было не очень темно. Вскоре показался дом мистера Пиготти со светящимся окном. Еще несколько десятков шагов по влажному песку — и я уже у двери, и вот вхожу... Внутри старой баржи в самом деле было очень уютно. Мистер Пиготти курил по обыкновению свою трубку, ярко горел камин, и все было приготовлено к ужину. Сундучок, на котором всегда сидела маленькая Эмми, стоял у камина, ожидая ее. Моя Пиготти тоже расположилась на своем прежнем месте, и если б не ее траурное платье, можно было бы подумать, что она и не вставала с него. Около нее все так же стоял ее рабочий ящичек с изображением собора св. Павла, игрушечный домик с сантиметром и даже огарок восковой свечи, Миссис Гуммидж понемногу ныла и ворчала в своем уголке, — словом, здесь все было по-старому.

— Вы первым пришли, мистер Дэви, — этими словами встретил меня мистер Пиготти. — Снимите, сэр, сюртук, если он у вас промок.

— Благодарю вас, мистер Пиготти, — сказал я, давая ему повесить свое пальто, — сюртук мой совершенно сух.

— Да, правда, — согласился мистер Пиготти, — сух, как стружки. Садитесь же, сэр! Вам, надеюсь, не нужно говорить «добро пожаловать»: вы и так знаете, как мы всегда всем сердцем рады вам.

— Спасибо, мистер Пиготти, — я в этом уверен. А вы как себя чувствуете, моя старушка? — спросил я свою няню, целуя ее.

— Ха-ха-ха! — засмеялся мистер Пиготти, садясь подле нас и потирая руки с видом человека, у которого только что скатилась гора с плеч. — Смею вас уверить, сэр, — начал он со своим всегдашним добродушным видом, — что на свете нет женщины, у которой на душе может быть так хорошо, как вот у сестры. Совесть ее должна быть совершенно спокойна. Она до конца выполнила свой долг перед покойным мужем. Тот прекрасно знал это и сам тоже выполнил свой долг по отношению к ней. Словом, все, все в порядке...

Тут миссис Гуммидж застонала в своем углу.

— Ну, ну, не грустите, милая матушка, — обратился к ней мистер Пиготти, подмигивая нам и кивая головой — намекая этим, что последнее событие, конечно, должно было пробудить в душе вдовы горе о ее старике, — будьте молодцом, сделайте над собой маленькое усилие, и вот увидите, что дальше все у вас само собой пойдет хорошо.

— Только не у меня, Дэниэль, — ответила миссис Гуммидж. — У меня, одинокой, покинутой вдовы, ничего не может быть, кроме горя.

— Ну что вы, что вы! — пытался ее утешить мистер Пиготти.

— Да, да, Дэниэль, это так, — настаивала миссис Гуммидж. — Мне не годится жить с людьми, получающими наследство. Все как-то идет наперекор мне. Лучше всего мне освободить вас от себя.

— А как же я буду тратить эти деньги без вас? — возразил строгим тоном мистер Пиготти. — Что вы такое несете! Разве теперь вы не больше нужны мне, чем когда-либо?

— Ага! Раньше, значит, я никогда не была нужна? Так я и знала! — крикнула миссис Гуммидж самым жалобным тоном. — А теперь, видите ли, мне это не стесняясь говорят. Да, кому нужна такая одинокая, покинутая, злосчастная старуха!

Мистер Пиготти, повидимому, очень сетовал на себя, что нечаянно сказал то, что могло быть принято за обиду, но оправдаться он не успел, так как сестра, потянув его за рукав, кивнула ему головой, и он только растерянно посмотрел на миссис Гуммидж, смутился, а потом, бросив взгляд на голландские часы, взял с окна свечку, снял нагар и снова поставил ее на прежнее место.

— Ну вот, миссис Гуммидж, наше с вами окошечко и освещено, как ему полагается, — весело проговорил хозяин дома.

Миссис Гуммидж что-то жалобно простонала.

— Вы, наверно, удивляетесь, сэр, зачем это делается? — обратился ко мне мистер Пиготти. — Так это для нашей маленькой Эмми. Видите ли, когда стемнеет, то дорожка наша далеко не светла и не весела, и, когда, значит, я бываю дома в то время, как ей возвращаться, я всегда ставлю свечку на окно. Понимаете, — тут он, сияющий, наклонился ко мне, — я этим двух зайцев убиваю: моя девочка видит свет в окне и говорит себе: «Вот и дом, вот и дядя дома», ибо если меня не бывает, свеча никогда на окно не ставится.

— Ах, вы настоящий ребенок! — ласково проговорила Пиготти и, именно за это любившая его.

— Уж не знаю, насколько я ребенок, — отозвался мистер Пиготти, с радостно-самодовольным видом поглядывая то на нее, то на огонь. — Во всяком случае, не по виду, — прибавил он, выпрямляясь во весь свой богатырский рост, широко расставив ноги и потирая колени обеими руками.

— И правда, не совсем, — согласилась моя Пиготти.

— Да, по виду, конечно, нет, — громко расхохотался ее брат, — а вообще есть такой грешок... Это, ей-богу, нисколько не смущает меня, но скажу вам, что порой, и верно, бываю вроде ребенка, ну, например, когда попадаю в домик нашей Эмми. Вы понимаете, — восторженно заговорил он, — всякая вещичка там мне кажется частью нашей крошки. Я беру эту вещичку, а потом кладу ее на место так бережно, словно дотрагиваюсь до нашей маленькой Эмми. Так же мне дороги ее шляпки, чепчики и все такое. Ни за что на свете я не позволил бы, чтобы с ними кто-либо грубо обошелся. Да, вот в этом я, пожалуй, и вправду ребенок, но только ребенок в образе морского дикобраза, — переходя от серьезного тона, громко расхохотался мистер Пиготти.

Мы тоже с Пиготти засмеялись, но, конечно, не так громко.

— Знаете, — продолжал он, весь сияя и поглаживая снова себе ноги, — я думаю, потому у меня эта ребячливость, что мне так много приходилось играть с нашей девочкой! Боже мой! Во что только мы с нею не игравали! И в турок, и в французов, и в разных других иностранцев; и во львов, китов и не помню уж, во что еще. Была она, скажу я вам, в ту пору такая крошечка, что до колен мне едва

доходила. Что же тут удивительного, что я сам оребячился! Видите эту свечку? — с радостным смехом показал он нам на нее, — Так я уверен, что когда Эмми выйдет замуж, я буду так же продолжать ее ставить на окно. Да, да, я знаю, что каждый вечер, когда я буду дома (а где могу я быть, как не здесь!), я стану выставлять на окно свечку и буду сидеть у камина, притворяясь, что жду ее. Вот и сейчас я гляжу на горящую свечку и говорю себе: маленькая Эмми тоже, наверно, видит ее, — она уже близко. Да, правда, выходит, что я ребенок, только в образе морского дикобраза! — с громким смехом повторил мистер Пиготти.

Но вдруг он перестал хохотать и, прислушиваясь, проговорил:

— Ну, так и есть, легка на помине, — вот и она сама.

Действительно, дверь отворилась, но вошел один Хэм. По-видимому, после моего прихода сюда дождь еще усилился, так как Хэм был в клеенчатой широкополой шляпе, закрывавшей ему лицо.

— А где же Эмми? — спросил его дядя.

Хэм кивнул головой на дверь, как бы показывая, что она там. Мистер Пиготти принял с окна свечу, снял с нее нагар, поставил на стол и принялся усердно мешать кочергой в очаге, желая, чтобы огонь разгорелся ярче. В это время Хэм, неподвижно стоявший на месте, сказал мне:

— Мистер Дэви, выйдемте-ка на минутку, нам с Эмми надо что-то вам показать.

Мы вышли с ним. Проходя мимо него в дверях, я, к великому своему удивлению и ужасу, увидел, что он бледен, как смерть. Он поспешно толкнул меня вперед и запер за собой дверь. Нас было только двое.

— Хэм, что случилось?

— Ах, мистер Дэви!..

Несчастный! Как горько он тут зарыдал!..

При виде такого отчаяния я просто оцепенел; даже не знаю, какие мысли приходили мне и голову, чего я боялся, — я мог только глядеть на него.

— Хэм, бедный, дорогой мой Хэм! Ради бога, скажите, что с вами?

— Мистер Дэви! Моя любимая, та, которой я так гордился, так верил, та, для которой и всегда и теперь еще готов отдать свою

жизнь... уехала!

— Уехала?

— Эмилия убежала. И как она убежала — вы можете судить по тому, мистер Дэви, что я, который люблю ее больше всего на свете, молю бога скорее умертвить ее, чем дать окончательно пасть и погибнуть.

До сих пор я не могу забыть выражения его лица, обращенного к покрытому тучами небу, его судорожно сжатых рук, отчаяния, веявшего от всей его фигуры, не могу забыть пустынного места, на котором разыгрывалась эта драма, где единственным действующим лицом среди мрака ночи был несчастный Хэм...

— Вы, мистер Дэви, человек ученый, — вдруг скороговоркой проговорил он, — вы лучше моего знаете, как надо поступить. Что мне теперь сказать дома? — Как смогу я когда-нибудь открыть это ему, мистер Дэви?

В это время я почувствовал, что дверь приотворяется, и инстинктивно старался закрыть ее, чтобы отдалить ужасную минуту. Но было поздно — мистер Пиготти уже высунул голову, — и, проживи я сотни лет, мне никогда не забыть его лица...

Помню ужасные рыдания, слезы... Мы в комнате... вокруг старика суется женщины... мы все стоим... Я держу в руке бумагу, которую дал мне Хэм... Мистер Пиготти в разодранном жилете, с растрепанными волосами, бледный как смерть... по груди его струится кровь... (думаю, что он выплюнул ее изо рта). Старик пристально смотрит на меня...

— Прочтите это, сэр, — говорит он мне тихо, дрожащим голосом. — Только медленно, пожалуйста: боюсь, что не пойму.

Среди мертвой тишины я читаю письмо, залитое слезами:

— «Когда вы, любивший меня гораздо больше, чем я заслуживала, получите это, я буду далеко».

— «Я буду далеко», — словно про себя, тихо повторил старик. — Пойдите, значит, она уже далеко... Ну, что дальше?

— «Я покидаю мой дорогой дом, — да, мой дорогой, родной дом, — завтра утром...»

На письме стояло вчерашнее число, — повидимому, оно было написано ночью.

— «с тем, чтобы никогда в него не вернуться, разве только он женится на мне. Когда вам вечером передадут это письмо, пройдет уже много часов с моего отъезда. Ах, если бы вы знали, как разбито мое сердце! Если б вы, которому я сделала столько зла и который, конечно, никогда не сможет простить мне это, если б вы могли только представить себе, как я страдаю! Но чувствую, что нехорошо с моей стороны писать о своих муках. Пусть мысль, что я такая гадкая, утешит вас. О, ради бога, скажите дяде, что никогда и вполнину я не любила его так, как люблю теперь! О, не вспоминайте о том, как вы все любили меня, как были добры ко мне! Забудьте, что я была вашей невестой, — постарайтесь представить себе, что я умерла маленькой и где-то похоронена. Молите бога, которого я теперь недостойна, сжалиться над моим дядей. Скажите же ему, что я никогда и наполовину не любила его так, как люблю сейчас, будьте ему утешением. Полюбите какую-нибудь хорошую девушку, которая станет для дяди тем, кем когда-то я была для него, а для вас верной, достойной женой. Пусть в жизни вашей не будет другого позорного воспоминания, как только обо мне. Господь да благословит вас всех! Часто, стоя на коленях, я буду молиться о вас всех. Если он не женится на мне и я буду недостойна молиться о себе, я все-таки стану молиться о вас. Передайте любимому дяде мое последнее прощание. О нем льются мои последние слезы, к нему последнему рвется мое благодарное сердце».

Этим кончалось письмо.

Долго после того, как я кончил читать, старик стоял, не двигаясь, пристально глядя на меня.

Наконец я решился взять его за руку и попытаться уговорить его приободриться. Он пробормотал: «Спасибо, сэръ, спасибо!», но продолжал стоять неподвижно, словно в столбняке. Хэм заговорил с ним. Мистер Пиготти, видимо, так хорошо понимал горе племянника, что нашел силы пожать ему руку, но этим все и ограничилось. Старик все так же стоял, и никто из нас не осмеливался его беспокоить.

Наконец, медленно, словно пробуждаясь от тяжкого сна, он отвел от меня глаза, посмотрел кругом и тихо проговорил:

— Кто он? Я хочу знать его имя.

Хэм взглянул на меня, и вдруг я почувствовал, словно меня что-то ударило.

— Вы подозреваете кого-то? — настаивал мистер Пиготти. — Кто это?

— Мистер Дэви, — с мольбой обратился ко мне Хэм, — выйдите на минутку и дайте мне сказать то, чего вам лучше не слышать, сэр!

Опять я почувствовал какой-то толчок и бессильно опустился на стул. Я пытался что-то сказать, но язык мой словно прилип к гортани, в глазах было темно...

— Я хочу знать его имя, — донеслось снова до моих ушей.

— В последнее время, — пробормотал Хэм, — все бродил здесь в неурочное время лакей... Появлялся и его хозяин...

Мистер Пиготти все стоял неподвижно, но смотрел он уже не на меня, а на Хэма.

— Этого слугу, — продолжал Хэм, — видели вчера вечером с... нашей бедной девочкой. Целую неделю или больше он не показывался. Думали, что слуга уехал, а он, видно, где-то прятался... Мистер Дэви, уйдите, пожалуйста, уйдите!

Я почувствовал, что моя Пиготти обняла меня за шею и хочет увести, но если бы дом стал валиться на меня, то и тогда я не был бы в силах двинуться с места.

— Какой-то неизвестный экипаж с лошадьми стоял сегодня на рассвете за городом на Норвичской дороге, — продолжал рассказывать Хэм. — Лакей то подходил к экипажу, то уходил и наконец явился с Эмилией. Другой сидел в экипаже... Это и был «он».

— Ради бога! — воскликнул мистер Пиготти, пятясь назад и протягивая вперед руку, словно отталкивая что-то ужасное. — Не говорите мне, не говорите, что это Стирфорт!

— Мистер Дэви! — крикнул Хэм разбитым голосом. — Вы тут ни при чем, я далек от того, чтобы винить вас, но этот человек — Стирфорт... И он — проклятый негодяй!

Мистер Пиготти не проронил ни единого слова, ни единой слезинки, не двинул пальцем, но вдруг он как будто проснулся и стал снимать висевшее и углу грубое пальто.

— Да помогите же! Не видите вы разве, что я совсем разбит и не могу с ним справиться! — раздраженно проговорил он. — Ну, готово, — прибавил он, когда кто-то натянул на него пальто. — Теперь давайте мне шапку.

Хэм спросил его, куда же он идет.

— Иду искать свою племянницу, иду искать свою Эмми. Но раньше потоплю его лодку там, где, клянусь, наверно, уж потопил бы и его самого, знай я о его злодейских помыслах! Подумать только, сколько раз он сидел со мной в лодке вот так, лицом к лицу! Догадайся я только, разрази меня гром и молния, я тут же пустил бы его ко дну — без малейшего угрызения совести! — дико прокричал он, свирепо сжимая в кулак правую руку. — Иду искать свою племянницу...

— Куда же вы пойдете, дядя? — закричал Хэм, прислонившись спиной к выходной двери.

— Всюду... Я буду искать ее по всему свету. Я найду мою бедную девочку среди ее позора и приведу ее домой. Никто не удержит меня! Говорю вам — я иду искать племянницу...

— Нет, нет! — закричала вся в слезах миссис Гуммидж, бросаясь между дядей и племянником. — Нет, Дэниэль, вы не можете идти в таком виде. Вы пойдете ее искать и вы должны это сделать, но только не сейчас. Садитесь, дорогой мой, и простите, что я постоянно надоедала вам своим нытьем. Что такое все мои беды и горести по сравнению с вашим несчастьем! Припомним с вами лучше те времена, когда сначала она осиротела, а потом Хэм, я же стала горемычной, бездомной вдовой, и вы, Дэниэль, всех нас приютили. Вспомните обо всем этом, дорогой, — еще раз повторила она, кладя свою голову ему на плечо, — и вы увидите — вам станет легче.

Старик сразу затих, и я услышал, что он плачет. В первый миг мне захотелось броситься на колени, ползти к нему, молить о прощении, проклинать Стирфорта, но... я тоже заплакал, и, кажется, это было лучшее, что я мог сделать.



## ***Глава III***

# ***НАЧАЛО ДАЛЬНИХ СТРАНСТВОВАНИЙ***

Думаю, что свойственное мне может быть свойственно и многим другим людям, и потому я не стыжусь признаться, что никогда так сильно не любил Стирфорта, как после того, когда все между нами было порвано. Страшно горюя о совершенной им низости, я больше чувствовал все доброе, что было в нем, больше ценил блестящие его способности, чем в пору наисельнейшего моего увлечения им. Как ни горько было мне, что я невольно замешан в его преступлении, в подлом поступке против честной семьи, но мне казалось, что, очутись я лицом к лицу с ним, я не был бы в силах бросить ему слово упрека. Не будучи уже больше очарован им, я так еще любил его и свою любовь к нему, что, наверное, был бы слаб, как беспомощный ребенок, во всем, за исключением непреклонного решения никогда больше не встречаться с ним. Этого уж я никак не мог допустить. Я чувствовал, как и он сам не мог не чувствовать, что все между нами отныне кончено безвозвратно. Так никогда я и не узнал, вспоминал ли он обо мне. Быть может, если и бывало это, то очень мимолетно. Я же всегда вспоминаю о нем, как о горячо любимом умершем друге.

Весть о случившемся так быстро разнеслась по городу, что, проходя на следующее утро по улицам, я слышал, как жители, стоя у своих дверей, говорили о бегстве Эмилии. Большинство жестоко осуждали ее, некоторые — его, но отношение к ее приемному отцу и жениху у всех было одинаково: все без исключения чувствовали к ним глубокое почтительное сожаление. Рыбаки, увидя их утром на берегу, отошли в сторонку и, собираясь вместе по нескольку человек, с великим сочувствием толковали о них.

Я нашел дядю и племянника на берегу, у самой воды. Мне не трудно было догадаться, что ни один из них не сомкнул глаз во всю ночь, если б даже моя Пиготти я не рассказала мне, как оба они до самого утра просидели на тех же стульях, на которых я оставил их. Мне показалось, что мистер Пиготти за эти часы постарел больше,

чем за все время нашего знакомства. Но оба они были важны и покойны, как само море, лежавшее перед ними. Тихое, но все колеблющееся, оно словно дышало под пасмурным небом, на краю которого, у горизонта, виднелась серебристая полоска — отблеск невидимого солнца.

— О многом переговорили мы с ним, сэр, — сказал мне мистер Пигогги после того, как все мы некоторое время шли молча, — переговорили о том, что нам надо и чего не надо делать. Теперь мы уже знаем, куда нам держать свой курс.

Я случайно бросил взгляд на Хэма. Он в ту минуту смотрел на серебристую полосу на горизонте, и, хотя на лице его не было злобы, а только проглядывала спокойная мрачная решимость, у меня тут мелькнула страшная мысль, что если только Хэм когда-нибудь встретит Стирфорта, он убьет его.

— Тут мне делать больше нечего, сэр, — продолжал старый рыбак. — Я пойду искать мою... — он остановился, а затем твердым голосом закончил: — Я пойду искать ее — отныне это мой долг.

Я спросил его, где он думает искать ее. Старик на это только покачал головой и осведомился, не еду ли я завтра в Лондон. Я ответил, что не уехал сегодня, только боясь упустить случай быть ему в чем-нибудь полезным, и что я готов ехать, когда только будет ему угодно.

— Я, с вашего позволения, поехал бы с вами завтра, сэр, — промолвил он.

Затем мы снова принялись молча ходить по берегу.

— Хэм будет продолжать здесь работать, — через некоторое время заговорил мистер Пигогги, — и перейдет жить к моей сестре, а старая баржа...

— Неужели вы, мистер Пигогги, покинете старую баржу? — тихонько спросил я.

— Я-то сам не жилец там больше. Никогда ни одна баржа среди ночного мрака не шла так страшно ко дну, как пошла моя, но все-таки, сэр, я не хочу, нет, не хочу, чтобы она была покинута. Далек я от этого.

Опять мы молча прошлись несколько раз вдоль берега, затем старик начал мне излагать свои планы.

— Я хочу, чтобы эта баржа днем и ночью, летом и зимой выглядела именно так, как она всегда знала ее. Если когда-нибудь она

забредет сюда, я не хочу, понимаете ли, чтобы родной дом как бы оттолкнул ее от себя, — нет, пусть он поманит ее к себе, пусть она, словно привидение среди бури и непогоды, заглянет в знакомое окошечко и увидит свое место на сундучке у камина. И тут, мистер Дэви, не заметив никого, кроме миссис Гуммидж, она, быть может, решится, дрожа, тихонько проскользнуть в свой родной дом, быть может, даст себя уложить на свою постельку и, истомленная, отдохнет там, где так весело когда-то засыпала.

Я не в силах был что-либо ему ответить, хотя и порывался это сделать.

— Каждую ночь, как только стемнеет, — продолжал мистер Пиготти, — на окно будет ставиться зажженная свеча, и если когда-нибудь она завидит ее, эта горящая свеча ей скажет: «Вернись, деточка, вернись!..» Слушайте, Хэм, если когда-нибудь вечером постучат в дверь дома вашей тети (особенно, когда постучат тихонько), не идите отворять — пусть не вы, а сестра первая встретит мою несчастную павшую девочку.

Мистер Пиготти ускорил шаг и некоторое время шел впереди нас. Я взглянул на Хэма и, видя, что глаза его по-прежнему устремлены на серебристую полосу, а на лице написана та же непреклонная решимость, прикоснулся к его руке, но он не заметил этого. И только когда я два раза окликнул его, словно спящего, он обратил на меня внимание. Я спросил его, о чем он так задумался.

— О том, что меня ждет впереди, мистер Дэви, и о том, что там...

— Вы хотите сказать — о том, что ждет вас в жизни?

Он тут неопределенным жестом указал на море.

— Да вот, мистер Дэви, сам не знаю, как вам это объяснить, но мне кажется, что оттуда вот придет конец.

Когда он говорил это, на лице его была написана та же решимость, но вид он имел только что проснувшегося человека.

— Какой конец? — спросил я, охваченный прежним страхом.

— Не знаю, право, — задумчиво сказал он, — но вот засело мне в голову, что оттуда все пришло и там и конец будет... Да уж с этим покончено, мистер Дэви, не бойтесь за меня.

Мне кажется, он сказал это потому, что видел мои испуганные глаза.

— Я уже помаленьку прихожу в себя, но, конечно, не могу сказать, чтобы все это было для меня безразлично, — прибавил бедняга.

Мистер Пиготти остановился, поджидая нас, и разговор наш с Хэмом на этом прервался, но мысль, что он когда-нибудь убьет Стирфорта, не переставала преследовать меня до того рокового часа, когда пришел безжалостный конец...

Незаметно мы приблизились к старой барже. Миссис Гуммидж, вместо того, чтобы ныть в своем углу, деятельно хлопотала над приготовлением завтрака. Она взяла из рук мистера Пиготти шапку, придвинула ему стул и так ласково и мило заговорила с ним, что я просто не узнавал ее.

— Ну, голубчик Дэниэль, вам нужно есть и пить, нужно подкрепляться, а то вы ничего не сможете делать, — уговаривала она. — Кушайте же, дорогой! А если я буду утомлять вас своей трескотней, — это слово она употребила вместо слова «болтовня», — то вы только заикнитесь, Дэниэль, и я сейчас же замолчу.

Накормив нас всех завтраком, она под села к окну и принялась чинить носильное белье мистера Пиготти, а затем стала аккуратно все укладывать в старую клеенчатую сумку. Работая, она не переставала говорить таким же ласковым, спокойным тоном:

— Уж можете быть уверены, Дэниэль, что и днем и ночью, зимой и летом я всегда буду здесь и все будет делаться по вашему желанию. Я, конечно, грамотейка неважная, но время от времени буду вам писать и письма посылать мистеру Дэви. Может, и вы, Дэниэль, мне когда-нибудь напишете, как чувствуете себя, скитаясь один-одинешенек по белу свету.

— Боюсь, матушка, что и вам будет очень одиноко здесь, — сказал мистер Пиготти.

— Нет, нет, Дэниэль, — живо возразила она, — совсем мне не будет одиноко. Мне некогда будет скучать: ведь надо будет держать в порядке дом, на случай, если вернетесь вы или кто другой. А в хорошую погоду я, как бывало, буду сидеть на крыльчке перед домом, и если кто издали здесь увидит меня, то поймет, что старая вдова верна вам всем.

Как поразительно изменилась миссис Гуммидж за такое короткое время! Она стала совсем другой женщиной! Какая преданность, какой

такт! Она прекрасно знала, что следует сказать и о чем нужно умолчать; как она забывала о себе, думая только о горе ее окружающих! Я почувствовал к ней глубокое уважение. А сколько работы переделала она в этот день! На берегу было много вещей, которые надо было убрать в сарай: весла, сети, паруса, снасти, горшки для хранения раков, мешки для балласта и тому подобное. И вот, хотя на всем побережье не было, кажется, человека, который бы с восторгом не помог мистеру Пиготти, а все-таки миссис Гуммидж в течение целого дня настойчиво сновала взад и вперед, совершенно напрасно таская на себе непосильные тяжести. О своих личных горестях, о которых она раньше не переставала ныть, миссис Гуммидж, видимо, совсем забыла. Сочувствуя глубоко своим друзьям, она старалась быть доброй и веселой, что при ее характере казалось совсем удивительным. О ворчании и помину не было. В течение всего дня я ни разу не заметил, чтобы на ее глазах блеснула слеза или дрогнул голос. Только когда стемнело и мы остались одни, а мистер Пиготти, совершенно выбившись из сил, заснул, она стала плакать и рыдать, стараясь в то же время всеми силами сдерживать себя. Немного успокоившись, она отвела меня к двери и тихонько сказала: «Ради бога, мистер Дэви, будьте всегда другом дорогому нашему бедняге». Затем сейчас же выбежала во двор промыть себе глаза, чтобы, когда старик проснется, он не заметил на ее лице следов слез. Словом, уходя от них к себе, я вынес впечатление, что миссис Гуммидж была настоящей опорой и утешительницей несчастного мистера Пиготти. Я шел и думал, что старушка открыла мне что-то новое в человеческой душе.

Было около десяти часов вечера, когда я, печально бредя по городу, остановился у двери мистера Омера. Самого его в лавке не было, а миссис Джорам сказала мне, что отец ее до того убит происшедшим, что целый день был сам не свой и даже лег в постель, не выкурив своей обычной трубки.

— Какая лживая, бессердечная девчонка! Никогда ничего хорошего в ней и не было! — с раздражением воскликнула миссис Джорам.

— Не говорите так, — сказал я, — вы сами этого не думаете.

— Нет, думаю! — так же злобно закричала она.

— Не верю, не верю! — возразил я.

Миссис Джорам сердито покачала головой, стараясь быть суровой и непреклонной, но, очевидно, в ней заговорила жалость, и она расплакалась.

Конечно, я был юн, но эти слезы очень возвысили ее в моих глазах, и я подумал, что они как-то идут такой безупречной жене и матери.

— Что с ней будет? Куда она денется? — со слезами говорила добрая женщина. — Как могла она так жестоко поступить с собой и с ним?

Я помнил Минни молоденькой и хорошенькой девушкой, и мне приятно было, что она так близко принимает к сердцу судьбу бедной Эмилии.

— Моя крошка Минни только что наконец заснула, — проговорила миссис Джорам, — но и во сне она продолжает всхлипывать об Эмилии. Целый день моя дочурка не переставала плакать, спрашивая, неужели Эмилия такая уж гадкая. Как я могу сказать ей, что она гадкая, когда в последний вечер, проведенный у нас, она сняла со своей шеи ленточку и надела ее на шейку моей крошки, а потом, уложив ее в кроватку, положила на подушку свою голову рядом с ее головкой и так сидела подле нее, пока та не заснула. Эта ленточка и теперь на шейке Минни. Быть может, этого не следовало бы, но что я могу поделать? Они так любили друг друга, и дитя ведь ничего не понимает.

Мисс Джорам так разволновалась, что муж вышел успокоить ее. Я оставил их вместе и направился к дому моей Пиготти в еще более подавленном состоянии.

Это добрейшее существо, — я говорю о моей Пиготти, — как ни была она измучена беспокойством и многими бессонными ночами, все-таки пошла к брату, где должна была провести ночь. В доме, кроме меня, была только старушка, приглашенная всего за несколько недель до этого, когда Пиготти, проводя дни и ночи у постели больного мужа, не могла вести хозяйство. Не нуждаясь в услугах старушки, я, к ее удовольствию, отослал ее спать, а сам уселся в кухне у горящего очага — подумать обо всем случившемся.

В голове у меня была какая-то путаница. Вместе с мыслями о смерти Баркиса я уносился с отливом к той серебристой полосе, на которую так странно смотрел в это утро Хэм, как вдруг я был оторван

от своих мысленных скитаний стуком в дверь. У входной двери был молоток, но стучали рукой, и так низко, словно это был ребенок.

Я вскочил и бросился открывать. К моему великому удивлению, сперва я ничего не видел, кроме большого зонтика, который, казалось, двигался сам, но я не замедлил открыть, что под ним находится мисс Маучер. Вряд ли, конечно, я принял бы радушно эту крошечную женщину, если б уловил на ее физиономии то легкомысленное выражение, которое так неприятно поразило меня при нашей первой встрече. Но ее лицо было так серьезно, а когда я освободил ее от зонтика, она с таким отчаянием сжала свои ручонки, что я невольно почувствовал к ней некоторую симпатию.

— Мисс Маучер, — проговорил я, окидывая взглядом улицу, хорошенько сам не зная, что рассчитывал я там увидеть, — как вы попали сюда? В чем дело?

Она молча указала мне коротенькой ручонкой, чтобы я закрыл зонтик, а сама быстро юркнула в дом. Заперев дверь и войдя в кухню с зонтиком в руках, я застал ее сидящей у очага на низенькой решетке, в тени большого медного чайника. Судорожно обхватив ручонками колени, она покачивалась взад и вперед, как человек, которому очень больно.

Чрезвычайно смущенный ее появлением в такой неурочный час, ее трагической манерой себя держать, да еще в то время, когда, кроме меня, никого не было дома, я, волнуясь, снова спросил ее:

— Пожалуйста, мисс Маучер, скажите мне, в чем дело? Уж не больны ли вы?

— Дорогой мой мальчик, — ответила мисс Маучер, прижимая обе свои ручонки к сердцу, — у меня болит вот здесь, очень болит! Подумать только, что произошло! И не будь я такой безмозглой дурой, я могла бы все заранее это знать и, быть может, и предотвратить несчастье!

Большая шляпа, совершенно не соответствующая ее крошечной фигурке, раскачивалась вместе с ней, так же, как огромная тень от этой шляпы на стене.

— Я, по правде сказать, удивлен, — начал я, — видя вас такой серьезной и в таком отчаянии...

— Да, да, всегда одно и то же, — перебила она меня. — Беспечные молодые люди, имевшие счастье вырасти до нормальной

величины, всегда бывают поражены, заметив какое-нибудь проявление естественных чувств в таком крошечном существе, как я. Мной забавляются, как игрушкой, которую можно бросить, когда она надоест, и, конечно, удивляются, видя, что я чувствую больше, чем картонная лошадка или деревянный солдатик. Да, я привыкла к этому. Старая история!

— Я, конечно, могу говорить только о себе, — возразил я, — но смею вас уверить, что я не таков. Быть может, видя вас такой, как вы сейчас, мне не следовало выразить своего удивления, ведь я так мало знаю вас, но сделал я это, поверьте, без всякого дурного умысла.

— Ну, что мне остается делать? — проговорила крошка, вставая и вытягивая руки, чтобы хорошенько показать себя. — Взгляните на меня: вот таков, как я, и мой отец, таков брат, такова сестра. Уж много лет, мистер Копперфильд, я не покладая рук работаю изо дня в день на брата и сестру. А если люди настолько бездушны, что превращают меня в шутиху, то что же остается мне, как не потешаться над собой, над ними и надо всем на свете? И если я так веду себя, то скажите по совести, чья эта вина? Неужели моя?

Нет, конечно, для меня было ясно, что в этом винить мисс Маучер нельзя.

— Покажи я себя перед вашим вероломным другом карлицей с чувствительным сердцем, — продолжала маленькая женщина тоном, в котором звучала горькая обида, — вы думаете, много хорошего я увидела бы от него? Обратись крошка Маучер к нему или подобному ему баричу за помощью, вы полагаете, что ее голосок дошел бы до их ушей? Будь крошка Маучер самой злоющей и ворчливейшей из всех карлиц на свете, ей все-таки надо было бы есть и пить, — от одного воздуха ведь умереть можно, — а ей никогда бы не допроситься и кусочка хлеба с маслом.

Мисс Маучер снова уселась на решетку, вынула носовой платок и вытерла им глаза.

— И если вы уж так добры, как мне кажется, порадитесь за меня, что и имею еще мужество переносить свою жизнь и быть порой веселой. Во всяком случае, сама я приветствую себя за то, что иду своей маленькой дорожкой, никому ничем не будучи обязана, и за куски, которые швыряют мне из тщеславия или глупости, я швыряю



им насмешки. Если я ваша игрушка, великаны, то обходитесь же со мной поосторожнее!

Тут мисс. Маучер положила носовой платок в карман и, пристально глядя на меня, продолжала:

— Я только что видела вас на улице. Вы понимаете, что с моими короткими ногами и одышкой мне не догнать вас, но я догадалась, куда вы идете, и пришла вслед за вами. Я сегодня уже была здесь, но милой женщины не было дома.

— Разве вы ее знаете? — спросил я.

— Много рассказывали мне о ней у «Омера и Джорамы». Я была у них в лавке сегодня уже в семь часов утра. Помните, что говорил Стирфорт об этой несчастной девушке в тот вечер, когда я вас обоих видела в гостинице?

И шляпа и ее тень на стене при этом снова закачались.

Я ответил, что прекрасно помню и не раз в течение дня думал об этом.

— Будь он проклят! — со злобой воскликнула крошка, подняв свой пальчик так, что он оказался между ее мечущими молнии глазами и мной. — И пусть будет в десять раз больше проклят этот негодяй-лакей! А я ведь, знаете, считала, что это у вас юношеская любовь к ней.

— У меня? — повторил я.

— Да, да, мой мальчик. Это что-то роковое! — крикнула мисс Маучер, в отчаянии ломая себе ручонки и раскачиваясь, как маятник. — Нужно же было вам так расхваливать ее, краснеть и смущаться!

— Конечно, все это было так, хотя вовсе не потому, что я был влюблен в эту девушку.

— Но откуда мне было это знать? — воскликнула мисс Маучер, вынимая снова носовой платок (когда время от времени она обеими ручонками подносила его к глазам, то притопывала ножкой). Я видела, что он то помучает вас, то приласкает, а вы в его руках, точно мягкий воск. Не успела я выйти тогда из вашей комнаты, как его негодяй-лакей сказал мне: «Вы понимаете, невинный младенец (так он вас назвал) вздумал влюбиться в эту девчонку, а она, легкомысленная, в него, и мой барин живет здесь только ради того, чтобы из дружбы к этому младенцу, избавить его от греха». Подумайте, как могла я ему

не поверить? Я видела, как вы сияли, когда Стирфорт расхваливал ее. Вы первый заговорили о ней и признались, что с давних пор восхищаетесь ею. Вас бросало то в жар, то в холод, вы краснели и бледнели, стоило мне заговорить с вами о ней. Как мне было не подумать, что вы хотя распутный, но неопытный юноша, и что вашему более опытному приятелю почему-то пришла фантазия, опекая вас, сделать доброе дело? Но как эти негодяи боялись, чтобы я не проведала истины! — воскликнула мисс Маучер и, соскочив с решетки, забегала взад и вперед по кухне, в отчаянии ломая свои ручонки. — Они прекрасно знали, что голова у меня сметливая (как бы мне, спрашивается, было прожить иначе?), вот они оба и приложили все старания, чтобы провести меня, и я, безмозглая дура, передала даже несчастной девушке письмо, после которого она, очевидно, и начала вести разговоры с Литтимером, который нарочно с этой целью и был здесь оставлен.

Я стоял, пораженный обнаруженным вероломством, и смотрел, как крошка продолжала носиться взад и вперед по кухне; наконец, совсем запыхавшись, она снова села на решетку, вынула платок, вытерла им лицо и долго сидела молча, покачивая головой.

— В позапрошлую ночь, мистер Копперфильд, — наконец заговорила крошка, — я, объезжая своих провинциальных клиентов, попала в Норвич. Там я узнала, что оба они приезжали туда и уехали. То, что вас не было с ними, показалось мне очень странным и возбудило во мне подозрения. И вот вчера вечером я села в лондонский дилижанс, проходящий через Норвич, и сегодня утром уже была здесь, — увы, увы! — слишком поздно! — и она заплакала.

От слез и волнения крошечная женщина совсем окоченела; она опять села на решетку, поставила в горячую золу свои промокшие ножонки и, словно большая кукла, уставилась в огонь. А я сидел в кресле по другую сторону камина и, погрузившись в свои тяжкие думы, смотрел то на огонь, то на свою странную гостью.

— Однако мне пора уходить, уже очень поздно, — заявила, вставая, мисс Маучер. — Надеюсь, вы верите мне?

Задавая мне вопрос, крошка бросила на меня такой пронизывающий взгляд, что я не мог не ответить от всего сердца, что верю ей.

— Ну, сознайтесь, — сказала она, пытливо глядя на меня, в то время как я ей протягивал руку, чтобы помочь сойти с решетки, — вы более доверяли бы мне, будь я не карлицей, а обыкновенной женщиной?

В глубине души я согласился, что здесь было много правды, и мне стало неловко.

— Вы еще очень молоды, — промолвила крошка, — примите же совет, хотя бы и от существа в три фута ростом. Не считайте, друг мой, не имея основательных данных, что человек с физическими недостатками должен непременно иметь и моральные.

Тут она рассталась с решеткой, а я расстался с последней тенью недоверия к ней и заявил, что совершенно верю ее словам и считаю, что мы с ней были слепым орудием в вероломных руках. Она горячо поблагодарила меня и назвала «добрым мальчиком».

— Вот чуть не забыла, — сказала она, оборачиваясь у двери и пристально глядя на меня с поднятым по обыкновению указательным пальчиком. — Я имею основание предполагать, — ведь мне всегда надо держать ухо востро, — что они уехали за границу. Если они оттуда вернутся или даже один из них вернется, то, пока я жива, я скорее всякого другого узнаю об этом. А как только я узнаю, так сейчас же и вы узнаете. И если только будет у меня случай когда-либо оказать услугу бедной обманутой девушке, — клянусь богом, я сделаю для нее все, что только будет в моих силах. А Литтимеру лучше было бы иметь за своей спиной собаку-ищейку, чем крошку Маучер!

Эти слова сопровождались таким взглядом, что я вполне поверил им.

— Я ни о чем не прошу вас, кроме того, чтобы вы доверяли мне ни больше, ни меньше, чем женщине нормального роста, — проговорила она с мольбой, хватая меня за руку. — Если когда-нибудь мы встретимся и я буду не такой, как сейчас, а такой, как вы видели меня при первой нашей встрече, то, пожалуйста, обратите внимание на общество, среди которого я буду. Подумайте тогда о том, что я за беспомощное, незащищенное крошечное существо! Вспомните о том, что дома вечером, после целого дня работы, меня ждут такие же, как я, брат и сестра. И, быть может, вы не станете так строго судить меня и не будете удивляться, что у меня есть сердце. Спокойной ночи!

Я пожал мисс Маучер руку, будучи совсем иного мнения о ней, чем прежде, и, открыв дверь, проводил ее на улицу. Не легкая была вещь открыть ее зонтик, но, добившись этого, я еще раз простился с ней, запер дверь, поднялся в свою комнату, лег в постель и проспал до утра.

Рано утром пришел мистер Пиготти с моей старой няней, и мы сейчас же отправились в контору дилижансов, где нас ждали, желая проводить, Хэм и миссис Гуммидж.

— Мистер Дэви, — прошептал Хэм, отводя меня в сторону, в то время как мистер Пиготти укладывал свою сумку среди другого багажа, — его жизнь совсем разбита. Он не знает, куда едет, что будет впереди. Поверьте мне, если только он не найдет того, что ищет, то так и будет бродить по свету до конца своих дней. Я знаю, мистер Дэви, вы будете ему другом, ведь правда?

— Конечно, буду, вы можете быть совершенно уверены в этом, — сказал я, горячо пожимая ему руку.

— Спасибо, спасибо, вы очень добры, сэр!.. Теперь еще одно. Вы знаете, что я хорошо зарабатываю, а теперь тратить некуда: ведь мне нужно так немного. Если бы вы, сэр, могли мой заработок как-нибудь тратить на него, мне, уверяю вас, работалось бы гораздо веселее. Впрочем, сэр, — добавил он кротким, спокойным голосом, — я, во всяком случае, буду работать, как подобает настоящему мужчине, из всех своих сил.

Я ответил ему, что вполне убежден в этом, и намекнул, что, быть может, со временем он перестанет вести ту одинокую жизнь, какая теперь, естественно, рисуется ему впереди.

— Нет, сэр, — возразил он, — для меня все кончено. Никто не может занять опустевшего места. Но, сэр, вы ведь не забудете, что здесь всегда будут иметься деньги для старика.

Обещая помнить об этом, я вместе с тем указал ему на то, что его дядя будет получать хотя, конечно, и весьма скромный, но постоянный доход с капитала, завещанного ему его покойным шурином. После этого мы с ним простились. До сих пор я не могу вспомнить без боли в сердце, каким скромным и мужественным был он в своем великом горе!

Что же касается миссис Гуммидж, то, если б я взялся описывать, как она, ничего и никого не видя, кроме сидевшего на империале

дилижанса мистера Пиготти, бегала по улице вокруг этого дилижанса, натыкаясь на проходящих, мне нелегко было бы справиться с этой задачей. Лучше уж оставить старушку в том виде, в каком она, запыхавшись, опустилась на крыльцо булочной: шляпа ее потеряла всякую форму и сбилась на сторону, а один из ее башмаков валялся на тротуаре на довольно большом от нее расстоянии.

Когда мы приехали в Лондон, первой, нашей заботой было приискать для моей Пиготти маленькую квартирку, где она могла бы также приютить своего брата. Нам посчастливилось найти всего за две улицы от меня чистенькую недорогую квартирку над свечной лавкой. Как только дело было улажено, я купил в съестной лавке кусок холодного ростбифа и повел своих спутников к себе пить чай. Должен, к сожалению, заметить, что это совсем не пришлось по вкусу миссис Крупп. Вероятно, здесь сыграло роль и то, что няня, пробыв у меня не больше десяти минут, подобрала свое траурное платье, засучила рукава и принялась убирать мою спальню. В этом миссис Крупп усмотрела большую вольность с няниной стороны, а вольностей она, по ее словам, ни с чьей стороны не допускала.

По дороге в Лондон мистер Пиготти сообщил мне об одном своем проекте, признаться, меня не удивившем. Он прежде всего хотел повидаться с миссис Стирфорт. Чувствуя, что я обязан и помочь ему в этом и быть между ними посредником, я в тот же вечер написал миссис Стирфорт. Щадя ее материнские чувства, я по возможности в самых мягких выражениях рассказал ей, какую обиду нанес ее сын мистеру Пиготти, описав при этом свою собственную роль в этом печальном деле. Я также объяснил ей, что хотя мистер Пиготти простой рыбак, но человек весьма прямой и благородный, и выразил надежду, что она, приняв во внимание его тяжкое горе, согласится повидаться с ним. Я сообщил, что мы собираемся быть у нее в два часа пополудни. Рано утром я сам отправил ей это письмо с первым дилижансом.

В назначенный час мы стояли у двери... двери дома, где еще несколько дней назад я был так счастлив, так верил, так любил... Теперь этот дом для меня навсегда закрыт, он стал для меня пустыней, развалиной...

На наш звонок появился не Литтимер, а та самая милая молоденькая горничная, которую я видел уже в мой прошлый приезд.

Она провела нас в гостиную. Здесь мы застали миссис Стирфорд. Когда мы вошли, Роза Дартль, проскользнув из противоположного конца комнаты, стала за ее креслом. Я тотчас же прочел на лице матери Стирфорда, что она все уже знает от него самого: слишком была она бледна и удручена. Это не могло быть вызвано моим письмом, написанным, как я упоминал уже, в мягких выражениях, и к которому она, обожая сына, должна была отнестись с некоторым недоверием. Больше чем когда-либо меня поразило ее сходство с сыном, и я почувствовал скорее, чем увидел, что это удивительное сходство бросилось в глаза и мистеру Пиготти.

Выпрямившись, она сидела в кресле гордая, неподвижная, бесстрастная. Казалось, ничто на свете не могло взволновать ее. С очень решительным видом она глядела на стоящего перед нею мистера Пиготти, а тот с не менее решительным видом смотрел на нее. Роза Дартль на всех нас бросала острые взоры, Несколько мгновений царило полное молчание. Миссис Стирфорд жестом показала мистеру Пиготти, чтобы он сел.

— Мне, мэм, казалось бы неестественным сидеть в этом доме, — тихо проговорил старик. — Уже лучше я постою.

Молчание продолжалось. Его нарушила хозяйка дома.

— Я знаю, — проговорила она, — что привело вас сюда. Глубоко огорчена этим, но что хотите вы от меня? Что могу я для вас сделать?

Мистер Пиготти, положив шляпу подмышку, засунул руку в боковой карман, вынул оттуда письмо Эмилии и подал его матери Стирфорда.

Она прочла его с тем же величественным, бесстрастным видом и, по-моему, нисколько не тронутая его содержанием, вернула старику.

— Вы ведь прочли, — тут написано: «Я не вернусь, если он не женится на мне», — сказал мистер Пиготти, указывая своим грубым пальцем на это место в письме. — Так вот, мэм, я пришел узнать, сдержит ли он свое обещание?

— Нет, — ответила она.

— Почему нет? — спросил мистер Пиготти.

— Это немислимо: он слишком унизил бы себя. Вы не можете не знать, что она ему не пара, — она гораздо ниже его.

— Так возвысьте ее! — сказал мистер Пиготти.

— Она невежественна, без всякого образования.

— Быть может, это не совсем так, мэм, — конечно, я не судья в таких вещах. Ну, тогда дайте ей образование.

— Вы заставляете меня быть более откровенной, чем бы мне хотелось, и поневоле приходится вам сказать, что ее низкое происхождение и родство, помимо всего, делают этот брак невозможным.

— Послушайте, мэм, — спокойно и с расстановкой проговорил старый рыбак, — вы знаете, что такое любить своего ребенка. Я тоже это знаю. Будь она сто раз моей дочерью, я не мог бы любить ее больше. Но вы не знаете, что значит потерять свое дитя, а я знаю. Я не пожалел бы всех своих сокровищ на свете, будь они у меня, лишь бы этой ценой я мог выкупить мою девочку. Спасите ее от теперешнего унижения, и она никогда не будет унижена нами. Никто из тех, с кем она жила и на глазах выросла, никто из нас, для кого она с самого детства была дороже всего на свете, никто никогда не позволит себе взглянуть на ее хорошенькое личико. Мы рады будем знать, что она счастлива со своим мужем, а быть может, и с детками. Нам будет казаться, что она живет где-то далеко, под другим солнцем, под другими небесами, и мы будем ждать того времени, когда все мы станем равными перед господом.

Это суровое красноречие все-таки подействовало на миссис Стирфорт. Правда, вид ее попрежнему был горд, но она уже гораздо более мягким голосом проговорила:

— Я никого не оправдываю и никого не виню, но тем не менее должна повторить, что это невозможно. Такой брак неминуемо погубил бы карьеру сына и разрушил бы все его виды на будущее. Нет, нет, этого никогда не может быть — и не будет. Если возможно какое-либо другое вознаграждение...

— Я вижу перед собою лицо, — перебил ее со сверкающими глазами мистер Пиготти, — напоминающее мне лицо, которое я видел у себя дома, у своего очага, в своей лодке... Под дружеской улыбкой оно скрывало такие вероломные замыслы, что, думая об этом, я едва не схожу с ума. Так вот, если лицо леди, так похожее на то вероломное лицо, не горит от стыда, когда она предлагает мне деньги в уплату за позор и несчастье моего ребенка, то она нисколько не лучше «того», а быть может, еще хуже, так как она — леди.

Тут миссис Стирфорт мгновенно изменилась. Она вся покраснела от гнева и, крепко сжимая ручки кресла, заговорила надменным голосом:

— А вы, чем вы можете вознаградить меня за бездну, раскрывшуюся между мной и сыном? Что значит ваша любовь по сравнению с моей? Что значит ваша разлука по сравнению с моей?

Мисс Дартль тихонько дотронулась до нее и, наклонив голову, начала что-то шептать ей, но миссис Стирфорт не стала слушать.

— Нет, нет, Роза, ни слова! Пусть человек этот выслушает то, что я хочу сказать. Сын мой, который был в моей жизни всем, о чем я только и думала, кому с детства я никогда ни в чем не отказывала, с чьей жизнью с минуты его рождения была неразрывно слита моя Собственная жизнь, вдруг влюбляется в какую-то ничтожную девчонку и бросает меня! Да еще платит за мое полное доверие к нему систематической ложью! Не величайшее ли это оскорбление — пожертвовать ради отвратительного каприза любовью к матери, уважением к ней, благодарностью, всем тем, что с каждым часом должно было быть все священнее для него!

Снова Роза Дартль пыталась успокоить ее, и снова тщетно.

— Говорю вам, Роза, молчите! Если он может ставить все на карту из-за ничтожного каприза, то я подавно могу это сделать, ради более важной цели. Пусть живет он, где хочет, на те средства, которыми располагает благодаря моей любви к нему. Неужели он думает сломить меня долгой разлукой? Мало же он знает свою мать, если рассчитывает на это! Пусть откажется от своего каприза, и я приму его с распростертыми объятиями. Если же он не порвет с ней, то я никогда, даже умирающая, не допущу его к себе на глаза, имея еще силы шевельнуть пальцем. Вымолить у меня себе прощение он сможет, только избавившись от нее навсегда. Это мое право, и я им воспользуюсь. Вот что разлучает нас. Что же, это не обида? — докончила она с тем же гордым, непримиримым видом.

Видя и слыша мать, я как будто видел и слышал сына, возражающего ей. В матери было неумолимое упрямство сына. Я понял, что огромная, часто дурно направляемая энергия сына живет также в его матери. Словом, эти два существа были почти тождественны.



Тут она обратилась ко мне и громко, тем же надменным тоном заявила, что так как ни говорить, ни слушать больше нечего, то она просила бы меня положить конец этому свиданию. Сказав это, она поднялась с величественным видом, собираясь удалиться, но мистер Пигогги, направляясь к двери, сказал:

— Не бойтесь, мэ, я не помешаю вам: мне больше нечего говорить. Ухожу я с тем же, с чем и пришел, — без всякой надежды. Я сделал то, что считал нужным сделать, но, по правде сказать, ничего не ждал от того, что побываю здесь. Этот дом сделал слишком много зла мне и моим, чтобы я мог ждать от него добра...

Мы вышли, а хозяйка дома со своей благородной осанкой и красивым лицом продолжала стоять у кресла.

Направляясь к выходу, мы должны были пройти через стеклянную галерею, увитую виноградной лозой. Сияло солнце, и обе стеклянные двери были настежь открыты в сад. Когда мы подошли к одной из дверей, из нее неслышно появилась Роза Дартль и, обращаясь ко мне, проговорила:

— Нечего сказать, хорошо вы поступили, приведя сюда этого человека!

Никогда не думал я, что столько бешенства и презрения может отражаться даже на ее лице, сверкать в ее черных, как смоль, глазах. Рубец, как всегда, когда она бывала вне себя, резко выделялся, а почувствовав, как по нему пробегает дрожь, она с яростью ударила по этому месту.

— Подумать только! — продолжала она. — Привести сюда под своим покровительством такого человека! Ну и хороший же вы друг!

— Мисс Дартль, неужели вы так несправедливы, что можете обвинять меня? — сказал я.

— Зачем же вы вносите разлад между этими двумя сумасшедшими? Неужели вы не знаете, что они оба помешаны на своем своеволии и гордыне?

— Да в чем же тут моя вина? — продолжал я спрашивать.

— Вы виноваты в том, что привели сюда этого человека. Почему вы это сделали?

— Этого человека глубоко оскорбили, мисс Дартль, — ответил я, — быть может, вам это неизвестно?

— Я знаю, — проговорила Роза, прижимая руку к груди, словно сдерживая свирепствующую там бурю, — знаю, что у Стирфорта фальшивое, порочное сердце, знаю, что он предатель, но что мне до этого человека, до его распутной племянницы!

— Мисс Дартль, зачем вы хотите еще усилить оскорбление? Довольно с них и того, что есть. Скажу вам на прощанье, что вы очень несправедливо обижаете их.

— Какая там обида! Все они негодяи и развратники, а племянницу, по-моему, хорошо бы выпороть!

Мистер Пиготти, не проронив ни слова, прошел мимо нее и вышел на улицу.

— Стыдитесь, мисс Дартль! Стыдитесь! — воскликнул я с негодованием. — Как можете вы попирать ногами старика, убитого незаслуженным горем!

— С радостью растоптала бы их всех! — воскликнула она. — С радостью снесла бы я его дом до основания! О, как хотела бы я, чтобы этой девчонке заклеили физиономию каленым железом, чтобы ее одели в рубище и выгнали на улицу! Пусть сдохла бы там от голода! Если бы только от меня это зависело, я, ни минуты не колеблясь, вынесла бы ей именно такой приговор. Мало того, я еще привела бы его в исполнение собственными руками! Я ненавижу ее! И знай я, где найти ее, я пошла бы куда угодно, чтобы опозорить ее. Если бы я смогла вогнать ее в гроб, я бы не остановилась перед этим. Знай я слово, способное утешить ее в предсмертный час, я скорее умерла бы, чем произнесла это слово!

Я чувствовал, что все эти слова далеко не передают страстной злобы, бушевавшей в ее груди, веявшей от всей ее фигуры. А говорила она при этом тише обыкновенного. Я не в силах передать бешенства, охватившего эту девушку. Не раз на моих глазах проявлялся гнев у людей, но никогда не видывал я, чтобы он доходил до таких размеров.

Когда я догнал мистера Пиготти, он, задумавшись, тихим шагом спускался с холма. Увидав меня, старик сказал, что он выполнил то, что считал своим долгом сделать в Лондоне, и сегодня же вечером отправляется в путь.

— Куда же вы направляетесь? — спросил я.

— Иду искать племянницу, сэр, — ответил он мне и больше не сказал ни слова.

Мы вернулись в маленькую квартирку над свечной лавкой. И я, улучив удобную минуту, сообщил моей няне о том, что сказал мне ее брат. Она ответила, то утром уже слыхала от него об этом. Пиготти и не больше моего знала, куда направляется ее брат, но предполагала, что у него уже сложился какой-то определенный план.

Мне не хотелось при таких обстоятельствах расставаться с моим старым приятелем, и мы втроем пообедали пирогом с мясной начинкой, одним из лучших произведений кулинарного искусства моей няни. После обеда мы с часок посидели у окна, причем, надо сказать, разговор у нас не клеился. Наконец мистер Пиготти встал, принес свою клеенчатую сумку, толстую палку и положил на стол.

Старик согласился взять у сестры на дорогу небольшую сумму из имеющихся у нее наличных денег в счет тех, которые ему причитались по завещанию шурина. По-моему, этих денег едва могло хватить ему на месяц. Мистер Пиготти обещал написать мне, если с ним что-нибудь случится; затем он перекинул сумку через плечо, взял шляпу, палку и стал прощаться с нами обоими.

— Желаю вам всего доброго, дорогая моя старушка, — проговорил мистер Пиготти, целуя сестру. — И вам также, мистер Дэви, — обратился он ко мне, крепко пожимая мне руку. — Иду искать ее по белу свету. Если она вернется без меня, — ну, на это, конечно, мало надежды, — или я ее разыщу, так нам с ней надо будет жить и умереть там, где никто не сможет ничем попрекнуть ее. Если со мной случится какое-нибудь несчастье, то помните, что при прощании с вами мои последние слова были таковы: «Все так же неизменно люблю мою дорогую девочку и все прощаю ей».

Он проговорил это торжественным тоном, с непокрытой головой; затем надел шляпу, спустился по лестнице и ушел. Мы проводили его до дверей.

Было жарко и очень пыльно. Заходящее солнце заливало красным светом большую улицу, куда вел наш переулок, и старик, выйдя из этого переуллка, погруженного в тень, исчез как бы в красном сиянии...

Часто потом, когда наступал этот вечерний час, когда просыпался я ночью, когда плядел на месяц и звезды, прислушивался к шуму дождя и завыванию ветра, я думал об одиноком страннике, и в ушах моих раздавались его последние слова: «Иду искать ее по белу свету.

Если какое несчастье случится со мной, помните, что при прощании с вами мои последние слова были таковы: «Все так же неизменно люблю мою дорогую девочку и все прощаю ей».

## **Глава IV**

# **Я БЛАЖЕНСТВУЮ**

Все это время я любил Дору больше чем когда-либо. Мысль о ней поддерживала меня в моих разочарованиях и горестях, далее помогала мне переносить потерю друга. Чем больше сокрушался я о себе и других, тем больше искал я утешенья в мечтах о Доре; чем больше мир казался мне переполненным горем и обманом, тем ярче и чище сияла над ним на недостижимой высоте звезда Доры. Не думаю, чтобы, я особенно ясно представлял себе, откуда взялась Дора и в каком она родстве с высшими существами, но знаю одно, что с великим негодованием и презрением отверг бы мысль о том, что она, как всякая другая девушка, обыкновенное земное существо.

Я был, если можно так выразиться, весь пропитан Дорой. Я был не только влюблен в нее по уши, но весь как бы насыщен этой любовью. Выражаясь метафорически, из меня можно было бы выжать столько любви, что в ней утонул бы любой, и после того еще осталось бы достаточно, чтобы залить этой любовью всю мою жизнь.

Сейчас же по возвращении в Лондон я отправился на вечернюю прогулку в Норвуд. Битых два часа пробродил я вокруг «ее» дома, заглядывая в щели забора. С необыкновенными усилиями карабкался я по этому забору, я, выставя подбородок над его набитыми сверху ржавыми гвоздями, посылал бесчисленные воздушные поцелуи освещенным окнам «ее» дома. Я восторженно молил ночь защитить мою Дору, не знаю уж от чего, вероятно от пожара или, быть может, еще от мышей, которых она страшно боялась.

Я был до того переполнен любовью, что мне казалось совершенно естественным открыть свою душу Пиготти. И вот, когда вечером она пришла ко мне и, окружив себя всеми своими старыми принадлежностями для шитья, принялась приводить в порядок мое белье и платье, я, начав издали, поведал ей свою тайну. Няня приняла это очень близко к сердцу, но смотрела на вещи совсем не так, как я. Будучи высочайшего обо мне мнения, она совершенно не в состоянии была понять, почему я падаю духом и могу сомневаться в успехе.

— Ваша леди должна быть счастлива, что у нее такой красавчик поклонник, — с гордостью заявила няня. — А папаша?.. Скажите на милость, чего же ему еще нужно?

Однако, когда Пиготти увидела мистера Спенлоу в его прокторской мантии и туго накрахмаленном галстуке, то это немного сбило ее спесь и внушило большее почтение к человеку, который в моих глазах с каждым днем все больше и больше выделялся из ряда обыкновенных существ. Когда он восседал в суде, то сияние, исходящее от моей звезды, озаряло и его, и он казался мне маленьким маяком в море бумаг и документов.

Взяв на себя нянино дело, чем, признаться, я очень гордился, я проделал все, что требовалось в «Докторской общине», а затем повел мою Пиготти в банк и начал хлопотать о переводе вкладов Баркиса на имя его вдовы. Но я показывал ей также достопримечательности Лондона: собрание восковых фигур на Флит-стрит (надеюсь, что за двадцать лет, прошедшие с тех пор, они все растаяли), лондонский Тауэр<sup>[1]</sup>, собор св. Павла, — мы даже, помню, взобрались на его колокольню. Все это доставило ей удовольствие.

Когда дело об утверждении няниного наследства было закончено (эти дела были, в сущности, очень несложны, но вместе с тем очень выгодны для «Докторской общины»), я повел Пиготти в контору «Спенлоу и Джоркинс», чтобы уплатить там судебные издержки и пошлины, Старик Тиффи сказал мне, что мистер Спенлоу отправился в консисторию с одним клиентом, собиравшимся жениться, где он для получения разрешения на вступление в брак должен принести присягу в том, что у него не имеется жены. Зная, что мистер Спенлоу скоро вернется, ибо консистория была по соседству, я сказал няне, что нам лучше обождать его.

У нас в «Докторской общине» было принято вести себя с клиентами сообразно с их делами. Когда являлись утверждать наследство после умершего, то должностные лица бывали скорбны и печальны. То же чувство деликатности заставляло нас сиять, когда являлись клиенты, собиравшиеся вступать в брак. И я намекнул няне, что она найдет мистера Спенлоу в гораздо лучшем виде, чем тогда, когда мы нанесли ему удар, сообщив о смерти Баркиса. Действительно, вскоре он появился в таком веселом настроении, что самого его можно было принять за жениха. Но нам с няней было не до

мистера Спенлоу, ибо рядом с ним мы увидели мистера Мордстона. Он мало изменился. Волосы его были не менее густы и черны, чем раньше, а взгляд внушал мне так же мало доверия, как и в былое время.

— Ах, вы здесь, Копперфильд? — сказал мистер Спенлоу. — Мне кажется, вы знакомы с этим джентльменом?

Я издали поклонился мистеру Мордстону, а Пиготти сделала вид, что едва узнает его. Сперва он был несколько смущен, встретив нас с няней, но потом, быстро решив, как ему вести себя, подошел ко мне.

— Надеюсь, — сказал он, — вы в добром здоровье?

— Думаю, — ответил я, — что это мало может интересовать вас, сэр, но если вам угодно знать — да, я совершенно здоров.

Мы пристально посмотрели друг на друга, а затем мистер Мордстон обратился к Пиготти:

— А как вы живете? С грустью вижу, что вы потеряли мужа.

— Это не первая потеря в моей жизни, мистер Мордстон, — проговорила няня, дрожа всем телом. — Тут я счастлива по крайней мере, что, никто, надеюсь, не виноват в этой смерти и никому не придется отвечать за это перед господом.

— Да, это может служить большим утешением, — ответил мистер Мордстон. — Вы, значит, считаете, что выполнили свой долг?

— Я благодарю бога, — продолжала няня, — что не заела ничьей жизни. Да, мистер Мордстон, я не замучила и не загнала преждевременно в могилу кроткого, милого существа.

Отчим мрачно посмотрел на Пиготти, и мне показалось, что в нем заговорила совесть, а затем, повернувшись, ко мне, но смотря не в лицо мне, а на ноги, проговорил:

— Вряд ли нам с вами скоро опять придется встретиться, и, конечно, этому можно только порадоваться, ибо такие встречи никогда не могут быть приятны. Я не жду, чтобы вы, который всегда, восставали против моего права руководить вами и исправлять вас, могли хорошо относиться ко мне. Между нами с\_у\_щ\_е\_с\_т\_в\_у\_е\_т неприязнь...

— И, кажется, давняя, не правда ли? — перебил я его.

Он улыбнулся и бросил на меня самый злобный взгляд, на какой только были способны его черные злые глаза.

— Неприязнь эта жила в вашей душе, когда вы были еще ребенком, — снова заговорил отчим, — она отравила жизнь бедной вашей матери. Да, вы правы: неприязнь эта давняя, но я все-таки хочу надеяться, что вы теперь лучше себя ведете и вообще исправились.

Этими словами он закончил разговор со мной, который велся вполголоса в углу конторы, и направился в кабинет мистера Спенлоу. Входя туда, он громко, самым приятным голосом, заметил:

— Люди вашей профессии, мистер Спенлоу, прекрасно знают, что такое семейные распри и как они всегда бывают запутанны и неприятны.

После этого мистер Мордстон заплатил за свое разрешение вступить в брак и, получив от мистера Спенлоу аккуратно сложенный документ вместе с рукопожатием и пожеланием счастья как ему, так и будущей его супруге, ушел из конторы.

Мне было бы гораздо труднее сдержаться и ничего не возразить на слова моего отчима, если бы в это время мне не нужно было делать невероятных усилий, чтобы успокоить няню и убедить ее, что контора отнюдь не подходящее место для разных пререканий и сцен. Моя Пиготти так была взволнована, что я рад был, когда она, растроганная воспоминанием о наших старых обидах, бросилась мне на шею в присутствии мистера Спенлоу и его клерков.

Повидимому, мистер Спенлоу не знал, в каком родстве мы были с мистером Мордстоном, и я был очень рад этому. Патрон мой почему-то решил, что в нашей семье бабушка стоит во главе господствующей партии, а во главе бунтующей стоит кто-то другой. Я, по крайней мере, заключил это из его разговора, пока мы ждали, чтобы мистер Тиффи закончил наш счет.

— Мисс Тротвуд, — заметил мой патрон, — женщина твердого характера и несомненно не допустит в вашем роду никакой оппозиции, никакого бунта. Я уважаю ее характер и поздравляю вас, что вы на ее, то есть на правой, стороне. Разногласия между родственниками достойны сожаления, но они обычно неизбежны. Большое дело уметь найти правую сторону.

Под правой стороной он разумел богатую, денежную сторону.

— А кажется, мистер Мордстон делает очень недурную партию, — продолжал мистер Спенлоу.

Я ответил ему, что ровно ничего относительно этого не ведаю.



— Вот как! — воскликнул он. — А я заключил по нескольким вырвавшимся у него словам, а также из того, что я слышал из уст его сестры, мисс Мордстон, что он довольно-таки хорошо женится.

— Вы, сэр, имеете в виду состояние? — спросил я.

— Да, — ответил мистер Спенлоу. — Я так понял, что его невеста богата и красива.

— Правда? Правда? А его невеста молода? — поинтересовался я.

— Она только что достигла своего совершеннолетия. По-видимому, они только и ждали этого, — пояснил мистер Спенлоу.

— Господи, спаси и помилуй ее! — воскликнула няня, и что вырвалось у нее так неожиданно и непосредственно, что мы все трое немного смутились.

К счастью, вскоре появился со счетом мистер Тиффи и передал его для просмотра патрону. Мистер Спенлоу, поглаживая свой подбородок, почти ушедший в накрахмаленный воротник, пробежал весь счет глазами; при этом лицо его омрачилось (очевидно, его огорчало корыстолюбие Джоркинса), и он со вздохом вернул счет обратно старику Тиффи.

— Да, все так, все верно, — проговорил мистер Спенлоу. — Я почел бы себя счастливым, Копперфильд, если б мог исключить что-нибудь из этого счета. Но вы ведь знаете, что досадная сторона моей деятельности заключается в том, что я не могу сообразоваться со своими желаниями, раз у меня есть компаньон, мистер Джоркинс.

Заключив из меланхолического тона мистера Спенлоу, то ни о какой скидке не может быть и речи, я поблагодарил его от имени Пиготти и передал деньги мистеру Тиффи. Затем Пиготти пошла домой, а мы с патроном отправились на заседание суда. Дорогой мистер Спенлоу сообщил мне, что через неделю день рождения Доры и он будет очень рад, если я приму участие в маленьком пикнике<sup>[2]</sup>, устроенным в ее честь. Я растерялся от счастья, а на следующий день совсем одурел, когда получил изящный листочек бумаги, где было написано: *С разрешения папы напоминаю.* Все время до этого великого дня я пребывал в идиотском состоянии и каких только глупостей не натворил, готовясь к такому священному событию! Я и теперь краснею, вспоминая, какой я раздобыл себе галстук. А сапоги мои могли бы свободно занимать место в коллекции орудий пытки. Я запасся целой корзиной разных вкусных вещей и накануне вечером

отослал ее в Норвуд дилижансом. Мне казалось, что содержание корзины уже само по себе было объяснением в любви: в ней были бисквиты, завернутые в бумажки с самыми нежными надписями, какие только можно было найти у кондитера. В шесть часов утра я был уже на Ковенгарденском рынке и покупал чудесный букет для Доры, а в десять ехал в Норвуд верхом на великолепной серой лошади, нанятой мной для этого случая. Чтобы не помять букет, я поставил его в свой цилиндр.

Издали еще я увидел Дору в саду, но сделал вид, будто не замечаю ее, и проехал мимо, притворяясь, что разыскиваю ее дом. Мне кажется, что эти плустики сделали бы на моем месте и другие влюбленные юноши, до того, помнится, плустики эти казались мне естественными и умными. Но вот, наконец, я нашел дом, спрыгнул с лошади у садовой калитки и, пройдя через зеленую лужайку, очутился перед Дорой. Она сидела на скамейке под кустом цветущей сирени. Как хороша была она в своем небесного цвета платье и белой соломенной шляпке в это чудесное утро, среди порхающих бабочек!

Рядом с нею сидела сравнительно пожилая уже девушка — лет двадцати, сказал бы я. Ее фамилия была мисс Мильс, а Дора звала ее Джулией. Она была закадычным другом Доры. Счастливая мисс Мильс! Тут же был и Джип, и снова он начал на меня лаять. Когда же я поднес букет моей богине, он заскрежетал зубами от ревности. Песик мог это делать, да, мог, если б имел хотя малейшее представление о том, как обожаю я его хозяйку!

— О, благодарю вас, мистер Копперфильд! Что за чудесные цветы! — воскликнула Дора.

Я собирался было ответить (обдумывал я это, едучи сюда, целых три мили), что они и мне казались чудесными до тех пор, пока я не увидел их рядом с ней, но у меня это не вышло, слишком была она восхитительна! Откуда было взять присутствие духа, как было не утратить способности говорить, не быть охваченным экстазом, когда она взяла и прижала мои цветы к своему очаровательному маленькому подбородку с ямочкой! Я удивляюсь, как не сказал я в эту минуту мисс Мильс: «Если у вас есть в груди сердце, убейте меня! Дайте мне здесь умереть! Здесь!»

Потом Дора дала понюхать мой букет Джипу. Он заворчал и не захотел нюхать. Дора засмеялась и, желая подразнить песика,

поднесла цветы совсем к его носу. Тут Джип разозлился, вырвал один цветок герани и принялся так терзать его, как будто это была кошка. Дора рассердилась на него, шлепнула и проговорила:

— Бедные мои, чудесные цветочки!

Она сказала это с таким сочувствием, словно Джип искусал меня самого. Как жаль, что он этого не сделал!

— Я уверена, мистер Копперфильд, — обратилась ко мне Дора, — вы будете в восторге, узнав, что нет злющей мисс Мордстон. Она отправилась на свадьбу к брату и пробудет у него не менее трех недель. Разве это не восхитительно?

Я ответил, что, конечно, это восхитительно для нее, а все, что восхитительно для нее, так же восхитительно и для меня. Мисс Мильс снисходительно-благодарно улыбнулась нам с видом человека, умудренного опытом.

— Это самое неприятное существо, какое мне приходилось встречать, — продолжала Дора. — Вы не можете себе представить, Джулия, до чего она отвратительна и что за ужаснейший у нее характер!

— Я-то, дорогая моя, могу это представить себе, — заметила Джулия.

— Вы, конечно, можете, — сказала Дора, нежно беря ее за руку. — Простите, душечка, я должна была знать это.

Из этих слов я заключил, что в прошлом у мисс Мильс были тяжелые испытания, чем, быть может, объяснялась подмеченная мною, ее глубокомысленная и снисходительная улыбка. В течение дня я узнал, что не ошибся. Мисс Мильс когда-то не повезло в любви, и она решила, что все для нее в жизни кончено. Это, однако, не мешало ей относиться с участием к не омраченным еще мечтам и любви молодежи.

Но вот из дома вышел мистер Спенлоу. Дора подбежала к нему и, показывая букет, сказала:

— Посмотрите, папочка, какие прелестные цветы!

А мисс Мильс задумчиво улыбнулась, как будто хотела сказать: «Весенние вы мотыльки! Наслаждайтесь же ясным утром нашего короткого счастья!»

Все мы направились через сад к уже поданному экипажу. Никогда не было и не будет для меня такой прогулки! В коляске их было только

трое, да еще их корзина, моя корзина и гитара в футляре. Конечно, экипаж был открытый, и я ехал позади них, а Дора сидела спиной к лошадям и смотрела на меня. Букет мой лежал подле нее, и она не пускала к нему Джипа, боясь, что он помнет его. Она часто брала букет в руки и, видимо, наслаждалась его свежим ароматом. В эти минуты наши глаза встречались, и до сих пор мне непонятно, как я не слетел в их коляску через голову моего серого красавца-скакуна.

Кажется, было пыльно и, кажется, даже очень пыльно. Помнится, как будто мистер Спенлоу увещевал меня держаться подальше от столба пыли, вившегося за экипажем, но я этой пыли не замечал. Сквозь свой любовный туман я видел только красавицу Дору... Мистер Спенлоу порой вставал и, указывая на окружающие нас виды, спрашивал меня, как я их нахожу. Я отвечал, что они восхитительны. И действительно, это было так, ибо перед глазами у меня была только Дора. В лучах солнца была Дора, птицы щебетали о Доре, ветер нашептывал о Доре, дикие цветы на изгородях все, до последнего бутона, распустились только для Доры... Мне радостно было чувствовать, что мисс Мильс понимает меня. Одна она могла постигнуть всю глубину моих чувств!

Не знаю уж, как долго мы ехали, и посеичас не ведаю, где мы были. Быть может, около Гильфорда, а быть может, какой-нибудь волшебник из «Тысячи и одной ночи» создал нарочно для нас это место и после нашего отъезда стер его с лица земли. Помнится зеленый холм, покрытый мягкой травой, тенистые деревья, вереск, а кругом живописные виды.

С досадой увидел я, что здесь нас ждет целое общество, и во мне закипела безграничная ревность, даже к женщинам. А что касается представителей моего пола, и особенно одного, который был года на три-четыре старше меня и невыносимо важничал своими рыжими бакенбардами, то я их считал своими смертельными врагами.

Распаковав свои корзины, мы занялись приготовлениями к обеду. Рыжий уверил, что умеет готовить салат (в чем я очень сомневался), и благодаря этому стал центром общего внимания. Некоторые из молодых леди принялись мыть салат и резать его по указанию рыжего. Дора была в их числе. Я почувствовал, что судьба роковым образом столкнула меня с этим человеком и один из нас должен погибнуть... Рыжий в конце концов приготовил-таки свой салат. Не

понимаю, как они были в состоянии есть его! Меня ничто не могло бы заставить даже до него дотронуться! После этого рыжий провозгласил себя виночерпием и, видимо, будучи от природы изобретательной бестией, устроил винный склад в дупле соседнего дерева. Наконец наглость его дошла до того, что я вдруг увидел, как он, положив себе на тарелку почти целого омара, уселся уничтожать его у самых ног Доры.

Не могу даже ясно вспомнить, что было со мной после того, как взорам моим представилась эта возмутительная картина. Знаю, что я был очень весел, но веселость эта была деланная. Я подсел к какому-то юному существу с крошечными глазками, в розовом, и напропалую стал ухаживать за ним. Оно благосклонно отнеслось к моему ухаживанию, не знаю уж, потому ли, что я был в его вкусе, или же оно желало этим подзадорить рыжего. Провозглашен был тост за здоровье Доры. Я сделал вид, что с трудом отрываюсь для этого от страшно интересного для меня разговора, и тотчас же снова начал оживленно болтать со своей соседкой. Кланяясь Доре, в то время как я пил за ее здоровье, я встретил ее взгляд, и прочел в нем мольбу. Но взгляд этот был брошен через голову рыжего, и я был неумолимо тверд, как алмаз...

У моего юного существа в розовом была мать в зеленом и она, очевидно, из каких-то своих видов, разлучила нас. Тут обед кончился, стали укладывать остатки провизии в корзины, и я воспользовался суетой, чтобы одному уйти в лес. Помнится, я был взбешен и в то же время мучился угрызениями совести. Я только начал обдумывать, не следует ли мне представиться больным и ускакать на моем сером красавце, уж сам не знаю куда, как вдруг встретился лицом к лицу с Дорой и мисс Мильс.

— Мистер Копперфильд, — сказала мисс Мильс, — вы что то грустны.

— Извините, нисколько, — отозвался я.

— А вы, Дора, грустны, — обратилась к ней Джулия. — Ах нет, ничуть!

— Мистер Копперфильд и Дора, — проговорила мисс тоном почти пожилой женщины, — бросьте это! Не давайте какому-то пошлому недоразумению губить весенние цветы! Помните, что, увянув, они не расцветут больше. Я говорю, — продолжала она, —

наученная опытом прошлого, далекого невозвратного прошлого. Не нужно из-за какого-то каприза забивать источник, откуда бьет живительная, сверкающая на солнце вода, и этим губить цветущий оазис Сахары.

Я не отдавал себе отчета в том, что делаю, ибо голова моя пылала. Я взял ручку Доры, поцеловал ее, и она не отняла ее у меня. Потом я поцеловал руку мисс Мильс, и мне почудилось, что мы все втроем несемся прямо на седьмое небо.

Мы не вернулись на поляну, а остались в лесу. Бродили мы с Дорой среди деревьев, и ее маленькая ручка так застенчиво опиралась на мою. И как ни глупо все, что происходило, а сделай тогда нас боги бессмертными, было бы великим счастьем в таком состоянии вечно бродить среди этого леса.

Но, увы, слишком скоро донеслись до нас смех и говор остальных, и кто-то спросил: «Где же Дора?» Нам пришлось присоединиться к остальному обществу. Дору стали просить спеть. Рыжий тут хотел было итти к экипажу за гитарой, но Дора заявила, что никто, кроме меня не сможет найти ее. И так с рыжим вмиг было покончено... Я принес футляр с гитарой, я открыл его, я вынул гитару, я сидел подле нее, я держал ее носовой платочек и перчатки, я жадно упивался каждой ноткой ее чарующего голоса, и она пела только для меня одного, обожающего ее. Пусть остальные аплодировали ей, сколько им было угодно, но пела она совсем не для них. Радость опьяняла меня. Счастье казалось мне слишком огромным, и я боялся, что вот-вот проснусь в своей букингамской квартире и услышу, как миссис Крупп стучит посудой, приготавливая завтрак. Но нет: Дора продолжала петь, а после нее мисс Мильс спела про «Эхо, дремлющее в пещерах воспоминаний», с таким выражением, словно она сама прожила сотню лет. Наступил вечер. Мы, точно цыгане, пили чай из котелка, вскипяченного на костре. И я все продолжал утопать в блаженстве...

Но блаженство это еще возросло, когда пикник кончился и все гости, в том числе и побежденный рыжий, разъехались по домам и мы тоже двинулись в обратный путь.

Вечерело, было тихо, чудно пахло лесом, травами, цветами... Мистер Спенлоу, выпив изрядное количество шампанского (да будет благословенна земля, возраставшая виноград, солнце, давшее возможность созреть винограду, из которого было сделано это

шампанское, и да будет благословен даже виноторговец, наверное, подделавший его!), вскоре крепко заснул в углу коляски, а я ехал рядом и не переставал говорить с Дорой. Она восхищалась моим конем и даже погладила его (о, как прелестна была ее ручка на шее моего серого скакуна!). Шаль Доры никак не хотела держаться на плечах хозяйки, и я все поправлял ее. Мне показалось даже, что Джип смекнул, в чем тут дело, и решил, что надо со мной подружиться. А проницательная мисс Мильс, эта прелестная отшельница, едва достигшая двадцати лет и уже не желавшая будить эхо, — как она была добра ко мне!

— Мистер Копперфильд, — сказала мисс Мильс, — если можете уделить мне минутку, потрудитесь подъехать к этой стороне коляски: мне надо что-то сказать вам.

И вот я, гарцуя на своем сером красавце, уже склоняюсь над мисс Мильс, придерживаясь рукой за коляску.

— Дора будет гостить у меня, — тихо начала Джулия. — Она приедет ко мне послезавтра. Если вам угодно побывать у нас, я уверена, папа будет очень рад вас видеть.

Мог ли я тут не призвать мысленно благословение на голову мисс Мильс, не постараться всеми силами удержать ее адрес в памяти и не сказать, с горячей благодарностью глядя на нее, насколько я ценю ее услуги и до чего драгоценна для меня ее дружба!

На это мисс Мильс добродушно кивнула мне головой и сказала:

— Вернитесь к Доре.

Повторять это мне не пришлось. Дора высунулась из коляски, и мы проговорили с ней всю дорогу. Я заставлял так близко держаться к колесу моего скакуна, что несчастный ободрал себе левую ногу. (На следующий день его хозяин заявил мне, что кожи у лошади было сорвано на три фута стерлингов и семь шиллингов. Я беспрекословно отдал ему деньги, считая, что чрезвычайно дешево заплатил за столько радости).

Пока мы с Дорой говорили, мисс Мильс глядела на луну и, тихо декламируя стихи, думала, верно, об ушедших днях...

Норвуд, к великому сожалению, оказался гораздо ближе, и мы приехали гораздо раньше, чем этого хотелось. Мистер Спенлоу проснулся, подъезжая к дому, и пригласил меня зайти к ним отдохнуть. Я, конечно, с радостью принял это приглашение. Нам

подали бутерброды и воду с вином. В ярко освещенной комнате Дора с покрасневшими щеками была до того хороша, что я не мог оторвать глаз от нее и, сладко мечтая, сидел до тех пор, пока громкий храп мистера Спенлоу не убедил меня в необходимости откланяться. Мы расстались, и все время, пока я ехал домой, я чувствовал на руке прощальное прикосновение ручки Доры. В то же время я тысячи раз перебирал в памяти каждое ее словечко, каждое ее движение... Наконец я улегся в постель. Думаю, что никогда никого влюбленность не доводила до такого одурелого состояния.

Проснулся я с твердым намерением открыть Доре свою любовь и узнать, что ждет меня — величайшее ли счастье или несчастье. И на это могла ответить мне только одна Дора. Три дня провел я в страшных мучениях, нигде не находя себе места. Наконец, потратив немало денег на свой туалет и одевшись как можно параднее, я отправился с готовым объяснением в любви к мисс Мильс.

Не стоит говорить, сколько раз прошел я взад и вперед по улице, прежде чем решился взойти на крыльцо дома, где жила мисс Мильс, и постучать в дверь. Даже когда я уже постучал, у меня мелькнула мысль, спросить (подражая Баркису), не здесь ли живет мистер, Блэкбой, и, извинившись, сбежать. Но я поборол в себе это малодушие.

Мистера Мильса не было дома. Да его и не нужно было. Дома была мисс Мильс. Вот это было важно. Меня провели наверх, в комнату, где сидели мисс Мильс и Дора. Здесь же был и Джип. Мисс Мильс переписывала ноты (помню, это был романс «Похоронная песнь любви»), а Дора рисовала цветы. Можно вообразить, что почувствовал я, узнав на рисунке поднесенный мною букет, тот самый, что я купил на Ковентгарденском рынке! Не могу сказать, чтобы цветы на рисунке очень походили на мои цветы и вообще на когда-либо виденные мною цветы, но я узнал свой букет по бумаге, в которую он был завернут, — она была на рисунке передана очень верно.

Мисс Мильс была очень рада видеть меня и жалела, что ее папы нет дома, но, помнится, мы все трое мужественно перенесли его отсутствие.

Мисс Мильс поговорила со мной несколько минут, а затем встала, положила перо на «Похоронную песнь любви» и вышла из комнаты.



Мне начало приходить в голову, не отложить ли свое объяснение в любви до завтра.

— Надеюсь, что ваша бедная лошадь не слишком была утомлена, добравшись домой? — спросила Дора, глядя на меня своими дивными глазами. — Ей пришлось немало-таки пробежать.

Я тут подумал, что обязательно следует объясниться сегодня же.

— Да, — ответил я, — моя лошадь, пожалуй, могла устать, так как у нее не было ничего, что могло бы поддерживать ее силы.

— Разве у бедняжки не было корма? — осведомилась Дора.

Я опять стал склоняться к тому, чтобы все отложить до завтра.

— Нет, нет, недостатка ни в чем у нее не было, — заикаясь, проговорил я, — но я хотел сказать, что лошадь не испытывала невыразимого счастья, какое выпало на мою долю, — быть так близко подле вас.

Дора склонилась над своим рисунком и немного погодя (эти минуты я весь был словно в огне, а ноги были у меня, как лед) промолвила:

— Но одно время вы что-то не очень дорожили этим счастьем.

И увидел, что отступление невозможно и надо немедленно действовать.

— Вы, например, несколько не дорожили этим счастьем, сидя с мисс Китти, — пояснила Дора, подняв брови и тряхнув головкой.

Надо сказать, что мисс Китти была то юное существо с маленькими глазенками, в розовом.

— Хотя, конечно, — продолжала Дора, — почему вам дорожить этим счастьем и вообще почему это даже называть счастьем? Просто, это вы говорите так, на ветер, и вы совершенно вправе делать все, что вам угодно... Джип, скверная собачонка, сюда!

Не знаю уж, как это случилось. Все произошло в одно мгновение. Я опередил Джипа и схватил Дору в свои объятия. Я вдруг стал необыкновенно красноречив, слов мне не приходилось искать. Я говорил ей, как люблю ее, как могу умереть без нее, как боготворю и поклоняюсь ей... А Джип в это время надрывался от лая. Когда же Дора склонила головку и заплакала, мое красноречие совсем вышло из берегов. Я молил ее сказать одно слово — и я сейчас же с радостью умру ради нее. Я говорил ей, что жизнь без ее любви не имеет для меня никакой цены и такой жизни и не могу и не хочу выносить;

говорил, что с того момента, как увидел, полюбил ее, думал о ней каждую минуту и днем и ночью и в этот момент люблю ее до безумия. «Я знаю, — восклицал я, — что люди любили до меня и будут любить после меня, но никто никогда не смог и не сможет любить так, как я люблю вас!»

И чем больше я приходил в неистовство, тем громче лаял Джип. Каждый из нас по-своему с каждой минутой становился все безумнее.

Но вот мы оба с Дорой уже довольно спокойно сидим на диване, а Джип лежит на коленях своей хозяйки и, моргая, миролюбиво поглядывает на меня. Гора свалилась с моих плеч. Я блаженствую. Мы с Дорой помолвлены.

Решили мы с Дорой нашу помолвку держать в тайне от мистера Спенлоу, и мне в голову не приходило, что в этом есть нечто предосудительное. Когда Дора, отыскав мисс Мильс, привела ее с собой, та была задумчивее обыкновенного. Боюсь, что происшедшее с нами пробудило эхо, дремавшее в ее памяти. Но это не помешало ей благословить нас и уверить в своей вечной дружбе. Говорила она с нами, как подобает говорить отшельнице, отрекшейся от света.

Какое это было беспечное, счастливое, головокружительное, глупое время!

Помню, как я, сняв мерку с пальчика Доры, заказывал ювелиру колечко из незабудок, и тот, прекрасно понимая, в чем тут дело, посмеивался, записывая в книгу мой заказ, и взял с меня все, что ему заблагорассудилось. Это колечко с голубыми камушками до того связано у меня с образом Доры, что вчера, увидав похожее на руке дочери, я почувствовал, как сердце мое сжалось от боли.

Когда я, высоко подняв голову, с восторгом нося в сердце своем тайну, ходил по лондонским улицам, гордый тем, что люблю и любим, мне казалось, что я парю в воздухе над всеми этими ползающими по земле существами.

А эти воробьи в городском сквере, где мы, такие счастливые, сидели с Дорой в пыльной беседке... И до сих пор из-за этого люблю я лондонских воробьев, и радужным кажется мне их серое оперение.

Как забыть мне первую нашу серьезную ссору (приблизительно через неделю после нашей помолвки), когда Дора отослала мне обратно обручальное кольцо в треугольно сложенной записке самого грозного содержания, где имелась такая фраза: «Наша любовь

началась глупостью и кончилась сумасшествием». Эти ужасные слова заставили меня рвать на себе волосы и рыдать, так как я считал, что все между нами кончено.

Помню, как под покровом ночи я пробрался к мисс Мильс и мне удалось украдкой повидаться с ней в чулане за кухней, где стоял каток для белья. Я молил ее быть посредницей между нами и спасти меня от безумия. Мисс Мильс взялась примирить нас. Она сходила за Дорой и привела ее в чулан. Тут она, указывая на собственную разбитую жизнь, стала увещевать нас итти на уступки и не создавать из нашей молодой жизни подобие Сахары.

Мы с Дорой расплакались, помирились, и нас охватило такое счастье, что чулан с катком для белья показался нам настоящим храмом любви. Здесь же мы условились переписываться через посредство мисс Мильс не меньше одного письма в день.

Да, какое это было беспечное, счастливое, головокружительное, глупое время! Во всей моей жизни нет другого времени, о котором я вспоминал бы с такой веселой улыбкой, с такой нежностью и душе.

## *Глава V*

### *Бабушка удивляет меня*

Как только мы с Дорой были помолвлены, я тотчас же об этом сообщил Агнессе. Я написал ей длинное письмо, где старался дать представление о том, до чего я счастлив и что за сокровище моя Дора. Я умолял Агнессу не смотреть на это как на легкомысленный роман, на смену которому может появиться другой такой же, или как на одно из тех мальчишеских увлечений, над которыми мы бывало с ней потом подсмеивались. Я ее уверял, что глубина моей любви бездонна и что любить так, как я люблю, никто еще не любил на свете.

Когда я все это писал, сидя чудесным вечером у открытого окна, я так живо представил себе ясные, спокойные глаза Агнессы, ее милое личико, что на мою мятущуюся, взволнованную душу повеяло блаженным спокойствием, а из глаз побежали тихие слезы. Помню, как я сидел, склонив голову на руки, перед наполовину написанным письмом и мечтал о том, каким бы счастьем было для меня, если бы я мог всегда иметь Агнессу у своего домашнего очага. Я чувствовал, что нигде нам с Дорой не может быть лучше, чем в доме, где будет мой друг детства. Мне казалось, что во всех моих переживаниях: в любви, в радости, в горе, упованиях, мечтах, разочарованиях — я всегда найду в Агнессе родную, близкую душу.

В письме своем я не упомянул имени Стирфорта. Я только рассказал ей о горе моих ярмутских друзей, вызванном бегством Эмилии, и прибавил, что вследствие обстоятельств, при которых это произошло, бегство моей подруги детства было для меня двойным горем.

Зная проницательность Агнессы, я не сомневался, что она поймет, на что я намекаю, но также был уверен, что первая она не заикнется о Стирфорте.

С обратной почтой я получил ответ на это письмо. Когда я читал его, мне казалось, что в ушах моих звучит нежный дружеский голос Агнессы. Уж этим все сказано.

За последнее время, когда я так часто не бывал дома, ко мне раза два или три заходил Трэдльс. Узнав от Пиготти, что она моя бывшая

няня (старушка сейчас же всем об этом докладывала), Трэдльс подружился с ней и потом, не заставляя меня, оставался посидеть, чтобы поболтать с ней обо мне. Но боюсь, что моему школьному товарищу вряд ли удавалось вставить хотя одно слово, — говорила, наверное, без умолку одна моя няня, как всегда, когда разговор заходил о моей особе.

Это напоминает мне не только то, что я в тот вечер ожидал Трэдльса, обещавшего притти ко мне, но также и отказ миссис Крупп выполнять какие бы то ни было обязанности квартирной хозяйки (кроме получения платы) до тех пор, пока Пиготти не перестанет бывать у меня. Сначала миссис Крупп громко и раздраженным тоном говорила об этом на лестнице, по всей вероятности, обращаясь к домовому, ибо никого другого с ней не было, а затем изложила свои взгляды в письме. Начиналось это послание заявлением, которое миссис Крупп пускала в ход при всех обстоятельствах жизни, а именно, что она сама мать; затем, сославшись на то, что знала гораздо более счастливые дни, она уверяла, что во все времена органически не могла переваривать шпионов, проныр и ябедников, особенно в траурном, вдовьем платье. Если ее жилец желает быть жертвой подобных лиц, то уж это, конечно, его добрая воля. Сама же она с такими личностями не хочет иметь никакого дела и потому, извиняясь, объявляет, что до тех пор, пока все не будет попрежнему, она не намерена служить жильцу верхнего этажа. В конце своего послания миссис Крупп упоминала о том, что каждую субботу утром на моем обеденном столе будет лежать ее книжечка с недельным счетом, по которому, во избежание всяких неприятностей для обеих сторон, должно быть немедленно уплачено.

Сделав это заявление, миссис Крупп принялась устраивать на лестнице засады, преимущественно из кувшинов, очевидно рассчитывая на то, что Пиготти, попав в ее западню, свалится и переломает себе ноги. Конечно, жить в таком осадном положении было далеко не приятно, но я слишком боялся миссис Крупп, чтобы искать из него выхода.

Несмотря на все построенные на лестнице заграждения, Трэдльс в условленное время благополучно добрался до меня.

— Здравствуйте, дорогой Копперфильд! — крикнул он, входя.

— Я в восторге, дорогой Трэдльс, что наконец вижу вас, — и очень огорчен, что вы меня не заставляли дома. Но я был так занят...

— Да, да, я знаю, — перебил меня Трэдльс, — это само собой разумеется. «Ваша» ведь живет в Лондоне?

— Что вы хотите этим сказать?

— Ну, ведь «она»... простите, пожалуйста... мисс Д. живет в Лондоне? — краснея и смущаясь, проговорил Трэдльс.

— Да, да, близ Лондона.

— А «моя»... помните, я вам рассказывал: одна из десяти дочерей... в Девоншире, — с серьезным видом сказал Трэдльс, вот почему в этом отношении я не так занят, как вы.

— Удивляюсь, как можете вы так долго не видеться с нею! — воскликнул я.

— Да, — задумчиво проговорил Трэдльс, — я сам себе порой задаю этот вопрос. Но что же поделаешь, когда нельзя иначе?

— Конечно, только этим и можно объяснить, — ответил я, слегка краснея, — да еще тем, что у вас, Трэдльс, так много мужества и терпенья.

— Бог мой! Вы действительно так думаете? — воскликнул Трэдльс. — А я, вот видите, и не подозревал этого. Впрочем, моя невеста такая удивительная девушка, что, быть может, она умудрилась передать и мне кое-что из своих добродетелей. Право, это возможно. Уверяю вас, Софи никогда не думает о себе, а только о девяти остальных.

— Что, она старшая из сестер? — спросил я.

— О нет! — ответил Трэдльс. — Старшая — красавица.

Тут, повидимому заметив, что я улыбнулся наивности, с какой это было сказано, он также с улыбкой начал пояснять мне:

— Конечно, моя Софи... А правда, это красивое имя, Копперфильд?

— Да, красивое, — согласился я.

— Так, повторяю, Софи в моих глазах прелестна, и мне кажется, что в глазах каждого, кто только знает ее, она одна из лучших девушек на свете. Но говоря, что старшая — красавица, я хотел сказать... ну, как бы это выразить?... что она ослепительно хороша.

— В самом деле?

— Да, уверяю вас, что девушка необыкновенной красоты. Но, понимаете ли, будучи создана блистать в обществе, служить предметом поклонения, она, лишенная всего этого из-за недостатка средств, может быть порой и раздражительной и требовательной. И вот Софи умеет привести ее в хорошее настроение.

— Что же, Софи самая младшая? — спросил я.

— О нет! — ответил Трэдльс, глядя себе подбородок. — Младшим сестрам десять и девять лет, Софи воспитывает их.

— Так, значит, она вторая? — продолжал я допрашивать.

— Нет, вторая — Сарра. У нее, бедняжки, что-то неладно с позвоночником. Доктор уверяет, что она поправится, но пока ей надо целый год пролежать в кровати. И Софи ухаживает за ней. Моя Софи — четвертая.

— А мать их жива? — осведомился я.

— Как же, жива, — ответил Трэдльс. — Она превосходная женщина, но ей вреден сырой климат, и она лишилась способности двигаться.

— Какое несчастье! — воскликнул я.

— Правда, как печально? — сказал Трэдльс. — Но что касается хозяйства, то это несчастье мало отражается на нем, так как его ведет Софи. Она, знаете, является матерью и для своей матери, так же как и для девяти сестер.

Я пришел в восторг от этой удивительной девушки и, с самым благим намерением оградить будущее счастье Трэдльса от злоупотреблений Микобера, спросил, как тот поживает.

— Хорошо, благодарю вас, Копперфильд, — ответил Трэдльс. — Я уже не живу у них.

— Не живете?

— Да, надо вам сказать, — шопотом заговорил он, — что ввиду временных затруднений он вынужден был переменить свою фамилию на Мортимер и выходить из дому, только когда стемнеет, да притом еще в очках. За неплатеж домовладельцу все его имущество было описано. Миссис Микобер пришла в такое ужасное состояние, что я был не в силах не подписать второго векселя, о котором, помните, мы с вами здесь говорили. Вы представляете себе, какой для меня было отрадой видеть, что благодаря этому все уладилось и к миссис Микобер вернулось ее обычное настроение духа.

— Гм... — промычал я.

— Правда, нельзя сказать, чтобы счастье миссис Микобер было долговечно, — продолжал Трэдльс. — Через неделю последовала вторая опись. Тут мы и разошлись. С тех пор я живу в меблированной комнате, а Мортимеры, как я вам уже сказал, стараются никому не попадаться на глаза. Надеюсь, вы, Копперфильд, не обвините меня в эгоизме, если я вам скажу, что очень жалею о том, что вместе с обстановкой хозяев был продан мой мраморный круглый столик и жардиньерка Софи с цветочным горшком.

— Какая жестокость! — закричал я с негодованием.

— Да, для меня это было тяжеловато, — сказал он, делая гримасу, которой обыкновенно всегда сопровождал это выражение, — но я упомянул об этом отнюдь не для того, чтобы кого-либо упрекать, а вот почему. Во время публичной продажи я не мог выкупить этих вещей вследствие того, что продавец, видя, что я заинтересован в них, заломил за них втридорога, а кроме того, у меня в тот момент совсем не было денег. С тех пор я не спускал глаз с магазина, что на Тотендемской улице, где находятся эти вещи, и сегодня увидел их в окне на выставке. Конечно, я производил свои наблюдения с противоположной стороны улицы, ибо заметить меня только хозяин магазина, он опять заломил бы за них огромную сумму. Теперь во что пришло мне в голову. Если вы ничего не имеете против этого, я попрошу вашу няню пойти со мной (я смог бы указать ей лавку хотя бы с угла соседнего переулка) и купить эти вещи, по возможности дешевле, как будто для себя.

Словно сейчас вижу я, с какой радостью развивал Трэдльс этот план и как он был горд своей изобретательностью. Я, разумеется, сказал ему, что няня с огромным удовольствием поможет ему и что мы сейчас же все трое отправимся к этому магазину, но с одним условием: чтобы он обещал никогда больше не подписывать векселей Микоберам и вообще не давать им займы.

— Дорогой мой Копперфильд, — ответил Трэдльс, — я уже дал себе такое обещание, ибо я понял, что не только был легкомыслен, но даже поступал недобросовестно по отношению к Софи. А раз я что-либо решаю, так уж, знаете, не меняю решения. Но я охотно дам и вам торжественное обещание, что впредь делать этого не буду. Первый злосчастный вексель мною уже оплачен. Я не сомневаюсь, что мистер



Микобер оплатил бы его сам, если бы мог, но он не был в состоянии достать денег. Ну, а теперь скажу вам, что я ценю в мистере Микобере. Вот относительно этого второго векселя, срок которого еще не наступил, он никогда не говорит: «Я уплачу по такому-то векселю», а выражается так: «Сделаю все возможное, чтобы уплатить». Не правда ли, это очень честно и очень деликатно?

Не желая разочаровывать своего приятеля, я утвердительно кивнул головой. Потолковав еще немного, мы с ним направились к свечной лавке, чтобы прихватить с собой мою Пиготти. Провести у меня вечер Трэдльс отказался, во-первых, боясь, что за это время его вещи могут быть кем-нибудь куплены, а во-вторых, это был именно тот вечер, когда он обыкновенно строчил послание «лучшей на свете девушке».

Никогда не забыть мне, как мой приятель вылядывал из-за угла Тотендемской улицы, в то время как Пиготти выторговывала драгоценные для него вещи; не забыть, как он был взволнован, когда няня, очевидно не добившись своего, вышла из магазина и медленно направилась к нам; и как он потом просиял, когда хозяин магазина вышел и позвал няню обратно. В конце концов покупка состоялась таки на довольно выгодных условиях, и Трэдльс был в восторге.

— Я очень, очень благодарен вам, — сказал Трэдльс Пиготти, услышав, что вещи сегодня же будут направлены к нему, — но если я еще попрошу вас об одном одолжении, то вы, Копперфильд, надеюсь, не найдете, что я совсем одурел?

Я поспешил заявить, что, конечно, далек от этого.

— Ну, так я хочу просить вас, — обратился он к Пиготти, — взять сейчас же цветочный горшок (ведь его купила Софи, Копперфильд!), и я сам отнесу его домой.

Няня с превеликим удовольствием исполнила просьбу Трэдльса, и он, рассыпавшись в самых горячих благодарностях, любовно обнял цветочный горшок и пошел домой с таким радостным сиянием на лице, какое мне редко приходилось видеть в жизни.

Мы тоже отправились восвояси. Так как магазины производили на мою Пиготти такое чарующее впечатление, как, кажется, ни одно человеческое существо, то я брел медленно, забавляясь тем, как няня восхищалась выставками, и дожидаясь ее каждый раз, когда ей приходило в голову остановиться. Поэтому мы не так-то скоро

добрались до моей квартиры. Поднимаясь по лестнице, я обратил внимание няни на то, что все заграждения были убраны, а на ступеньках видны были свежие следы ног. Дойдя до верхней площадки, мы оба были очень удивлены, увидев, что дверь моей квартиры, которую я запер уходя, теперь стоит настежь открытой, а из гостиной доносятся голоса.

Мы с недоумением переглянулись и вошли в гостиную. Как же я был изумлен, увидев перед собой людей, могу сказать, наименее ожидаемых из всех живущих на земле, — бабушку и мистера Дика! Бабушка сидела на сундуке, перед нею две клетки с канарейками, на коленях кошка, — совсем как Робинзон в юбке! — и пила чай. Мистер Дик, окруженный багажом, стоял, задумчиво опираясь на большой бумажный змей, подобный тем, которые мы не раз с ним запускали ввысь.

— Бабушка, дорогая! — закричал я. — Вот так неожиданная радость!

Мы нежно с ней расцеловались. Затем я и мистер Дик горячо пожали друг другу руки. Миссис Крупп, которая самым заботливым образом приготавливала чай и уж не знала, как и выразить свое внимание бабушке, задушевым тоном заявила, что она не сомневалась в том, как обрадуется мистер Копперфильд, увидя своих дорогих родственников.

— А вы как поживаете? — обратилась бабушка к совершенно растерявшейся Пиготти.

— Вы помните мою бабушку, Пиготти? — спросил я.

— Ради бога, мой мальчик, не называйте эту женщину таким диким именем! — воскликнула бабушка. — Раз она вышла замуж и освободилась, слава богу, от того ужасного имени, почему же не пользоваться этим преимуществом?.. Как теперь ваша фамилия, П.? — спросила бабушка, идя на такой компромисс, лишь бы не произнести ненавистного имени.

— Баркис, мэм, — ответила няня, почтительно приседая.

— Ну, это уже человеческое имя, — проговорила бабушка. — Как же вы живете, Баркис? Надеюсь, вы здоровы?

Ободренная этими словами и протянутой бабушкиной рукой, Баркис приблизилась, пожала руку бабушке и еще раз присела.

— Вижу, что мы обе с вами постарели с тех пор, как виделись, — сказала бабушка, — а виделись мы, как вам известно, всего один раз. Да, уж и денек выдался тогда! Нечего сказать!.. Трот, дитя мое, еще чашечку чаю.

Я сейчас же почтительно подал ей чай и, видя, что она по своему обыкновению сидит, вытянувшись в струнку, отважился протестовать против того, что она сидит на сундуке.

— Позвольте, бабушка, придвинуть вам сюда диван или кресло, — сказал я. — Зачем вам сидеть в таком неудобном положении?

— Благодарю вас, Трот, — ответила бабушка. — я предпочитаю сидеть на своей собственности.

И, сурово глядя на миссис Крупп, она заявила:

— Мы больше не хотим утруждать вас, мэм.

— Быть может, мэм, прежде чем уйти, мне прибавить чаю в чайник? — спросила миссис Крупп.

— Нет, не нужно, благодарю вас, — ответила бабушка.

— А не прикажете ли, мэм, принести вам еще маслица? — предложила миссис Крупп. — Не угодно ли вам будет скушать свеженькое яичко сейчас из-под курицы, или, может, поджарить вам сальца?.. Скажите, мистер Копперфильд, что бы я могла сделать для вашей дорогой бабушки?

— Ничего не нужно, мэм, благодарю вас. — ответила бабушка.

Миссис Крупп, все время улыбавшаяся, желая этим проявить свою кротость, державшая голову набок как признак слабости своего организма и не перестававшая потирать руки, как бы показывая, что она всегда готова служить тем, кто достоин этого, удалилась из комнаты, продолжая, склонив голову набок, улыбаться и потирать руки.

— Дик, помните, что я вам говорила о людях, пресмыкающихся перед положением и богатством? — спросила бабушка.

Мистер Дик с довольно испуганным видом, будто он позабыл это, поспешил ответить утвердительно.

— Так вот, эта миссис Крупп из подобных людей, — пояснила бабушка. — Баркис, будьте так добры, займитесь чаем и налейте мне еще чашку. Мне вовсе не хотелось, чтобы та женщина это делала.

Я хорошо знал бабушку, и потому мне было ясно, что у нее на душе что-то важное и что приезд ее неспроста, как это могло показаться постороннему человеку.

От меня не укрылось, как она украдкой поглядывала на меня, причем, сохраняя внешне величавое спокойствие, видимо, волновалась и была в нерешительности. Я стал ломать себе голову над тем, не оскорбил ли я ее чем-либо, и совесть шепнула мне, что до сих пор я не сказал ей о Доре. Неужели это могло обидеть ее? Зная, что бабушка заговорит только тогда, когда найдет нужным, я уселся подле нее и с самым непринужденным, веселым видом принялся играть с кошкой и болтать с канарейками. Но веселье мое было напускное, на душе же у меня было очень тревожно. А тут еще мистер Дик, опершись на свой бумажный змей за спиной у бабушки, то и дело указывал на нее и с мрачным видом покачивал головой.

— Трот... — наконец заговорила бабушка, допив чай, утерев губы и заботливо оправив платье. — Баркис, вам незачем уходить. Трот, скажите, вы выработали в себе твердый, самостоятельный характер?

— Надеюсь, бабушка.

— Вы уверены?

— Мне кажется, бабушка.

— Так вот, мой любимый мальчик, как вы думаете, почему я сегодня предпочитаю сидеть на своих вещах?

Не догадываясь, я отрицательно покачал головой.

— Потому, — докончила бабушка, — что теперь это все мое достояние, потому, дорогой мой, что я разорена.

Если бы дом наш со всеми нами вдруг обрушился в реку, то едва ли это могло бы больше поразить меня.

— Дик знает это, — продолжала бабушка, спокойно кладя руку мне на плечо. — Я разорена, дорогой мой Трот. Все, что осталось у меня, вот здесь, в этой комнате, кроме коттеджа<sup>[3]</sup>, который я поручила Дженет сдать внаймы... Баркис, этому джентльмену нужно где-нибудь найти ночлег, меня же, чтобы избежать расходов, вы, быть может, устроите здесь, все равно как, ведь это только на одну ночь! Завтра же посмотрим, что нам делать дальше.

Я был выведен из своего оцепенения (у меня была уверенность, что огорчаюсь я только из-за бабушки), когда она, бросившись ко мне на шею, плача, стала шептать: «Горюю только из-за вас, дорогой».

Но через минуту бабушка уже справилась со своим волнением и проговорила тоном скорее торжествующим, чем подавленным:

— Мы с вами, дорогой мой, должны встретить превратности судьбы мужественно и не дать им запугать себя. Нам нужно сыграть свою роль до конца. Будем же, Трот, вести себя так, чтобы несчастье устало преследовать нас!

## **Глава VI**

# **УНЫНИЕ**

Как только я пришел в себя после ошеломившего меня известия о бабушкином разорении, я сейчас же предложил мистеру Дику проводить его в комнатку, где еще недавно ночевал у своей сестры мистер Пиготти.

К дому, где помещалась свечная лавка, а наверху жила няня, вела и те времена низкая деревянная колоннада. Это сооружение привело в необыкновенный восторг мистера Дика и могло бы примирить его со многими неудобствами; а так как, кроме запахов из свечной лавки и тесноты комнаты, других неудобств, к счастью, не оказалось, то мой старый друг был очарован своим новым помещением. Миссис Крупп, когда мы уходили из дому, с негодованием уверяла, что комната, куда я веду мистера Дика, так мала, что в ней и кошки негде повесить. И вот мистер Дик, усевшись на кровати и поглаживая себе колена, совершенно основательно сказал мне:

— Вы ведь знаете, Тротвуд, что у меня нет ни малейшего желания вешать кошек. Я ни одной никогда не повесил. Так что мне до того, что здесь их нельзя вешать?

Я попытался было узнать, известны ли мистеру Дику причины, вызвавшие такую внезапную и огромную перемену в бабушкиных делах, но, как и следовало ожидать, он об этих причинах ровно ничего не ведал. Он смог только рассказать, что третьего дня бабушка обратилась к нему с такой фразой: «Ну, Дик, такой ли вы философ, каким я вас считаю?» И, когда он ответил: «Да, надеюсь», бабушка сказала: «Дик, я разорена». На это он воскликнул: «Неужели?» — и бабушка, к большому его удовольствию, очень похвалила его. А затем они с бабушкой поехали ко мне и дорогой кушали бутерброды и пили портер.

У мистера Дика был такой сияющий вид, когда он, широко раскрыв глаза, с удивленной улыбкой рассказывал мне это, сидя на кровати и поглаживая себе ногу, что мне стыдно признаться, но я вышел из себя и принялся объяснять бедняге, что разорение — это горе, нищета, голод... Однако сейчас же мне пришлось горько

раскаяться в своей жестокости. Лицо бедного мистера Дика сразу осунулось, он побледнел, слезы градом покатались по его щекам, и он так скорбно посмотрел на меня, что смог бы растрогать более жестокосердого человека, чем я. Мне было гораздо труднее снова его развеселить, чем перед этим привести в уныние. Вскоре из его слов я понял (и это я должен был бы знать раньше), что он был сперва так безоблачен только потому, что питал безграничную веру в умнейшую и удивительнейшую женщину на свете и в мои гениальные умственные способности. Повидимому, он считал, что я в силах победить все, за исключением смерти.

— Что же мы можем предпринять, Тротвуд? — заговорил мистер Дик. — Конечно, у меня имеются мемуары...

— Разумеется, — поддержал я его. — Но пока, мистер Дик, самое главное — это иметь добрый вид и не показывать бабушке, что мы озабочены ее делами.

Мой старый друг горячо с этим согласился и стал умолять меня, чтобы я, как только он сплоскает, сейчас же вернул его на путь истинный каким-нибудь ловким намеком. Это, по его мнению, при моей гениальной изобретательности, мне ничего не стоило. Но, к сожалению, я, видимо, слишком напугал старика, и бедняга, несмотря на все его огромное желание, не был в силах скрыть свой страх. Весь вечер он то и дело поглядывал на бабушку с таким выражением, словно она все худеет на его глазах. Сознывая это, он, чтобы не выдать себя, старался не поворачивать головы, но зато так вращал глазами, что этим еще больше выдавал себя. Я видел, что за ужином он смотрел на хлеб (случайно небольшого размера) с таким видом, как будто между этим хлебцем и голодной смертью не оставалось для нас ничего более. Когда бабушка стала настаивать, чтобы он ел, как обыкновенно, то я замечил, что он украдкой кладет себе в карман остатки своего хлеба и сыра. Несомненно, бедняга надеялся этими кусочками поддержать нас, когда мы станем умирать с голоду.

Бабушка, наоборот, своим спокойствием могла служить примером для нас всех и прежде всего для меня самого. Она была необыкновенно мила с моей няней, за исключением тех моментов, когда я, позабыв, называл ее Пиготти, и, к моему удивлению, — я ведь знал бабушкино отношение к Лондону, — видимо, чувствовала себя здесь совершенно как дома. Бабушка должна была спать в моей

комнате, а я, охраняя ее, — в гостиной. Старушке, при ее боязни пожаров, очень улыбалось такое близкое соседство с Темзой, и, мне кажется, что несомненно несколько успокаивало ее.

— Трот, дорогой мой, — сказала бабушка, видя, что я собираюсь приготовить обычный ее вечерний напиток, — не надо.

— Как, бабушка? Вы так-таки ничего и не хотите?

— Не надо вина, дорогой мой, лучше эль.

— Но вино есть дома. Вы ведь всегда пьете именно вино, — уговаривал я.

— Берегите его на случай болезни, — ответила бабушка. — Зачем тратить вино бестолку? Довольно будет с меня и эля, и не больше полпинты.

Я думал, что мистер Дик упадет в обморок. Но бабушка была непреклонна, и я решил сам отправиться за элем. Так как было уже довольно поздно, то Пиготти и мистер Дик (им надо было идти в свое помещение над свечной лавкой) вышли вместе со мной. Я распрощался с мистером Диком на углу улицы, и он, бедняга, со своим огромным бумажным змеем за спиной казался мне олицетворением человеческого горя.

Вернувшись домой, я увидел, что бабушка, перебирая пальцами оборки ночного чепца, ходит взад и вперед по гостиной. Я стал подогрывать ей эль и поджаривать ломтики хлеба. Когда все для бабушки было готово, она уже сидела у камина в ночном чепце и, приподняв юбку на колени, грела перед огнем ноги.

— Оказывается, дорогой мой, — заявила она, попробовав ложечкой эль, — это гораздо лучше вина и далеко не так вредно для печени.

Повидимому, на моем лице отразилось некоторое сомнение, ибо она прибавила:

— Пустяки, мой мальчик! Если худшего, чем пить эль вместо вина, у нас с вами не случится, так беда еще не велика.

— Конечно, бабушка, если бы это касалось только меня, то я был бы такого же мнения, — проговорил я.

— А теперь? Почему вы не такого мнения?

— Да потому, что между мной и вами, бабушка, огромная разница.

— Что за глупости, Трот! — отозвалась она.



Тут бабушка с непритворным удовольствием стала прихлебывать теплый эль, обмакивая в него поджаренный хлеб.

— Трот, — заговорила она, — вообще я не особенно-то люблю новые лица, но знаете, ваша Баркис мне пришлась по сердцу.

— Эти ваши слова дороже мне ста фунтов стерлингов! — с жаром воскликнул я.

— В удивительном мире мы живем, — промолвила бабушка, почесывая нос. — Совершенно не понимаю, как она могла появиться на свет с таким именем! Спрашивается, не проще ли было бы родиться какой-нибудь Джексон или кем-нибудь в этом роде?

— Быть может, бабушка, и моя няня того же мнения, но ведь она в этом не виновата, — заметил я.

— Пожалуй, и не виновата, — недовольным тоном отозвалась бабушка, вынужденная уступить, — а все-таки это несносное имя. Но, слава богу, она теперь Баркис, — это гораздо лучше. А знаете, Трот, эта Баркис необычайно любит вас.

— Нет ничего на свете, чего бы она для меня не сделала, — горячо заявил я.

— Мне кажется, это правда, — согласилась бабушка. — Представьте себе, эта глупышка сейчас пришла и молила меня взять часть ее денег, уверяя что у нее их слишком много. Вот дурочка!

Бабушка была до того растрогана, что заплакала, и радостные слезы бежали по ее щекам, капая в горячий эль.

— Более нелепого существа на свет не рождалось, — снова заговорила бабушка. — Тогда еще, когда я впервые увидела ее у этой бедной крошки — вашей мамы. — я сразу решила это. Но в этой самой Баркис много хорошего.

Притворяясь, что смеется, бабушка воспользовалась этим, чтобы вытереть глаза, а затем, принялась снова говорить, не забывая в то же время своих поджаренных ломтиков хлеба.

— Ах, боже мой! — со вздохом вырвалось у бабушки. — Я все знаю, Трот. Пока вы ходили с Диком, мы немного посплетничали с Баркис. Все знаю. Не понимаю, уж на что рассчитывают эти несчастные девушки! Лучше было бы им просто размозжить себе голову... ну, хотя бы о камин, — закончила бабушка, глядя на мой камин, который, верно, и подал ей эту мысль.

— Бедняжка Эмилия! — промолвил я.

— О, не говорите мне, что она бедняжка, — возразила бабушка. — Ей надо было раньше подумать о том, сколько причинит она горя... Поцелуйте меня, Трот. Мне больно, что вам так рано пришлось познакомиться с такими переживаниями.

Когда я нагнулся к ней, она, чтобы удержать меня поближе к себе, поставила ко мне на колено свой стакан.

— Ах, Трот, Трот! И вы воображаете, что влюблены?

— Как воображаю, бабушка! — воскликнул я, покраснев, как вареный рак. — Да я ее просто обожаю!

— Обожаете Дору и, наверно, считаете эту девочку обворожительной, не так ли? — спросила бабушка.

— Бабушка, дорогая, да никто не может даже себе представить, насколько она хороша!

— И она не глупа?

— Глупа?! Что вы, бабушка! — воскликнул я.

По правде сказать, мысль, умна ли моя Дора, никогда не приходила мне в голову. Предположение, что она может быть глупа, конечно, обидело меня, но все-таки мысль эта, как нечто новое, запала в мою голову.

— И она не легкомысленна? — продолжала допрашивать бабушка.

— Легкомысленна, бабушка?! — с таким же чувством обиды воскликнул я.

— Ну, хорошо, хорошо, — проговорила бабушка, — я только так спросила и вовсе не хочу умалять ее достоинств. Бедные дети! Вы, значит, действительно думаете, что созданы друг для друга и мечтаете прожить свою жизнь также сладко, как две сахарные фигурки на свадебном пироге, — не так ли, Трот?

Она спросила это так мило, полушутливо, полугрустно, что я совсем был растроган.

— Я прекрасно знаю, бабушка, — ответил я, — что мы оба очень молоды, неопытны и что в наших мыслях и речах много глупого и ребяческого, но мы несомненно любим друг друга искренне и по-настоящему. Допустим на минуту, что Дора может когда-нибудь полюбить кого-нибудь другого, или перестанет любить меня, или то же самое может случиться со мной, — я не представляю даже, что бы это было, — наверно я сошел бы с ума.

— Ах, Трот! — промолвила бабушка с задумчивой улыбкой, качая головой. — Как не сказать, что вы слепы, слепы, слепы... Я кого-то знаю, Трот, — заговорила после некоторого, молчания бабушка, — кто, будучи очень мягкого характера, отличается слишком: пылкими чувствами, напоминая этим бедную крошку — свою маму. И вот человек этот должен искать себе прочную, верную опору в существе серьезном, искреннем и постоянном.

— Если бы вы знали, бабушка, как серьезна Дора! — воскликнул я.

— Ах, Трот, вы слепы, слепы! — повторила бабушка.

И тут, не понимая почему, я вдруг почувствовал, как словно туча заволокла для меня возможность какого-то счастья...

— Но все-таки, — продолжала бабушка, — я вовсе не хочу вооружать два юных существа друг против друга, делать их несчастными, и хотя это детская любовь, а она очень часто, — заметьте, я не говорю «всегда», — оканчивается ничем, но мы будем относиться к любви этой серьезно и надеяться на счастливый конец. А времени впереди у нас достаточно.

В этих словах, конечно, было не много утешительного для такого восторженного влюбленного, как я, но я был рад уж и тому, что бабушка знает мою тайну. Я горячо благодарил ее за это новое доказательство любви ко мне и вообще за все, что она для меня сделала в жизни, после чего бабушка, нежно простившись со мной и захватив свой чепец, отправилась в мою спальню.

Каким несчастным почувствовал я себя, улегшись в постель! С какой болью в душе я думал и думал о том, что в глазах мистера Спенлоу я теперь бедняк! Как мучила меня мысль, что я уж не тот, кем считал себя, что рыцарский долг требует, чтобы я сообщил Доре о перемене моего положения и предоставил ей взять обратно свое слово, пожелай она этого. Я спрашивал себя с тревогой, на что я буду жить, готовясь в прокторы, не получая в конторе «Спенлоу и Джоркинс» никакого жалованья, как смогу я содержать бабушку. Над всем этим ломал я себе голову и не находил выхода. Потом рисовалась мне бедность: в кармане ни гроша, сюртук мой изношен, я не могу уже больше гарцовать на сером красавце-коне, не могу уже больше делать подношений Доре, не могу больше блистать... И хотя я прекрасно сознавал, что печалиться так о себе эгоистично,

неблагородно, и сознание это терзало меня, но я слишком любил Дору и не мог ничего с собой поделать. Я сознавал, что печалиться о себе больше, чем о бабушке, низко, но это эгоистичное чувство было связано с Дорой, и ни для кого в мире я не мог пожертвовать ею. Ах! Каким несчастным чувствовал я себя в эту ночь!

Кажется, я еще не уснул, а мне уж начала сниться бедность во всех ее видах: вот я в лохмотьях и стараюсь продать Доре полпачки спичек за полпенни; а вот я в конторе в одной ночной сорочке и сапогах, и мистер Спенлоу сурово выговаривает мне, как осмеливаюсь я появляться в таком легкомысленном костюме перед клиентами. Тут же в конторе я с жадностью подбираю крошки, падающие с сухаря, который ежедневно съедает старик Тиффи, когда на колокольне св. Павла бьет час. А вот я добиваюсь получить из «Докторской общины» разрешение на брак с Дорой, у меня нет ни гроша, и я предлагаю в уплату одну из перчаток Уриа Гиппа, но вся «Докторская община» с негодованием отказывается принять перчатку...

Сплю я плохо, часто просыпаюсь и, неясно сознавая, где я, мечусь среди своих простынь, словно погибающий корабль среди бушующих морских волн.

Бабушке тоже не спится. Я часто слышу, как она встает и ходит по комнате. Раза два или три она в своем фланелевом капоте (в нем кажется она футов семи ростом), словно потревоженное привидение, появляется в гостиной и подходит к дивану, на котором я лежу. В первый раз, увидев бабушку, я и ужасе вскакиваю и узнаю, что она, заметив отблески на небе, боится, не горит ли Вестминстерское аббатство<sup>[4]</sup>, и хочет знать мое мнение относительно того, не может ли пламя в случае перемены ветра перекинуться на Букингамскую улицу. Затем бабушка садится подле меня и, думая, что я сплю, несколько раз шепчет: «Бедный мальчик». Тут я чувствую себя еще более несчастным, видя, как она самоотверженно печалится только обо мне, в то время, как я эгоистично думаю о себе.

Мне казалось невероятным, чтобы эта бесконечная для меня ночь могла быть для кого-нибудь короткой. И я стал воображать себе бал, где танцуют всю ночь. Фантазия эта незаметно переходит в сон, и я слышу, как музыканты играют все один и тот же мотив, а Дора все выделяет одно и то же па, не обращая на меня ни малейшего внимания. В тот момент, когда музыкант, игравший всю ночь на арфе,

тщетно старается прикрыть свой инструмент обыкновенным ночным колпаком, я просыпаюсь, или, вернее, не стараюсь больше заснуть, и вижу, что наконец солнце заливает светом мое окно.

В те дни недалеко от набережной были старинные римские бани, — быть может, они и сейчас существуют, — сюда я часто хаживал понырять в холодной воде. Тихонько одевшись и поручив бабушку попечениям Пиготти, я отправился в эти бани и бросился головой вниз в холодную воду. Выкупавшись, я пошел прогуляться в Гемистид. Такие энергичные приемы, думалось мне, должны освежить голову, и, повидимому, я добился этого, ибо вскоре мне пришло на ум, что прежде всего необходимо попытаться расторгнуть свой договор с конторой «Спенлоу и Джоркинс» и получить обратно кандидатский взнос в тысячу фунтов стерлингов. Позавтракав за городом, я направился опять-таки пешком, в «Докторскую общину». Шел я только что политыми улицами, пахло цветами из соседних садов и тех корзин, которые на голове несли в город садовники. Я шел и напряженно думал о том первом усилии, какое надо было сделать при изменившихся обстоятельствах.

В конце концов я все-таки явился в «Докторскую общину» слишком рано, и мне пришлось еще с полчаса бродить вокруг конторы, пока старик Тиффи, обыкновенно появляющийся первым, не пришел с ключом. Я уселся в темном уголке и, глядя на ярко освещенные трубы соседнего здания, стал мечтать о Доре и мечтал, пока не приехал мистер Спенлоу, как всегда завитой, в накрахмаленном воротничке и в изящном сюртуке, застегнутом на все пуговицы.

— Здравствуйте, Копперфильд! — приветствовал он меня. — Какое прекрасное утро!

— Чудесное утро, сэр! — ответил я. Могу ли я поговорить с вами, прежде чем вы уйдете в суд?

— Разумеется, — ответил он. — Пожалуйста в мой кабинет.

Я пошел вслед за своим патроном в кабинет, где он, облекшись в прокторскую мантию, стал охорашиваться перед зеркалом, висевшим на внутренней стороне дверцы шкафа.

— К великому сожалению, должен сообщить вам, — начал я, что я получил очень печальные известия о моей бабушке.

— Что вы говорите! Боже мой! Надеюсь, не удар?

— Это, сэр, не имеет отношения к ее здоровью. Дело идет о больших денежных потерях. Бабушка лишилась почти всего своего состояния.

— Вы поражаете меня, Копперфильд! — закричал мистер Спенлоу.

Я покачал головой.

— Да, это действительно так, сэр, — проговорил я. — Денежные дела бабушки до того изменились, что я хотел спросить вас, возможно ли расторгнуть наш договор, конечно, удержав часть внесенной мной суммы. (Я не думал раньше о таком великодушном предложении, но эта мысль мелькнула у меня в голове, когда я увидел нахмуренное лицо моего патрона.)

Никто не может себе представить, чего стоило мне сказать это отцу Доры! Ведь это было как бы мольбой о том, чтобы меня приговорили к разлуке с его дочерью.

— Расторгнуть ваш договор, Копперфильд? — с ужасом повторил мистер Спенлоу.

Я объяснил ему насколько мог твердым и решительным тоном, что ввиду изменившихся обстоятельств я принужден жить своим заработком.

— Меня не тревожит будущее, — прибавил я, особенно подчеркивая это, желая намекнуть на то, что со временем я могу быть еще очень желательным зятем, — но в настоящий момент я должен полагаться только на себя.

— Мне чрезвычайно грустно слышать это, Копперфильд, чрезвычайно грустно. Не принято по таким поводам расторгать договоры. Это совершенно против наших профессиональных правил. Вообще делать это не годится, однако...

— Вы очень добры, сэр, — прошептал я, предвидя уступки.

— Нет, нет! Вы не так меня поняли, — продолжал мистер Спенлоу. — Я только хотел сказать, что если б я не был так связан по рукам и ногам, не имей я компаньона, мистера Джоркинса...

Мои надежды в один миг рухнули, но я собрался с духом и решил сделать еще одно усилие:

— Как вы думаете, сэр, не обратиться ли мне к мистеру Джоркинсу?..

Мистер Спенлоу безнадежно покачал головой.

— Избави меня бог быть несправедливым вообще к людям и особенно к мистеру Джоркинсу, — ответил мой патрон, — но, Копперфильд, я хорошо знаю своего компаньона. Мистер Джоркинс не такой человек, чтобы согласиться на подобное предложение. Мистера Джоркинса очень трудно свернуть с проторенной дороги. Вы ведь его знаете!

Сказать по правде, я ровно ничего не знал о мистере Джоркинсе, кроме того, что когда-то контора принадлежала ему одному и что теперь он живет у сквера Монтегю в доме, который чрезвычайно нуждается в окраске. Мне еще было известно, что является он в контору очень поздно, уходит очень рано, что с ним никто ни о чем не советуется, хотя у него и имеется свой плохонький, темный кабинетик на верхнем этаже, где, говорят, на его конторке лежит уже лет двадцать пожелтевший лист промокательной бумаги без малейшего следа чернил.

— Но вы, сэр, ничего не будете иметь против того, чтобы я переговорил о моем деле с мистером Джоркинсом? — спросил я.

— Разумеется, ничего, — ответил мистер Спенлоу. — Но, как я вам, Копперфильд, уже говорил, я слишком хорошо знаю своего компаньона. Поверьте, я очень сожалею об этом, ибо мне было бы приятно пойти вам навстречу в этом вопросе. Но если вы думаете, Копперфильд, что стоит обратиться к мистеру Джоркинсу, то, пожалуйста, сделайте это, — повторяю, я ровно ничего не могу иметь против этого.

Заручившись этим разрешением, которое сопровождалось горячим рукопожатием патрона, я вернулся в контору и, сидя за своим столом, глядел, как солнце, спустившись с труб соседнего здания, заливает светом его стену, и мечтал о Доре вплоть до прихода мистера Джоркинса. Тут я поднялся к нему, причем появление мое в дверях его кабинетика, видимо, чрезвычайно удивило старика.

— Войдите, мистер Копперфильд, войдите! — сказал мистер Джоркинс.

Я вошел, сел и изложил ему свое дело почти в тех же выражениях, как передал это мистеру Спенлоу. Мистер Джоркинс не производил впечатления такого страшного человека, как можно было ожидать, судя по всему, что говорил о нем его компаньон. Это был полный старик лет шестидесяти, с круглым, добродушным лицом. Он

очень много нюхал табуку, и в «Докторской общине» ходила молва, что он главным образом этим и поддерживает свое существование.

— Надеюсь, что вы уже говорили об этом вопросе с мистером Спенлоу? — с беспокойством в голосе спросил мистер Джоркинс, выслушав меня до конца.

Я ответил, что говорил уже с мистером Спенлоу.

— И он, наверно, сказал вам, что я буду против этого, не так ли? — спросил мистер Джоркинс.

Я принужден был сознаться, что мистер Спенлоу допускал это.

— Мне очень жаль, что я ничего не могу сделать для вас в данном вопросе, — взволнованным голосом проговорил мистер Джоркинс. — Дело в том... — Но должен извиниться перед вами: у меня назначено в банке деловое свидание, — с этими словами он поспешно встал и направился к двери.

Я остановил его, сказав:

— Неужели, мистер Джоркинс, никак нельзя уладить мое дело?

— Нет, — ответил мистер Джоркинс, останавливаясь в дверях и качая головой. — Нет, нет, знаете, я против этого, — добавил он и исчез за дверью, но сейчас же вернулся и еще более взволнованным голосом проговорил: — Раз мистер Спенлоу против...

— Лично он не против, сэр, — перебил я его.

— Да, да, лично он ничего никогда не имеет против, — с раздражением проговорил мистер Джоркинс. — А я смею вас уверить, что здесь имеются препятствия, препятствия непроходимые... То, что вы желаете, сделать невозможно... Но... у меня ведь деловое свидание в банке... Простите...

На этот раз он уже окончательно сбежал и, насколько мне известно, в течение целых трех дней глаз не показывал в «Докторскую общину».

Я готов был на все, чтобы только добиться своего, и потому стал ждать возвращения из суда мистера Спенлоу, передал ему наш разговор с его компаньоном и высказал свое мнение, что если бы только мистер Спенлоу захотел взяться за это дело, то он несомненно смог бы сломить непреклонность мистера Джоркинса.

— Послушайте, Копперфильд, — сказал он мне на это со снисходительной улыбкой, — вы еще не знаете мистера Джоркинса столько лет, сколько знаю его я. Я далек от того, чтобы обвинять моего



компаньона в неискренности и фальши, но у него есть манера отказывать, которая многих вводит в заблуждение. Нет, Копперфильд, поверьте мне, — закончил он, покачивая головой, — с мистером Джоркинсом ровно ничего нельзя поделать.

Мне трудно было разобраться, кто из двух компаньонов является камнем преткновения в моем деле, но для меня стало ясно, что в конторе царит дух упорства, и о получении обратно тысячи фунтов стерлингов моей бабушки не может быть и речи. Я вышел из конторы и направился домой в самом подавленном состоянии духа. Я шел и старался представить себе наихудшее, что могло ждать нас, и ломал себе голову над тем, что же теперь предпринять, как вдруг рядом со мной остановилась извозчичья карета. Я поднял глаза и увидел, что из окна ее ко мне тянется хорошенькая ручка и улыбается лицо, от которого с первой же минуты, когда я еще мальчиком взглянул на него, всегда веяло на меня улаженным спокойствием.

— Агнесса! — с восторгом воскликнул я. — Дорогая Агнесса! Больше всех на свете рад видеть вас!

— Правда? — проговорила она своим милым, ласковым голосом.

— Так хочется поговорить с вами! Знаете, как только я вас увидел, у меня сразу же полегчало на душе. Будь у меня волшебная палочка, вас первую вызвал бы я!

— Разве?

— Ну, быть может, все-таки Дору первую, — согласился я, краснея.

— Разумеется, ее первую! — рассмеялась Агнесса.

— Ну, а потом сейчас же вас, — добавил я. — А куда вы едете?

Ехала она к нам — повидаться с моей бабушкой. Погода была чудесная, и Агнесса рада была избавиться от кареты, из которой несло, как из душной конюшни. Я отпустил извозчика. Она взяла меня под руку, и мы пошли с нею пешком. Агнесса казалась мне олицетворенной надеждой. Рядом с ней я чувствовал себя другим человеком.

Оказывается, бабушка написала ей одно из своих странных коротеньких писем, — вообще ее послания всегда отличались удивительной краткостью. В этом письме она объявляла о том, что разорилась и окончательно покидает Дувр, но что с этим совершенно примирилась и поэтому никто не должен о ней беспокоиться. И вот

Агнесса приехала в Лондон, чтобы повидаться с бабушкой; у них уже с давних пор, с того времени, как я поселился в доме мистера Уикфильда, завязалась дружба.

Агнесса сообщила мне, что приехала сюда не одна, а с папой и... Уриа Гиппом.

— Значит, они стали-таки компаньонами! — воскликнул я. — Проклятый!

— Да, — ответила Агнесса, — и у них здесь есть дела. Я и воспользовалась этим случаем, чтобы тоже приехать в Лондон. Но не думайте, Тротвуд, что приезд мой вызван только беспокойством о друзьях; я, по правде сказать... быть может, во мне и говорит ужасное предубеждение, но я не люблю отпускать папу одного с Уриа.

— Скажите, Агнесса, он попрежнему пользуется влиянием на мистера Уикфильда?

Агнесса кивнула головой.

— У нас такие перемены, — сказала она, — что вы едва узнали бы наш старый родной дом: они теперь живут с нами...

— Они? — переспросил я.

— Мистер Гипп и его мать. Он спит в вашей прежней комнате, — проговорила Агнесса, глядя мне в глаза.

— Хотел бы я повелевать его снами, — уж не долго бы проспал он там! — со злобой воскликнул я.

— Я живу в той маленькой комнате, где бывало, готовила уроки. Как летит время! Помните, та маленькая, отделанная панелями комнатка, которая выходит в гостиную?

— Как не помнить, Агнесса! Ведь это оттуда вы вышли тогда с корзиночкой с ключами у пояса, когда я впервые увидел вас...

— Она самая, — улыбаясь, промолвила Агнесса, — Очень рада, что вы с удовольствием вспоминаете об этом. А как были мы с вами счастливы тогда!

— По-настоящему счастливы, — согласился я.

— Я обычно теперь сижу в этой комнате, — продолжала Агнесса, — но нельзя же всегда оставлять миссис Гипп одну, и потому, — спокойным тоном прибавила Агнесса, — иногда, когда мне хотелось бы быть одной, я принуждена переносить ее общество. Но, впрочем, у меня нет других причин жаловаться на нее. Если порой

она надоедает мне своими восхвалениями сына, то это так естественно в матери. Он, надо сказать, для нее сын очень хороший.

В то время как Агнесса говорила все это, я смотрел на нее, и по ее милому, спокойному лицу я заключил, что она совершенно не подозревает о замыслах Уриа. И глаза ее, кроткие и серьезные, смотрели на меня так же прямо, с такой же искренностью, как всегда.

— Самая неприятная сторона их пребывания в нашем доме, — продолжала Агнесса, — заключается в том, что я не могу быть наедине с папой столько, сколько бы мне этого хотелось. Уриа постоянно тут как тут, и я не могу следить за папой, — надеюсь, что это не слишком смело сказано, — как бы мне этого хотелось. Но все-таки хочу верить, что если они замышляют обмануть папу или предать его, то чистая дочерняя любовь и правда восторжествуют.

Как раз в ту минуту, когда я думал о том, сколько радости дала мне в мальчишеские годы ее милая, лучезарная, ни на чьем другом лице не виданная мною улыбка, — она вдруг померкла, и с изменившимся лицом Агнесса спросила меня, не знаю ли я, что было причиной бабушкиного разорения. Когда я ответил, что пока мне это неизвестно, ибо бабушка еще ничего не говорила по этому поводу, Агнесса призадумалась, и мне даже показалось, что ее рука, лежавшая на моей, стала дрожать.

Мы застали бабушку одну и в несколько взволнованном состоянии. Выяснилось, что у нее с миссис Крупп произошло столкновение по довольно отвлеченному вопросу: прилично ли жить прекрасному полу в квартире холостяка, и бабушка, не обращая ни малейшего внимания на спазмы миссис Крупп, круто оборвала этот спор, сказав ей, что от нее несет водкой и она просит ее убраться подобру-поздорову. Уходя, моя квартирная хозяйка заявила, что считает выражения бабушки оскорбительными и привлечет ее за это к «Британскому судилищу».

Бабушка уже успела несколько остыть после победоносной схватки, пока Пиготти водила мистера Дика полюбоваться на ученье конногвардейцев; кроме того, она очень обрадовалась Агнессе и потому встретила нас в своем обычном прекрасном состоянии духа. Когда Агнесса, положив свою шляпку на стол, уселась подле бабушки, я, глядя на ее кроткие глаза и ясное личико, подумал, как естественно ей сидеть здесь. И бабушка, видимо, считалась с ней и

прислушивалась к ее мнению. Как, действительно, была сильна своей любовью и правдой эта юная девушка!

Мы заговорили о бабушкиных потерях, и я рассказал им, что я пытался сделать в это утро.

— Это, Трот, было совершенно неблагоприятно, — заметила бабушка, — но, конечно, намерение у вас было доброе. Вы великодушный мальчик, или, пожалуй, уже надо сказать — юноша, и я горжусь вами, мой дорогой! Вот это прекрасно. А теперь, Трот и Агнесса, нам с вами надо как следует выяснить дела Бетси Тротвуд и убедиться, в каком они состоянии.

Я заметил, что Агнесса, пристально взглянув на бабушку, побледнела, а та, поглаживая кошку, так же внимательно посмотрела на Агнессу.

— Бетси Тротвуд, — начала бабушка, надо сказать, никогда раньше не говорившая ни с кем о своих денежных делах, — я говорю не о вашей сестре, дорогой Трот, но о себе самой, — имела порядочное состояние, неважно, какое именно, но во всяком случае его хватало на жизнь и даже больше: получались остатки, которые она и присоединяла к своему капиталу. Сначала она держала этот капитал в государственных бумагах, а потом, по совету своего поверенного, отдала его под закладную. Это было очень выгодно — приносило хороший процент. Но в один прекрасный день с ней был произведен полный расчет. Понесла она убытки на горном деле, а затем на акциях общества, искавшего на дне моря сокровища или еще какую-либо чепуху, — прибавила бабушка, почесывая нос, — потом снова потеряла на горном деле и наконец окончательно прогорела на одном лопнувшем банке. Вот вам и весь сказ. Чем меньше говорить, тем скорее забудется, — философски закончила бабушка, с каким-то торжествующим видом глядя на Агнессу, на щеках которой мало-помалу появлялся обычный румянец.

— Дорогая мисс Тротвуд, все ли тут сказано? — спросила Агнесса.

— Мне кажется, дитя мое, довольно и этого. Если бы у Бетси Тротвуд оставались еще деньги, то она, не сомневаюсь, умудрилась бы и их как-нибудь пустить в трубу, и рассказ получился бы длиннее. Но денег нет — и рассказу конец.

Вначале Агнесса слушала бабушку, затаив дыхание. По мере того как рассказ подвигался, она все еще то краснела, то бледнела, но, видимо, ей уже дышалось свободнее. Я понимал, мне кажется, причину ее волнения: очевидно, она боялась, как бы разорение бабушки не оказалось делом ее злосчастного отца. Тут бабушка взяла руки Агнессы в свои и со смехом повторила:

— «Все ли сказано?» Да, все. Разве только можно еще добавить, как в сказках: «И с тех пор стала она жить-поживать да добра наживать». А кто знает, вдруг не сегодня, так завтра это можно будет сказать относительно Бетси Тротвуд... Ну, а теперь, Агнесса, у вас умная головка, и у вас, Трот, тоже голова не плупа, хотя и не всегда, — здесь бабушка со свойственной ей энергией кивнула головой, — так давайте подумаем, что нам делать теперь. Есть дача: она, скажем, может в среднем приносить доходу футов семьдесят в год. На такой доход, кажется, можно рассчитывать, но это и все... Затем, — продолжала бабушка после некоторого молчания, — есть еще Дик. Он получает сто фунтов стерлингов в год, но эти деньги, само собой разумеется, должны быть истрачены на него же. Я бы скорее согласилась отослать его, — хотя и знаю, что, кроме меня, он никому не нужен, — чем воспользоваться единым его пенни. Вот и надо поразмыслить, как же нам с Троом получше устроиться на те средства, которые у нас остались. Что вы скажете на это, Агнесса?

— Я скажу, бабушка, опередил я Агнессу, — что мне надо найти себе какую-нибудь работу.

— Что, вы солдатом желаете стать, что ли, — спросила перепуганная бабушка, или поступить во флот? Не хочу и слышать об этом! Вы должны быть проктором — и будете проктором. В нашем роду не принято свои головы подставлять под удары.

Я только собирался возразить бабушке, что вовсе не такой заработок имел в виду, как Агнесса спросила, на какой срок снята моя квартира.

— Вы, дорогая моя, как раз попали и точку, — ответила бабушка. Дело в том, что мы еще полгода не сможем избавиться от этой квартиры, разве только удастся передать ее кому-нибудь, но в подобной возможности я сильно сомневаюсь. Последний жилец умер здесь, и мне кажется, что эта хозяйка в нанковом платье и фланелевой юбке, способна из шести жильцов угробить пять. У меня еще имеется

немного денег, и я согласна, что пока лучше всего нам с Тротвудом жить здесь, а Дику нанять где-нибудь по соседству комнату.

Я считал своим долгом предупредить бабушку о той нескончаемой войне, которую ей придется вести с миссис Крупп, но бабушка пресекла разговор, сказав, что при первом же враждебном выступлении этой женщины она так удивит ее, что та будет помнить это до конца своих дней.

— Знаете, Тротвуд, что мне пришло в голову? — нерешительно начала Агнесса. — Если бы у вас было свободное время...

— У меня свободного времени много, Агнесса. Занятия кончаются в четыре, ну, самое позднее, в пять часов, да и все утро в моем распоряжении. Вообще, времени у меня не занимать стать, — прибавил я, чувствуя, что краснею, вспомнив, сколько часов я убивал на хождение по городу и по Норвудской дороге.

— Не будете ли вы иметь что-либо против секретарской работы? — спросила Агнесса таким ласковым, подбадривающим голосом, что он и сейчас звучит в моих ушах.

— Буду ли я против, дорогая Агнесса?..

— Видите ли, — не дала мне она кончить, — доктор Стронг осуществил-таки свое намерение: оставил школу и переехал в Лондон. Я знаю, что он просил папу порекомендовать ему секретаря. А разве вы не думаете, что ему будет всего приятнее иметь подле себя своего бывшего любимого ученика?

— Дорогая Агнесса! — воскликнул я. — Что бы я делал без вас? Вы — мой настоящий ангел-хранитель! Я не раз вам это говорил, и всегда именно в этом образе вы рисуетесь мне!

Агнесса на это ответила со своей милой улыбкой, что человеку достаточно иметь «одного» ангела-хранителя (она имела в виду Дору), а затем напомнила мне, что доктор Стронг как раз имел обыкновение работать рано утром и вечерами, значит именно в то время, когда я свободен. Я был в полном восторге, подумать только — зарабатывать свой хлеб, да еще у своего старого учителя! По совету Агнессы, я сейчас же написал доктору о том, что предлагаю ему свои услуги в качестве секретаря и завтра же по этому поводу сам буду у него в десять часов утра. Письмо это адресовал я в Хайгейт, ибо жил он в этом памятном для меня месте, и не теряя ни минуты, пошел сдать его на почту.

Где бы ни появлялась Агнесса, всюду оставался след ее бесшумно, мимоходом сделанного дела. Вернувшись с почты, я видел, что клетки с бабушкиными канарейками висят над окном совершенно так же, как они всегда висели в гостиной дуврского коттеджа, и мое кресло, которому, конечно, было далеко до бабушкиного, так же стояло, как и там, у открытого окна, и даже круглый зеленый экран привинчен к подоконнику... Мне не надо было спрашивать, кто все это сделал: раз уже казалось, что это сделалось само собой, значит, здесь была рука Агнессы. А кто другой, как не она, мог привести в порядок мои разбросанные книги, уложив их именно так, как они всегда лежали в мои ученические годы.

Бабушка очень благосклонно относилась к Темзе, — река, залитая солнцем, в самом деле выглядела неплохо, хотя, конечно, не так, как море, расстилавшееся перед окнами дуврской дачи. Но с чем бабушка не могла примириться, так это с лондонским дымом, который, по ее словам, все посыпал, словно перцем. Пиготти тотчас же принялась сражаться с этим «перцем» во всех углах моей квартиры, а я только задумался о том, сколько суеты поднимает при этом даже такая опытная хозяйка, как Пиготти, и как совершенно бесшумно все делает Агнесса, как вдруг постучали в дверь.

— Думаю, — сказала, бледнея, Агнесса, — что это папа: он обещал зайти за мной.

Я открыл дверь я впустил не только мистера Уикфильда, но и Уриа Гиппа. Я довольно давно не видел отца Агнессы и хотя, по ее словам, ожидал найти в нем перемену, но все-таки был поражен. И поразило меня не то, что мистер Уикфильд, будучи попрежнему одет с безупречной аккуратностью, казалось, состарился на несколько лет, не то, что лицо его имело багровый оттенок, глаза были налиты кровью, а руки дрожали. Я знал причину этого: целые годы все происходило на моих глазах. Но надо сказать, он еще и теперь был красив и выглядел джентльменом. Поразило меня и ужаснуло то, что при всем своем несомненном превосходстве, он, видимо, находился в полном подчинении у Уриа Гиппа — этого олицетворения пресмыкающейся низости. То, что все перевернулось и Уриа Гипп деспотически правит, а мистер Уикфильд подчиняется ему, казалось мне столь же унижительным, как если бы я видел обезьяну, командующую человеком.

Казалось, мистер Уикфильд слишком хорошо понимал это сам. Войдя, он стоял неподвижно, опустив голову. Но это длилось всего одно мгновение. Агнесса сейчас же ласково сказала ему:

— Папа, вот мисс Тротвуд и Тротвуд, с которыми вы так давно не виделись.

И он как-то натянуто пожал руку бабушке, а потом более дружески мне. Когда мистер Уикфильд, войдя, в смущении остановился, я видел, как при этом на лице Уриа появилась ехидно-злобная улыбка.

Кажется, заметила ее и Агнесса, ибо она отшатнулась от него. Видела ли это бабушка, угадать было невозможно, как всегда, когда она не желала этого показывать. Вдруг она заговорила свойственным ей резким тоном:

— Знаете, Уикфильд (он тут впервые взглянул на бабушку), я только что рассказала вашей дочке, как прекрасно я сама распорядилась своими деньгами, считая, что вы в деловом отношении несколько сплеховали. Ну, не беда! Посоветовавшись с ней, мы нашли выход из этого положения. Агнесса у вас молодец: она одна стоит всей вашей фирмы.

— Осмелюсь заметить, — проговорил Уриа Гипп, извиваясь всем телом, — что я совершенно согласен с мисс Бетси Тротвуд и считал бы великим счастьем, если бы мисс Агнесса сделалась компаньонкой нашей фирмы.

— Ну, да вы теперь сами стали компаньоном, — проговорила бабушка, — надеюсь, с вас этого довольно. Как поживаете, сэр?

В ответ на этот вопрос, сделанный самым резким тоном, мистер Гипп, смущенно комкая свой портфель, поблагодарил бабушку, сказал, что чувствует себя довольно хорошо и надеется, что так же себя чувствует и она.

— А вы, Копперфильд... извините, я хотел сказать — мистер Копперфильд, — обратился ко мне Уриа, — надеюсь, вы в добром здоровье? Очень рад вас видеть, мистер Копперфильд, даже при нынешних обстоятельствах. (Этому я охотно поверил, ибо он несомненно, так сказать, смаковал эти обстоятельства.) Конечно, мистер Копперфильд, данные обстоятельства далеко не то, что могли бы желать для вас ваши друзья, но не деньги делают человека, а... Я со своими слабыми силами не в состоянии как следует выразить это,



но, повторяю, не деньги, — закончил он, как-то подобострастно извиваясь.

Тут он пожал мне руку каким-то странным образом, стоя от меня на некотором расстоянии и раскачивая мою руку, словно ручку насоса, которая могла хватить его по лбу.

— А как вы нас находите, Копперфильд?. извините: мистер Копперфильд, — спросил Уриа. — Ведь, правда, сэр, какой цветущий вид у мистера Уикфильда? Можно сказать, мистер Копперфильд, что годы проходят бесследно для фирмы, разве что выводят из ничтожества таких скромных людишек, как мы с матушкой, да дают расцвести красе нашей мисс Агнессы.

Выпалив этот комплимент, Уриа стал так ежиться и извиваться, что бабушка, все время пристально смотревшая на него, наконец, потеряла терпение и, выйдя из себя, крикнула: — Чорт побери этого человека! Что только с ним делается! Перестаньте же наконец корчиться, сэр!

— Прошу прощения, мисс Тротвуд, — ответил Уриа, — я знаю, что вы нервная дама.

— Оставьте меня в покое, сэр! — еще более выходя из себя, закричала бабушка. — Как вы смеете это говорить! Мои нервы в прекрасном состоянии. А вы, сэр, если угорь, так и извивайтесь, а если человек, так владейте своими членами. Боже милостивый! Да это просто можно одуреть, видя, как он змеей и штопором извивается! — с негодованием закончила бабушка.

Этот взрыв, как легко себе представить, смутил Уриа, тем более, что выкрикивая все это, бабушка грозно ворочалась в своем кресле и так трясла головой, словно собиралась наброситься на него и искусать.

И Уриа, обращаясь только ко мне, крепко проговорил:

— Мне хорошо известно, мистер Копперфильд, что мисс Тротвуд хотя и прекрасная дама, но очень вспыльчива (я ведь знал ее раньше вашего, когда еще был скромным писцом). И вполне естественно, что при нынешних обстоятельствах она могла стать еще более вспыльчивой. Следует только удивляться, что она и таком состоянии, а не в худшем. Я явился сюда, сэр, сказать вам, что если мы с матушкой или наша фирма «Уикфильд и Гипп» могли бы при данных обстоятельствах что-либо сделать для вас, то, поверьте, были бы очень

счастливы. Не правда ли, мистер Уикфильд? — обратился он к нему со своей отвратительной улыбкой.

— Знаем о, Тротвуд, — заговорил мистер Уикфильд монотонным голосом, словно делая над собой усилие, — Уриа Гипп проявляет большую активность в вашем деле, и я всегда соглашаюсь с его мнением. Вам прекрасно известно, как давно я расположен к вам, но и помимо этого я совершенно согласен с тем, что сейчас высказал Уриа.

— О, какая великая награда — польститься таким доверием! — закричал Уриа, подергивая ногой, чем несомненно рисковал снова навлечь на себя гнев бабушки. — Но я надеюсь, мистер Копперфильд, что в состоянии облегчить ему тяжесть работы.

— Уриа Гипп действительно очень помогает мне, — произнес мистер Уикфильд тем же глухим, монотонным голосом. — У меня, Тротвуд, гора свалилась с плеч с тех пор, как он стал моим компаньоном.

Я прекрасно понимал, что все это заставляет его говорить рыжая лисица, желая выставить передо мной отца Агнессы в том свете, в каком он изображал его мне в ту ночь, когда отравил мое спокойствие. Я видел, как Уриа смотрит на меня с тою же ехидно-злой улыбкой.

— Но вы ведь еще не уходите, папа? — с беспокойством спросила Агнесса. — Хотите, мы с Тротвудом проводим вас?

Мне кажется, что, прежде чем ответить, он взглянул бы на Уриа, если бы тот не предупредил его, сказав:

— У меня, к сожалению, деловое свидание, а то я был бы счастлив провести время со своими друзьями. Но я оставляю здесь представителем нашей фирмы своего компаньона. Мисс Агнесса, всегда ваш покорный слуга! До свидания, всего вам доброго, мистер Копперфильд! Мое всенижайшее почтение, мисс Бетси Тротвуд!

С этими словами он удалился, подмигивая и посылая нам прощальные поцелуи своей громадной ручищей.

После его ухода мы просидели часа два, с удовольствием вспоминая наши добрые старые контерберийские времена. Мистер Уикфильд вблизи Агнессы вскоре стал гораздо больше походить на себя, хотя совсем стряхнуть угнетенное свое состояние ему и не удалось.

Бабушка, почти все время возившаяся с Пиготти в соседней комнате, отказалась идти к Уикфильдам, но настояла, чтобы я пошел к ним. Так я и сделал. Мы обедали втроем. После обеда Агнесса, как бывало, села подле отца и подливала ему вина. Он, как дитя, пил то, что давала ему дочь, но не больше. И мы сидели все трое у окна, пока спускались сумерки. Когда почти совсем стемнело, мистер Уикфильд лег на диван, а Агнесса, поправляя ему под головой подушку, некоторое время стояла, склонившись над ним. Потом она вернулась к окну, и еще не было настолько темно, чтобы я не мог разглядеть слезы, блестящие на ее глазах.

Дай бог, чтобы я никогда не забыл, чем была для меня в тяжелое время эта любящая, чистая девушка! Она своим примером внушила мне добрые намерения, вдохнула в меня силы. Только она сумела направить, — уж не знаю, как удалось ей это при ее скромности и скупости на советы, — мои бурные порывы, мои неопределившиеся цели, и если я сделал в жизни что-либо доброе, и воздержался от зла, то этим обязан ей одной.

А как, сидя в эти сумерки у окна, она говорила со мной о Доре! Как слушала мои восторженные похвалы ей, как сама расхваливала ее, освещая маленькую волшебницу лучами своего чистого сияния и делая ее для меня еще более невинной, еще более драгоценной! Ах, Агнесса, сестра моих отроческих лет! Если бы только я знал тогда то, что узнал гораздо позднее!

На улице стоял какой-то нищий и, когда, выйдя из дома, я посмотрел в окно, думая о спокойных, чистых, ясных глазах Агнессы, он заставил меня вздрогнуть, бормоча, словно эхо, слова, сказанные этим утром бабушкой: «Слепой, слепой, слепой...».

## *Глава VII*

# ***ВОСТОРЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ***

Следующий день я начал также нырянием в бассейне римских бань, а затем отправился в Хайгейт. Упадка духа как не бывало. Меня больше не ужасала мысль о потертом сюртуке, и я переслал вздыхать о невозможности гарцовать на серых скакунах. Теперь я совсем иначе смотрел на постигшее нас несчастье. Я жаждал показать бабушке, что все добро, сделанное ею мне, не было излито на неблагодарное, бесчувственное существо. Я сознавал, что мне надо теперь воспользоваться тяжелым опытом своего детства, чтобы энергично и стойко приняться за работу. Мне представлялось, что я должен взять в руки топор дровосека и им неумоимо расчистить себе через лес препятствий дорогу к Доре... Погруженный в эти думы, я так мчался, словно этим мог приблизиться к цели.

Очувтившись на Хайгейтской дороге, такой знакомой и связанной с таким беззаботным, радостным настроением, я особенно ясно почувствовал, какой перелом совершился в моей жизни. Но это нисколько не приводило меня в уныние. Голова была полна новых стремлений, явилась новая цель в жизни. Велик был предстоящий труд, но велика и награда — Дора, — и ее надо было во что бы то ни стало завоевать...

Я пришел в такой экстаз, жалел уже о том, что мой сюртук еще не изношен. Я горел нетерпением схватить в руки топор и начать с места прокладывать себе дорогу среди леса препятствий с такой энергией, чтобы сразу доказать свою мощь. Мне хотелось попросить у старика в очках с проволочной оправой, разбивавшего у дороги камни, дать мне на часок свой молот, чтобы сейчас же начать пробивать сквозь гранит дорогу к Доре... Я так разгорячился, так запыхался, что мне качалось, как будто я уже немало поработал. Тут я заметил небольшой домик, отдававшийся в наем. Чувствуя, что теперь я должен быть практичным человеком, я вошел в него и самым тщательным образом его обследовал. Домик этот как нельзя больше подходил нам с Дорой; наверху прекрасная комната ждала бабушку, а для Джипа был палисадник перед домом, где он мог носиться и сколько душе его

угодно лаять сквозь ограду на проходящих разносчиков. Я вышел из дома в еще более возбужденном состоянии и так зашагал по дороге, что пришел в Хайгейт за целый час до назначенного времени. Но это было даже кстати, так как раньше, чем появиться к Стронгам, мне необходимо было остыть и вообще притти в более уравновешенное состояние.

Несколько поостыв и успокоившись, я принялся разыскивать дом доктора Стронга. Выяснилось, что он находится не там, где жили Стирфорты, а совсем в противоположном конце городка. Когда я узнал об этом, меня непреодолимо потянуло к усадьбе миссис Стирфорт, и, пробравшись по соседнему с ней переулочку, я заглянул через стену сада. Окна в комнате Стирфорта были наглухо закрыты. Двери оранжереи были открыты настежь, и Роза Дартль с непокрытой головой ходила быстрыми шагами взад и вперед вдоль зеленой лужайки по дорожке, усыпанной песком. Она напоминала мне дикого, разъедаемого злобой зверя, в бешенстве влачащего по протоптанной тропе свою цепь. Я тихонько покинул место наблюдения, жалея, что попал сюда, и постарался поскорее выбраться на соседнюю улицу, где побродил до десяти часов. Подойдя к коттеджу доктора, старинной красивой постройке, на только что сделанный ремонт которой он, наверное, потратил немало денег, я увидел самого доктора Стронга. Он прогуливался в своих гетрах и во всем своем обычном одеянии совершенно так, как будто не переставал это делать с того времени, как я учился у него в школе, Старые его сотоварищи были также подле него: высокие деревья росли кругом, и два-три грача, сидя на траве, уставились на него так, словно их кентерберийские друзья поручили им как можно лучше наблюдать за доктором.

Зная прекрасно, что издали привлечь его внимание невозможно, я отважился сам открыть калитку и пойти ему навстречу. Столкнувшись со мной на дорожке, доктор сперва задумчиво взглянул на меня, очевидно не замечая, но сейчас же вслед за этим его доброе лицо засветилось необыкновенным удовольствием, и он схватил мои руки.

— Ну, дорогой мой Копперфильд, — воскликнул он, — вы стали настоящим мужчиной! Как вы поживаете? Я очень рад видеть вас! До чего же вы похорошели, дорогой мой Копперфильд! Совсем превратились в... Ах, боже мой!

Я тут спросил его, как оба они с миссис Стронг поживают.

— О! Очень хорошо! — ответил доктор. — Анни прекрасно себя чувствует и будет страшно рада вас видеть: ведь вы же всегда были ее любимцем. Она сама вчера вечером призналась мне в этом, когда я показал ей ваше письмо. А скажите, Копперфильд, вы, конечно, помните мистера Джека Мэлдона?

— Отлично помню, сэр.

— Я думаю, что вы должны помнить его. Он тоже прекрасно себя чувствует.

— Так он уж вернулся на родину, сэр? — спросил я.

— Вы хотите сказать — из Индии, дорогой мой? Да, Джек Мэлдон, не мог переносить тамошнего климата. Миссис Марклегем... вы не забыли ее?

Мог ли я забыть Старого Полководца, да еще за такое короткое время!

— Видите ли, бедная миссис Марклегем страшно беспокоилась о Мэлдоне, — пояснил доктор. — Мы вернули этого молодого человека, купили для него патент на маленькую должность, и она ему по вкусу.

Я настолько знал мистера Джека Мэлдона, что мне не трудно было догадаться, что должность эта, наверное, требует от него очень мало работы, а оплачивается неплохо.

Продолжая ходить взад и вперед по аллее, положив мне руку на плечо и ласково, ободряюще глядя на меня, доктор заговорил:

— Теперь, дорогой мой Копперфильд, давайте обсудим ваше предложение. Мне-то оно очень улыбается, но вы — разве вы не можете найти себе что-нибудь получше? Вы ведь блестяще кончили нашу школу. При ваших способностях и знаниях перед вами открывается много дорог. У вас такой фундамент, на котором может быть воздвигнуто любое здание, и не жаль ли весну вашей жизни отдавать той работе, какую я могу предложить вам?

Тут я опять пришел в возбужденное состояние и стал горячо убеждать его взять меня в секретари: причем я ему напомнил, что определенная профессия у меня уже имеется в «Докторской общине».

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал доктор, — раз вы кандидат в прокторы, это, конечно, меняет дело, но, дорогой мой друг, подумайте, что это за жалованье для вас — какие-нибудь семьдесят фунтов стерлингов в год!

— Это как раз удваивает наш теперешний годовой доход, доктор Строит, — ответил я.

— Да неужели?! — воскликнул доктор. — Кто бы мог подумать это!.. Впрочем, знаете, я имел намерение, кроме этой суммы, делать молодому человеку, который будет со мной работать, еще известный денежный подарок. Да, да, — повторил доктор, продолжая расхаживать, опираясь рукой на мое плечо, — я несомненно имел в виду при этом жалованьи делать еще ежегодный подарок.

— Дорогой учитель, — сказал я, и на этот раз совсем просто, без всяких вычур, — я и так бесконечно сам обязан и не знаю, когда смогу...

— Нет, нет, пожалуйста, не говорите этого, — остановил меня доктор.

— Если вас устраивает то время, которым я располагаю: утром и вечером, и если вы считаете, что за это стоит платить семьдесят фунтов стерлингов в год, вы мне этим окажете огромную услугу, — проговорил я.

— Неужели такие пустяки могут действительно иметь какое-нибудь значение? — наивно заметил доктор. — Боже мой! Но обещайте мне, что как только вам встретится что-либо лучше, вы сейчас же откажетесь от этого секретарства. Ну, даете честное слово? — произнес он совершенно тем же тоном, каким бывало говорил это нам, ученикам, обращаясь к нашему чувству чести.

— Даю вам честное слово, сэр, — ответил я тоже тем же самым тоном, каким мы отвечали ему в школе.

— Значит, дело кончено, — сказал доктор, хлопнув меня по плечу; затем, опираясь на меня, он снова стал прогуливаться.

— И я буду рад еще в двадцать раз больше, если мне придется работать с вами над греческим словарем, — заявил я (да простится мне эта невинная лесть!).

Доктор остановился улыбаясь, опять похлопал меня по плечу и с торжествующим видом воскликнул:

— Дорогой мой юный друг, вы угадали! Как раз вам и придется работать над словарем!

И могло ли это быть иначе! Докторские карманы не меньше его головы были набиты материалами для греческого словаря. Словарь этот, можно сказать, вылезал из всех докторских пор. Милый старик

объявил мне, что с того времени, как он разделался со школой, работа его по словарю удивительно быстро подвигается вперед и что по утрам и вечерам ему особенно удобно заниматься, ввиду того, что днем он предпочитает гуляя, обдумывать все на свободе. Материалы для словаря, по словам доктора, были не совсем в порядке, ибо в последнее время ими ведал Джек Мэлдон, для которого секретарство было делом совершенно новым.

— Но это пустяки, — добавил он, — мы скоро все наладим, и дело пойдет, как по маслу.

(Потом, когда я начал работать, я убедился, что Джек Мэлдон напортил в работе больше, чем я ожидал: он не только наделал множество ошибок, но испещрил докторские рукописи бесчисленными изображениями солдат и женских головок, и мне приходилось благодаря этому часто блуждать по рукописям, словно по темному лабиринту.)

Доктор Стронг был вне себя от радости, что мы вместе с ним будем работать над таким дивным творением, как греческий словарь, и мы условились начать наши занятия на следующий же день в семь часов утра. Работать мы должны были два часа утром и часа два-три вечером, за исключением субботы, когда мне предоставлялась возможность отдыхать. Так как воскресенья тоже были в моем распоряжении, то я считал свое секретарство далеко не обременительным.

Когда мы, таким образом, обо всем договорились, доктор повел меня в дом, к миссис Стронг. Мы нашли ее в новом докторском кабинете, где она стирала пыль с книг — только ей одной доктор и разрешал прикасаться к своим любимцам.

Оказалось, что они ждали меня с завтраком, и мы все уселись за стол. Вскоре, прежде чем я что-либо услышал, я по лицу миссис Стронг догадался, что кто-то должен появиться. И действительно, я тут же увидел всадника, который, введя свою лошадь во двор с таким видом, словно он был у себя дома, привязал ее к кольцу, вделанному в стену каретного сарая, а сам с хлыстом в руке вошел в столовую. Это был мистер Джек Мэлдон, и я нашел, что мистер Джек Мэлдон ровно ничего не выиграл от пребывания в Индии. Быть может, это неблагоприятное впечатление объяснялось еще тем, что в то время я вообще смотрел с благородным негодованием на каждого молодого



человека, не прорубавшего себе топором дорогу среди леса препятствий.

— Мистер Джек! — обратился к нему доктор. — Позвольте вам представить Копперфильда.

Джек Мэлдон пожал мне руку не очень-то горячо и с видом равнодушно-покровительственным, что в глубине души мое показалось обидным. Впрочем, у него всегда был удивительно равнодушный вид, за исключением тех случаев, когда он говорил со своей кузиной Анни.

— Вы завтракали, мистер Джек? — спросил его доктор.

— Я почти никогда не завтракаю, сэр, — ответил он, откидывая голову на спинку кресла, — нахожу это скучным.

— Что сегодня нового? — спросил его доктор.

— Ровно ничего, сэр, — ответил Мэлдон. — Есть, правда, сообщение, что где-то, совсем на севере, народ голодает и недоволен этим, но ведь всегда где-нибудь да голодают, и всегда бывают этим недовольны.

Лицо доктора стало серьезным, и он, как будто желая переменить тему разговора, сказал:

— Ну что же, раз нет новостей, говорят, что это уже хорошие новости.

— В газетах, сэр, есть еще длинный отчет о каком-то убийстве, — заметил мистер Мэлдон, — но я, признаться, этого не читал, так как всегда кого-нибудь да убивают.

Потом в жизни я видел много равнодушия к человеческому роду, одно время оно даже стало модным; но равнодушие Мэлдона произвело на меня такое сильное впечатление потому, что это было еще внове для меня. Во всяком случае, оно отнюдь не возвысило в моих глазах этого молодого человека и не усилило моего доверия к нему.

— Я заехал узнать, не пожелает ли Анни сегодня вечером побывать в опере? — сказал Мэлдон, обращаясь к кухне. — Это последний в нынешнем сезоне спектакль, на котором стоит присутствовать. Будет петь примадонна с чудным голосом и притом еще очаровательно безобразная, — закончил Мэлдон, опять впадая в равнодушно-томное настроение.

Доктор Стронг, которому доставляло удовольствие все, что могло доставить удовольствие его молодой женочке, повернулся к ней и стал ее убеждать:

— Вы непременно должны отправиться, Анни, непременно.

— Мне что-то не хочется, — ответила она, — я предпочитаю оставаться дома, Право, мне это приятнее.

Затем, не глядя на кузена, она стала спрашивать меня об Агнесе, где она может ее увидеть и не думает ли она сегодня быть у них. При этом у нее был такой взволнованный вид, что я просто поражался, как доктор, в это время покойно намазывавший себе масло на поджаренный хлеб, мог быть так слеп, чтобы не заметить этого.

Но он ничего не видел и добродушно говорил ей о том, что она молода и ей надо развлекаться и веселиться, а вовсе не сидеть дома со скучным стариком. К тому же, — уверял он, — ему хочется, чтобы женочка спела ему все новые арии знаменитой певицы, а как она это сможет сделать, если сама их не услышит? Словом, он настоял, чтобы Анни непременно побывала в опере, а Мэлдона просил приехать пообедать с ними перед театром. Когда, таким образом, все было решено, Мэлдон с томным, ленивым видом уехал верхом на своей лошади, должно быть, на купленную ему доктором службу.

На следующее утро я поинтересовался узнать, была ли Анни в опере. Оказалось, что она все-таки не пожелала туда ехать и сообщила об этом своему кузену. Днем она отправилась к Агнесе и уговорила мужа сопровождать ее. Оттуда они вернулись пешком через поля, так как, по словам доктора, вечер был чудесный. Тут я подумал, что интересно было бы знать, отправилась бы Анни с кузеном в оперу, не будь в Лондоне Агнессы, и не имеет ли она на нее такого же, как и на меня, благотворного влияния.

Анни не казалась очень счастливой, но вид у нее был довольный, если только она не притворялась. Я часто поглядывал на нее, так как она все время в той же комнате хлопотала у окна, приготавливая нам завтрак, который мы с доктором ели урывками среди нашей работы. Когда я уходил от них, Анни стояла на коленях перед мужем, надевая ему башмаки и гетры, а на лицо ее падала легкая тень от вьющихся по открытому окну растений. Я шел и до самой «Докторской общины» все думал о том вечере, когда она в кентерберийском кабинете смотрела на мужа, погруженного в чтение...

Теперь я был завален работой: вставал в пять утра, а возвращался домой не раньше девяти-десяти часов вечера, но рад этому был бесконечно. В это время я не ходил, а бегал и с восторгом думал о том, что чем больше устаю, тем, значит, скорее завоюю Дору. До сих пор я еще не сообщил ей о переменах, происшедших в моей жизни, — я ждал свидания: оно должно было вскоре произойти у мисс Мильс, к которой Дора на этих днях собиралась приехать. В письмах же (вся наша переписка шла через руки той же мисс Мильс) я упоминал лишь о том, что мне многое надо сказать ей. Пока же я стал гораздо меньше употреблять медвежьего жира, отказался от душистого мыла и лавандовой воды, продал очень невыгодно три жилета, считая, что они слишком роскошны для теперешней моей суровой жизни.

Но всего этого мне было мало: я горел от нетерпения еще чем-нибудь проявить себя. И мне захотелось повидаться с Трэдльсом, жившим в это время на задворках одного дома на Кэстль-стрит. Направляясь к нему, я взял с собой и мистера Дика; я уже дважды водил его в Хайгейт, где он возобновил свою дружбу с доктором Стронгом.

Взял я с собой на этот раз старика потому, что он, бедняга, терзаясь бабушкиным разорением и тем, что, по его глубокому убеждению, я работаю больше всякого каторжника, совсем потерял и сон и аппетит. Его особенно приводило в отчаяние то, что сам он ничего не делает. Он чувствовал, что в таком состоянии он меньше чем когда-либо в силах докончить свои мемуары. Как бедняга ни старался, всегда роковым образом в них появлялась злосчастная голова Карла I. Серьезно опасаясь, что его психическая болезнь может начать прогрессировать, мы с бабушкой решили или пуститься на обман, уверив его, что он делает что-то полезное, или (что было еще лучше) дать ему возможность в самом деле что-нибудь зарабатывать. Вот мне и пришло в голову обратиться к Трэдльсу с просьбой помочь нам в этом деле. Прежде чем идти к Трэдльсу, я подробно написал ему о всем случившемся со мной, и он ответил мне чудесным дружеским письмом, полным сочувствия.

Мы застали Трэдльса за письменным столом, заваленным бумагами, погруженного в работу, от которой он, видимо, отдыхал, глядя на стоящий в углу комнаты круглый столик с мраморной доской и жардиньерку. Он встретил нас сердечно и тотчас же подружился с

мистером Диком, который при первом взгляде на него заявил, что он несомненно где-то раньше его видел. Мы оба ответили, что это очень возможно.

Я сразу заговорил с Трэдльсом по вопросу, очень меня интересовавшему. Мне не раз приходилось слышать, что многие выдающиеся люди начинали свою карьеру с того, что доставляли газетам отчеты о парламентских прениях. Так как Трэдльс говорил мне, что имеет связи и с газетным миром, я, сопоставив то и другое, просил его в своем письме разузнать, что нужно знать для того, чтобы стать парламентским репортером. Теперь Трэдльс, согласно полученным справкам, сообщил мне, что для того, чтобы заняться этим делом, необходимо знать стенографию, которую, по его мнению, не легче одолеть, чем шесть иностранных языков. Трэдльс совершенно основательно предполагал, что на этом я и успокоюсь, но не тут-то было: я увидел в этом только необходимость срубить еще несколько крупных деревьев в лесу препятствий и немедленно же решил взяться за топор и начать прокладывать себе дорогу к Доре.

— Очень обязан вам, дорогой Трэдльс! — воскликнул я. — Завтра же приступаю!

Трэдльс, повидимому, очень удивился, и это было естественно, поскольку он не подозревал, в каком я живу восторженном состоянии.

— Сейчас же покупаю себе учебник стенографии, — объявил я, — и принимаюсь изучать ее в нашей общине, где половину времени нечего делать. А для практики стану в нашем суде записывать речи... Трэдльс, дорогой мой, вот увидите, как я одолею эту стенографию!

— Господи! — воскликнул Трэдльс. — Я никогда не предполагал, что у вас, Копперфильд, такой решительный характер.

Спрашивается, как мог он предполагать, когда и для меня самого это было новостью! Покончив с этим делом, я предложил обсудить вопрос о мистере Дике.

— Видите ли, Трэдльс, — горячо начал мистер Дик, — я очень хотел бы взяться за какую-нибудь подходящую работу. Например бить в барабан или дуть в какую-нибудь штуку...

Бедняга! Я-то не сомневался, что такую работу он предпочел бы какой угодно. Трэдльс, у которого это заявление мистера Дика не вызвало ни тени улыбки, сказал с невозмутимым видом:

— Но ведь у вас очень хороший почерк, сэр. Не вы ли говорили мне об этом, Копперфильд?

— Превосходный, — подтвердил я.

И действительно, он писал очень отчетливо и красиво.

— Так не взялись ли бы вы, сэр, переписывать документы? Я смог бы доставать вам эту работу, — предложил Трэдльс.

Мистер Дик нерешительно посмотрел в мою сторону.

— Как вы находите, Тротвуд? — спросил он меня.

Я покачал головой; он тоже, вздыхая, покачал головой.

— Расскажите ему, — наконец проговорил он, — о мемуарах.

Я объяснил Трэдльсу, как трудно моему старому другу избежать того, чтобы в его рукописи не появлялось описание казни короля Карла I. В то время как я говорил, мистер Дик, очень серьезно и почтительно глядя на Трэдльса, сосал свой большой палец.

Пораздумав немножко, Трэдльс сказал:

— Но ведь документы, о которых я говорю, совершенно закончены. Мистеру Дику в них нечего будет и прибавлять. Разве вам не кажется, Копперфильд, что это совсем не то, что мемуары? Во всяком случае, почему нам не попробовать?

Перед нами блеснула новая надежда. Мы с Трэдльсом тихонько переговорили о том, как обставить завтра этот опыт, а пока мы говорили, бедняга Дик, сидя на стуле с беспокойным видом, не сводил с нас глаз.

На следующий день опыт дал блестящие результаты. У окна нашей с бабушкиной квартиры на стол был положен доставленный Трэдльсом документ, помнится, о праве проезда через какие-то владения, а на другой стол мы поместили последний экземпляр незаконченных мемуаров. Мистеру Дику было сказано, что он должен сделать с документа такое-то количество копий, списывая без малейшего отступления от оригинала; в случае же, если ему захочется что-либо прибавить, пусть мчится к своей рукописи. Мы увещевали его быть твердым и поручили бабушке наблюдать за ним. Она потом нам рассказывала, как он сначала метался с пером в руке от одного стола к другому, но вскоре, почувствовав, что это очень неудобно и утомительно, стал прилежно переписывать документ, а писание мемуаров отложил до более подходящего времени. И вот, хотя мы и старались не обременять его и работать он начал не с первого дня

недели, тем не менее в субботу вечером он получил за переписку целых десять шиллингов и девять пенсов. Никогда в жизни не забуду, как он менял эти деньги по всем соседним лавкам и, наменяв шестипенсовых монет, уложил их в виде сердца на поднос и, гордый, с радостными слезами на глазах преподнес бабушке. С того момента, как милый старик стал зарабатывать, он изменился, как по мановению волшебного жезла. Смело могу сказать, что в этот субботний вечер не было на свете более счастливого человека, чем это благородное существо, считавшее мою бабушку самой удивительной женщиной в мире, а меня — самым гениальным молодым человеком.

— Теперь, Тротвуд, не может быть и речи о голодной смерти, — заявил он, отводя меня в угол и пожимая мне руку. — Я буду в состоянии прокормить ее, сэр.

И, говоря это, он, растопырив, поднял кверху свои десять пальцев с таким видом, словно каждый из них был государственным банком.

Не знаю уж, кто из нас двоих более радовался тут — Трэдльс или я. Вдруг, вынимая из кармана письмо, Трэдльс проговорил:

— Из-за всего этого я совсем было позабыл Микобера. Письмо это (мистер Микобер ведь никогда не упускал случая поупражняться в эпистолярном стиле<sup>[5]</sup>) было адресовано в адвокатскую коллегия мистеру Томасу Трэдльсу для передачи мне. Содержание его было таково:

«Мой дорогой Копперфильд!

Думаю, что вы не особенно будете удивлены, узнав, что мне кое-что подвернулось, ибо, помните, при последнем нашем свидании я говорил вам, что ожидаю этого.

Я накануне того, чтобы поселиться в одном из провинциальных городов нашего благословенного острова, где население представляет собой удачное сочетание земледельческого и духовного сословий. Я лично буду иметь непосредственное отношение к одной высокоученой профессии. Миссис Микобер и наше потомство следуют за мной. Со временем, надеюсь, наш прах будет покоиться на кладбище под сенью того знаменитого здания, благодаря которому сам город приобрел известность на всем земном шаре, так сказать, от Китая до Перу...

Прощаясь с этим современным Вавилоном, где мы, полагаю, не без благородства перенесли немало превратностей судьбы, мы с миссис Микобер не можем не думать о том, что расстанемся на

многие годы, а быть может и навсегда, с человеком, который был связан такими тесными узами с алтарем нашей семейной жизни. Если вечером, накануне нашего отъезда, вы вместе с нашим общим другом мистером Томасом Трэдльсом соблаговолите пожаловать в наше теперешнее обиталище, дабы обменяться с нами естественными в таких случаях пожеланиями, то этим благодетельствуете всегда вашего Вилькинса Микобера».

Я очень был рад, что злоклучения мистера Микобера кончились и наконец что-то ему подвернулось. Узнав, что приглашены мы именно на сегодняшней вечер, я предложил сейчас же, не откладывая, отправиться к ним. Жили они где-то в самом конце Грейсин-стрит, под фамилией Мортимер. Квартира их была так тесна, что близнецы, которым было теперь лет по восемь-девять, спали на складной кровати в той самой гостиной, где мистер Микобер приготавливал в умывальном кувшине приятный напиток, прославивший его. В этой же самой гостиной я имел также удовольствие возобновить знакомство с юным Микобером-младшим, мальчиком лет двенадцати-тринадцати. Он как будто подавал надежды на будущее, но отличался слишком большой подвижностью рук и ног, что, правда, нередко замечается в его возрасте. Возобновил я знакомство и с его сестрицей, мисс Микобер, в которой, по словам мистера Микобера, возродилась, подобно фениксу<sup>[6]</sup>, юность ее мамы.

— Дорогой мой Копперфильд! — обратился ко мне мистер Микобер. — Вы с мистером Трэдльсом застаете нас накануне переселения и потому, надеюсь, извините нас за некоторые маленькие неудобства.

Приискивая подобающий ответ, я оглядел комнату и заметил, что все имущество семьи было уже упаковано, причем багаж их был далеко не обременителен. Я приветствовал миссис Микобер с ожидающей ее переменой к лучшему.

— Дорогой мистер Копперфильд, — ответила мне миссис Микобер, — я никогда не сомневалась в вашем искреннем дружеском участии к нам. Пусть мои родственники смотрят на наше переселение, как на какую-то ссылку, но я жена и мать и никогда не покину мистера Микобера.

Миссис Микобер, ища сочувствия, остановила свой взор на Трэдльсе, и он горячо одобрил ее решение.

— Видите ли, дорогие мистер Копперфильд и мистер Трэдльс, — продолжала миссис Микобер, — я так понимаю то обязательство, которое приняла на себя, повторяя перед алтарем эти незабываемые слова: «Я, Эмма, беру вас, Вилькинс, себе в мужья». Помню, что ночью накануне свадьбы я при слабом свете свечи прочла от начала до конца весь обряд венчания и тогда же сказала себе, что никогда не покину мистера Микобера.

— Дорогая моя, — с некоторым нетерпением проговорил супруг, — мне кажется, что никто и не ждет от вас ничего подобного.

— Быть может, это жертва с моей стороны, — продолжала миссис Микобер, — обречь себя на жизнь в городе, известном только своим собором, не подумайте, мистер Копперфильд, если для меня это жертва, то для человека с такими талантами, как мистер Микобер, это еще больше чем жертва!

— А вы отправляетесь в какой город? — спросил я. Мистер Микобер, в это время потчевавший нас всех пуншем из умывального кувшина, ответил:

— Мы едем в Кентербери. Дело в том, дорогой мой Копперфильд, что я вступил с нашим приятелем Гиппом в соглашение, в силу которого я обязался по контракту состоять при нем... как бы это сказать... его личным, доверенным секретарем.

Я с изумлением посмотрел на мистера Микобера, и это, видимо, доставило ему большое удовольствие.

— Я должен довести до вашего сведения, — официальным тоном продолжал мистер Микобер, — что деловитость и мудрые советы миссис Микобер сыграли большую роль в этом деле. Когда моя перчатка, о которой говорила в предшествующее наше свидание миссис Микобер, была брошена обществу в виде газетного объявления, ее поднял мой друг Гипп. Это и свело нас опять с ним. Друг мой Гипп — человек очень тонкого, проницательного ума, и я могу говорить о нем только с величайшим уважением. Друг мой Гипп не предложил мне особенно крупного вознаграждения, но он в значительной мере помог мне выпутаться из моих финансовых затруднений, рассчитывая на мои будущие услуги, и он не ошибся: весь ум и всю ловкость, которыми меня наградила мать-природа (эти слова мистер Микобер проговорил со скромной гордостью, своим былым барским тоном), будут всецело отданы на служение моему



другу. Благодаря выступлению на судах по своим личным делам я уже приобрел некоторое знакомство с законами, а теперь стану еще изучать руководство по юриспруденции такого знатока, как судья Блэкстон.

— Видите ли, дорогой мой Копперфильд, — заговорила миссис Микобер, сделав усилие несколько усмирить своего неугомонного, ни на минуту не знавшего покоя старшего сына, — я настоятельно прошу и даже положительно требую, чтобы мистер Микобер не компрометировал свою будущую карьеру. Он может занять второстепенную должность в юридическом мире единственно лишь при условии, чтобы эта должность не закрывала ему пути к повышению и не помешала в будущем занять какое-нибудь высокое, почетное положение. Принимая во внимание, что профессия юриста как нельзя более соответствует гениальному, изворотливому уму и блестящему красноречию мистера Микобера, я уверена, что он будет иметь на этом поприще огромный успех... Скажите, мистер Трэдльс, — с глубокомысленным видом обратилась она к моему приятелю, — если бы мистеру Микоберу предстояло в будущем занять, ну, скажем, пост судьи или даже канцлера, не послужила ли бы к этому препятствием та служба, которую он взял на себя теперь?

— Дорогая моя, у нас для обсуждения этих вопросов имеется довольно времени впереди, — заметил ее супруг, в свою очередь бросая на Трэдльса пытливый, вопросительный взгляд.

— Нет, Микобер, я с этим не согласна, — возразила ему супруга. — Вашей ошибкой в жизни всегда было то, что вы не заглядывали вперед. А между тем, если не ради самих себя, то ради вашей семьи, вы должны окидывать взором отдаленнейшие точки горизонта, куда могут привести вас ваши таланты.

Мистер Микобер откашлялся и с необыкновенно довольным видом потянул свой пунш, продолжая вопросительно поглядывать на Трэдльса.

— Как я понимаю, миссис Микобер, вы желаете узнать от меня чистую правду, — начал Трэдльс нерешительным тоном, очевидно намереваясь как можно мягче сказать ей эту правду.

— Конечно, дорогой мистер Трэдльс.

— Так вот, я принужден вам сказать, — продолжал Трэдльс, — что если бы даже мистер Микобер был стряпчим, то и тогда он не мог

бы быть избран на такие должности. Для этого надо быть адвокатом, прошедшим пятилетний курс юридического факультета.

— Так ли я вас поняла, дорогой мистер Трэдльс? — спросила любезно-деловым тоном миссис Микобер. — Значит, пробыв пять лет на юридическом факультете, мистер Микобер мог бы быть избран на должность судьи и даже канцлера.

— Он имел бы право быть избранным, — ответил Трэдльс, делая ударение на слове «право».

— Благодарю вас, — сказала миссис Микобер. — Это все, что мне хотелось знать. Я вижу теперь, что мистер Микобер не теряет никаких прав и привилегий, поступая на должность доверенного секретаря. Я, конечно, говорю как женщина, но мне кажется, я права, считая, что у мистера Микобера есть, — как, помню, мой папа когда-то выражался, — юридический ум. Надеюсь, что мистер Микобер, вступая теперь на это поприще, не замедлит занять на нем высокое положение.

Я не сомневаюсь, что в эту минуту мистер Микобер, при своем пылком воображении, чувствовал себя лордом канцлером. Он благодушно погладил свою лысую голову и проговорил с показным смирением:

— Не будем, дорогая моя, предрешать велений судьбы. Во всяком случае, если мне суждено носить парик, то голова моя уже заранее подготовилась к этой чести (он имел в виду лысину). Что же, я не жалею о своих волосах: быть может, лишив меня их, судьба имела в виду нечто определенное. Кто знает?.. Я хотел вам сказать, дорогой Копперфильд, что желал бы сделать из своего старшего сына духовное лицо. Не скрою, что ради этого я и был бы счастлив занять высокое положение.

— Духовное лицо? — рассеянно переспросил я, всецело занятый мыслями об Уриа Гиппе.

— Да, у моего старшего сына великолепный голос, и он начнет с того, что будет певчим. А потому то обстоятельство, что мы будем жить в Кентербери, и то, что у нас там будут связи, даст ему возможность быстро возвыситься среди соборного притча.

Здесь разговор перешел на общие темы. Я был слишком захвачен своими новыми переживаниями, чтобы умолчать о моих изменившихся обстоятельствах и не сообщить мистеру и миссис

Микобер о бабушкином разорении. Трудно описать, в какой восторг пришли они оба, узнав об этом, какими стали веселыми и ласковыми!

Когда мы почти допили весь пунш, я напомнил Трэдльсу, что прежде, чем разойтись, нам нужно пожелать нашим друзьям здоровья, счастья и благополучия на их новом пути. Тут же я попросил мистера Микобера наполнить наши бокалы и произнес подходящий к случаю тост, причем мистеру Микоберу крепко-крепко через стол пожал руку, а миссис Микобер расцеловал. Трэдльс за мной пожал обоим супругам руки, не считая себя настолько старым другом, чтобы отважиться поцеловать миссис Микобер.

— Дорогой Копперфильд, — начал мистер Микобер, в свою очередь поднимаясь с места и засунув большие пальцы в жилетные карманы, — товарищ моей юности, если мне позволено будет так выразиться, уважаемый друг мой мистер Трэдльс... надеюсь, вы разрешите так называть вас?.. Позвольте мне от имени миссис Микобер, от меня самого и от нашего потомства горячо, от всей души поблагодарить вас обоих за высказанные вами благие пожелания. Естественно ожидать, что перед нашим переселением, вслед за которым должна начаться для нас новая жизнь (он говорил так, словно они переселялись за сотни тысяч миль), я захочу обратиться к таким друзьям, как вы, с несколькими прощальными словами. Но все, что я мог сказать, я уже сказал. Могу только прибавить, что миссис Микобер, без сомнения, украсит, а я постараюсь не уронить любое общественное положение, какое смогу занять благодаря тому, что мне предстоит стать скромным членом сословия ученых. Под временным давлением денежных обязательств, которые были выданы с намерением безотлагательной оплаты, но не были оплачены вследствие роковых стечений обстоятельств, я, вопреки своей натуре, принужден был изменить свой внешний вид (я имею в виду очки) и присвоить себе новое имя, на которое не мог иметь никаких законных притязаний. Добавлю еще, что мрачные тучи рассеялись на моем небосклоне и на нем парит бог солнца на своей лучезарной колеснице... И вот в понедельник, в четыре часа пополудни, когда дилижанс доставит меня в Кентербери, я выйду из него снова Микобером.

По окончании этой речи мистер Микобер занял свое прежнее место и с важным видом опорожнил один за другим два бокала

пунша. Затем очень торжественным тоном он произнес:

— Прежде чем нам расстаться, мне надлежит еще выполнить один долг чести и справедливости. Мой друг мистер Томас Трэдльс, желая вывести меня из затруднения, два раза соблаговолил поручиться за меня, проставив свое имя на моем векселе. В первом случае мистер Томас Трэдльс... как бы это сказать?.. попал в пренеприятное положение. Срок платежа второго векселя еще не наступил. Первый вексель был на сумму (тут он заглянул в спую записную книжку) двадцать три фунта четыре шиллинга девять с половиной пенсов, вырой — на сумму восемнадцать фунтов стерлингов шесть шиллингов и два пенса. Если не ошибаюсь в сложении, то эти две суммы составляют сорок один фунт стерлингов десять шиллингов и одиннадцать с половиной пенсов. Быть может, мой друг Копперфильд соблаговолит проверить этот итог?

Я проверил и нашел итог верным.

— Покинуть столицу, — продолжал мистер Микобер, — не рассчитавшись с моим другом мистером Томасом Трэдльсом за оказанную услугу, было бы для меня невыносимо тяжело. Поэтому для погашения своего долга моему другу мистеру Томасу Трэдльсу я приготовил и держу в руке вот этот документ. Прошу его принять мой вексель на сумму сорок один фунт стерлингов десять шиллингов и одиннадцать с половиной пенсов. И отныне я буду счастлив, сознавая, что вернул себе нравственное достоинство и могу снова высоко держать голову перед своими ближними.

С этими словами, очень его растрогавшими, мистер Микобер передал свой вексель Трэдльсу и с чувством сказал, что желает ему всяких благ. Я убежден, что в эту минуту не только Микобер считал, что он действительно расплатился со своим долгом, но и сам Трэдльс не сразу понял, что это далеко не так.

Мистер Микобер, выполнив этот долг чести, шел перед «своими ближними» с таким гордым видом, так выпрямившись, что когда он светил нам на лестнице, грудь его казалась вдвое шире. Все мы расстались очень сердечно. Я пошел проводить Трэдльса до его дома. Возвращаясь один к себе, я по дороге размышлял о разных странностях и противоречиях, встречающихся в жизни, и между прочим искал объяснения того, почему мистер Микобер, при своем легкомысленном отношении к чужим деньгам, никогда не просил у

меня займы. Я пришел к заключению, что этим я обязан тому, что в его памяти было свежо воспоминание о моем злосчастном детстве, когда я жил у него на квартире. А у меня, конечно, никогда не хватило бы духу отказать ему в деньгах, и он (надо сказать к его чести) не хуже моего знал это.

## ***Глава VIII***

# ***МОЙ ПЫЛ СЛЕГКА ОБДАЮТ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ***

Уже больше недели жил я новой жизнью, а решимость бороться и пробивать себе дорогу, вызванная бабушкиным разорением, только крепла во мне. Все так же я носился с необыкновенной быстротою, воображая, что таким образом я скорее достигну цели. Я поставил себе за правило — все, что делаю, делать с максимальной энергией. Я просто мучил себя, и мне даже приходила в голову мысль сделаться вегетарианцем. Я почему-то считал, что, став травоядным, буду приносить жертву на алтарь моей богини — Доры.

А маленькая моя Дора знала о моей отчаянной решимости только по туманным намекам в моих письмах. Но вот наступила опять суббота, и в эту субботу вечером она собиралась быть у мисс Мильс. И, как только мистер Мильс уйдет в свой клуб играть в вист (об этом мне должны были сигнализировать с помощью клетки с канарейкой, повесив ее в среднем окне гостиной), я должен был явиться к ним на чай.

К этому времени мы с бабушкой уже окончательно устроились и букингамской квартире, где мистер Дик с упоением продолжал переписывать документы. Бабушка одержала над миссис Крупп блистательную победу: она отказалась пользоваться ее услугами, выбросила за окно первый же кувшин, которым та забаррикадировала лестницу, и ежедневно лично провожала вверх и вниз по лестнице приглашенную со стропы приходящую прислугу. Эти энергичные меры заставили миссис Крупп ретироваться на свою кухню, в полной уверенности, что бабушка не в своем уме. Бабушка, глубоко равнодушная к ее мнению, как вообще ко всем мнениям на свете, не только не старалась рассеять его, а, наоборот, рада была укрепить. И вот миссис Крупп, еще недавно такая отважная и дерзкая, и несколько дней стала так робка, что, заслышав бабушкины шаги на лестнице, бежала прятаться или за дверь, из-за которой, впрочем, всегда выглядывал подол ее фланелевой юбки, или забивалась в какой-нибудь

темный угол. Бабушке это доставляло такое невыразимое удовольствие, что, мне кажется, она нарочно, сдвинув чепчик на затылок, дабы придать себе более ненормальный вид, выходила на лестницу, когда можно было ожидать встретить там миссис Крупп.

Бабушка, будучи очень аккуратной и изобретательной, так усовершенствовала нашу квартиру, что казалось — мы не обеднели, а разбогатели. Между прочим, она превратил чулан в туалетную комнату для меня и купила мне складную кровать, которая днем выпядела книжным шкафом, конечно, насколько это возможно для кровати.

Бабушка не переставала думать и заботиться обо мне, и моя бедная мама сама не могла бы любить меня больше и больше стараться сделать меня счастливым.

Пиготти была очень горда тем, что могла принимать участие во всех этих работах. Хотя няня продолжала все еще немного побаиваться бабушки, но за последнее время она видела от нее столько доверия и доброты, что они стали лучшими друзьями на свете. Но вот настал день отъезда Пиготти (это как раз была та суббота, когда вечером я должен был пить чай у мисс Мильс). Няне надо было возвращаться домой, чтобы заботиться о Хэме, как она обещала брату.

— Прощайте, Баркис, — сказала бабушка. — Берегите же себя хорошенько. Никогда бы не подумала, что мне может быть так грустно расставаться с вами.

Я проводил Пиготти до конторы дилижансов и пробыл с ней до ее отъезда. Она плакала, расставаясь со мной, и умоляла меня, как раньше делал это Хэм, заботиться о ее брате. С тех пор как он исчез в тот вечер в лучах заходящего солнца, о нем не было ни слуху ни духу.

— А теперь послушайте, дорогой Дэви, — промолвила Пиготти: — если вам понадобятся деньги, пока вы готовитесь к службе или когда будете устраиваться в жизни, так помните, что никто на свете не имеет большего права дать вам их, чем я, «собственная старая дура» моей милой девочки — вашей мамы.

При всей своей теперешней самостоятельности, я тем не менее ответил ей, что если когда-нибудь мне понадобится взять займы деньги, то я возьму их только у нее, и этим обещанием положительно осчастливил ее, почти так же, как если бы и что минуту взял у нее большую сумму денег.

— И вот еще что, родной мой, — прошептала Пиготти: — скажите своему ангелочку, что мне так хотелось бы увидеть ее хотя бы на одну минутку. И передайте ей, что перед тем, как она будет выходить замуж за моего мальчика, я непременно хочу, если вы мне позволите, убраться как следует вашу квартиру.

Я объявил няне, что никто, кроме нее, не коснется нашей квартиры, и это привело мою старушку в такой восторг, что она уехала в прекрасном настроении.

А я, за целый день изморив себя вконец всевозможными проектами в «Докторской общине», вечером в условленное время ходил уже по улице, где жили Мильсы. И нужно же было этому ужасному мистеру Мильсу спать после обеда! Он до сих пор еще не ушел в свой клуб: в среднем окне гостиной не было клетки. Он так долго продержал меня на улице, что я жаждал, чтобы клуб оштрафовал его за опоздание. Наконец-то он ушел, и тотчас же я увидел, как моя Дора собственными ручками повесила клетку и выплянула на балкон, желая убедиться, нет ли меня поблизости. Заметив меня, она бросилась обратно в комнату, в то время как Джип, оставшись на балконе, отчаянно лаял на громадного, пробежавшего по улице дога, который мог проглотить его, точно пилюлю.

Дора встретила меня в дверях гостиной, а Джип, очевидно принимая за бандита, кинулся на меня, задыхаясь от лая, но хозяйка уняла его, и мы все трое, радостные и веселые, вошли в гостиную. Однако вскоре я сам испортил это радостное настроение, спросив Дору без всякой подготовки, сможет ли она любить нищего. Бедненькая моя, хорошенькая, перепуганная Дора! У нее слово «нищий», очевидно, ассоциировалось только с изможденным желтым лицом, потрепанной шапкой, тут же костыли, деревяшка вместо ноги, собака с чашечкой в зубах для милостыни и т. п., и она самым очаровательным образом уставилась на меня.

— Как можете вы задавать мне такие глупейшие вопросы? — наконец сказала Дора, надув губки. — Любить нищего!

— Дора, сокровище мое! — воскликнул я. — Я стал нищим!

— Что за блажь на вас нашла! Можно ли говорить такие глупости! — воскликнула Дора, похлопывая меня по руке. Вот я сейчас напущу на вас Джипа.



Я был очарован ее детски-шаловливым тоном, но тем не менее надо же было объясниться, и я очень торжественно повторил:

— Дора! Жизнь моя! Ваш Давид разорен!

— Говорю вам, что если вы будете разыгрывать такую комедию, я велю Джипу вас укусить, — заявила Дора, потряхивая локонами.

Но я так серьезно смотрел на нее, что она перестала потряхивать локонами и положила свою дрожащую ручку мне на плечо, а затем поглядела на меня с недоумением и расплакалась. Это было ужасно! Я бросился перед нею на колени и стал ласкать ее, умоляя не терзать мне сердца. А Дора бормотала:

— Боже мой, боже!.. Страшно, страшно... Где Джулия?.. Отведите меня к ней, а сами, пожалуйста, уходите...

Я совсем потерял голову.

Наконец мне удалось умолить Дору взглянуть на меня. У нее был ужасно перепуганный вид. Мало-помалу я успокоил ее, на личике ее снова засветилась любовь, и она своей хорошенькой, нежной щечкой прижалась к моей щеке. Тут, крепко обняв ее, я стал говорить, как горячо-горячо я ее люблю, но все-таки считаю своим долгом, раз я превратился в бедняка, освободить ее от данного мне слова. Говорил я ей о том, что потеряв ее, никогда не утешусь, никогда не смогу примириться с этим; уверял, что если только бедность не страшит ее, то мне она нипочем, ибо и сердце мое и руки будут окрылены любовью к ней...

И рассказал ей, что уже принялся за работу — с мужеством, знакомым только одним влюбленным, начал более разбираться в жизни и думаю о будущем. Я ей доказывал, что сухая корка хлеба, заработанная в поте лица, гораздо вкуснее роскошного пира, устроенного на наследственные деньги, и охваченный пылким красноречием, я тут наговорил столько прекрасных слов, что сам был удивлен этим, несмотря на то что с момента, когда я узнал о бабушкином разорении, я не переставал придумывать, что скажу по этому поводу при свиданье моей Доре.

— Так ваше сердечко все же мое, Дора, дорогая моя? — в восторге прошептал я, чувствуя, что она жметя ко мне.

— Конечно, конечно, ваше! — покричала Дора. — Только не будьте страшным.

— Я страшен моей Доре?

— Не говорите мне, что вы бедны и работаете, как каторжник! — молила она меня, еще крепче прижимаясь ко мне. — Не говорите, не говорите этих ужасов!..

— Любимая моя! — снова начал я. — Черствая корка хлеба, заработанная честным трудом...

— Знаю, знаю, — перебила она меня, — но я не хочу больше слышать об этих корках. И Джипу каждый день в двенадцать часов нужна баранья котлетка, а иначе, он погибнет.

Я был очарован ее милым, детским лепетом и ласково успокоил ее, что Джип, во всяком уж случае, будет ежедневно получать свою баранью котлетку. Тут же я нарисовал ей картину нашей будущей скромной, но благодаря моему энергичному труду, безбедной жизни в том домике, который я видел в Хайгейте, причем прибавил, что в комнате верхнего этажа будет жить бабушка.

— Ну что? Теперь я уж не страшен, Дора? - нежно спросил я.

— Нет, нет! — сказала она. — Но надеюсь, что ваша бабушка не часто будет спускаться из своей комнаты. А она скажите, не ворчливая старуха?

Если б вообще было возможно мне еще больше полюбить Дору, то в эту минуту я полюбил бы. Но я чувствовал, что она немного непрактична. Мне так хотелось влить в нее бурно пробудившуюся во мне энергию, и я еще раз попытался это сделать. Когда Дора совсем успокоилась и, держа на коленях Джипа, принялась играть его ушками, я обратился к ней с самым серьезным видом:

— Родная моя, можно мне сказать вам одно словечко?

— Только, пожалуйста, не говорите о практических вещах, — ласкаясь, проговорила Дора, — это так меня пугает.

— Сердечко мое, тут совершенно нечего пугаться, — ответил я. — Мне хочется, чтобы вы совсем иначе смотрели на это, хотелось бы, чтобы это, наоборот, вдохнуло в вас мужество, решимость...

— О, это так ужасно! — закричала Дора.

— Да нет же, моя любимая! — убеждал я. — С настойчивостью и сильным характером можно переносить гораздо более тяжелые вещи.

— Но у меня вообще нет никаких сил, — заявила Дора, все так же потряхивая локонами, — не правда ли, Джип? Лучше поцелуйте Джипа и будьте милым.

Можно ли было не поцеловать Джипа, когда она поднесла его ко мне, сама сложив губки для поцелуя и настаивая, чтобы я поцеловал собачку как раз в самый носик. И я поцеловал Джипа именно так, как она хотела, но потребовал себе награду... И, обворожив, Дора заставила меня, уж не знаю на сколько времени, забыть о всех моих серьезных мыслях и проектах.

— Но, дорогая, любимая моя Дора, — наконец заговорил я торжественным тоном, — я собирался еще кое о чем поговорить с вами...

Не сомневаюсь, что и сам председатель «Докторской общины» не смог бы устоять и сейчас же влюбился бы в мою девочку, видя, как она, сложив ручки, просила и молила меня больше не путать ее, не быть страшным.

— Да я вовсе и не хочу пугать вас, мое сокровище, — уверял я ее, — но мне так бы хотелось, чтобы вы отнюдь не с отчаянием, а бодро думали иногда о том, что вы невеста бедного человека...

— Нет, нет! Умоляю, не говорите о бедности! — закричала Дора. — Это так ужасно!

— Душа моя, что же тут страшного, — старался я убедить ее, говоря веселым тоном, — если вы время от времени станете присматриваться к хозяйству вашего папы и попробуете поучиться, хотя бы... ну, вести счета.

На это предложение бедненькая моя Дора ответила криком, похожим на рыдание.

— Это, поверьте, было бы для нас очень полезно в будущем, — продолжал я ее уговаривать, — и если бы вы обещали мне иногда немного почитать маленькую поваренную книгу, которую я пришлю вам, как бы это было чудесно для нас! Ведь теперь наш путь, дорогая моя девочка, — прибавил я, все более и более воодушевляясь, — усеян камнями и терниями, и мы сами должны сплести его. Нам с вами надо бороться. Будем мужественны: нас ждут препятствия... ну что ж, мы все их преодолеем, все растопчем!

Я пришел в такой азарт, что, сжав руку в кулак, безудержно понесся вперед в своем красноречии. Но — надо было замолчать... Я слишком много наговорил, снова совершенно запугал ее. Она снова стала кричать, что ей страшно, страшно, жаждала видеть Джулию Мильс и гнала меня от себя.

Я был вне себя и, как безумный, метался по гостиной. Мне казалось, что на этот раз я ее совсем убил. Я брызгал водой в ее личико, бросался перед нею на колени, рвал на себе волосы, обзывал себя бессовестным скотом, бессердечным зверем. Я молил ее простить меня, умолял взглянуть на меня. В своем смятении, разыскивая в рабочем ящике мисс Мильс флакон с нюхательным спиртом, я схватил игольник из слоновой кости и, открыв его над головой Доры, всю обсыпал ее иголками. Помню, что Джип неистовствовал не меньше моего, и я в бешенстве грозил ему кулаками. Словом, я безумствовал и совсем потерял голову, когда вдруг в гостиной появилась мисс Мильс.

— Что такое? Кто это наделал? — закричала мисс Мильс, бросаясь на помощь к своей приятельнице.

— Я, мисс Мильс! Я это наделал! Вы видите перед собой убийцу! — закричал я и, не смея глядеть на свет божий, зарыл голову в диванные подушки...

Сначала мисс Мильс думала, что у нас произошла ссора и нам с Дорой грозит очутиться в пустынной Сахаре, но вскоре она поняла, в чем дело, так как Дора, обняв ее, крикнула: «Он теперь чернорабочий!», потом стала плакать обо мне, поцеловала меня и принялась умолять меня взять все имеющиеся у нее деньги. После этого она снова бросилась на шею мисс Мильс и зарыдала так, что, казалось, ее нежное сердечко должно разорваться. Мисс Мильс, видимо, родилась нашим добрым гением. Выведав от меня вкратце положение вещей, она стала успокаивать Дору, уверяя, что я вовсе не чернорабочий. Повидимому, Дора из моих слов заключила, что я теперь что-то вроде портового грузчика, который должен по целым дням возить тяжелую тачку. Мало-помалу мисс Мильс удалось нас обоих успокоить. Когда мы окончательно пришли в себя и Дора пошла наверх промыть себе глаза розовой водой, мисс Мильс позвонила, чтобы горничная подала чай. Оставшись наедине с мисс Мильс, я сказал ей, что я ее друг навеки и что скорее мое сердце перестанет биться, чем я забуду все сделанное ею для меня. Затем я изложил ей все, что я так безуспешно пытался втолковать Доре. На это мисс Мильс заявила, что недаром говорят пословицы: «И через золото слезы льются» и «С милым рай в шалаше», — словом, любовь в жизни — это всё. Я горячо согласился с этим и прибавил, что никому это не

известно лучше, чем мне, который любит Дору так, как никогда еще не любил ни один смертный. Затем я спросил мисс Мильс, как смотрит она на мой проект, чтобы Дора понемножку присматривалась к хозяйству, почитывала поваренную книгу и приучалась к ведению счетов.

Подумав немного, мисс Мильс ответила:

— Мистер Копперфильд, я буду с вами откровенна. Пережитые душевные муки и испытания старят некоторых людей раньше времени, и я буду говорить с вами так, словно я настоятельница какого-нибудь монастыря. Так вот, я не согласна с вашим проектом. Наша милая Дора — любимое дитя природы. Она вся как бы соткана из света, эфира и радости. Я не отрицаю, что если бы Дора могла последовать вашим советам, то это было бы прекрасно, но... — и мисс Мильс покачала головой.

Воспользовавшись некоторым колебанием, как бы прозвучавшим в последних словах мисс Мильс, я спросил ее, не сможет ли она при удобном случае обращать внимание Доры на практические стороны жизни, что так необходимо для нашего будущего, полного борьбы. Получив от нее утвердительный ответ, я до того расхрабрился, что еще попросил ее передать Доре поваренную книгу, которую в ближайшее же время я ей доставлю, но передать так, чтобы не очень напугать бедную девочку. Мисс Мильс на это согласилась, хотя по ней я и видел, что она не особенно-то надеялась на успех Доры в поваренном искусстве.

В эту минуту вернулась Дора, такая прелестная, миниатюрная, эфирная, что у меня мелькнула мысль: можно ли, и вправду, подобное существо обременять житейскими заботами? А к тому же, она так крепко любила меня и так была обворожительна (особенно, когда заставляла служить Джипа), что я, вспоминая, как напугал ее и довел до слез, чувствовал себя каким-то сказочным чудовищем, нарушившим покой прелестной феи.

После чая явилась на сцену гитара, и Дора опять спела те самые милые французские баллады, под звуки которых: тра-ла-ла, тра-ла-ла, ноги сами так и хотят пуститься в пляс. И тут я почувствовал себя еще большим извергом.

Правда, еще одна тучка промелькнула на нашем ясном небе незадолго до моего ухода. Мисс Мильс случайно заговорила о

завтрашнем утре, и я имел несчастье при этом сказать, что, ведя теперь трудовую жизнь, я встаю в пять часов утра. Не знаю, что пришло тут в голову Доре, быть может, она решила, что я где-нибудь служу ночным сторожем, только мои слова, видимо, произвели на нее сильнейшее впечатление, и она даже перестала петь и аккомпанировать себе. Несомненно, мысль об этом не давала покоя Доре, ибо когда я уходил, она сказала мне своим ласковым голоском, словно я был куклой:

— Смотрите, гадкий мальчик, не смейте же вставать в пять часов, это так бессмысленно!

— Надо работать, — пояснил я.

— Так не работайте! Зачем это вам?

Глядя на ее милое удивленное личико, я мог только весело и шутливо сказать ей, что работать мы должны, чтобы жить.

— О, как это странно! — воскликнула Дора.

— Ну, а как же мы будем жить без этого, Дора? — спросил я.

— Как?.. Да как-нибудь!

Проговорила она это с таким видом, точно вполне разрешила вопрос, и так невинно и вместе с тем так обворожительно поцеловала меня, что за все сокровища мира я не смог бы еще раз смутить ее покой.

Да, такую, какой она была, я любил ее и продолжал любить беззаветно, всей душой. Но иногда по вечерам, когда сидел в нашей квартире против бабушки, работая изо всех сил, словно куя на наковальне горячее железо, я вспоминал, до чего была перепугана в тот вечер моя Дора, и ломал себе голову над тем, как же это я с футляром от Дориной гитары в руках проложу себе дорогу через лес препятствий... И мысль эта так терзала меня, что порой мне казалось, будто волосы мои совсем уже седеют.

## *Глава IX*

# *ФИРМА «СПЕНЛОУ И ДЖОРКИНС» ЛИКВИДИРУЕТСЯ*

Я немедленно принялся за осуществление своего проекта относительно репортерской работы в парламенте. Это ведь было тоже раскаленное железо моей кузницы, которое надо было безотлагательно ковать, и я ковал его с энергией, по совести говоря, достойной восхищения. Я немедленно приобрел себе пользующийся известностью учебник благородной таинственной стенографии (стоило это мне десять шиллингов и шесть пенсов) и погрузился в море загадочных хитросплетений, доведших меня через несколько недель почти до умопомешательства. Все эти кружки, полукружки, черточки, крючки величиной не больше лапки мухи, совершенно менявшие значение в зависимости от своего положения, не только преследовали меня наяву, но не давали покоя и во сне. Пробравшись, можно сказать, ощупью через лабиринт, называемый стенографической азбукой, которая действительно представляла собой что-то вроде египетских иероглифов, я наткнулся на новый ужас — какие-то произвольные знаки: так, например, изображение, похожее на паутину, означает «ожидание», а знак, похожий на восклицательный, — прилагательное «невыгодный». Я с ожесточенным принялся долбить их, но, к великому своему ужасу, замечал, что, заучив одни знаки, я забываю другие; опять бросался к тем, но оказывалось, что из головы моей уже успело вылететь начало; словом, это было убийственно, и я, конечно, совсем пал бы духом, не будь Доры, этого якоря моей ладьи, гонимой бурей. А тут каждый усвоенный стенографический знак казался мне суковатым деревом, срубленным мной в лесу препятствий, и я с такой невероятной энергией валил эти деревья одно за другим, что месяца через три-четыре я решил попытаться застенографировать речь одного из наших самых бойких говорунов «Докторской общины». Никогда не забуду, как удрал от меня этот говорун, прежде чем я смог начать

стенографировать, как тут прыгал, словно в конвульсиях, мой карандаш по бумаге!

Было ясно, что о стенографировании не могло быть и речи: я возмечтал о себе слишком много, надо было смириться. Я обратился за советом к Трэдльсу, и он предложил мне диктовать речи медленно, останавливаясь, когда мне это будет нужно. Очень тронутый этой дружеской помощью, я с благодарностью принял его предложение. И вот в течение долгого времени, почти каждый вечер после моего возвращения от доктора Стронга, в нашей букингамской квартире происходило нечто вроде частных парламентских заседаний.

Думаю, вряд ли возможно было где-нибудь отыскать другое подобное парламентское заседание! Бабушка и мистер Дик изображали (судя по обстоятельствам) то правительство, то оппозицию, а Трэдльс, имея перед собой учебник ораторского искусства Энфильда или сборник парламентских речей, разражался против них самыми беспощадными филипинками<sup>[7]</sup>. Стоя у стола и водя пальцем левой руки по странице, которую читал, Трэдльс, отчаянно жестикулируя правой рукой и совершенно входя в роль известных парламентских ораторов, с необычайным жаром громил бабушку и мистера Дика, разоблачая разные их махинации и развращенность. А я, сидя тут же поблизости со своей записной книжкой, из кожи лез, чтобы поспеть за ним. Бабушка со своей величавой невозмутимостью и неподвижностью прекрасно изображала министра финансов и по временам, когда этого требовала речь оратора, бросала лаконические возгласы: «Браво», «Нет, погодите», «Ого!..», а мистер Дик, искусно игравший роль члена парламента, помещика, явившегося из провинции, сейчас же, как эхо, повторял за бабушкой ее возгласы.

Но на мистера Дика в продолжение его парламентской деятельности сыпались такие обвинения и угрожали ему такими ужасными карами, что он, бедняга, порой начинал чувствовать себя очень неважно. Мне кажется, мистер Дик не на шутку стал побаиваться, что он на самом деле подрывал английскую конституцию и вел к гибели страну.

Зачастую эти наши парламентские прения затягивались до полуночи и заканчивались только потому, что догорали свечи. Благодаря всем этим полезным упражнениям я мало-помалу стал



недурно попевать за Трэдльсом. И тут, конечно, я почувствовал бы себя победителем, если бы... если бы смог разобрать хоть что-нибудь из своего писания, но, увы, оно было для меня так же темно, как китайские надписи на чайных цыбиках.

Мне ничего не оставалось, как начать все сызнова. Очень было это нелегко, но скрепя сердце я снова принялся усердно и систематически за работу. Это не мешало мне добросовестно относиться к своим обязанностям и в конторе и у доктора Стронга. Одним словом, выражаясь попросту, я работал, как вол.

Однажды, придя утром в обычное время в контору, я встретил у дверей мистера Спенлоу. Вид у него был очень серьезный, и он что-то бормотал про себя. Так как он часто жаловался на головную боль, — шея у него была очень короткая, и он, по-моему, слишком сдавливал ее воротничками и галстуками, — то я, признаться, испугался, не плохо ли он себя чувствует, но он в этом отношении не замедлил меня успокоить.

Вместо того, чтобы, по своему обыкновению, любезно ответить на мое приветствие, он как-то холодно-высокомерно посмотрел на меня и сухо пригласил пройти с ним в кофейню, — в те дни она помещалась у кладбища св. Павла и выходила во двор «Докторской общины» у самой арки. Я пошел за патроном с очень беспокойным чувством. Меня бросало в жар при мысли, что тайна моя могла раскрыться. Пропуская вперед мистера Спенлоу (дорога была очень узка), я обратил внимание на то, как он надменно держит голову, и это, конечно, сулили мне мало хорошего. Что-то говорило мне, что он проведал про любовь мою к Доре.

Если б даже я не предполагал этого, идя по дороге в кофейню, то для меня все стало совершенно ясным, когда я увидел в комнате, верхнего этажа, куда мы вошли, сидящую мисс Мордстон.

Мисс Мордстон протянула мне концы своих ледяных пальцев и продолжала сидеть с суровым, решительным видом. Мистер Спенлоу запер дверь, сделал жест, приглашавший меня сесть, и сам стал на ковре у камина.

— Будьте добры, — проговорил мистер Спенлоу, — показать мистеру Копперфильду то, что у вас в ридикюле, мисс Мордстон.

Мне кажется, это был тот самый, знакомый мне с детства ридикюль, который захлопывался, как пасть дикого зверя, щелкая

зубами. Сжав губы подобно затвору ридикюля, мисс Мордстон открыла его (одновременно открыв рот) и извлекла из него мое последнее письмо к Доре, полное выражений самой горячей беззаветной любви.

— Мне кажется, это ваш почерк, мистер Копперфильд? — сказал мистер Спенлоу.

Я весь был точно в огне и не узнал своего голоса, когда ответил:

— Да, сэр.

— И если не ошибаюсь, — продолжал мистер Спенлоу, в то время как мисс Мордстон вынула из своего ридикюля целую пачку писем, перевязанных очаровательной голубой ленточкой, то и эти послания — также ваше произведение, мистер Копперфильд?

Я с отчаянием взял эти письма от нее, и мне сразу бросились в глаза обращения: «дорогая, ненаглядная моя Дора», «мой обожаемый ангелочек», «моя любимая девочка» и другие в таком же роде. Страшно покраснев, я опустил голову.

— Благодарю вас, — холодно сказал мистер Спенлоу, когда я машинально хотел возвратить ему эту пачку, — я не имею ни малейшего желания лишать вас их. Мисс Мордстон, будьте так любезны изложить нам суть дела.

Эта «милая» особа, поглядев пристально на ковер, заговорила холодно-сухим тоном:

— Надо признаться, что уже давно у меня закралось некоторое подозрение относительно чего-то, происходившего между мисс Спенлоу и мистером Копперфильдом. Я не спускала с них глаз еще при первой их встрече и должна правду сказать, что уже тогда я вынесла впечатление мало благоприятное. Развращенность человеческого сердца такова...

— Вы очень обяжете меня, мэм, если будете придерживаться только фактов, — перебил ее мистер Спенлоу.

Мисс Мордстон опустила глаза и, неодобрительно покачав головой, как бы протестуя против того, что ее остановили, продолжала с видом оскорбленного достоинства:

— Раз я должна придерживаться только фактов, то я и ограничусь самым сухим их перечнем (быть может, это будет найдено приемлемым образом действия). Я уже только что сказала, сэр, что у меня и раньше возникали подозрения относительно мисс Спенлоу и

Давида Копперфильда. Я стремилась найти подтверждение моим подозрениям, но мне это не удавалось. Вот почему я и не нашла нужным сообщать об этом отцу мисс Спенлоу, — прибавила она, бросая суровый взгляд на моего патрона, — зная, как мало склонны верить тем, кто добросовестно исполняет свои обязанности.

Мистер Спенлоу, повидимому, был подавлен благородной суровостью тона мисс Мордстон, ибо сделал примирительный жест рукой.

— Вернувшись в Норвуд после двухнедельного отсутствия, вызванного женитьбой моего брата, — продолжала мисс Мордстон пренебрежительным тоном, — я заметила в поведении мисс Спенлоу, также только что возвратившейся от своей приятельницы мисс Мильс, еще больше подозрительного, чем раньше. И я стала еще бдительнее следить за мисс Спенлоу.

«Бедненькая моя дорогая девочка! Ей и в голову не могло притти, что с нее не спускает глаз этот дракон!» — пронеслось у меня в голове.

— Однако только вчера вечером мне удалось добыть вещественные доказательства. Вообще мне казалось, что мисс Спенлоу что-то уж слишком много получает писем от мисс Мильс, но раз эта дружба была, так сказать, с благословения ее отца, — тут она снова бросила грозный взгляд на мистера Спенлоу, — я не считала себя вправе в это вмешиваться. Если мне не разрешается упоминать о присущей человеческому сердцу развращенности, то, по крайней мере, да будет мне дозволено указать на излишнюю доверчивость.

Мистер Спенлоу, как бы извиняясь, еле слышно отозвался, что с этим он согласен.

— Вчера вечером после чая, — продолжала мисс Мордстон, — я увидела, что собачка в гостиной прыгает, катается, ворчит и что-то рвет. Я сказала мисс Спенлоу: «Посмотрите, Дора, с чем это возится ваша собачка, не нужна ли это бумага?» Мисс Спенлоу, дотронувшись рукой до корсажа, вскрикнула и бросилась к собачке. Я удержала ее, сказав «Дорогая, позвольте уж мне...»

«О Джип, мерзкая болонка! Это, значит, его работа!»

Тут мисс Спенлоу всячески пыталась подкупить меня: и поцелуями, и рабочим ящиком, и разными ювелирными вещичками, но об этом не стоит распространяться. Собачка при моем

приближении забила под диван, и я смогла ее оттуда вытащить только с помощью каминных щипцов, но она ни за что не хотела выпустить изо рта бумагу. Я уж всячески, рискуя даже быть укушенной, старалась вырвать у нее эту бумажку и дошло до того, что, держась за этот документ, подняла собачку на воздух. В конце концов я овладела тем, чем хотела. Прочитав внимательно письмо, я заявила мисс Спенлоу, что у нее должно быть много подобных посланий, и заставила ее отдать мне всю пачку писем, находящуюся теперь в руках Давида Копперфильда.

Она замолчала, защелкнула свой ридикюль и закрыла рот с таким видом, который говорил, что ее можно, пожалуй, сломать, но не заставить покориться.

— Вы слышали рассказ мисс Мордстон, — обратился ко мне мистер Спенлоу. — Я хочу знать, мистер Копперфильд, что можете вы мне сказать по этому поводу?

Я и так был в подавленном состоянии, а картина, рисовавшаяся перед моими глазами, — как мое маленькое сокровище плакало и рыдало всю ночь, как моя девочка была одинока, перепугана, убита, как она, бедняжка, тщетно молила эту мегеру<sup>[8]</sup> с каменным сердцем, целовала ее, предлагала свои безделушки, в каком была она отчаянии, и все из-за меня! — картина эта совсем убила меня, и боюсь даже, что с минуту, несмотря на все усилия, я не был в состоянии скрыть свою дрожь: меня трясло, как в лихорадке.

— Я ничего не могу сказать вам, сэръ, — с трудом проговорил я наконец, — кроме того, что во всем виноват только я один. Дору...

— Мисс Спенлоу, пожалуйста, — с величественным видом остановил меня ее отец.

— ... я уговорил сохранить все в тайне, — сказал я, проплатывая холодное «мисс Спенлоу», — и горько жалею об этом.

— Вы достойны большого порицания, — заявил мистер Спенлоу, расхаживая взад и вперед по ковру и выразительно покачиваясь всем туловищем (из-за высокого тугого воротничка и шея его и спина совершенно не гнулись). Вы втихомолку совершили неблагоприятный поступок. Когда я приглашаю к себе в дом джентльмена, то, независимо от того, девятнадцать ли ему лет, двадцать девять или девяносто, я этим оказываю ему доверие. Если же он злоупотребляет этим доверием, то он, мистер Копперфильд, поступает бесчестно.

— Я это чувствую, уверяю вас, сэр, — ответил я, — но я никогда не думал об этом раньше. Искренне, честно говорю вам, мистер Спенлоу, мне никогда это не приходило раньше в голову. Я до того люблю мисс Спенлоу...

— Ах, все это глупости! — покраснев от досады, воскликнул мистер Спенлоу. — Прошу вас, мистер Копперфильд, не говорить мне в глаза о своей любви к моей дочери.

— Чем же иным могу я тогда оправдать свое поведение, сэр? — смиренно возразил я.

— Да разве в данном случае, сэр, вы можете оправдать свое поведение? — проговорил, круто останавливаясь на коврике у камина, мистер Спенлоу. — Подумали ли вы, мистер Копперфильд, о своих летах и летах моей дочери? Знаете ли вы, сэр, что вы сделали, подрывая доверие, которое должно быть между моей дочерью и мной? Приходило ли вам в голову, какое положение занимает в свете моя дочь, каковы мои дальнейшие намерения и планы относительно ее будущности и каковы распоряжения, сделанные мной в ее пользу? Размышляли ли вы обо всем этом, мистер Копперфильд?

— Должен признаться, сэр, что обо всем этом я думал чрезвычайно мало, — откровенно ответил я грустно-почтительным тоном, — но зато я очень много размышлял относительно своего общественного положения. Когда я говорил с вами, сэр, по этому поводу, то мы с мисс Спенлоу уже дали друг другу слово...

— Прошу вас, мистер Копперфильд, даже не заикаться в моем присутствии ни о каких «данных словах», — перебил меня мистер Спенлоу, энергично ударяя кулаком по ладони другой руки и напоминая больше чем когда-либо Петрушку. Несмотря на все мое отчаяние, это не могло не броситься мне в глаза. А неподвижно сидевшая мисс Мордстон презрительно засмеялась.

— Когда я, сэр, сообщил вам о перемене, происшедшей в моем положении, — снова начал я, придумывая, как заменить не поправившееся ему слово более подходящим, — тайна, в которую я, к несчастью, вовлек мисс Спенлоу, уже существовала. С момента перемены в моей судьбе я не переставал напрягать все свои силы, весь свой ум, всю энергию, чтобы улучшить свое положение. И я глубоко убежден, что со временем мне удастся этого добиться. Не

соблаговолите ли вы, сэр, дать мне время, хоть какое-нибудь время, — ведь оба мы так молоды...

— Вы правы, — перебил меня мистер Спенлоу, сильно нахмутив брови и без конца кивая головой, — вы оба очень молоды. Все это глупости! Возьмите эти письма и бросьте их в огонь. А письма мисс Спенлоу верните мне, чтобы я также смог их сжечь. И хотя наши отношения, вы сами понимаете, отныне будут ограничены только конторой, но мы условимся с вами никогда не вспоминать о прошлом. Согласитесь, мистер Копперфильд, вы человек неглупый и не можете не понимать, что это единственный благоразумный выход из положения.

Нет, к великому моему сожалению, я не мог с этим согласиться, — тут играло роль нечто большее, чем благоразумие. Любовь выше всех земных соображений, я любил Дору до обожания, и она любила меня. Конечно, я не так прямо выразил это, а постарался смягчить, но все-таки я дал понять это отцу Доры с очень решительным видом. Не знаю уж, был ли я при этом смешон, одно несомненно — я был полон решимости.

— Прекрасно, мистер Копперфильд, — сказал мистер Спенлоу, — тогда мне остается повлиять на дочь.

Мисс Мордстон испустила не то вздох, не то стон, как бы желая показать отцу Доры, что с этого надо было начать. Ободренный такой поддержкой, мистер Спенлоу повторил:

— Да, я должен буду повлиять на дочь. Что же, мистер Копперфильд, вы, значит, отказываетесь взять обратно эти письма? — спросил он меня, видя, что я их положил на стол.

— Да, — ответил я, — надеюсь, что вы меня простите, но я не могу их взять из рук мисс Мордстон.

— А от меня можете? — снова спросил он.

— Нет, — проговорил я самым почтительным тоном, — и от вас не могу их взять.

— Прекрасно, — заявил мистер Спенлоу.

Наступило молчание. Я не знал, что мне делать, — оставаться или уходить. Наконец я направился было к двери, собираясь сказать, что, наверное, мистер Спенлоу ничего не будет иметь против моего ухода, когда он, не без труда засунув руки в карманы своего сюртука, остановил меня, сказав серьезным и даже торжественным тоном:

— Вам, наверно, известно, мистер Копперфильд, что я не совсем лишен имущественных благ и что дочь моя является самой близкой мне и дорогой родственницей?

— Надеюсь, сэр, — поспешил я сказать ему, — что вы, не взирая на мою вину, вызванную моей безумной любовью, не подозреваете меня в каких-либо корыстных видах?

— Я вовсе не на это намекаю, — возразил мистер Спенлоу. — Было бы лучше и для вас самих и для нас, мистер Копперфильд, если бы вы были корыстолюбивы, то есть я хочу сказать, если бы вы были более благоразумны, сдержанны и не увлекались бы до такой степени всеми этими ребяческими глупостями. Нет, я спрашивал вас совсем с другой целью, известно ли вам, что у меня имеется кое-какое имущество, наследницей которого является моя дочь.

Я ответил, что, конечно, предполагал это.

— Вы, работая в «Докторской общине», видите ежедневно, к каким прискорбным последствиям приводит непростительное легкомыслие людей, откладывающих со дня на день составление своего духовного завещания, и потому вы должны быть убеждены, что мое-то личное духовное завещание давно уже сделано.

Я, нагнув голову, подтвердил, что уверен в этом.

— Я не позволю, — продолжал приподнятым тоном мистер Спенлоу, — чтобы мои планы по отношению к дочери были изменены таким образом, как мальчишеская любовь. Все это сущее безумие, скажу больше — глупость. И мы не успеем оглянуться, как и следа от этого не останется. Но если с этой нелепой затеей не будет сейчас же покончено, то... то я, быть может, в минуту беспокойства буду принужден принять меры для защиты моей дочери от последствий безрассудного брака. Надеюсь, мистер Копперфильд, что вы меня не заставите итти на это и изменить давно принятое решение.

Ясное спокойствие, с которым были сказаны эти слова, произвело на меня глубокое впечатление. В выражении лица мистера Спенлоу было что-то, напоминающее закат солнца. Он, повидимому, привел свои земные дела в полный порядок и готов был каждую минуту расстаться с земной жизнью. Да и сам отец Доры был взволнован: мне кажется, я видел слезинки, блеснувшие на его глазах.

Но что я мог поделать? Разве было мыслимо отречься от Доры, отречься от собственного сердца?! Когда мистер Спенлоу предложил

мне в течение недели обдумать сказанное им, как мог я ответить, что не стану обдумывать, прекрасно зная, что никакие недели на свете не в силах повлиять на такую любовь, как моя?

— И в то же время посоветуйтесь с мисс Тротвуд или какой-нибудь другой особой с жизненным опытом, — добавил мистер Спенлоу, поправляя обеими руками галстук. — Да, мистер Копперфильд, подумайте хорошенько с недельку!

Сказав мистеру Спенлоу, что подчиняюсь его требованиям, я вышел из комнаты, изображая, насколько мог, на своем лице глубокую скорбь вместе с непоколебимой решимостью. Мисс Мордстон проводила меня до дверей своими злобными маленькими глазками, едва видневшимися из-под густых, нависших бровей. И вид у нее был совершенно такой же, как в дни моего детства в нашем блондерстонском доме, когда в ее присутствии я отвечал матушке свой урок. Пожалуй, на мгновение я даже мог бы вообразить, что тяжесть, навалившаяся на мою душу, не что иное, как несносная азбука с ее овальными картинками, которые мне, ребенку, казались стеклами, выпавшими из очков.

Придя в контору, я уселся в своем уголке и, склонившись на руки, чтобы не видеть ни старика Тиффи, ни других служащих, глубоко задумался о землетрясении, так неожиданно все всколыхнувшем.

В отчаянии проклиная Джипа, я так терзался за Дору, что просто не могу понять, как я тут не схватил шляпу и, словно безумный, не помчался в Норвуд. Мысль о том, что мою девочку совсем запугали, что она в одиночестве плачет, а я не могу быть с ней, до того терзала меня, что я, недолго думая, взялся писать безумное письмо мистеру Спенлоу, где заклинал его позаботиться о том, чтобы на Доре не отразилась моя ужасная судьба. Я молил его пощадить это нежное существо, этот хрупкий цветок. Вообще, помнится, я обращался к нему со своими мольбами так, словно он был не отцом Доры, а каким-то людоедом или драконом.

Письмо это я запечатал и положил на стол в его кабинете. Когда мистер Спенлоу вернулся, я через полуоткрытую дверь видел, как он распечатал и прочел мое послание.

В течение всего утра он не сказал мне ни слова, но днем, перед уходом из конторы, позвал меня в свой кабинет и заявил, что мне совершенно нечего беспокоиться о его дочери: он уже говорил с ней,



уверил ее, что все это чистейший вздор, и больше этого вопроса он касаться не будет.

— Я очень снисходительный отец, — добавил он (несомненно, это было так), — и вам, мистер Копперфильд, вообще не о чем тревожиться. А вот если вы будете безумствовать или упрямитесь, то, пожалуй, я буду принужден опять на некоторое время отправить дочь за границу. Но я лучшего мнения о вас: надеюсь, пройдет несколько дней, и вы станете благоразумнее. Что же касается мисс Мордстон (надо сказать, об этой особе упоминалось в моем письме), то я очень признателен ей за бдительный надзор за дочерью, но в то же время ей дан строгий приказ ни в коем случае не поднимать этого вопроса. Я желаю одного, мистер Копперфильд: чтобы история эта была предана забвению. Вам самому тоже нужно обо всем этом забыть. Это единственное, что вы можете сделать.

Все, что я могу сделать! Все!!!

В своей записке к мисс Мильс я с горечью привел эту фразу. Я писал ей с мрачным сарказмом: «От меня требуют очень немногого: всего лишь забыть Дору!!!». Я заклинал мисс Мильс повидаться со мной сегодня же вечером. Если это нельзя будет сделать в присутствии отца и с его согласия, я молил о тайном свидании в чулане за кухней, где стоит каток для белья. Я писал ей, что близок к сумасшествию и что она одна может поддержать меня. Подписался я: «Ваш безумный Копперфильд».

Перечитывая эту записку перед тем, как вручить ее рассыльному, я не мог не сознаться себе, что в ее стиле было нечто, напоминающее послания мистера Микобера. Тем не менее записка эта была послана. В назначенный час вечером я, конечно, был у дома, где жила мисс Мильс, и прогуливался там взад и вперед, пока мисс Мильс не выслала ко мне горничную, которая провела меня черным ходом в чулан за кухней. Потом я имел основания думать, что мог прекрасно пройти через парадный ход и даже преспокойно сидеть в гостиной, не будь мисс Мильс склонна к романтизму и таинственности.

Очутившись в чулане, я начал просто неистовствовать. Если я явился сюда разыграть роль дурака, то этого я вполне достиг. Мисс Мильс получила от Доры наспех нацарапанную записку, где та сообщала ей, что все открыто, и кончала фразой: «О Джулия! Умоляю вас, приезжайте ко мне, приезжайте!» Но мисс Мильс пока еще не

была у Доры, боясь, что «высшие» власти посмотрят косо на ее появление. И все трое мы напоминали путников, потерявшихся в пустыне Сахаре...

Мисс Мильс обладала даром слова и любила открывать шлюзы своего красноречия. Я не мог не чувствовать, что проливая со мною слезы, она в то же время черпает в наших горестях какое-то наслаждение. Она словно лелеяла эти горести, раздувала их. По ее словам, глубокая пропасть разверзлась между мною и Дорой, и лишь одна любовь способна перебросить над этой пропастью свой мост — радуго. В этом суровом мире любви сопутствует страдание. Так всегда было, так всегда и будет.

— Но ничего, — добавила мисс Мильс, — в конце концов сердца разрывают опутывающую их паутину — и любовь торжествует.

Это, конечно, было слабым для меня утешением, но мисс Мильс не хотела поощрять обманчивых надежд. В результате всех ее речей я почувствовал себя еще более несчастным, но в душе решил и сейчас же с великой благодарностью высказал ей, что считаю ее своим настоящим другом. И мы уговорились с этим другом, что она завтра же утром отправится к Доре и уж умудрится — словом или взглядом — дать ей знать, как я люблю ее и как страдаю. Расстались мы, подавленные скорбью. Воображаю, какое наслаждение вкусила при этом мисс Мильс!

Вернувшись домой, я все рассказал бабушке, и, как ни старалась она утешить меня, я лег спать в отчаянии. И встал я утром в отчаянии и вышел из дому в отчаянии. Была суббота, и я прямо направился в «Докторскую общину».

Подходя к конторе, я удивился, увидев у дверей группу рассыльных, о чем-то говорящих между собой, и несколько зевак, заглядывающих в закрытые окна. Я быстро прошел мимо них и вошел в контору. Все писцы были налицо, но никто ничего не делал. Старик Тиффи, думаю — впервые за всю жизнь, сидел не на своем месте и до сих пор не повесил шляпу на вешалку.

— Какое страшное несчастье, мистер Копперфильд! — проговорил он, увидев меня.

— Что такое? Что случилось?! — воскликнул я.

— Разве вы еще не знаете? — крикнул Тиффи, а за ним все клерки, столпившиеся вокруг меня.

— Нет, ничего не знаю, — ответил я с тревогой, вопросительно переводя глаза поочередно на окружающие меня лица.

— Мистер Спенлоу... — начал старик Тиффи.

— Что с ним?

— Умер!

Мне показалось, что контора заходила вокруг меня, но это я зашатался, и один из писцов подхватил меня. Усадили меня на стул, развязали галстук и принесли стакан воды. Не имею ни малейшего представления, сколько времени это продолжалось.

— Так он умер? — проговорил я.

— Вчера он обедал в городе, — начал рассказывать Тиффи, — а вечером поехал в своем экипаже один, ибо кучера он, как иногда это делал, еще утром отослал домой дилижансом...

— Ну, и что же?

— Экипаж вернулся домой без него. Лошади остановились у дверей конюшни. Кучер вышел с фонарем, а в экипаже — никого.

— Лошади понесли? — спросил я.

— Нет, они не были разгорячены, — сказал Тиффи, надевая очки, — то есть я хочу сказать, они не были разгорячены больше, чем всегда после езды. Вожжи были порваны, но они, видимо, тащились по земле. Весь дом поднялся на ноги, и сейчас же трое слуг бросились искать мистера Спенлоу на Лондонской дороге. Они нашли его за милю от дома.

— Говорят, что дальше, — заметил один из младших писцов.

— Разве? Да, пожалуй, что и дальше, — согласился Тиффи, — ну, одним словом, недалеко от церкви. Он лежал ничком у дороги. Никто не знает, как это случилось, — вывалился ли он, когда его хватил удар, или вышел сам из экипажа, почувствовав себя плохо. И даже, кажется, никому не известно, подняли ли его уже мертвым, или он был еще в бессознательном состоянии. Во всяком случае, говорить он уже не мог. Его привезли домой, сейчас же послали за доктором, но это было уже бесполезно.

Не могу описать то состояние, в которое привела меня эта ужасная весть. Каждый поймет, что должен был почувствовать я, узнав о внезапной смерти человека, с которым только что перед тем у меня произошло столкновение. А тут еще эта наводящая страх пустота в кабинете, где вчера только он работал. Письменный стол,

кресла... они словно ждут его. А уж последние строки, написанные вчера его рукой, так они положительно кажутся мне привидениями. Все чудится мне, что вот-вот откроется дверь и он войдет... Кругом же остановившаяся работа и мрачная тишина конторы, прерываемая шопотом писцов, — они никак не могут наговориться о печальном событии, — приход посторонних любопытных лиц и их расспросы — все это каждый легко может себе представить.

Но что еще труднее описать, так это ту ревность, которую я чувствовал даже к смерти. Меня мучила мысль, что она, эта смерть, отодвинула меня у Доры на второй план. Я терзался мыслью, что она плачет не на моей груди, что не я ее утешаю. Я жаждал вырвать ее у всех и быть для нее всем в это тяжелое время.

В таком страшно подавленном душевном состоянии, — конечно, знакомом многим, — отправился вечером в Норвуд. Узнав от лакея, что мисс Мильс там, я вернулся домой, написал ей письмо и попросил бабушку надписать конверт своей рукой. В этом послании я горячо и искренне сожалел о столь безвременной кончине мистера Спенлоу и, когда писал, проливал слезы. Я умолял ее сказать Доре, если вообще бедняжка была в силах что-нибудь слышать, что ее отец говорил со мной с большой добротой и вниманием, а о ней упоминал с бесконечной нежностью, без единого слова упрека. Я знаю прекрасно, что в этом было много эгоизма: я добивался, чтобы при Доре упомянули мое имя, но тогда я старался себя уверить, что тут я хотел только воздать должную справедливость памяти мистера Спенлоу.

На следующий день я получил коротенький ответ, адресованный на имя бабушки. Мисс Мильс писала мне, что Дора совсем убита горем, а когда она спросила ее, не послать ли мне от нее привет, бедная девочка, плача (это она делала, не переставая), все только повторяла; «Дорогой мой папочка, бедный мой папочка!» Но все-таки Дора не сказала «нет», и это для меня уже было очень много.

Мистер Джоркинс, узнав о смерти своего компаньона, сейчас же поехал в Норвуд и пробыл там несколько дней. Явившись наконец в контору, он вместе с Тиффи заперся в кабинете мистера Спенлоу. Спустя несколько минут Тиффи показался в дверях и поманил меня.

— Видите ли, мистер Копперфильд, — обратился ко мне мистер Джоркинс, — мы с мистером Тиффи заняты осмотром ящиков письменного стола, конторки, вообще всех мест, где покойный хранил

документы, чтобы опечатать его личные бумаги и разыскать духовное завещание, если таковое окажется. Пока мы не нашли его. Не будете ли вы так добры помочь нам в этом деле?

Я с удовольствием взялся за это.

С момента смерти мистера Спенлоу я жаждал узнать, в каком положении очутится теперь моя Дора, кто будет ее опекуном и тому подобное, а тут я мог кое-что выяснить. Мы немедленно принялись за поиски: мистер Джоркинс отпирал ящики шкафа и конторки, а мы вынимали оттуда бумаги. Документы «Докторской общины» мы клали в одну сторону, а личные бумаги покойного (их было немного) в другую. Работая, мы были настроены очень торжественно, а когда нам попадались печать, кольцо, пенал или вообще что-либо из вещей покойного, мы начинали говорить совсем тихо. Уже мы опечатали несколько пачек бумаг и молча продолжали работать среди пыли, как вдруг мистер Джоркинс заговорил о своем покойном компаньоне буквально в тех же самых выражениях, какие тот, помнится, употреблял, говоря о нем:

— Мистера Спенлоу трудно было заставить свернуть с намеченного им пути. Вы знаете, что это был за человек. Я лично склонен думать, что он не сделал завещания.

— О, я знаю, что оно было сделано, — возразил я.

И мистер Джоркинс и Тиффи бросили работу и с удивлением уставились на меня.

— Он сказал мне об этом, когда в последний раз мы виделись с ним, — пояснил я, — и еще прибавил, что вообще все его дела давно приведены в порядок.

Тут оба старика, словно сговорившись, покачали головами.

— Это предвещает мало хорошего, — заявил Тиффи.

— Даже очень мало, — подтвердил мистер Джоркинс.

— Надеюсь, вы не сомневаетесь... — начал я.

— Добрейший мистер Копперфильд, — перебил меня Тиффи, кладя мне руку на плечо, покачивая головой и закрывая глаза, — если бы вы с мое поработали в этой конторе, то знали бы, как мало предусмотрительны люди относительно своих духовных завещаний и как мало в этом случае следует верить их словам.

— Представьте! — с жаром воскликнул я. — Покойный мистер Спенлоу именно в тех же самых выражениях говорил мне об этом.

— Ну, тогда дело ясно, — отозвался Тиффи: — убежден, что завещания не существует.

Слова его очень меня удивили, но, действительно, духовного завещания найдено не было, и даже по состоянию бумаг мистера Спенлоу видно было, что он и не начинал ничего делать в этом направлении. Это, по правде сказать, меня сильно озадачило. Почти так же поразило меня и то, что все вообще дела покойного находились в полнейшем беспорядке. Трудно было выяснить, что был он должен, что им было уплачено и даже вообще каково было его состояние. Очень вероятно, что уже много лет он и сам хорошенько не отдавал себе в этом отчета.

Потом мало-помалу выяснилось, что покойный, в сущности, не так много зарабатывал, а, желая не отставать от своих товарищей по «Докторской общине», которые вели широкую жизнь, умудрился почти целиком прожить все свое состояние, повидимому, никогда не бывшее значительным. И вот все движимое имущество норвудского дома было продано с торгов, а дом сдан в аренду.

Однажды Тиффи, не подозревая, до чего я заинтересован во всем этом, сообщил мне, что, по его мнению, после уплаты всех долгов покойного хорошо, если останется всего-навсего тысяча фунтов стерлингов. Сказал он мне это недель через шесть после кончины мистера Спенлоу. Я все это время страшно терзался и даже подумывал о самоубийстве, когда мисс Мильс доносила мне, что попрежнему моя бедняжка Дора, когда ей напоминают обо мне, плачет и только повторяет: «О бедный папочка! О дорогой папочка!» Мисс Мильс также сообщила мне, что у Доры не было других родственников, кроме двух старых дев, сестер мистера Спенлоу. Жили эти тетки в пригороде Путней, и в течение многих лет у них с братом бывали только случайные встречи. По словам мисс Мильс, ссоры между ними, в сущности, не было; все вышло из-за того, что, когда крестили Дору, тетушек пригласили не на обед, как они ожидали, а только на чай. Тетушки обиделись и написали, что считают для обеих сторон лучше совсем не видеться, и с тех пор сестры жили своей жизнью, а брат — своей.

Теперь эти тетушки, покинув свое уединение, явились в Норвуд и предложили Доре жить с ними. Дора бросилась им на шею и, рыдая, воскликнула:

— Да, да, тетушки, милые, возьмите нас всех с собой: Джулию Мильс, и меня, и Джипа!

И вот вскоре после похорон они переселились к тетушкам в Путней.

Каким образом находил я время бывать в Путнее — и сам хорошенько не знаю, но только я довольно-таки часто бродил вокруг дома тетушек. Мисс Мильс, стремясь как можно добросовестнее выполнять обязанности, налагаемые дружбой, стала вести дневник. Иногда она заходила ко мне в «Докторскую общину» и читала его, а когда ей бывало некогда, оставляла мне свой дневник. Как было мне дорого каждое слово этого дневника! Привожу несколько выдержек из него:

Понедельник. Милая моя Д. все еще очень удручена. Головная боль. Я обратила ее внимание на то, как глянцево шерсть Дж. Д. погладила Дж. Это по ассоциации пробудило в ней какие-то воспоминания — новый поток слез, а слезы не роса ли для сердца! Д. М.

Вторник. Д. слаба и нервничает. Как идет ей бледность! (То же можно сказать и о луне! Д. М.) Д., Д. М. и Дж. катались в карете, чтобы подышать воздухом. Дж., высунувшись из окна, так отчаянно лаял на рабочих, подметавших улицу, что заставил Д. улыбнуться. Из каких хрупких колец куется цепь жизни! Д. М.

Среда. Д. сравнительно весела. Я спела ей «Вечерний звон», как вещь, соответствующую ее настроению. Но эта песня не только не подействовала благотворно на ее душу, а еще больше расстроила ее. Д. убежала в свою комнату и там рыдала. Прорекламиривала ей стихи о юной газели, действия они не произвели. Д. М.

Четверг. Д. несомненно лучше. Она недурно спала. На щечках появился легкий румянец. Во время прогулки решила упомянуть о Д. К. — Д. страшно взволновалась. «О, милая, дорогая Джулия, — закричала она, — какой была я скверной, непослушной дочерью!» Я успокаивала, ласкала ее, набросала ей поэтический образ Д. К. на краю могилы. Это снова страшно взволновало Д. «О, что мне делать? Что мне делать? — повторяла она. — Увезите меня куда-нибудь!» Д. очень перепугана, падает в обморок. Д. приведена в чувство благодаря принесенному из соседнего трактира стакану воды (вывеска этого трактира так же пестра, как, увы, и человеческая жизнь!) Д. М.

Пятница. День происшествий. В кухню является мужчина с синим мешком подмышкой. Он говорит, что пришел взять в починку дамские ботинки, за которыми ему велено зайти. Кухарка отвечает, что ей ничего не было сказано относительно этого, но человек настаивает, и кухарка уходит справиться, оставив человека с Дж. Когда кухарка возвращается с отказом, человек продолжает настаивать, но наконец уходит. Дж. нигде нет. Д. в отчаянии. Дали знать полиции. Признаки вора: толстый нос и ноги, как балюстрада на мосту. Тщательные розыски. Дж. все нет. Д. горько плачет и безутешна. Опять я прибегаю к помощи стихов о юной газели — и опять безрезультатно. В сумерки появляется какой-то незнакомый мальчик. Его вводят в гостиную. У него толстый нос, но ноги не в виде балюстрады. Он объявляет, что если ему дадут гиную, он укажет, где собака. Больше от него ничего нельзя добиться. Д. дает мальчику гиную, и тот ведет кухарку в какой-то домишко, где в пустой комнате у стола привязан Дж. Безумная радость Д. Она танцует вокруг Дж., пока тот ужинает. Считая момент благоприятным, поднявшись наверх, заговорила о Д. К. Снова слезы, и Д. кричит; «Не говорите! Грешно даже думать о ком-нибудь, кроме как о бедном папе!» Д. поцеловала Дж. и заснула в слезах. (Не следует ли Д. К. положиться на всеисцеляющее время?) Д. М.

Мисс Мильс и ее дневник были в это время моим единственным утешением. Говорить с той, которая только что видела Дору, разыскивать на исписанных ею, полных сочувствия страницах инициалы Доры — одно это поддерживало меня, хотя тут было и много мучительного. Мне казалось, что до сих пор я жил в карточном дворце: он развалился, и на его развалинах остались лишь мы вдвоем с мисс Мильс. И чудилось мне, что какой-то злой чародей окружил невинное божество моего сердца заколдованным кругом, через который меня смогут когда-нибудь перенести к нему, разве только могучие крылья времени, служившие до меня уже стольким людям.



## **Глава X**

### **«УИКФИЛЬД И ГИПП»**

Бабушка, повидимому, не на шутку озабоченная моим продолжительным унынием, придумала послать меня в Дувр под тем предлогом, что необходимо убедиться, все ли у нее там в коттедже в порядке, а затем заключить с арендатором новый контракт на более продолжительный срок. Дженет там уже не было, она поступила к миссис Стронг, где я ее видел ежедневно. Уезжая из Дувра, Дженет была в нерешительности, не зная, остаться ли ей верной презрению к мужчинам, воспитанному в ней бабушкой, или выйти замуж за лоцмана. Но в конце концов она все-таки решила не рисковать. Но сделала это, думаю, не из принципа, а потому, что лоцман ей не нравился.

Хотя мне и не легко было расстаться с мисс Мильс, но я довольно охотно согласился исполнить бабушкино поручение, так как это давало мне возможность пронести несколько спокойных часов в обществе Агнессы. Я попросил доктора Стронга отпустить меня на три дня. Добрейший старик не только с удовольствием согласился на это, а еще выразил желание, чтобы я подольше отдохнул и развлекся. Но при моей кипучей энергии это было немыслимо.

Что же касается занятий моих и конторе «Докторской общины», то это меня мало беспокоило. По правде сказать, со смертью мистера Спенлоу мы много потеряли: контора наша перестала считаться одной из первостепенных, и мы катились вниз по наклонной плоскости. Когда раньше во главе конторы стоял один мистер Джоркинс, дела его шли далеко не блестяще. Мистер Спенлоу, вступив в компанию с Джоркинсом, очень оживил дела, но все-таки он не поставил нашу контору на такую высоту, чтобы после смерти своего фактического главы она смогла продолжать идти так же. Дел у нас заметно уменьшилось. Мистер Джоркинс, несмотря на свою репутацию, созданную ему покойным компаньоном, был человек безвольный, малоспособный и вне стен своей конторы не пользующийся никаким авторитетом. После смерти моего патрона я состоял при мистере Джоркинсе, и, видя, что вся деятельность его сводится к нюханию

табака, а дела ведутся, в сущности, писцами, я больше чем когда-либо жалел о бабушкиной тысяче фунтов стерлингов.

Но это было еще не самое худшее. Вокруг «Докторской общины» околачивалось немало пройдох-комиссионеров, которые, заполучив клиентов, за известный процент доставляли их в прокторские конторы. И вот, сидя совсем без дел, мы вошли в контакт с этой «благородной» бандой, особенно настаивая на том, чтобы они нас снабжали брачными контактами и утверждениями духовных завещаний, что представляло наибольшую выгоду. Но конкуренция была огромна. Комиссионеры разных контор расхаживали по дорогам, ведущим к «Докторской общине», и охотились за людьми в трауре или слишком веселыми. Заполучив таковых, они, всячески втирая им очки, предлагали свои услуги. Подчас между этими комиссионерами дело доходило до драки.

А теперь перенесемся в Дувр. Я нашел, что в бабушкином коттедже все обстоит совсем неплохо, и даже мог несказанно порадовать свою вторую мать, сообщив ей, что арендатор унаследовал ее непримиримую вражду к ослам и продолжает безуспешно воевать с ними. Покончив с тем немногим, что мне надо было сделать в Дувре и переночевав там, я рано утром отправился пешком в Кентербери.

Снова наступила зима. Было свежо, дул резкий морской ветер, и я тут почувствовал некоторый прилив бодрости и надежды.

В Кентербери я побродил по давно знакомым улицам. Это благотворно на меня подействовало, и на сердце стало еще легче. Я видел вывески с теми же именами, а в лавках тех же продавцов. Меня удивляло, что все так мало изменилось, тогда как мне казалось, что жил я здесь школьником давным-давно. Но тут у меня мелькнула мысль, что и сам-то я не много переменялся, как ни странно это может показаться; спокойствие Агнессы, ее умиротворяющее на меня влияние как бы сообщалось и городу, где она жила. То же спокойствие царило над башнями знаменитого собора, и его не могли нарушить даже грачи и галки, стаями с криком носившиеся над ними; а эти древние соборные ворота, где в былое время высились статуи, давно свалившиеся и обратившиеся в прах, подобно бесчисленным паломникам, когда-то взиравшим на них; а эти тихие закоулки, где по разваливающимся готическим <sup>[9]</sup> стенам и остроконечным крышам веками стелется плющ; эти старинные дома, окрестные поля,

фруктовые сады и парки... От всего этого на меня веяло той же безмятежностью, тем же спокойствием, умиротворением.

Войдя в дом мистера Уикфильда, я застал в маленькой комнатке нижнего этажа, где прежде всегда работал Уриа Гипп, мистера Микобера, пишущего с превеликим усердием. На нем был черный сюртук, приличествующий человеку, имеющему дело с законами, и он казался особенно массивным в такой маленькой комнатке.

Увидев меня, мистер Микобер очень обрадовался, но в то же время немного смутился. Он хотел сейчас же вести меня к Уриа, но я отказался от этого.

— Как вам известно, я давно знаком с этим домом и прекрасно смогу сам подняться наверх, — сказал я. — Ну, а как вам, мистер Микобер, нравятся юридические дела?

— Дорогой Копперфильд, — ответил он, — для человека, обладающего могучей фантазией, в юридических делах есть вот такая слабая сторона: слишком много в них формальностей, мелочей. Даже в нашей профессиональной корреспонденции, — прибавил он, поглядывая на только что написанные им письма, — ум такого человека не может парить в возвышенных выражениях. Но, вообще говоря, карьера юриста — карьера великая!

Затем он сообщил мне, что заарендовал домик, где раньше жил Уриа Гипп, и прибавил, что миссис Микобер будем в восторге снова принять меня под собственной кровлей.

— Помещение это скромно, как любит выражаться мой друг Гипп, но, быть может, оно послужит для нас каменной ступенькой для перехода в более величественное обиталище.

Я спросил его, доволен ли он обхождением Уриа Гиппа. Прежде чем ответить на это, мистер Микобер подошел к двери и, убедившись, что она плотно закрыта, тихо проговорил:

— Дорогой Копперфильд, человек, работающий под гнетом финансовых затруднений, в своих сношениях с большинством людей находится в невыгодном положении. Эта невыгодность отнюдь не уменьшается, когда обстоятельства вынуждают брать установленное жалованье ранее того времени, когда оно уже заслужено и должно быть оплачено. Одно могу сказать, что на мои просьбы, сущность коих мне незачем тут излагать, мой друг Уриа Гипп ответил так, что это одновременно делает честь как его уму, так и его сердцу.

— Вот никогда бы не подумал, что он может быть щедр на деньги, — заметил я.

— Простите, — проговорил мистер Микобер несколько принужденным тоном, — я говорю о моем друге Гиппе по собственному опыту.

— Очень рад за вас, если это так, — ответил я.

— Благодарю вас, дорогой Копперфильд, — отозвался мистер Микобер и стал напевать какую-то песенку.

— Часто ли вы видите мистера Уикфильда? — спросил я, желая переменить тему разговора.

— Нет, не очень, — как-то пренебрежительно ответил мистер Микобер. Мистер Уикфильд, я не сомневаюсь, прекраснейший человек, исполненный самых лучших намерений, но он... как бы это сказать?... ну, ему.... пора в архив.

— Боюсь, что его компаньон очень способствует этому, — заметил я.

Мистер Микобер с беспокойным видом стал ерзать на своем табурете и наконец заговорил:

— Дорогой Копперфильд, позвольте вам доложить следующее: я нахожусь здесь в качестве доверенного лица, и лежащие на мне обязанности не позволяют мне говорить о не которых вещах даже с самой миссис Микобер, давнейшей верной спутницей на моем многотрудном жизненном пути, с женщиной, обладающей замечательно светлым умом. Я считаю, что это несовместимо с моим новым положением, и потому беру на себя смелость предложить вам в наших дальнейших дружеских отношениях, которые, надеюсь, ничто не может омрачить, провести, так сказать демаркационную линию <sup>[10]</sup>. Но одну сторону этой линии, — продолжал он развивать свою мысль, провести по конторке черту линейкой, будет находиться все, доступное человеческому обсуждению, за одним лишь ничтожным исключением, а по другую — это самое исключение, но есть дела конторы «Уикфильд и Гипп» со всем, что может иметь к ним какое либо отношение. Надеюсь, что друга моей юности не оскорбит такое предложение, представляемое на обсуждение его трезвому уму.

Для меня было ясно, что с мистером Микобером произошла какая-то перемена, он почему-то чувствует себя не в своей тарелке, тяготится своими новыми обязанностями, и я не счел себя вправе

обидеться за сделанное мне предложение. Когда я сказал ему это, он воспрянул духом и крепко пожал мне руку.

— А вот кем я очарован, Копперфильд, так это мисс Уикфильд! — с жаром заговорил мистер Микобер. — Очаровательнейшая молодая особа, полная прелести, грации и добродетели! Клянусь честью, — продолжал он, посылая в пространство воздушные поцелуи и раскланиваясь с утонченным изяществом, — я преклоняюсь перед мисс Уикфильд!

— Ну, это я рад слышать, — сказал я.

— А знаете, дорогой Копперфильд, если бы вы не уверили нас в тот приятный вечер, который мы имели счастье провести с вами, что вы предпочитаете всем буквам Д, я несомненно думал бы, что ваша любимая буква А.

Тут я расстался с мистером Микобером и, прощаясь, проем передать мой привет его супруге и детям. Я видел, как он снова уселся на табурет, взял перо и, высвободив подбородок из тугого воротника, чтобы было удобнее писать, принялся за работу. Уходя, я почувствовал, что с тех пор, как он вступил в свои новые обязанности, в наших отношениях произошла какая-то перемена и у нас с ним не может быть прежней близости.

В старинной гостиной никого не было, хотя там и видны были следы пребывания миссис Гипп. Я заглянул в комнату Агнессы. Она писала, сидя у камина за красивой старинной конторкой. Моя тень заставила ее поднять глаза. Как радостно было увидеть сияние на ее перед тем серьезном, сосредоточенном лице и быть встреченным с такой лаской, с таким радушием!

— Ах, Агнесса, — сказал я, когда мы с нею сели рядышком, — как мне вас недоставало в последнее время!

— Правда? Опять недоставало? А ведь мы не так давно виделись с вами.

Я покачал головой.

— Сам не знаю, что это такое, Агнесса, но, повидимому, в голове у меня чего-то нехватает. В счастливые минувшие дни вы, бывало, всегда думали за меня, и я так привык обращаться к вам за советом и поддержкой, — вот, очевидно, благодаря этому у меня и не выработалось того, что должно было выработаться.

— Но что же это такое? — весело спросила Агнесса.

— Уж не знаю, право, как и назвать это, — ответил я. — А как по-вашему, Агнесса, есть у меня серьезность и настойчивость?

— Конечно, — ответила она.

— И терпение, Агнесса? — спросил я несколько нерешительно.

— И это есть, — смеясь, ответила Агнесса, — и даже немало.

— А вот, представьте, я порой чувствую себя таким подавленным, неуверенным, неспособным принять нужное решение. Несомненно, мне нехватает... как бы это выразиться?... ну, какой-то точки опоры.

— Пожалуй, если хотите, называйте это так, — проговорила Агнесса.

— Ну, судите сами: вы приезжаете в Лондон, я отдаюсь в ваши руки, — вы сейчас же направляете меня, и у меня является цель. Меня опять выбивает из колеи, я являюсь сюда — и сразу чувствую себя другим человеком. Ведь никаких же перемен в обстоятельствах, терзавших меня, не произошло с тех пор, как я вошел в эту комнату, а в это короткое время ваше влияние уже изменило меня к лучшему. Что это такое? Скажите, Агнесса, в чем ваш секрет?

Она сидела, склонив голову, и смотрела на огонь в камине.

— Это старая история, — продолжал я. — Не смейтесь только, но я скажу вам, что теперь это происходит в серьезных вещах, а прежде бывало в пустячных, но всегда, как только мне приходится расстаться с моей названной сестрицей...

Тут Агнесса взглянула на меня с невыразимо прекрасной улыбкой и протянула мне руку. Я поцеловал ее.

— Да, да, Агнесса, каждый раз, когда вас нет со мной, чтобы посоветоваться с вами, я всегда сбиваюсь с пути и делаю безумства. А вот я пришел к вам — и, как всегда, нашел снова и мир и счастье. Сейчас чувствуй себя так, словно я, усталый путник, вернулся домой, и на душе у меня блаженный покой...

Я так переживал то, что говорил, так был растроган, что голос мой сорвался, и, закрыв лицо руками, я заплакал. Тут Агнесса выказала мне так много родственной ласки, ее глаза сияли такой добротой, голос так нежно звучал, в ней было столько милого безмятежного спокойствия, которое с давних пор сделало для меня их дом священным, что ей скоро удалось подбодрить меня и заставить рассказать все, что со мной произошло после ее отъезда из Лондона.

— Теперь я все поведал вам, Агнесса, — закончил я свою исповедь, — и вся моя надежда на вас.

— Не на меня, Тротвуд, вам следует возлагать свои надежды, — заметала, ласково улыбаясь, Агнесса, а на другую.

— На Дору, вы хотите сказать? — спросил я.

— Конечно.

— Видите ли, Агнесса, — начал я с некоторым смущением, — я не хочу сказать, что на Дору нельзя положиться, напротив, она — сама искренность и непорочность, но... я не знаю, как это выразить, Агнесса... она, понимаете ли, такая робкая девчурка, что ее ничего не стоит смутить и запугать. Так, например, незадолго до смерти ее отца я счел нужным посвятить ее... Но позвольте, лучше я вам расскажу все, как было.

И я тут подробно описал ей, как я объявил Доре о своей бедности, как я настаивал, чтобы она присматривалась к хозяйству, упражнялась в ведении счетов, изучала поваренную книгу и вообще все остальное.

— А, Тротвуд, вы все тот же! — сказала с улыбкой Агнесса. — Конечно, вы поступили и здесь опрометчиво. Вы правы были, серьезно влившись за борьбу с жизнью и прокладывая себе дороги, но зачем же было так вдруг смущать и тревожить робкую любящую неопытную девочку? Бедная Дора!

Кажется, ни один человеческий голос не мог звучать с такой добротой и кротостью, как в эту минуту звучал голос моей названной сестрицы. Когда она говорила, мне чудилось, что я вижу, как Агнесса, любуясь, обнимает и целует мою бедную девочку, молчаливо упрекая меня за то, что я мог так напугать это робкое сердечко. Как был я благодарен Агнессе! Как восхищался ею! Мне уже рисовалась их дружба с Дорой, от которой обе они станут в моих глазах еще прелестнее.

— Что же мне теперь делать? — проговорил я, поглядев напылающий в камине огонь. — Что вы мне посоветуете, Агнесса?

— Мне кажется, что лучше всего будет написать тетушкам Доры. Разве вы не думаете, что было бы неблагоприятно действовать за их спиной?

— Да, — ответил я, — если вы так считаете.

— Я, конечно, не судья в чужих делах, — скромно ответила Агнесса после некоторого колебания, — но мне кажется, что иметь

секреты с Дорой за спиной у ее родственниц было бы не похоже на вас.

— Боюсь, Агнесса, что вы переоцениваете меня.

— Ну, если хотите, скажу так: было бы не похоже на вашу правдивую натуру. Я бы на вашем месте написала этим двум тетушкам, рассказала бы им как можно проще и откровеннее обо всем, что было, и просила бы их разрешения иногда бывать у них в доме. И раз вы так юны и еще не завоевали себе положения в свете, то, мне кажется, надо написать, что вы заранее охотно подчиняетесь их требованиям и условиям. Я просила бы их не торопиться с отказом, а предварительно поговорить с самой Дорой, выбрав для этого благоприятный момент. В этом письме я не проявляла бы большого пыла и не домогалась бы многого, — мягко прибавила Агнесса. — Помоему, нужно надеяться на свою верность и настойчивость и... Дору.

— Но представьте, если своими разговорами тетушки снова напугают Дору, доведут ее до слез, — с беспокойством возразил я, — и бедная девочка ничего не сможет сказать им обо мне.

— Да разве это возможно? — так же мило-сочувственно спросила Агнесса.

— Ах, бедная девочка пуглива, как птичка, и, пожалуй, это может случиться. Тут еще эти тетушки вдруг найдут, что в моем обращении к ним есть что-то неприличное: у старых дев ведь бывают разные причуды.

— Мне кажется, Тротвуд, — сказала Агнесса, ласково глядя на меня, — что над всем этим не стоит ломать себе голову. Надо спросить себя, хорошо ли поступить таким образом, и если да, то так и сделать.

Теперь мои сомнения рассеялись. С облегченным сердцем, но в то же время чувствуя всю важность предстоящей мне задачи, я решил все время до обеда посвятить составлению этого письма. Агнесса даже очистила мне место за своей конторкой. Но, раньше чем засесть за писание, я спустился вниз повидаться с мистером Уикфильдом и Уриа Гиппом.

Я застал Уриа в его новом, еще пахнувшем известкой кабинете, специально выстроенном для него в саду.

Среди всей этой груды бумаг и массы книг его физиономия показалась мне особенно пакостной. Он встретил меня со своим



обычным заискивающим взглядом и сделал вид, что не слышал от мистера Микобера о моем появлении, в чем я позволил себе усомниться. Уриа проводил меня в кабинет мистера Уикфильда, или, вернее сказать, в подобие бывшего его кабинета, ибо очень многое отсюда было перенесено в новый кабинет компаньона. Пока мы здоровались с мистером Уикфильдом, Уриа стал спиной к камину и, грея спину, тер подбородок своей костлявой рукой.

— Само собой разумеется, что все время, пока вы будете в Кентербери, вы проживете у нас, — сказал мне мистер Уикфильд, не удержавшись при этом от того, чтобы не бросить вопросительный взгляд на Уриа.

— А есть для меня свободная комната? — спросил я.

— Я готов, Копперфильд... ах, извините, мистер Копперфильд, это невольно как-то у меня вырвалось... я охотно готов уступить вам вашу прежнюю, комнату, если только это может доставить вам удовольствие.

— Нет, нет, — возразил мистер Уикфильд, — зачем же вас стеснять, ведь у нас есть другая комната... говорю же вам, есть другая комната.

— Но, уверяю вас, я был бы в восторге, — со своей обычной улыбкой-grimасой проговорил Уриа.

Чтобы кончить эти разговоры, я заявил, что или буду в той, другой комнате, или совсем не воспользуюсь гостеприимством мистера Уикфильда. Затем я простился и поднялся наверх.

Я надеялся побыть вдвоем со своей названной сестричкой, но миссис Гипп попросила Агнессу позволить ей повязать у камина, где мы сидели, уверяя, что сквозняк в столовой и гостиной пагубно действует на ее ревматизм. Хотя я без малейшего угрызения совести охотно поднял бы старуху на шпиль здешнего собора и предоставил бы гулять вокруг нее буйным ветрам, но, покоряясь необходимости, приветливо поздоровался с нею.

На мой вопрос, как она себя чувствует, миссис Гипп ответила:

— Покорно благодарю вас, сэра. Живу помаленьку. Здоровьем похвастать не могу. Да мне ничего и не надо, лишь бы мой Уриа хорошо устроился в жизни. А как, по-вашему, сэра, выглядит мой Уриа?

Я находил его таким же гнусным, как всегда, и поэтому ответил, что не замечаю в нем никакой перемены.

— О, неужели вы не находите, что он изменился?! — воскликнула миссис Гипп. — В таком случае, сэр, позволю себе не согласиться с вами. Разве вы не видите, как он худ?

— Не больше, чем всегда, — ответил я.

— Так, по-вашему, он не изменился? — повторила старуха. — Впрочем, тут нет ничего удивительного, ведь вы не смотрите на него глазами матери.

«Глаза его матери, — подумал я про себя, — столь ласковые для сына, презлющие для всех остальных на свете». С меня она перевела свой взгляд на Агнессу.

— А вы, мисс Уикфильд, неужели вы не замечаете, как он чахнет и сохнет? — спросила миссис Гипп.

— Нет, не замечаю, — спокойно ответила Агнесса, продолжая работать. — Вы, мэм, слишком беспокоитесь о вашем сыне. Он совершенно здоров.

Миссис Гипп громко втянула воздух носом и, ни слова не говоря больше, снова принялась за свое вязанье. Старуха ни разу не вышла из комнаты и ни на минуту не оставила нас одних. Я пришел в Кентербери рано, и до обеда в нашем распоряжении оставалось добрых три-четыре часа, но миссис Гипп сидела неподвижно и шевелила спицами с таким однообразием, с каким пересыпается песок в песочных часах. Она приютилась по одну сторону камина, а Агнесса — по другую. Я же сидел за конторкой, против них, ближе к моей названной сестрице. Когда, обдумывая свое послание, я по временам поднимал глаза на Агнессу, я видел ее милое, задумчивое личико, и оно, такое кроткое и ангельски доброе, вливало в меня бодрость. Но при этом от меня не укрывался злобный взгляд миссис Гипп, устремленный поочередно на нас обоих. Однако это не мешало ей продолжать свое вязанье. Не будучи посвящен в тайны рукоделья, я не знал, над чем старуха трудится, но, освещенная огнем камина, она казалась мне злой колдуньей, которой только присутствие доброй феи мешает опутать свою жертву сетями.

За обедом миссис Гипп не переставала нести свой дозор. После обеда ее сменил сын, и, когда было подано вино и мы мужчины, остались одни, он искоса стал следить за мной, в то же время так корчась и извиваясь, что я едва был в силах переносить это. В гостиной миссис Гипп со своим вязаньем снова заняла сторожевой

пост. Все время, пока Агнесса пела и играла, маменька сидела у рояля. Раз она попросила Агнессу спеть ту балладу, которой, по ее словам, особенно восхищается ее Уриа, а тот в это время, позевывая, сидел развалившись в большом кресле. Поглядывая на сына, маменька все время уверяла Агнессу, что тот в восторге от ее пения. Вообще, если старуха открывала рот, то только для того, чтобы говорить о сыне. Несомненно, ей даны были инструкции.

Все это тянулось вплоть до того момента, когда надо было идти спать. Я так был подавлен в течение целого дня, имея перед глазами маменьку и сыночка, словно две огромные летучие мыши, носившиеся над всем домом, что предпочел бы остаться в гостиной, переносить вязанье и все прочее, лишь бы не идти спать. Всю ночь я почти не сомкнул глаз. На следующее утро началось то же вязанье и тот же надзор, и снова это продолжалось целый день. Мне не удалось и десяти минут поговорить с Агнессой. Едва можно было урвать момент показать ей письмо. Я предложил ей пойти погулять, но миссис Гипп стала усиленно жаловаться на недомогание, и Агнесса вынуждена была из сострадания остаться с ней. Когда стало смеркаться, я вышел один пройтись и обдумать, как мне следует поступить. Я никак не мог решить, вправе ли я продолжать молчать о том, что тогда в Лондоне поведал мне Уриа. Этот вопрос начинал меня очень тревожить.

Не успел я выйти из города на Ремсгетскую дорогу, вдоль которой шла удобная тропинка для пешеходов, как меня сзади кто-то окликнул. Я оглянулся и, несмотря на надвигающиеся сумерки, не мог не узнать этой неуклюжей походки, этого потертого теплого пальто. То был Уриа. Я остановился и он подошел ко мне.

— Ну, — вырвалось у меня.

— И шибко же вы ходите! — начал он. — У меня ноги длинные, а вы задали мне немалую работу.

— Куда это вы идете? — спросил я.

— С вами, мистер Копперфильд, если вы будете так добры и разрешите мне прогуляться со старым знакомым.

Говоря это, он весь передернулся, то ли желая умиловить меня, то ли поиздеваться надо мной, и пошел со мной рядом.

— Уриа! — помолчав, обратился я к нему как только мог вежливее.

— Что угодно, мистер Копперфильд?

— Сказать вам правду (надеюсь, вы не обидитесь), я вышел погулять, ибо устал быть все время на людях.

Он посмотрел на меня искоса и спросил, дерзко ухмыляясь:

— Вы имеете в виду мою матушку?

— Да, именно ее, — ответил я.

— А-а-а! Но вы ведь знаете, какие мы маленькие людишки, а маленькие людишки должны держать ухо востро, чтобы те, кто повыше их, не наступали им на ноги. В любви же, сэр, как на войне, все ухищрения хороши.

Он поднес свои костлявые ручищи к подбородку и начал потирать их, скверно посмеиваясь. В эту минуту он ужасно походил на злобного павиана.

— Видите ли, — продолжал Уриа, все потирая свои ручищи и кивая мне головой, — вы, мистер Копперфильд, опасный для меня соперник и всегда таковым были.

— Так это вы из-за меня установили надзор над мисс Уикфильд и отравляете ей жизнь в ее собственном доме?

— О мистер Копперфильд, это очень резко сказано.

— Дело тут не в словах, а вы, Уриа, не хуже моего понимаете, что я хочу сказать.

— О нет! Пожалуйста, выражайтесь пояснее, а то я не понимаю.

— Неужели вы можете предполагать, — заговорил я, стараясь ради Агнессы быть спокойным и сдержанным, — что я смотрю на мисс Уикфильд иначе, как на очень любимую сестру?

— Ну, знаете ли, мистер Копперфильд, я не обязан отвечать на этот вопрос. Быть может, это и так, а быть может, и нет.

Какая подлая хитрость отразилась при этом на его гадкой физиономии и в его глазах без тени ресниц! Я ничего подобного в жизни не видывал.

— Ну, хорошо, — сказал я, — ради мисс Уикфильд...

— Моей Агнессы! — закричал он, болезненно корчась. — Будьте так добры, мистер Копперфильд, называйте ее Агнессой.

— Пусть так. Значит, ради Агнессы Уикфильд, да благословит ее господь...

— О, благодарю вас, мистер Копперфильд, за это благословение! — прервал он меня.

— ... я расскажу вам то, что при других обстоятельствах был бы так же склонен поведать вам, как, например, самому Джеку Кетчу.

— Кому, сэр? — спросил Уриа, вытягивая шею и прикладывая руку к уху, чтобы лучше расслышать.

— Палачу, — отрезал я, — то есть последнему человеку, которому я мог бы это сказать. (Надо заметить, что именно его отвратительное лицо и заставило меня вспомнить о палаче.) Да будет вам известно, что я помолвлен с другой леди. Надеюсь, что это вас удовлетворяет?

— Честное слово? — спросил он.

Я собирался, хотя и с негодованием в душе, подтвердить свои слова, когда Уриа схватил мою руку и стал жать ее.

— Ах, мистер Копперфильд! — воскликнул он. — У меня не было бы никаких сомнений, если б в тот вечер, когда я у вашего камина (так стеснив вынужденной ночевкой) открыл вам свою тайну, вы благоволили также быть откровенным со мной. Но раз теперь выяснилось, что это так, я немедленно удалю матушку. Рад доказать вам свое доверие. Надеюсь, что вы простите предосторожности, которую любовь заставляла меня принимать, не правда ли? Как жаль все-таки, что вы не снизошли отплатить мне откровенностью, а я ведь давал вам прекрасный повод к этому. Но вы, повторяю, никогда не желали снизойти до меня, вы никогда, я знаю, не чувствовали ко мне того расположения, какое я чувствовал к вам.

Все время, пока говорил, он не переставал жать мою руку своими влажными, лягушачьими пальцами, а я всячески старался вежливым образом избавиться от его рукопожатия, но мне это не удавалось. Просунув мою руку под рукав своего бурого теплого пальто, он почти насильно заставил меня идти с собой под руку.

— Не вернуться ли нам? — спросил Уриа, мало-помалу заставляя меня повернуть к городу.

Наступила уже ночь, и луна заливала окна домов своим серебристым светом.

— Чтобы покончить с нашим разговором, — промолвил я после довольно продолжительного молчания, — я хочу вам дать понять, что, по моему мнению, Агнесса Уикфильд так же высока и недоступна для вас, как вот эта луна.

— Такая же она спокойная, не правда ли? — проговорил Уриа. — Но признайтесь, мистер Копперфильд, — продолжал он, — вы никогда не были расположены ко мне, как я к вам? Что же, меня это не удивляет: вы всегда считали меня слишком маленьким человеком.

— Я не охотник до беспрестанных уверений, — заметил я.

— Ну, хорошо, хорошо, — отозвался Уриа, при лунном свете похожий на мертвеца, — но вы не представляете себе, мистер Копперфильд, до чего смирение вошло в плоть и кровь такого человека, как я. Мы оба с отцом учились в благотворительных школах, а матушка выросла в благотворительном приюте. В этих учреждениях с утра до вечера нас всех обучали смирению во всевозможных видах и мало чему другому. Нам внушали, что мы должны смиренно держать себя перед такими-то и такими-то лицами, снимать шапку перед одним и раскланиваться перед другим, знать свое место и пресмыкаться перед всеми, кто только выше нас. А их было так много! Отец благодаря своему смирению выдвинулся в свое время, я — также. Если отец попал в пономари, то только благодаря своему смирению, ибо он пользовался среди влиятельных людей репутацией благонадежного человека, стоящего того, чтобы о нем позаботились. «Будьте смиренны, — говаривал мне отец, — и вы выйдете в люди. Недаром в школе старались нам с вами это вбить в голову. Смирение больше всего способствует успеху. Будьте смиренны, сын мой, и вы добьетесь в жизни своего». И, как видите, смирение действительно пошло мне на пользу.

Тут мне впервые пришло в голову, что это фальшивое низкопоклонство семьи Гипп, и вправду, могло быть привито им извне. Я видел жатву, но никогда раньше не подумал о сеятелях.

— Еще вот таким мальчуганом я понимал, что мне нужно смиряться, — продолжал Уриа, — я привык к этому и смирялся. Смирение же не позволило мне учиться дальше, и я сказал себе: «Довольно». Помните, вы мне предлагали заниматься с вами латынью, а я отказался, ибо отец не раз говаривал мне: «Люди любят быть выше вас, и вы будьте ниже их». Я и теперь, мистер Копперфильд, человек смиренный, но все-таки уже чувствую в себе некоторую силу.

И когда он все это говорил мне, я, глядя при свете луны на его лицо, прекрасно понимал, что теперь он желает воспользоваться этой

своей силой и вознаградить себя за все прошлое унижение. Я никогда и раньше не сомневался в его низости, хитрости и коварстве, но только сейчас я впервые вполне понял, какой подлый, бессердечный и мстительный дух может быть воспитан в человеке путем гнета и унижения с самого детства.

Его биографическое повествование доставило мне удовольствие потому, что, увлекшись своим красноречием, Уриа выпустил мою руку и, по своему обыкновению, стал поглаживать подбородок. Отделавшись таким образом, я твердо решил держаться от него подальше. Мы вернулись домой, идя рядом, но почти не разговаривали.

Не знаю уж что, признание ли мое так порадовало его, или рассказ о прошлом выставил в особенно радужном свете его настоящее, только Уриа был в приподнятом настроении и гораздо веселее обыкновенного. За обедом он был более разговорчив и даже шутливо спросил свою маменьку (она сейчас же, как только мы вернулись, была снята с караула), не пора ли ему жениться. А раз он бросил такой взгляд на Агнессу, что я дал бы все на свете, чтобы иметь возможность его исколотить и швырнуть на землю.

Когда мы, мужчины, после обеда остались одни, Уриа стал еще развязнее. К вину он почти не притрагивался, и, следовательно, не это было причиной его развязности. Мне кажется, его опьянял успех, и он жаждал прихвастнуть им передо мной.

Я еще накануне заметил, что Уриа старается спаивать мистера Уикфильда. Поняв тогда взгляд, который, уходя, бросила Агнесса, я ограничился одним стаканом вина, а затем предложил пойти в гостиную, к Агнессе. Я хотел было так же поступить и сегодня, но Уриа опередил меня.

— Мы так редко имеем счастье видеть у себя нашего сегодняшнего гостя, сэр, — начал он, обращаясь к мистеру Уикфильду, — что было бы положительно грешно не выпить в честь его бокал, другой. Надеюсь, вы не возражаете, сэр? Пью за ваше здоровье и благополучие, мистер Копперфильд!

Я принужден был сделать вид, что пожимаю его протянутую руку, а затем с совсем другим чувством крепко пожал руку несчастной его жертве — его компаньону.

— Ну, а теперь, коллега, — обратился Уриа к мистеру Уикфильду, — беру на себя смелость предложить вам провозгласить тост за нас и за близких сердцу Копперфильда.

Не стану описывать, как мистер Уикфильд начал тут провозглашать тосты за здоровье бабушки, мистера Дика, за процветание «Докторской общины», за здоровье Уриа, выпивая при каждом тосте по два бокала вина; не стану описывать, как мистер Уикфильд, видимо сознавая свою пагубную слабость, не был в силах совладать с нею, как он страдал от фамильярного обращения с ним Уриа и в то же время боялся прогневить его; не стану также описывать, как Уриа, на моих глазах торжествуя над своей жертвой, извивался от радости. Рука отказывается писать, до чего мне больно было все это видеть.

— Ну, теперь коллега, я провозглашаю тост, — заявил Уриа, — но покорно прошу наполнить бокалы до краев, ибо намерен выпить за здоровье самой прелестной женщины на свете!

Мистер Уикфильд держал еще в руке только что опорожненный им бокал. Я видел, как он поставил его на стол, взглянул на висевший на стене портрет жены, с которым у Агнессы было такое поразительное сходство, поднес руку ко лбу и резким движением откинулся на спинку своего кресла.

— Я, конечно, слишком маленький человек, чтобы провозглашать тост за ее здоровье, — продолжал Уриа, — но я восхищаюсь ею, обожаю ее!

Мне кажется, никакая физическая боль отца Агнессы не могла бы так потрясти меня, как душевная мука, с которой он тут судорожно сжал руками свою седую голову.

Уриа или не смотрел в это время на своего компаньона, или не понимал, что творится в его душе, но только он продолжал, как ни в чем не бывало:

— Агнесса, Агнесса Уикфильд, могу сказать, самая божественная из всех женщин! Ведь правда, я могу говорить откровенно среди друзей? Конечно, великая честь быть ее отцом, но назваться ее супругом...

Да избавит меня бог услышать еще когда-нибудь такой крик, какой вырвался у отца Агнессы, когда он поднимался со своего кресла.



— Что такое? — спросил Уриа, побледнев, как смерть, — Надеюсь, мистер Уикфильд, что вы не совсем еще сошли с ума? Разве я, как всякий другой молодой человек, не могу стремиться к тому, чтобы ваша Агнесса стала моей Агнессой? Мне кажется, я-то даже имею на это прав больше, чем кто-либо другой.

Обняв мистера Уикфильда, я начал умолять его, во имя всего, что только мог придумать, но больше всего во имя его любви к дочери, хоть немного успокоиться. Он в эту минуту был действительно, как помешанный: рвал на себе волосы, бил себя кулаками по голове, пытался вырваться из моих рук, отталкивал меня от себя, ни слова не отвечал на мои мольбы, ни на кого не глядя и даже, кажется, никого не видел. Он рвался, сам не зная куда, лицо его судорожно подергивалось, на него положительно было страшно смотреть.

Я в отчаянии продолжал умолять его взять себя в руки, выйти из этого безумного состояния, послушать меня; заклинал его подумать об Агнессе, напоминал о том, что я не совсем чужой ему, так как вырос вместе с его дочерью, любил ее как сестру; говорил несчастному старику, что такая дочь действительно является его гордостью и радостью. Я всячески старался сосредоточить его мысли на Агнессе; даже упрекал его в том, что он не имеет настолько силы воли, чтобы скрыть эту сцену от дочери. Подействовали ли мои слова, или припадок безумия сам собою стал проходить, но мистер Уикфильд перестал метаться и, мало-помалу успокаиваясь, начал смотреть на меня сперва каким-то странным, бессознательным взглядом, а затем, видимо, узнал меня. Наконец он проговорил:

— Я знаю, Тротвуд. Мое дорогое дитя и вы... я знаю. Но взгляните на него!

И старик указал на Уриа. Тот стоял в углу, бледный, разозленный. Очевидно, он понял, что ошибся в своих расчетах.

— Посмотрите на моего учителя! — снова заговорил мистер Уикфильд. — Этот человек мало-помалу отнял у меня честное имя, репутацию, спокойствие, дом...

— Скажите лучше, что это я спас ваше честное имя, репутацию, ваш душевный покой, сохранил ваш домашний очаг, — торопливо, с хмурым видом перебил Уриа, видимо спеша поправить дело. — Не безумствуйте, мистер Уикфильд. Если язашел несколько дальше того,

к чему вы подготовлены, так могу вернуться и назад. Пока беды никакой еще не произошло.

— Я, конечно, знаю, что у каждого есть своя цель в жизни, — сказал мистер Уикфильд, — и я думал, что с него довольно быть связанным со мной материальными интересами. Но, как видно, ему этого мало. Подумайте, что это за человек! Только подумайте!

— Мистер Копперфильд, заставьте его замолчать, если можете! — закричал Уриа, указывая пальцем на мистера Уикфильда. — Сейчас он скажет то, о чем ему никогда не нужно заикаться. Он и сам пожалеет потом, что сказал, и вы будете не рады, что услышали.

— Все сейчас скажу! — закричал охваченный отчаянием мистер Уикфильд. — Раз я в вашей власти, почему мне не быть во власти всего света?

— Говорю вам, заставьте его молчать! — продолжал предостерегать меня Уриа — Если вы не постараетесь заткнуть ему рот, вы не друг ему... А вы, мистер Уикфильд, спрашиваете, почему вам не отдаться во власть всего света? Да потому, что у вас есть дочь. То, что мы знаем с вами, и будем знать только мы двое, не так ли? А зачем ворошить прошлое, кому это нужно? Не мне, конечно! Разве вы не видите, насколько я смиренен? Говорю же вам, что если я зашел слишком далеко, то сожалею об этом. Чего же вам еще надо, сэр?

— О Тротвуд, Тротвуд! — закричал мистер Уикфильд, ломая руки. — Как я пал с того момента, когда впервые увидел вас в этом доме! Правда, я и тогда уже начал катиться по наклонной плоскости, но какой ужасный путь проделал я с тех пор! Мой слабый характер погубил меня. О! Если бы я мог не вспоминать, заставить себя забыть!.. Моя естественная печаль по умершей матери моего ребенка обратилась в нечто болезненное. И естественная любовь к дочери приняла тоже какой-то болезненный характер. Мне кажется, я заражал все, к чему ни прикасался. Я навлек горести на то существо, которое так горячо люблю. Вам-то известно — язнаю. Я считал, что можно любить на свете одно существо и никого больше; я считал, что горюя о своей утрате, можно не принимать никакого участия в горестях других людей. Вот как я исковеркал себе жизнь! Я терзал свое слабое, трусливое сердце, а оно терзало меня. Я был низок в своем горе, низок в любви, низок в том, как пытался избавиться от

своих душевных мук. А теперь взгляните, в какую развалину я превратился... Презирайте меня! Бегите от меня!

Он упал в кресло и бессильно заплакал. Вслед за возбуждением наступила реакция. Тут Уриа вышел из своего угла.

— Я сам не знаю, что делал в минуты помрачения, — проговорил мистер Уикфильд, протягивая ко мне руки, как бы моля меня не осуждать его. — Он вот знает это лучше, — добавил несчастный старик, имея в виду Уриа Гиппа, — ибо всегда вертелся подле меня и нашептывал свое. Он живет в моем доме, он распоряжается в моем деле, Вы слышали, о чем он сейчас говорил? Что мне еще к этому прибавить?

— Вам не только не надо ничего прибавлять, но не надо было говорить и половины того, что вы сказали, просто следовало молчать, — полульстиво, полувызывающе проговорил Уриа. — Я прекрасно знаю, — продолжал он, — что вы не приняли бы этого так близко к сердцу, не будь здесь вина. Завтра, сэр, вы на это посмотрите не так мрачно. Ну, даже если у меня и вырвалось больше, чем следовало говорить, так что же тут такого? Не настаиваю же я на этом.

Дверь открылась и неслышными шагами вошла Агнесса, бледная, как смерть; она подошла к отцу, обняла его за шею и решительным голосом сказала:

— Папа, вижу, вам нездоровится. Пойдемте со мной.

Старик, словно подавленный стыдом, склонил голову на плечо дочери, и они вышли. Глаза Агнессы на миг встретились с моими, и я прочел в них, что ей прекрасно известно обо всем происшедшем.

— Я, мистер Копперфильд, признаться, не ждал, что он так выйдет из себя, — проговорил Уриа. — Но завтра же мы снова будем с ним друзьями. Это ему только на пользу. Я ведь самым смиренным образом всегда думаю исключительно о его благе.

Я ничего ему не ответил и поднялся наверх, в ту самую маленькую комнатку, где так часто, бывало, Агнесса сживала подле меня, когда я готовил уроки. Но этот вечер я провел в одиночестве. Я взял книгу и попробовал было читать. Пробило полночь. Я все еще сидел за книгой, ничего не понимая из того, что читал, как вдруг Агнесса тихонько коснулась моего плеча.

— Тротвуд, вы ведь рано уезжаете завтра, так давайте сейчас простимся с вами!

На ее лице виднелись следы слез, но оно было так спокойно, так прекрасно...

— Господь да благословит вас! — промолвила она, пожимая мне руку.

— Агнесса, дорогая моя, я вижу, что вы не хотите говорить об этом, но неужели тут ничего нельзя поделать?

— Можно только уповать на бога, — ответила она.

— А не могу ли я помочь вам, — я, который посмел придти к вам со своими ничтожными горестями?

— Но вы облегчили и мои, — отозвалась она. — В этом же деле, дорогой Тротвуд, ничем помочь нельзя.

— Дорогая Агнесса, с моей стороны очень самонадеянно давать вам советы, мне, который настолько ниже вас в отношении доброты, и решительности, и благородства. Но вы знаете, как люблю я вас и как многим вам обязан. Скажите, Агнесса, ведь вы же никогда не сможете принести себя в жертву ложно понятому чувству долга?

Она выпустила мою руку и отступила назад. Ни разу я не видал ее такой взволнованной.

— Ну скажите, что вы далеки от таких мыслей, Агнесса, дорогая! Вы ведь для меня больше, чем сестра. Подумайте только, что за бесценное сокровище такое сердце, как ваше, такая любовь, как ваша!

Много, много времени спустя воскрес в моей памяти брошенный ею в эту минуту взгляд — взгляд, в котором не было ни удивления, ни упрека, ни сожаления... Много, много времени спустя с необыкновенной ясностью мелькнула передо мной та милая улыбка, с которой она сказала, что нисколько ни боится за себя и что мне совершенно нечего за нее тревожиться.

Вслед за этим она простилась со мной, назвав братом, и ушла.

Было еще темно, когда на следующее утро я взобрался в дилижанс, стоявший у гостиницы. Начинало светать, и мы с минуты на минуту должны были тронуться в путь. Я сидел и думал об Агнессе, как вдруг в полумраке появилась голова Уриа, влезавшего в дилижанс.

— Копперфильд, — проговорил он хриплым шопотом, держась за железный верх дилижанса, — мне казалось, вам приятно будет узнать, что мы с компаньоном примирились. Я только что от него: все улажено. Видите ли, хотя человек я и маленький, а все-таки очень ему

полезен, и он прекрасно понимает свои интересы, когда только не пьян. Но при всем этом, мистер Копперфильд, какой он приятный человек!

— Рад слышать, что вы извинились перед мистером Уикфильдом, — принудил себя сказать я.

— А отчего же и не извиниться! — заявил Уриа. — Маленькому человеку ничего не стоит это сделать. А теперь скажите, — прибавил он, по своему обыкновению изгибаясь полненному, — случилось ли вам, мистер Копперфильд, срывать неспелую грушу?

— Наверно, случилось, — ответил я.

— Так вот, то же самое сделал я вчера вечером, — пояснил Уриа. — Но ничего: это еще созреет. Надо только выждать, а ждать я умею...

Тут, чрезмерно любезно простившись со мной, он соскочил с дилижанса в тот момент, когда кучер влезал на козлы. По-видимому, боясь натошак утреннего холода, он захватил с собой что-то съедобное и теперь жевал это с таким видом, словно груша уже поспела и он ее с наслаждением смакует.

## **Глава XI**

# **СТРАННИК**

В тот же вечер в нашей квартире на Букингамской улице у нас с бабушкой был серьезный разговор относительно кентерберийских происшествий, рассказанных мною в предшествующей главе. Бабушка глубоко заинтересовалась ими и потом больше двух часов, скрестив руки на груди, ходила взад и вперед по комнате. Всегда, когда бабушка бывала чем-нибудь особенно расстроена, она принималась так ходить, и по тому, сколько продолжалось это хождение, можно было судить о степени ее беспокойства. На этот раз она была так встревожена, что нашла нужным открыть дверь в спальню, чтобы можно было ходить по обеим комнатам из конца в конец. И вот, в то время как мы с мистером Диком сидели у камина, бабушка не переставала проходить мимо нас, шагая с точностью часового механизма.

Когда мистер Дик ушел спать и мы остались с бабушкой вдвоем, я принялся писать письмо старым тетушкам Доры. В это время бабушка, очевидно утомившись своим хождением, уселась у камина, по обыкновению подобрав свое платье. Однако, вместо того чтобы, как всегда, поставить стакан с горячим элем себе на колени, она оставила его нетронутым на камине. Склонив голову на руку, бабушка задумчиво смотрела на меня. Каждый раз, когда я поднимал глаза от своего письма, я встречал ее взгляд, и она, кивая головой, начинала уверять меня, что любит меня больше, чем когда-либо, а такая она потому, что на душе у нее тревожно и грустно.

Я был слишком погружен в свое писание и потому только после ухода бабушки заметил, что она оставила нетронутой на камине свою «вечернюю микстуру», как она называла горячий эль.

Когда я постучал к ней, чтобы сообщить об этом открытии, бабушка появилась в дверях еще более ласковая, чем всегда, и сказала: «Милый Трот, мне что-то сегодня этот эль не идет в горло», покачала головой и скрылась за дверью.

Утром она прочла мое письмо к теткам Доры и одобрила его. Я сдал его на почту, и мне ничего не оставалось, как, вооружившись терпением, ждать ответа.

Прошла уже неделя, как я отправил письмо. Снежной ночью я возвращался домой от доктора. Весь день было очень холодно, дул резкий северо-восточный ветер. Вечером ветер стих и пошел снег. Он падал тяжелыми хлопьями и вскоре покрыл все кругом густым слоем. И стук колес и шаги прохожих затихли, словно улицы были усыпаны пухом.

Мой кратчайший путь, — а в такую ночь я, конечно, пошел именно таким путем, — лежал через переулок св. Мартына. В те времена церковь, именем которой этот переулок назывался, не была, как теперь, окружена площадью, а здесь, до самой набережной Темзы шел переулок. Проходя мимо паперти, я встретил какую-то женщину. Она посмотрела на меня и, перейдя на другую сторону узкого переулочка, исчезла. Лицо ее мне показалось знакомым. Где-то я видел его, а где — не мог припомнить. Мне, правда, показалось, что промелькнувшее лицо имело какое-то отношение к чему-то близкому моему сердцу, но я был в этот момент слишком погружен в свои мысли, чтобы разобраться в этом.

На ступеньках паперти стоял, наклонившись, какой-то мужчина. Положив на мягкий снег свою ношу, он оправлял ее, и женщину и мужчину этого я увидел почти одновременно. Будучи крайне удивлен, я все-таки, кажется, машинально сделал еще несколько шагов. В это время мужчина, выпрямившись, пошел ко мне навстречу, и я очутился лицом к лицу с мистером Пиготти.

Тут я вспомнил, кто была женщина. Это была Марта, которой Эмилия тогда в кухне дала денег. Та самая Марта Эндель, рядом с которой старик, по словам Хэма, ни за какие сокровища, скрытые на дне океана, не захотел бы видеть свою любимую племянницу. Мы горячо пожали друг другу руки, но в первую минуту ни один из нас от волнения не был в состоянии промолвить ни слова.

— Мистер Дэви, — наконец заговорил старый рыбак, еще и еще пожимая мне крепко руку, — когда вижу вас, сердце радуется. Вот так счастливая встреча!

— Действительно, счастливая встреча, дорогой старый друг! — воскликнул я.

— Я сегодня еще хотел навестить вас, сэр, — сказал мистер Пиготти, — но, узнав, что ваша бабушка живет с вами (я ведь побывал

уже в Ярмуте), побоялся, что это будет слишком поздно. И я собирался зайти к вам рано утром, перед тем как пуститься в путь.

— Опять? — спросил я.

— Да, сэр, — ответил он, решительно кивнув головой, — завтра снова в путь-дорогу.

— А теперь куда вы направляетесь? — спросил я.

— Я шел искать себе ночлег, — ответил он, отряхивая снег от своих длинных волос.

В те времена с переулка св. Мартына был ход на конный двор той самой гостиницы «Золотой крест», которая в моей памяти была так неразрывно связана с бедами мистера Пиготти. Ворота этой гостиницы были как раз против того места, где мы разговаривали с мистером Пиготти. Я указал ему на ворота, взял его под руку, и мы с ним вошли во двор. Здесь находилась харчевня из двух или трех комнат. Заглянув в одну из них, я убедился, что она пуста, но в ней ярко горит камин, и ввел туда мистера Пиготти.

При свете камина я разглядел не только то, что волосы у старика отросли и растрепаны, но еще, что он очень загорел, поседел, а морщины на щеках и на лбу стали глубже. Видно было, что он сделал немало переходов во всякую погоду. Но все же выглядел он очень крепким и производил впечатление человека, охваченного решимостью достигнуть цели, для которого всякая усталость нипочем. Пока я разглядывал его, он отряхнул снег со своей шапки и платья, вытер себе лицо, сел против меня за стол, спиной к двери, в которую мы только что вошли, и, схватив мою руку, снова горячо пожал ее.

— Я расскажу вам, мистер Дэви, — начал он, — где я побывал и что узнал. Был я далеко, а узнал немного... Вот сейчас обо всем услышите.

Я позвонил слуге, чтобы он принес нам выпить чего-нибудь горяченького. Мистер Пиготти не пожелал ничего, кроме эля. Покуда ходили за элем и грели его у камина, он сидел, погруженный в свои думы. И лицо его при этом было так серьезно, что я не решался нарушить его молчание. Оставшись наедине со мной, старик поднял голову и заговорил:

— Когда она была еще ребенком, то часто любила говорить со мной о далеких странах, где синее море так ярко сверкает на солнце. В былое время я считал, что она так много думает об этих странах



потому, что ее отец потонул. Я, конечно, не знаю, но, быть может, она все надеялась, что после кораблекрушения ее отца вынесло на берег, где всегда цветут цветы и сияет солнце.

— Ну, уж это, конечно, детская фантазия! — заметил я.

— Когда она... исчезла, — запнувшись, продолжал старик, — я был уверен, что он увез ее в эти самые страны. Он, наверно, рассказывал ей о них чудеса, уверяя, что там она будет важной леди. Я сразу подумал, что такими вот рассказами он мог вскружить ей голову. А после того как мы повидались с его матерью, я прекрасно понял, что был прав. И я переплыл канал и очутился во Франции — точно я с неба свалился.

Тут я заметил, что дверь немного приоткрылась и со двора влетело несколько снежинок, потом дверь открылась еще больше, и я увидел руку, придерживающую ее так, чтобы она не могла затвориться.

— Там я встретил английского джентльмена из начальства, — продолжал мистер Пиготти. — Я ему рассказал, что иду искать свою племянницу. Он добыл мне бумаги, какие требуются в пути. Я толком даже не знаю, как они называются. Кроме того, он еще хотел дать мне денег, но, к счастью, я в них не нуждался. Уж конечно, я ему горячо благодарен за все, что он для меня сделал. На прощанье он мне сказал: «Я напишу о вас кое-кому и буду рассказывать о вас едущим в ту сторону, так что, когда вы будете далеко отсюда, вы встретите там много людей, которые будут знать о вас». Разумеется, я высказал ему, как только смог, свою благодарность и затем пустился в путь по французской земле.

— Один и пешком? — спросил я.

— Большею частью пешком, — ответил он. — Иногда, правда, мне случалось подъехать на телеге какого-нибудь крестьянина, направляющегося на базар. Другой раз, бывало, подвезет кто-нибудь в порожнем экипаже. А обыкновенно по многу миль в день я отмахивал пешком, часто в обществе какого-нибудь солдата или другого пешехода, идущего проведать своих друзей. Я, конечно, не мог с ними разговаривать, ни они со мной, но все-таки нам веселее было идти вместе по пыльной дороге. Придя в какой-нибудь город, — продолжал он рассказывать, — я разыскивал гостиницу и ждал там во дворе, пока не попадется мне кто-нибудь, говорящий по-английски. Мне почти

всегда удавалось кого-нибудь встретить. Тут я рассказывал, что ищу свою племянницу, а мне описывали, какие люди стоят в этой гостинице. Если описания подходили к Эмилиии, я ждал, пока появлялась молодая дама, о которой мне говорили. Убедившись, что это не Эмилиия, я шел дальше. Потом бывало так, что приду я в какую-нибудь деревню, а обо мне уж там знают. Часто крестьяне приглашали меня посидеть у дверей своих хижин, угощали чем бог послал и оставляли ночевать у себя. И, знаете, мистер Дэви, не раз случалось, что какая-нибудь женщина, у которой есть дочь примерно лет Эмми, ждет меня еще за околицей (где у них обыкновенно стоит большой крест с распятием), чтобы пригласить меня зайти к себе. А особенно добры бывали ко мне матери, оплакивающие своих умерших дочерей...

Это Марта была там, за дверью. Мне ясно видно было ее растерянное лицо, видно было, с какой жадностью она слушает нас и только боится, как бы старик, повернувшись, не увидел ее.

— Часто они сажали ко мне на колени своих детей, продолжал рассказывать мистер Пиготти, — особенно маленьких девочек. Не раз вы могли бы видеть меня сидящим у дверей хижины с этими малютками на руках. И мне почти казалось, что это крошки моей любимой... Ах, любимая моя!..

Не выдержав внезапного приступа горя, старик зарыдал. Я дотронулся дрожащей рукой до его руки, которой он закрывал себе лицо.

— Благодарю вас, сэра, — прошептал он, — не обращайтесь на это внимания.

Вскоре, однако, он справился с собой, отнял от лица руку, засунул ее за пазуху и снова начал рассказывать:

— Бывало, эти люди часто провожали меня милю или две, и, когда, прощаясь, я по-английски горячо благодарил их, они, казалось, понимали меня и тоже что-то ласковое говорили мне по-своему. Вот таким образом я добрался до моря. Вы сами понимаете, что для такого моряка, как я, нетрудно было, работая на судне, попасть в Италию. Там я странствовал опять-таки большей частью пешком. Люди и в Италии тоже были добры ко мне, и, наверно, я прошел бы ее всю из конца в конец, не узнай я, что племянницу мою видели в Швейцарских горах. Человек, знакомый с «его» лакеем, видел там их

всех троих. Он рассказал, как они путешествуют и где именно находятся. И вот, мистер Дэви, я шел день и ночь, чтобы добраться до этих самых гор, Но сколько я ни шел, горы, казалось, всё уходили от меня. В конце концов я-таки добрался и перевалил через них. Когда я стал подходить к тому месту, которое мне указали, я начал думать, что мне делать, когда я ее увижу...

В этот момент женщина, стоя за дверью, видимо, не чувствуя сурового ночного холода, умоляюще сложив руки, стала упрашивать меня не прогонять ее.

— Я никогда ни на минуту не сомневался в ней, — продолжал мистер Пиготти, — я знал, что стоит ей только увидеть меня, услышать мой голос, стоит мне молча постоять перед ней — и это напомнит ей родной дом, откуда она убежала, напомнит детство, и будь она даже принцессой королевского дома, и тогда она бросилась бы передо мной на колени. Не раз видел я во сне, как она, крикнув «дядя», словно мертвая, валилась передо мной на пол... Не раз поднимал и ее и шептал: «Эмми, дорогая моя, я пришел простить вас и забрать домой».

Старик остановился, тряхнул головой и, вздохнув, снова заговорил:

— Теперь для меня «он» был ничто, Эмми — все! Я купил для нее деревенскую одежду. Я знал, что, когда найду ее, она пойдет за мной по всем этим каменистым дорогам, всюду, куда бы только я ни повел ее, и никогда уж больше меня не покинет. Только и думал о том, как я сорву с нее ее роскошное платье, надену мое простое, снова возьму ее под руку, уведу домой и только иногда буду останавливаться в пути, чтобы полечить ее пораненные ноги и еще более пораненное сердце. А на «него», кажется, я даже не взглянул бы... Но, мистер Дэви, для этого время еще не пришло. Я добрался слишком поздно — они уже уехали. Куда — я не мог узнать: одни говорили — они здесь, другие — там. Я всюду ходил, но нигде Эмми моей не нашел и направился домой.

— А давно вы вернулись? — спросил я.

— Всего несколько дней, — ответил мистер Пиготти. — Когда я подходил к старой барже, уже стемнело, и в окне светилось. Я приблизился к окну и заглянул в него. Вижу, верная душа — миссис Гуммидж сидит себе, как мы и условились, одна у камелька. Я

крикнул ей: «Не пугайтесь, матушка, это я — Дэниэль», и вошел. Никогда не подумал бы, что старая баржа может стать мне такой чужой...

Тут он из бокового кармана осторожно вынул бумажный пакетик с двумя-тремя письмами и положил на стол.

— Вот это, — сказал он, беря в руки один из конвертов, — было получено через несколько дней после моего ухода. Здесь был банковый билет в пятьдесят фунтов стерлингов, завернутый в листик бумаги, на котором было написано мое имя. Подсунули его ночью под дверь. «Она» старалась изменить свой почерк, но я-то сейчас же узнал его.

Старик самым тщательным образом сложил банковый билет так же точно, как он был сложен раньше, и отложил его в сторону.

— А это, — проговорил он, раскрывая другой конверт, — миссис Гуммидж получила два или три месяца тому назад.

Поглядев на письмо, он подал его мне и тихонько сказал:

— Будьте так добры, сэр, прочтите его.

И я прочел следующее: «Ах, что почувствуете вы, увидев мой почерк и узнав, что это письмо написано моей преступной рукой! Но постарайтесь, не ради меня, а ради дяди, постарайтесь хотя на короткое, самое короткое время быть снисходительнее ко мне! Молю вас, сжальтесь надо мной, несчастной, и напишите мне на клочке бумаги, здоров ли он и что сказал он в первую минуту, до того, как вы все перестали упоминать даже имя мое? Напишите мне, не замечаете ли вы, что вечером, в то время, когда я обыкновенно возвращалась домой, он вспоминает ту, которую так горячо любил? Сердце мое разрывается на части, когда я думаю об этом! Прошу и молю вас на коленях, не будьте ко мне так суровы, как я этого заслуживаю, — прекрасно знаю, что заслуживаю, — но будьте милой и доброй и напишите мне о нем. Не зовите меня своей крошкой, не зовите именем, которое я опозорила, но сжальтесь над моей душевной мукой и, умоляю, напишите мне несколько слов о дяде, которого я уж никогда, никогда больше не увижу...

Дорогая моя, если сердце ваше ожесточено против меня, — и я знаю, что это заслуженно, — то прежде, чем отказать мне, посоветуйтесь с тем, кому я сделала больше всего зла, чьей женой я должна была быть... И если он будет считать, что мне следует написать, — а я надеюсь, что так будет, да, надеюсь на это, зная, какой

он всегда был славный и всепрощающий, — в этом случае, только в этом случае, скажите ему, что каждый раз, когда я ночью слышу завывание ветра, мне все кажется, будто ветер этот сейчас, промчавшись мимо него и дядюшки, негодуя, с жалобой на меня несется к богу. И скажите ему, что если б завтра мне суждено было умереть (как бы я хотела этого, будь я только подготовлена!), то последнее, что шептали бы мои уста, было бы благословение ему и, дяде и мольба о счастливом для него семейном очаге».

К этому письму также были приложены деньги — пять фунтов стерлингов. Но и эта сумма, как и предшествующая, была не тронута, и старик так же тщательно уложил и деньги и письмо в конверт. В письме также говорилось, как адресовать ответ. Судя по тому, что он должен был пройти не через одни руки, видно было, что хотели скрыть место своего пребывания, но все-таки походило на то, что письмо это Эмилия писала именно в том месте, где, по слухам, ее видели.

— Что же ей ответили на это письмо? — спросил я.

— Видите ли, сэр, миссис Гуммидж не очень-то сильна в грамоте, поэтому Хэм был так добр, что взялся составить письмо, а она только переписала его. Они написали ей, что я ушел на поиски ее, и сообщили, каковы были мои последние слова при прощании.

— А это что у вас в руках? Не ее ли еще письмо? — поинтересовался я.

— Нет, это деньги, сэр, — ответил мистер Пиготти, приоткрывая конверт. — Видите: десять фунтов стерлингов, а на бумажке внутри, как и в первый раз, написано: «От верного друга». Но первые деньги были просунуты под дверь, а эти третьего дня получены по почте. И вот по марке и штемпелю на конверте я и иду ее разыскивать.

Он показал мне конверт — на нем был штемпель одного из городов в верховьях Рейна. Оказалось, что старик нашел в Ярмуте иностранных купцов, знакомых с берегами Рейна, и они набросали ему несложную карту тех мест, в которой он мог очень легко разобраться. Он положил эту карту между нами на стол и, склонив голову на одну руку, другой стал возить по тем местам на карте, по которым ему надо было идти. Я спросил его, как чувствует себя Хэм. Мистер Пиготти покачал головой.

— Он работает так мужественно, как только в силах работать человек, и заслужил себе лучшее имя, которое только можно заслужить на свете. Каждый рад ему помочь, так как, понимаете, он сам готов помочь всякому. Никто никогда не слышал, чтобы он жаловался, но сестра моя считает, между нами будь сказано, что «это» поразило его в самое сердце.

— Бедняга! Легко поверю этому, — вырвалось у меня.

— Знаете, мистер Дэви, — зашептал с печальным видом старик, — он теперь и в грош свою жизнь не ставит. Когда в бурную погоду требуется человек на опасное дело, он всегда тут как тут, всегда впереди всех товарищей. И при этом кроток, как дитя. Нет такого малыша в Ярмуте, который не знал бы его.

Мистер Пигогти стал задумчиво собирать письма, погладил их, опять завернул в бумагу и с нежностью положил обратно в боковой карман. Лицо, выглядывавшее из-за двери, исчезло. И хотя снежки продолжали врываться в дверь, но там, очевидно, уже никого не было.

— Ну, мистер Дэви, — проговорил старый рыбак, поглядывая на свою котомку, — раз я повидался с вами сегодня вечером — и это доставило мне большую радость, то завтра с утра я могу пуститься в путь. Вы видели, что у меня здесь, — и он засунул руку за пазуху, где был маленький пакет, — так вот, меня больше всего мучает мысль что со мной может случиться что-нибудь раньше, чем я верну эти самые деньги. Если бы мне пришлось умереть, а деньги были бы потеряны, украдены или вообще куда-нибудь девались и «он» мог бы думать, что я взял их себе, то мне кажется, я не улежал бы спокойно и в могиле. Право, вернулся бы с того света.

Затем он встал, и я тоже. Прежде чем выйти, мы крепко пожали друг другу руку.

— Если бы мне пришлось итти целых десять тысяч миль, — заговорил он, — то и тогда я шел бы, пока не свалился бы мертвым, чтобы швырнуть эти деньги к его ногам! Только бы мне это сделать да найти свою Эмми и я буду совсем доволен. Если же мне не удастся ее найти, то, быть может, она от кого-нибудь услышит, что одна смерть заставила любящего дядю прекратить розыски ее. И вот, зная мою Эмми так, как я знаю, я уверен, что это, наконец, заставит мою девочку вернуться домой.

Мы вышли на улицу. Была очень холодная ночь. Я увидел убегающую от нас одинокую женскую фигуру. Под каким-то предлогом я задержал старика, пока фигура не исчезла. Мистер Пиготти сказал мне, что знает на Дуврской дороге постоялый двор, где сможет переночевать в чистой скромной комнате. Я пошел проводить его через Вестминстерский мост и расстался с ним на Суррейской набережной. Когда одинокий старик двинулся в путь-дорогу, мне почудилось, что все в природе благоговейно затихло...

Я вернулся к гостинице и стал усердно искать глазами ту, чье лицо вызвало во мне столько воспоминаний, но ее нигде не было. Снег уже занес наши следы, да и мои начинал заносить.

## *Глава XII*

### *ТЕТУШКИ ДОРЫ*

Наконец-то получился ответ от старых тетушек. Они слали привет мистеру Копперфильду и уведомляли его, что обсудили его письмо самым серьезным образом, приняв во внимание «благо обеих сторон». Признаться, это выражение немало встревожило меня, ибо я помнил, что оно было уже ими однажды употреблено при той семейной ссоре, о которой я раньше упоминал. Тетушки писали дальше о том, что они воздерживаются объясняться «при содействии переписки» по поводу вопроса, поднятого мистером Копперфильдом в его письме, но если мистер Копперфильд почтит их в назначенный ему день своим посещением (и, быть может, найдет удобным это сделать в сопровождении друга, пользующегося его доверием), то они будут счастливы переговорить с ним о данном деле.

На это письмо мистер Копперфильд не замедлил ответить, что в назначенный день будет иметь честь засвидетельствовать обеим дамам свое глубочайшее почтение, притом, пользуясь их любезным разрешением, явится в сопровождении своего друга мистера Томаса Трэдльса, члена адвокатской коллегии.

Отправив это послание, мистер Копперфильд пришел в страшно нервное состояние, в коем и пребывал вплоть до знаменательного дня.

Мое нервное состояние еще усиливалось тем, что я лишился бесценных услуг мисс Мильс. Ее папаша, всегда делающий мне все назло, — или мне это только казалось, — и теперь вдруг взял да и принял важный пост в Индии, куда и собирался уехать со своей дочерью.

В данный момент она была в провинции, куда отправилась проститься со своими родственниками и друзьями.

Меня очень мучил вопрос, как мне одеться в этот столь важный для меня день. С одной стороны, мне хотелось быть как можно интереснее, а с другой стороны я боялся, принарядившись, показаться тетушкам недостаточно серьезным. Наконец я решил придерживаться золотой середины, и бабушка, когда я привел в исполнение свой план,



одобрила меня. А мистер Дик, в то время как мы с Трэдльсом спускались по лестнице, бросил нам вслед на счастье свой башмак.

Какой ни был чудесный человек Трэдльс, как горячо я ни любил его, а идя с ним в Путней по такому щекотливому делу, я не мог не пожалеть о его манере зачесывать волосы вверх. Это придавало ему почему-то изумленный вид, сказал бы даже — сообщало ему какое-то сходство с помелом, и мои страхи нашептывали мне, что это может оказаться пагубным для нашего дела. Я даже осмелился спросить его, не смог ли бы он немного пригладить себе волосы.

— Дорогой мой Копперфильд, — ответил Трэдльс, приподняв шляпу и усердно разглаживая свои волосы, — рад бы душой, да с ними ничего не поделаешь.

— Неужели же их никак нельзя пригладить? — удивился я.

— Никак, — уверенно ответил Трэдльс. — Взвали я на них большую тяжесть и тащи ее таким образом до самого Путнея, в момент, когда я снял бы эту тяжесть, волосы у меня опять стали бы дыбом. Вы, Копперфильд, даже не имеете представления, до какой степени они упрямы! В этом отношении я настоящий свирепый дикобраз.

Я, признаться, немного был огорчен, но в то же время и очарован добродушием моего друга. Я тут же сказал, какого я высокого мнения о его доброте, и прибавил, что, наверное, все упрямство у него сосредоточилось в волосах, ибо в характере даже следа его не осталось.

— Ах, это вечная история с моими злосчастными волосами! — смеясь, сказал Трэдльс. — Их не могла видеть и жена моего дяди. По ее словам, они раздражали ее. Так же служили они мне помехой, когда я только что влюбился в Софи...

— Что же, они ей не нравились?

— Нет, сама она ничего не имела против них, но вот старшая ее сестра, — знаете, та красавица, — ужасно потешалась над моими бедными волосами. Впрочем, и все сестры подсмеиваются над ними.

— Нечего сказать, приятно! — воскликнул я.

— Да мы все порой смеемся над ними, — с очаровательной наивностью прибавил Трэдльс. — Сестры уверяют, что Софи прячет локон моих волос в свой письменный столик и, чтобы он не

топорщился, принуждена держать его в альбоме с застёжками. Потеха, да и только!

— Кстати, дорогой мой Трэдльс, — начал я, — ваша опытность может мне пригодиться. Скажите, когда вы стали женихом молодой леди, о которой только что упоминали, вы делали формальное предложение ее родителям? Было ли у вас, например, что-либо подобное тому, что сейчас нам предстоит с вами? — прибавил я нервничая.

— Видите ли, Копперфильд, — сказал Трэдльс, и его лицо стало более серьезным, — это было для меня далеко не легкое дело. Софи до того необходима своей семье, что никто из них не может даже себе представить, как это она вдруг выйдет замуж. Они между, собой решили, что она так никогда и не выйдет, и уже стали звать ее старой девой. И вот, когда, со всевозможными предосторожностями, я заговорил с миссис Крюлер...

— Это ее мама? — перебил я его.

— Да, мама, — ответил Трэдльс, — жена его преподобия Горация Крюлера... И повторяю, когда, со всяческими предосторожностями, я заикнулся перед миссис Крюлер об этом, мои слова так поразили ее, что она вскрикнула и лишилась чувств. Потом в течение целых месяцев я не мог коснуться этого вопроса.

— Но в конце концов вы же снова подняли его? — сказал я.

— Ну да, но заговорил об этом его преподобие отец Гораций. Он прекраснейший человек, примерный во всех отношениях. Это он убедил жену, что она должна как христианка примириться с такой жертвой (особенно, когда все это еще так неопределенно) и не питать ко мне каких-либо враждебных чувств. А я в это время, Копперфильд, даю вам честное слово, чувствовал себя какой-то хищной птицей по отношению ко всей семье Крюлер.

— Надеюсь, Трэдльс, сестры приняли вашу сторону?

— Нет, не могу сказать этого, — ответил он. — Когда мы до известной степени примирили с этой мыслью миссис Крюлер, надо было сказать об этом Сарре... Помните, я рассказывал вам о сестре, у которой не совсем ладно с позвоночником?

— Прекрасно помню.

— Услышав об этом, Сарра судорожно стиснула руки, глаза у нее закатились, вся она посинела, окоченела, — со смущенным видом

рассказывал Трэдльс, — целых два дня ничего не в состоянии была есть, кроме размоченных в воде сухариков, да и этим ее кормили с ложечки.

— Ну и противная же девушка! — воскликнул я.

— О, простите, Копперфильд! — возразил мой друг. — Она прелестная девушка, только слишком чувствительна. Собственно говоря, они все такие. Вот и Софи рассказывала мне потом, как ее невыносимо мучили угрызения совести, когда она ухаживала за Саррой. Могу себе ясно представить это, ибо сам я чувствовал себя преступником. Когда Сарра поправилась, нужно было о нашей помолвке объявить остальным восьми сестрам. И на всех весть эта произвела различное, но очень сильное впечатление. А две маленькие сестренки, которых Софи воспитывает, так те только совсем недавно перестали меня ненавидеть.

— Но теперь, надеюсь, все они уже примирились с этим? — спросил я.

— Д-да. Пожалуй, в общем, сказал бы я, они примирились с этим, — нерешительно проговорил Трэдльс. — Дело в том, что мы избегаем упоминать об этом. Их очень утешает то, что я еще не устроен и мое положение довольно неопределенно. Воображаю, какая произойдет отчаянная сцена, когда в конце концов мы поженимся! Наверно, это будет походить гораздо больше на похороны, чем на свадьбу. И все возненавидят меня за то, что я беру от них Софи.

Мы в это время уже приближались к дому, где жили тетушки Спенлоу, и я до того упал духом и был неуверен в себе, что Трэдльс предложил мне подбодрить себя стаканом эля. Мы с этой целью зашли в ближайший трактир, а затем Трэдльс взял меня под руку и повел к дверям тетушек, — ноги мои подкашивались.

Когда служанка отворила дверь, я не был еще вполне уверен, что мы в самом деле пришли. Неверными шагами, сам не знаю как, я прошел через переднюю, где висел барометр, и очутился в нижнем этаже, в маленькой гостиной, выходящей в хорошенький садик. Смутно вспоминаю, как я сижу на диване и гляжу на волосы Трэдльса (не успел он снять шляпу, как они, злополучные, моментально стали дыбом), слушаю тиканье старинных часов на камине и стараюсь, чтобы мое сердце билось с этим тиканьем в унисон, но это никак мне не удастся; я все ищу кругом какие-нибудь признаки пребывания в

этой комнате Доры и не нахожу их. Вдруг мне кажется, будто Джип где-то залаял, но моментально кто-то заставил его замолчать. Наконец, помню, как, почти столкнув Трэдльса в камин, я в ужасном смущении раскланиваюсь перед двумя сухонькими старыми дамами, одетыми во все черное. Обе они поразительно походят на покойного мистера Спенлоу.

— Прошу садиться, — говорит одна из маленьких дам.

Наткнувшись предварительно на Трэдльса, я на что-то сажусь и настолько прихожу в себя, что могу ориентироваться в том, что вокруг меня происходит. Мне становится ясно, что мистер Спенлоу был младшим в семье, что между сестрами разница в шесть или даже в восемь лет и что, повидимому, председателем нашего совещания является младшая из сестер, ибо она держит мое послание в руках, — каким оно кажется мне знакомым и в то же время странным! — и поглядывает на него в лорнет. Обе сестры одеты одинаково, но в туалете младшей есть что-то более молодое. Быть может, здесь играет роль какое-нибудь лишнее жабо, воротничок, браслет, брошка или еще какая-то мелочь в этом роде. Обе они держатся очень прямо, и вид у них холодный, степенный и спокойный. У старшей сестры руки скрещены на груди, как у идола.

— Кажется, я имею честь видеть перед собой мистера Копперфильда? — говорит сестра, у которой в руках мое письмо, обращаясь к Трэдльсу.

Ужасное начало! Трэдльс принужден объяснить, что мистер Копперфильд — это я. Я должен подтвердить это, а сестрам нужно отказаться от мнения, что Трэдльс — Копперфильд. Словом, все мы в преглупом положении. К довершению часто, мы уже два раза ясно слышали, как Джип порывается лаять, а его принуждают замолчать.

— Так это вы — мистер Копперфильд? — говорит мне та же сестра с письмом и руках.

Я что-то делаю, вероятно кланяюсь, и весь обращаюсь в слух, как вдруг в этот момент выступает другая тетюшка.

— Моя сестра Лавиния, — заявляет она, — как более компетентная в подобных делах, изложит вам то, что мы считаем за лучшее для блага обеих сторон.

Впоследствии я узнал, что мисс Лавиния пользовалась авторитетом в сердечных делах на том основании, что когда то

существовал некий мистер Пиджер, который играл с ними в вист и, как полагают, был влюблен в нее. Но я лично думаю, что это предположение необосновательно и мистер Пиджер совершенно не был повинен в подобных чувствах, — по крайней мере, мне не приходилось слышать о том, чтобы он когда либо высказал их. Но мисс Лавиния и мисс Кларисса обе были твердо уверены, что он непременно объяснился бы в любви, если бы не скончался во цвете лет (около шестидесяти) от чрезмерного употребления спиртных напитков. Пиджер скончался от затаенной любви, хотя, должен сказать, на портрете, висевшем у них в доме, этот джентельмен был изображен с пунцовым носом, напоминающим дамасскую розу, что отнюдь не говорило о муках тайной любви.

— Мы не будем возвращаться к прошлому, — заговорила мисс Лавиния. — Смерть нашего бедного брата Фрэнсиса все изгладила.

— Мы не часто виделись с нашим братом Фрэнсисом, — встала мисс Кларисса, — но, в сущности, и ссоры или разлила у нас с ним не было. Фрэнсис шел своей дорогой, мы — своей. Так оно и было.

Обе сестры, когда говорили, несколько наклонялись вперед, а высказав свою мысль, потряхивали головой и, замолчав, снова вытягивались в струнку. Скрещенные руки мисс Клариссы все время были неподвижны. Только время от времени она наигрывала одними пальцами что-то вроде менуэта или марша.

Мисс Лавиния только что собиралась продолжать, но мисс Кларисса, которой все хотелось говорить о брате, не дала ей это сделать.

— Если б матушка Лоры, — начала она, — когда вышла замуж за нашего брата Фрэнсиса, заявила нам, что за их обеденным столом нет места для родственников, то это было бы лучше для обеих сторон...

— Сестра Кларисса, — остановила ее мисс Лавиния, — быть может, нам не следует вспоминать об этом.

— Нет, сестра Лавиния, это имеет отношение к данному делу. Я не буду вмешиваться в вашу область, где вы одни компетентны, но тут я имею свое мнение и голос! Повторяю, было бы гораздо лучше, если б матушка Доры, выйдя замуж за нашего брата Фрэнсиса, прямо объявила нам свои намерения. Мы бы знали, чего нам ждать, и

сказали бы ей: «Пожалуйста, никогда нас не приглашайте». Этим мы избежали бы всех недоразумений.

Когда мисс Кларисса перестала кивать головой, мисс Лавиния снова заговорила, в то же время рассматривая в лорнет мое письмо.

— Положение нашей племянницы, или, вернее сказать, ее предполагавшееся положение, очень изменилось со смертью нашего брата Фрэнсиса, — продолжала мисс Лавиния, — и поэтому мы считаем, что нам не приходится теперь сообразоваться с его взглядами на будущее дочери. Мы не имеем ни малейшего основания, мистер Копперфильд, сомневаться в том, что вы молодой человек с большими достоинствами, благородного характера и что вы любите или убеждены, что любите нашу племянницу.

Я ответил, как всегда, пользуясь всяким случаем это сделать, что никто никогда никого так пламенно не любил, как я люблю Дору. Трэдльс тоже пришел мне на выручку и что-то пробормотал в подтверждение моих слов.

Кстати, надо заметить, что у обеих сестриц были маленькие круглые глазки, очень походившие на птичьи. Да и вообще своими, резкими, быстрыми, движениями и манерой как-то, встряхиваться и оправляться они напоминали канареек...

Продолжая разглядывать мое письмо, мисс Лавиния проговорила:

— Вы, мистер Копперфильд, просите у нас с сестрой Клариссой разрешения бывать в нашем доме в качестве признанного, жениха, нашей, племянницы...

— Если брату Фрэнсису, — перебила ее сестра Кларисса, — было угодно окружить себя исключительно обществом из «Докторской общины», то какое право могли мы иметь возражать против этого? Конечно, никакого. Мы с сестрой никогда, не желали, навязываться кому бы то ни было... Напрасно только брат сразу не сказал, этого. Они с женой имели бы свой круг знакомых, а мы с сестрой — свой. Ведь, надеюсь, мы могли найти, себе подходящее общество!

Так как эта последняя фраза как будто относилась к нам обоим с Трэдльсом, то нам показалось, что надо отклаться. Трэдльс пробормотал что-то такое, что нельзя было разобрать а я заявил, что это делает честь всем, кого касается. Признаться, сам я совершенно не знал, что хотел этим сказать...

— Ну, сестра Лавиния, теперь продолжайте, дорогая, — сказала мисс Кларисса, видимо облегчив душу.

И Лавиния снова заговорила:

— Мистер Копперфильд, мы с сестрой Клариссой самым серьезным образом обсудили ваше письмо, а также показали его нашей племяннице и говорили с ней по этому поводу. Мы не сомневаемся в том, что вам кажется, будто, вы ее очень, любите...

— Мне, кажется?! — горячо воскликнул я. — О, мэм!..

Тут Кларисса; бросила, на меня быстрый взгляд (так похожий на взгляд канарейки), как бы призывая не перебивать оракула, и я, извинившись, замолчал.

— Любовь, — сказала мисс Лавиния, взором прося у сестры, поддержки, — зрелая любовь, полная благоговения, преданности, не легко выражается словами; ее голос робок. Такая любовь, тиха, скромна, она прячется и ждет, как плод, своей зрелости. Порой наступает смерть, а такая любовь все еще зреет в тени...

Сестра кивала головой.

Разумеется, я тогда не понимал, что здесь был намек на воображаемую любовь злосчастного Пиджера, но, по важному виду, с каким мисс Кларисса кивала при этом головой, я заключил, что этим словам придается особое значение.

— Легкие увлечения очень молодых людей, — продолжала мисс Лавиния, — я говорю «легкие» по сравнению с глубоким чувством, о котором я только что упоминала, — не что иное, как песчинки рядом со скалой. И вот именно потому, что трудно узнать, будет ли юношеское увлечение продолжительным и постоянным, мы с сестрой и были долго в большой нерешительности, как поступить, мистер Копперфильд и мистер...

— Трэдльс, — подсказал мой друг, видя вопросительный взгляд мисс Лавинии.

— Прошу прощения, мистер Трэдльс, кажется, вы из корпорации адвокатов, не так ли? — промолвила мисс Лавиния, продолжая заглядывать в мое письмо.

— Совершенно верно, — ответил Трэдльс, покраснев до корней волос.

Хотя до сих пор я, в сущности, не слышал ничего подбадривающего, но я вообразил, что обе сестрицы, а особенно мисс

Лавиния, в восторге от того, что в их семейном быту появился новый интерес, и стремятся извлечь из этого положения все, что можно. В этом я увидел светлый луч надежды. Мне казалось, что мисс Лавиния заранее предвкушает редкое удовольствие руководить такими двумя юными влюбленными, как мы с Дорой. А мисс Кларисса с не меньшим удовольствием готовится следить за тем, как будет руководить нами ее сестрица, не упуская при этом случая подать свой голос в тех вопросах, где она считает себя компетентной. Вот эти-то мои наблюдения и дали мне храбрость начать уверять тетушек, что я люблю Дору более пламенно, чем в силах даже что высказать или кто-либо может этому поверить. Я говорил, что все мои друзья, моя бабушка, Агнесса, Трэдльс, — словом, все, кто только знает меня, знают, как я люблю Дору и как любовь эта воодушевила меня. Я прибавил, что Трэдльс сможет подтвердить это. И тут мой друг, чувствуя себя словно в парламенте, благородно сыграл свою роль: красноречиво и вместе с тем просто и понятно он подтвердил мои слова. На тетушек это, видимо, произвело благоприятное впечатление.

— Позволю себе сказать, — прибавил Трэдльс, — что у меня имеется известный опыт в таких делах, ибо я сам обручен с одной из десяти дочерей девонширского священника и в данный момент еще не предвижу, когда мы сможем повенчаться.

— Значит, вы, мистер Трэдльс, в состоянии подтвердить то, что я сейчас сказала? — спросила мисс Лавиния, явно заинтересовавшись моим другом. — Ведь правда, любовь скромна, робка, прячется и способна ждать и ждать?

— Вполне согласен с вами, мэм, — ответил Трэдльс.

Мисс Кларисса взглянула на мисс Лавинию и с серьезным видом кивнула головой. Мисс Лавиния также многозначительно посмотрела на сестру и тихонько вздохнула.

— Дорогая Лавиния, вот вам мой флакончик с ароматическими солями, — проговорила мисс Кларисса.

Мисс Лавиния несколько раз понюхала поданный ей флакончик — мы с Трэдльсом при этом смотрели на нее с большим участием — и заговорила томным голосом:

— Мы, мистер Трэдльс, были с сестрой в большой нерешительности, как нам следует отнестись к расположению, или, быть может, только воображаемому расположению, друг к другу таких



юных существ, как ваш друг мистер Копперфильд и наша племянница.

— Дочь нашего брата Фрэнсиса... — опять вмешалась мисс Кларисса. — Если бы жена его при своей жизни считала уместным приглашать к обеду родных своего мужа (хотя, она, конечно, имела право поступать, как ей было угодно), тогда бы мы лучше знали дочь нашего брата Фрэнсиса... Но продолжайте, милая Лавиния.

Мисс Лавиния перевернула мое письмо и принялась смотреть в лорнет на свои аккуратно сделанные у моей подписи заметки.

— Мы считаем благоразумным, мистер Трэдльс, самим проверить эти чувства, — заявила она. — В настоящее время мы ничего не знаем о них и не в состоянии судить, насколько все это действительно так, как говорится. Поэтому мы можем согласиться исполнить только одну просьбу мистера Копперфильда — разрешить ему являться сюда.

— О, никогда, никогда не забуду вашей доброты! — воскликнул я, чувствуя, что с души моей свалился тяжелый камень.

— Но, мистер Трэдльс, — продолжала, мисс Лавиния, — мы предпочитаем, чтобы эти визиты мистера Копперфильда делались, так сказать, лично нам. Мы не можем признать формального обручения между мистером Копперфильдом и нашей племянницей до тех пор, пока не будем иметь случая, наблюдая за ними, увериться в их чувствах.

— Копперфильд! — поворачиваясь ко мне, сказал Трэдльс. — Вы, верно, согласитесь с тем, что ничто не может быть более справедливо и благоразумно, чем это?

— Конечно, ничто! — воскликнул я. — Глубоко сознаю это!

— При таком положении дел, — проговорила мисс Лавиния, снова заглядывая в свои заметки, — мы разрешим мистеру Копперфильду посещать наш дом, взяв с него честное слово в том, что он без нашего ведома никоим образом не будет сношаться с нашей племянницей и вообще не предпримет ничего относительно нее, предварительно не сообщив нам своего плана и не получив нашего одобрения. Мы чрезвычайно серьезно смотрим на эти условия, и они ни под каким видом не могут быть нарушены. Мы просили мистера Копперфильда явиться сегодня в сопровождении друга, пользующегося его доверием, — при этом она слегка наклонила

голову в сторону Трэдльса, на что тот ответил поклоном, — чтобы по этому поводу не могло произойти никаких сомнений и недоразумений. Если мистер Копперфильд или вы, мистер Трэдльс, сколько-нибудь затрудняетесь дать нам сейчас подобное обещание, то в таком случае я прошу повременить и обдумать это.

В полном экстазе я воскликнул:

— Ни одного мгновения не нужно мне на обдумывание! — и тут же самым торжественным образом дал требуемое от меня обещание. Затем, призвав в свидетели Трэдльса, я громогласно заявил, что буду самым подлым человеком в мире, если посмею хоть на волос отступить от своего обещания.

— Пойдите, джентльмены, — сказала мисс Лавиния, поднимая руку. — Раньше, чем мы имели удовольствие видеть вас у себя, мы с сестрой решили, во всяком случае, дать вам четверть часа на размышление. Позвольте нам удалиться.

Напрасно уверял я, что нам нечего обдумывать, они все-таки настояли на своем. И вот обе птички выпорхнули из гостиной, умудрившись при этом не уронить своего достоинства. Как только мы остались один, Трэдльс стал поздравлять меня; я же чувствовал себя на седьмом небе. Ровно через четверть часа тетушки появились с таким же достоинством, как и удалились. Уходя и возвращаясь, они так шелестели своими платьями, словно те были сделаны из осенних листьев.

Я снова повторил им свое обещание выполнить предписанные условия.

— Сестра Кларисса, — обратилась к ней мисс Лавиния, — остальное уж касается вас.

Мисс Кларисса, впервые расправив свои скрещенные руки, взяла мое письмо с заметками и устала в них.

— Мы будем счастливы, — начала она, — по воскресеньям видеть у себя за обедом мистера Копперфильда, если, конечно, это его устраивает. Обедаем мы в три часа.

Я поклонился.

— Два раза в неделю, — продолжала мисс Кларисса, — мы будем счастливы видеть мистера Копперфильда за чаем. Чай у нас в половине седьмого вечера.

Я еще раз поклонился.

— Два раза в неделю, но не больше, — прибавила мисс Кларисса. Опять я поклонился.

— Быть может, мисс Тротвуд, о которой мистер Копперфильд упоминает в своем письме, соблаговолит навестить нас, — продолжала мисс Кларисса. — Раз для блага обеих сторон полезно видеться, мы охотно принимаем визиты и отдаем их. Когда же для блага обеих сторон полезнее не видеться (как это было с братом Фрэнсисом и его семьей), тогда — другое дело.

Я стал уверять их, что бабушка будет польщена и счастлива познакомиться с ними, хотя, признаться, в глубине души я далеко не был убежден в том, что они придутся по вкусу друг другу.

Считая, что тетушки уже сообщили мне все свои условия, я выразил им свою самую горячую благодарность и приложился сначала к руке мисс Клариссы, а затем к руке мисс Лавинии. После этого мисс Лавиния поднялась с места и, извинившись перед Трэдльсом, что на минуту покидает его, попросила меня следовать за собой. Весь дрожа, я пошел за ней в другую комнату. Здесь я увидел мою любимую... Она стояла за дверью, заткнув себе уши и повернув свое личико к стене. Джип, с головой завернутый в полотенце, был засунут в грелку для тарелок.

О, как восхитительна была она в своем черном платье! Как рыдала она сперва, и с каким трудом мне удалось заставить ее выйти из-за двери, и как счастливы были мы, когда наконец она решилась выйти! А какое настало блаженство, когда Джип был вынут из грелки, с него снято было полотенце, он отчихался и мы снова очутились все трое вместе!

— Любимая моя Дора! Теперь уж моя, моя навсегда! — воскликнул я.

— О, прошу, не говорите этого! — взмолилась Дора.

— Да разве вы не навсегда моя?

— Конечно, ваша, — воскликнула Дора, — но мне так страшно!..

— Страшно? Родная моя!

— Да, страшно. Мне он не нравится, — промолвила Дора. — И почему только он не уходит?

— Кто, душа моя?

— Ваш друг, — ответила Дора. — Что ему за дело до всего этого? Он, должно быть, очень глуп.

О, как очаровательна была она в своей детской наивности!

— Любимая моя! — воскликнул я. — Да это лучший из людей на свете!

— А зачем нам лучшие люди на свете? — надув губки, промолвила Дора.

— Дорогая моя, как только вы узнаете моего друга, вы очень его полюбите, — уверял я. — А знаете, скоро моя бабушка навестит вас, и вы, узнав ее, тоже полюбите.

— Нет, нет, пожалуйста, уж не привозите ее! — с испуганным видом, сложив руки, взмолилась Дора и тут же поцеловала меня. — Не привозите! Я знаю, что она гадкая, зловредная старуха. О, пусть она не является сюда, Доди! (Так она искажила имя Давид.)

Я видел, что разубеждать ее в эту минуту бесполезно, и я смеялся, восхищался ею, был очень влюблен и очень счастлив... Дора показала мне новый фокус Джипа: он выучился стоять в углу на задних лапках (признаться, держался он таким образом один миг и после этого падал). Уж, право, не знаю, сколько мог бы я здесь пробыть, совершенно позабыв о Трэдльсе, если б за мной не пришла мисс Лавиния. Тетушка Лавиния полюбила Дору (по ее словам, племянница, как две капли воды, была похожа на нее самое в молодости, но она, видно, порядком изменилась) и обращалась с нею, совсем как с куклой. Я пытался уговорить Дору выйти в гостиную и познакомиться с Трэдльсом, но, чуть я об этом заикнулся, она убежала в свою комнату и заперлась там. Мне ничего больше не оставалось, как одному вернуться к Трэдльсу. Мы простились с тетушками и вышли на улицу.

— Трудно представить себе что-либо удачнее, — заговорил Трэдльс, — и обе старые дамы показались мне премилыми. Знаете, Копперфильд, меня несколько не удивит, если вы женитесь на несколько лет раньше меня.

— Скажите, Трэдльс, играет ли ваша Софи на каком-нибудь музыкальном инструменте? — спросил я, преисполненный гордости.

— Она играет на фортепиано так, что может учить музыке младших сестер, — ответил Трэдльс.

— Поет она? — продолжал я допрашивать.

— Поет иногда баллады, чтобы развеселить своих, когда они бывают не в духе, но вообще пению она никогда не училась.

— А поет она, аккомпанируя себе на гитаре? — еще спросил я.

— О нет! — ответил Трэдльс.

— Рисовать она тоже не умеет?

— Совсем не умеет, — подтвердил Трэдльс.

Я обещал Трэдльсу предоставить ему случай послушать пение Доры и показать, как она рисует цветы. Друг мой заявил, что это доставит ему величайшее удовольствие, и мы, взяв друг друга под руку, в самом восхитительном настроении зашагали домой. Дорогой я завел разговор о Софи, и Трэдльс говорил о ней с такой нежной любовью, что я был восхищен. Мысленно я сравнивал ее с Дорой, сознавая в глубине души все преимущества моей любимой, но в то же время как-то наивно считал, что и Софи очень хороша для Трэдльса.

Понятно, бабушке сейчас же было доложено о благоприятном исходе переговоров и вообще обо всем, что во время этого визита говорилось и делалось. Она была счастлива моим счастьем и обещала побывать у тетюшек Доры в самое ближайшее время. Но вечером, когда я уселся писать Агнессе, бабушка так долго прогуливалась взад и вперед по нашим комнатам, что я начал думать, не собирается ли уж она ходить так до самого утра.

Письмо мое к Агнессе было полно горячей благодарности; я в нем описывал блестящие результаты того шага, который я сделал по ее совету. Она ответила мне на это письмо с обратной почтой. Тон письма ее был веселый; она горячо желала мне счастья и уверяла, что не сомневается в нем. С этого времени я всегда видел ее веселой.

Теперь я был завален работой больше, чем когда-либо. Из-за моих ежедневных хождений в Хайгейт мне было почти невозможно появляться в Путнее, а, конечно, хотелось как можно чаще видеть Дору. Предполагаемые чаепития оказались совершенно неосуществимыми, и я добился от мисс Лавинии позволения проводить у них по субботам послеобеденное время, причем это не должно было отзываться на моих воскресных посещениях. Таким образом, конец недели был для меня блаженным временем, и всю остальную неделю я жил мыслью об этих двух днях.

У меня удивительно полегчало на душе, когда я убедился, что Дорины тетюшки и моя бабушка, в общем, поладили гораздо лучше, чем я мог ожидать этого. Бабушка в ближайшие же дни после наших переговоров с тетюшками сделала им визит, и те очень скоро ей отдали

его, соблюдая при этом все правила светского тона. Они и потом продолжали бывать друг у друга, уже с меньшими церемониями, обыкновенно раз в три-четыре недели. Правда, тетушек Доры приводило в ужас пренебрежение бабушки ко всем перевозочным средствам, ее появление пешком в неурочное, с точки зрения светских приличий, время, например тотчас же после завтрака или перед самым вечерним чаем; шокировало их также то, что бабушка надевала свою шляпку, не сообразуясь со светскими предрассудками, а так, как ей это было удобнее. Но вскоре тетушки пришли к такому заключению, что бабушка, правда, особа эксцентричная, но чрезвычайно умная. И хотя порой бабушкины еретические выпады против светских условностей и коробили тетушек Спенлоу, но бабушка слишком любила меня, чтобы не поступиться для общего согласия кое-какими странностями.

Один только Джип из всего нашего маленького кружка категорически отказывался применяться к обстоятельствам: стоило ему увидеть бабушку, как он, оскалив зубы, с ворчаньем забивался под какой-нибудь стул; а там время от времени начинал жалобно выть, как бы показывая, что присутствие бабушки для него невыносимо. Чего только не перепробовали с избалованной собачонкой; ее и ласкали, и бранили, и шлепали, привозили к нам на Букингамскую улицу (где она, к ужасу всех присутствующих, тотчас же набрасывалась на обеих кошек), но ничто не могло примирить ее с бабушкой. И вот, каждый раз, как докладывали о бабушкином появлении, Дора принуждена была, обвязав голову Джипа полотенцем сажать его в грелку для тарелок.

Среди этого общего благополучия меня смущало одно: все окружающие словно сговорились смотреть на Дору, как на красивую игрушку. Бабушка, с которой Дора мало-помалу сближалась, звала ее «Цветочком». Мисс Лавиния находила огромное удовольствие в том, чтобы ухаживать за Дорой, завивать её локоны, наряжать ее, вообще возиться с ней, как с избалованным ребенком. Мисс Кларисса, по своему обыкновению, шла по стопам сестрицы. Мне казалось это очень странным, но все они вели себя с Дорой вроде того, как та вела себя с Джипом. Я решил по этому поводу поговорить с Дорой. И однажды во время прогулки (мисс Лавиния через некоторое время сооблаговостила разрешить нам гулять вдвоем) я сказал Доре, что мне

хотелось бы, чтобы она заставила окружающих относиться к себе иначе.

— Ведь вы, дорогая моя, уже не ребенок, — заметил я.

— Ну вот! Вы уже и сердитесь!

— Я сержусь? Что вы, любимая моя!

— Они, право, так добры ко мне, — проговорила Дора, — и я очень счастлива.

— Прекрасно, душа моя, но вы могли бы быть так же счастливы и тогда, когда с вами обходились бы более разумно.

Дора посмотрела на меня с упреком (и как восхитительно посмотрела!), а потом начала плакать и сказала, что если она мне не нравится, то почему же я так добивался стать ее женихом и вообще почему я не ухожу, раз не выношу ее. Что же мне после этого оставалось делать, как не осушить поцелуями ее слезы и не начать уверять, что я ее обожаю.

— У меня, Доди, очень нежное, любящее сердце, — промолвила Дора, — и вы не должны быть жестоки со мной.

— Я? Жесток? Драгоценная моя! Да разве я могу, да разве я в силах быть жестоким с вами!

— Ну, тогда не браните меня, — сказала Дора, надув губки бутончиком, — и я буду хорошей.

Я пришел в восторг, когда Дора сейчас же после этого сама попросила меня достать ей ту поваренную книгу, о которой я раньше говорил ей, и показать, как вести запись расходов по хозяйству, что я также когда-то обещал ей.

В первый же мой приход я принес поваренную книгу, — предварительно мне ее красиво переплели, чтобы придать ей более привлекательный вид. Во время прогулки с Дорой по лугам я показал ей бабушкину старую расходную книгу и по ней объяснил, как вести счета. Я тут же дал ей альбом из тонких аспидных дощечек и хорошенький пенал с карандашами и грифелями, чтобы она могла упражняться в домашнем счетоводстве.

Но поваренная книга вызывала у Доры головную боль, а цифры — слезы. «Они не хотят складываться», уверяла она. И милая девочка стерла цифры, а в новом альбомчике принялась рисовать букетики и меня с Джипом.

Потом я пытался было во время наших субботних прогулок в шуточной форме преподать Доре способы ведения домашнего хозяйства. Так, иногда, проходя мимо лавки мясника, я, бывало, скажу ей:

— Ну, представьте, детка, что мы уже поженились и вам надо купить к обеду баранью лопатку. Как бы вы за это взялись?

Личико моей хорошенькой Доры немедленно омрачалось, и она, сложив губки бутончиком, показывала, что предпочитает закрыть мне рот поцелуем.

— Ну, так как же, моя дорогая, стали бы вы покупать баранью лопатку? — допрашивал я, если бывал в особенно непреклонном настроении.

Подумав немного, Дора с торжествующим видом отвечала:

— Но мясник же будет знать, что надо дать. А мне зачем знать это? Ах вы, глупыш этакий!

В другой раз, заглянув в поваренную книгу, я спросил Дору, как поступила бы она, если б мы были уже женаты и я попросил ее приготовить вкусное тушеное мясо по-ирландски. На это она ответила, что приказала бы служанке приготовить это блюдо, и вслед за этим, схватив мою руку своими обеими ручонками, так очаровательно засмеялась, что показалась мне более обворожительной, чем когда-либо...

И вот главным назначением поваренной книги стало изображать в углу пьедестал для Джипа, когда песик учился стоять на задних лапках. Но Дора так сияла, когда добилась того, что ее любимчик стал служить, держа в зубах пенал с карандашами, что я был вполне вознагражден за покупку поваренной книги.

И мы снова прибегали к футляру для гитары, снова пелись баллады на мотив «тра-ла-ла», снова рисовались цветы, и мы запасались счастьем на всю неделю. Иногда мне хотелось набраться храбрости и намекнуть мисс Лавинии, что она обращается с моей любимой, как с куколкой, но вдруг мне казалось, что я сам начинаю впадать в эту же погрешность, впрочем, не так уж часто.



## *Глава XIII*

### *ЗЛОЕ ДЕЛО*

Агнесса с отцом приехали к Стронгам погостить у них недели две. Мистер Уикфильд был давнишним другом доктора, и старый ученый, желая ему добра, хотел серьезно поговорить с ним. Агнесса во время своего последнего пребывания в Лондоне поделилась кое-чем с доктором Стронгом, и приезд Уикфильдов был следствием этого. Я не очень был удивлен, услышав, что Агнесса обещала найти по соседству квартиру для миссис Гипп. По словам маменьки Уриа, ей из-за ревматизма необходимо было переменить место, и она была в восторге очутиться при этом в таком приятном обществе. Не удивило меня и то, что на следующий день Уриа, как подобает почтительному сынку, сам привез свою достойную маменьку, желая лично устроить ее на новом месте.

— Видите ли, мистер Копперфильд, — начал он, увязавшись за мной, когда я вышел пройтись по докторскому саду, — влюбленные всегда немного ревнивы и жаждут не спускать глаз со своей любимой.

— Кто же теперь возбуждает вашу ревность? — спросил я.

— Благодаря вам, мистер Копперфильд, в данное время я ни к кому в частности не чувствую ревности, во всяком случае, не к мужчине.

— Не хотите ли вы этим сказать, что ревнуете к женщине?

Он искоса посмотрел на меня своими зловещими красными глазами и засмеялся.

— Знаете, мистер Копперфильд, — проговорил он, — вы так, умеете выпытывать, что словно пробочником меня откупориваете. И вот откровенно скажу вам, что я никогда вообще не пользовался симпатией у дам, а в частности у миссис Стронг.

Его пытливо устремленные на меня подлые, хитрые глаза в этот момент как-то позеленели.

— Что вы под этим подразумеваете? — спросил я.

— Да то, что хотя я и адвокат, но в данном случае разумею именно то, что говорю, — ответил он с сухим смешком.

— А что означает ваш взгляд? — снова спросил я со спокойным видом.

— Мой взгляд? Ну, Копперфильд, это уже похоже на допрос. Что хочу я сказать своим взглядом?

— Да, — повторил я, — именно вашим взглядом.

Видимо, наш разговор очень забавлял его, и он расхохотался так, как только был способен хохотать. Потом, поглаживая себе тихонько подбородок и уставившись в землю, он очень медленно начал:

— Когда я был скромным конторщиком, миссис Стронг еще тогда с презрением смотрела на меня. Она всегда возилась с Агнессой, дружески относилась к вам, мистер Копперфильд, а я был слишком ничтожен для нее, и она меня не замечала.

— Ну, хорошо, — сказал я, — предположим, что это так.

— Был я ничтожен и для «него», — с задумчивым видом, все поглаживая свой подбородок, продолжал он.

— Да неужели вы так мало знаете доктора Стронга, что можете вообразить, будто он, не имея вас перед глазами, способен помнить о вашем существовании?

Уриа опять искоса посмотрел на меня и, как-то вытянув подбородок, чтобы удобнее было его гладить, ответил:

— Ах, господи! Я вовсе не доктора, беднягу, имел в виду. Конечно, нет! Я говорю о мистере Мэлдоне.

У меня сердце так и замерло. Я вспомнил все свои сомнения, страхи и вмиг понял, что тайна, проникнуть в которую я не смог, счастье и спокойствие доктора Стронга — в руках этого кривляки-негодяя!

— Каждый раз, приходя в контору, он выпроваживал меня, — продолжал Уриа. — И это делал ваш светский молодой человек! Хорошо, нечего сказать! Я, конечно, был и теперь продолжаю быть человеком смиренным, но мне и тогда это не нравилось и теперь не нравится.

Тут Уриа перестал поглаживать себе подбородок и так втянул обе щеки, что они, казалось, совсем сошлись внутри. При этом он то и дело искоса поглядывал на меня.

— Что и говорить! Она одна из ваших дам-красавиц, — снова начал он, перестав втягивать щеки, — и я понимаю, что она не может дружески относиться к такому человеку, как я. Она именно та особа,

которая могла бы подыскать моей Агнессе женишка покрупнее. И вот, мистер Копперфильд, хотя я и не во вкусе дам, но зоркие глаза у меня давным-давно имеются. Да вообще мы, люди смиренные, наиболее умеем пользоваться своим зрением.

Я старался сделать вид, что ничего не понимаю и совершенно спокоен, но по его лицу я видел, что мне это не удастся.

— Теперь, мистер Копперфильд, я не позволю себя втоптать в грязь, — продолжал он со злобным торжеством, поднимая ту часть своей физиономии, где росли бы его рыжие брови, если бы у него они имелись, — и я сделаю все, чтобы положить конец дружбе между моей Агнессой и этой дамой. Я против такой дружбы! Не хочу скрывать от вас, что характер у меня довольно-таки злобный, и я отброшу всякого, кто стоит у меня поперек дороги. Зная о строящихся против меня кознях, я, конечно, не допущу их.

— Вы сами всегда строите козни и по себе судите о других, — заметил я.

— Быть может, и так, мистер Копперфильд, — ответил он, — но у меня ведь есть для этого «побудительная причина», как любит говорить мой компаньон, и я иду к «намеченной цели», пуская в ход, так сказать, и зубы и когти. Не хочу я, чтобы меня, скромного человека, слишком одурачили. Не хочу, чтобы становились мне поперек дороги! И вы увидите, мистер Копперфильд, я их выставлю!..

— Я не понимаю вас, — сказал я.

— Не понимаете? — повторил он, корчась по-змеиному. — Меня это удивляет, мистер Копперфильд, — обыкновенно вы так сообразительны. Ну что ж! В другой раз постараюсь говорить пояснее. А поглядите-ка, сэръ, этот верховой, что звонит у ворот, не мистер ли Мэлдон?

— Похож на него, — ответил я как только мог спокойнее.

Уриа остановился, как вкопанный, засунул свои ручищи между костлявыми коленями и, согнувшись вдвое, стал смеяться. Но смех этот был безмолвен, ни один звук не вырвался из его рта. Мне так было отвратительно его мерзкое поведение, особенно последняя выходка, что я бесцеремонно повернул к нему спину и оставил его посреди сада скорченным, как воронье пугало без подпорки.

Хорошо помню, что не в этот вечер, а в следующий, в субботу, я повез Агнессу познакомиться с Дорой. Я заранее сговорился об этом с

мисс Лавинией, и нас с Агнессой ждали к чаю.

Я был и горд и озабочен: гордился своей дорогой маленькой невестой и в то же время боялся, вдруг она не понравится Агнессе. Ехали мы до Путнея порознь — Агнесса внутри дилижанса, а я на империале. Всю дорогу я рисовал себе Дору в самые выгодные для нее моменты и никак не мог решить, в каком виде ей лучше всего было бы показаться Агнессе. Конечно, меня несколько не смущала мысль, что Дору можно найти некрасивой, но случилось так, что никогда не видал я ее более красивой, чем в этот вечер. Доры не было в гостиной, когда я представлял Агнессу ее маленьким тетушкам, — она убежала смутившись. Но я знал теперь, где ее искать, и действительно нашел в соседней комнате. Как и тогда, она, заткнув себе уши, стояла за той же старой мрачной дверью. Сначала она вовсе не хотела выходить, затем стала молить, чтоб я дал ей сроку ровно пять минут по моим часам. Когда же наконец она просунула свою ручонку под мою руку, чтобы я отвел ее в гостиную, личико ее было, как маков цвет, и никогда она не была прелестнее. Войдя в комнату, она сразу побледнела, но от этого стала еще красивее.

Дора боялась Агнессы. По ее словам, она была уверена, что та «слишком умна». Но, увидев, как Агнесса глядит на нее своими умными, серьезными и вместе с тем такими добрыми и веселыми глазами, она от радостного изумления вскрикнула, обняла ее, прижалась своей детской щечкой к ее щеке.

Никогда я не был так счастлив, никогда так не радовался, как в этот вечер, видя, что они обе сидят рядышком и моя любимая девочка так непринужденно смотрит в приветливое лицо Агнессы, а та не сводит с нее своих чудных, полных нежности глаз. Мисс Лавиния и мисс Кларисса каждая по-своему радовались вместе со мной. Кажется, никогда не бывало на свете более приятного чаепития. Председательствовала, то есть разливала чай, мисс Кларисса. Я резал и раздавал сладкий пудинг с коринкой (маленькие тетушки, подобно птичкам, любили клевать сладкую коринку). У мисс Лавинии был благодушно-покровительственный вид, словно наше юное счастье с Дорой было делом исключительно ее рук. И все мы были совершенно довольны и собой и друг другом.

Милая веселость Агнессы завоевала ей все сердца. Казалось, она и появилась, чтобы дополнить наш счастливый кружок. С каким

спокойным вниманием относилась она ко всему, что интересовало Дору. Как она сейчас же завоевала расположение Джипа! Как ласково уговаривала она Дору сесть по обыкновению возле меня, когда та, конфузясь, упиралась. Как скромно и мило сумела она вызвать Дору на откровенность, и моя девочка, раскрасневшаяся от смущения, поведала ей на ушко все свои тайны.

— Я так рада, — воскликнула после чая Дора, — что я вам понравилась! Совсем не ожидала этого! А мне особенно нужно, чтобы ко мне дружески относились теперь, когда уехала Джулия Мильс.

А вот я и забыл упомянуть об этом. Мисс Мильс отплыла в Индию. Мы с Дорой ездили в Грэвсенд проводить ее. На огромном судне Ост-Индской компании нас угощали за завтраком засахаренным имбирем, гуавами <sup>[11]</sup> и тому подобными прелестями. Простившись, мы оставили мисс Мильс в слезах, сидящей на складном стуле на палубе корабля. Подмышкой у нее была толстая тетрадь для дневника, куда она собиралась вносить ежедневно свои глубокие мысли, навеянные ей созерцанием океана. Конечно, этот дневник должен был храниться под замком.

Агнесса высказала опасение, что, наверное, я изображал ее в не совсем привлекательных красках, но Дора сейчас же опровергла это.

— Нет, нет! — воскликнула она, встряхивая (для меня, конечно) своими локонами. — Он так расхваливал вас, так дорожит вашим мнением, что я просто боялась, какой вы меня найдете.

— Как бы хорошо ни было мое мнение, оно нисколько не может усилить его любви к «кому-то» — улыбаясь, проговорила Агнесса, — так что оно не имеет ровно никакого значения.

— Но все-таки, пожалуйста, будьте обо мне неплохого мнения, если только можете, — своим ласковым голосом попросила Дора.

Мы все тут принялись подшучивать над тем, как Доре хочется нравиться. А она, чтобы отомстить мне, сказала, что я простофиля и она меня ни капли не любит. Мы шутили, говорили глупости, и вечер промелькнул так быстро, что мы соеем и не заменили, как подошло время возвращаться в Лондон. С минуты на минуту за нами должен был заехать дилижанс. Я стоял один у камина, когда Дора потихоньку подкралась ко мне, чтобы, как всегда перед моим уходом, поцеловать меня.

— Как вы думаете, Доди, — промолвила она, и ее ясные глазки сняли особенно ярко, а правая ручка машинально крутила одну из пуговиц моего сюртука, — если бы я давным-давно подружилась с Агнессой, была бы я умнее?

— Любимая моя! Какие вы говорите глупости! — воскликнул я.

— Правда, глупости? — проговорила Дора, не глядя на меня. — Вы уверены в этом?

— Конечно, уверен!

— Я забыла, дорогой мой, гадкий мальчик, — продолжала Дора, все так же крутя мою пуговицу, — какой родственницей вам приходится Агнесса?

— Родства между нами никакого, — ответил я, — но мы росли с ней вместе, как брат и сестра.

— Удивляюсь, как вы могли влюбиться в меня, — сказала Дора, принявшись крутить другую пуговицу моего сюртука.

— Да видеть вас, Дора, и не влюбиться было невозможно.

— А если бы вы никогда меня не встретили? — спросила Дора, начиная вертеть и третью пуговицу.

— А если бы мы с вами вообще не родились? — весело отозвался я.

Я спрашивал себя, о чем думает она в то время, как я люблю ее нежной ручкой, перебирающей пуговицы моего сюртука, ее локонами, ее опущенными ресницами. Наконец Дора подняла на меня свои глазки и, став на цыпочки, с видом более задумчивым, чем обыкновенно, не раз, а целых три раза поцеловала меня и исчезла.

Через пять минут все снова собрались в гостиной, и от Дориной задумчивости не осталось и следа. Ее обычная веселость вернулась к ней, и ей пришло в голову до отхода дилижанса показать нам все усвоенные Джипом штуки. На это ушло немало времени (не потому, что штуки эти были разнообразными, а главным образом из-за его упрямства), и представление еще не было закончено, когда у дверей остановился дилижанс. Агнесса наспех, но очень нежно простилась с Дорой.

Они условились переписываться, причем Дора просила Агнессу не обращать внимания на то, что письма ее будут глупыми.

И они во второй раз простились у дверей дилижанса и в третий раз, когда Дора, вопреки предостережениям мисс Лавинии, подбежала

к окошку дилижанса напомнить, чтобы Агнесса непременно писала ей. А по моему адресу она тут еще раз тряхнула кудрями.

Этот дилижанс должен был высадить нас близ Ковентгарденского парка, где нам предстояло пересест в хайгейтский дилижанс. Я с нетерпением ждал момента, когда мы пойдем с Агнессой от одной остановки дилижанса до другой и она сможет похвалить мне Дору. И что это были за похвалы! С какой любовью, с каким жаром внушала она мне, как должен я заботиться о маленьком наивном, прелестном существе, сердечко которого я завоевал! Как серьезно и вместе с тем скромна говорила она мне о том, какой долг лежит на мне по отношению к этому ребенку, круглой сироте!

Никогда, никогда не любил я Дору так глубоко и так верно, как в эту ночь! Когда мы снова высадились из дилижанса и пошли при свете звезд по тихой дороге к дому доктора, я сказал об этом Агнессе и прибавил, что это дело ее рук.

— Когда вы сидели подле Доры, мне казалось, и теперь кажется, что вы не только мой, но и ее ангел-хранитель, — сказал я.

— Ну, положим, до ангела мне далеко, а друг я верный, — проговорила она таким веселым голосом, что я не мог не обрадоваться и не сказать ей:

— Знаете, Агнесса, мне сегодня казалось, что к вам вернулась ваша спокойная веселость, свойственная вам одной, и у меня проснулась надежда, что вам лучше стало жить дома.

— Лично я стала счастливее, — ответила она, — у меня на душе весело и легко.

Я взглянул на безмятежное лицо, взиравшее на небо, и подумал, что сияние звезд делает его еще более благородным.

— Дома у нас все идет по-старому, — после некоторого молчания проговорила Агнесса.

— Значит, ничего нового? — сказал я. — Не хотел бы я огорчать вас, но не могу удержаться, чтобы не спросить относительно того, о чем мы говорили с вами, когда виделись в последний раз в Кентербери.

— Нет ничего нового, — ответила она.

— А я с тех пор столько думал обо всем этом! — сказал я.

— Думайте меньше об этом. Помните, что я верю в победу чистой любви и правды. Не беспокойтесь обо мне, Тротвуд, —

прибавила она, помолчав немного, — я никогда не сделаю того шага, который вас так страшит.

Хотя, мне кажется, в спокойном состоянии я никогда, в сущности, не боялся того шага, на который она намекнула, но тем не менее я почувствовал несказанное облегчение, услышав эти слова из ее правдивых уст, и сейчас же с жаром сказал ей об этом.

— Пожалуй, пока вы гостите здесь, нам больше не придется говорить с вами, — заметил я. — Когда вы, дорогая Агнесса, снова предполагаете быть в Лондоне?

— Должно быть, не скоро, — ответила она. — Мне кажется, что ради папы мне лучше сидеть дома. Вряд ли в ближайшее время придется нам часто встречаться. Но мы часто будем переписываться с Дорой, и таким образом и вы и я — мы будем знать друг о друге.

В это время мы уже вошли во дворик докторской дачи. Было поздно, но окно комнаты миссис Стронг еще светило. Агнесса, указав на то, что приятельница еще не спит, стала прощаться.

— Не мучьте себя нашими несчастьями и тревогами, — сказала она, пожимая мне руку. — Ничто не может так осчастливить меня, как ваше счастье. Если же мне когда-нибудь понадобится ваша помощь, будьте уверены, я обращусь к вам. Да благословит вас господь!

На лице ее, когда она говорила это, сияла такая улыбка, а голос так весело звучал, что мне показалось, будто я все еще вижу и слышу подле нее мою маленькую Дору.

Агнесса ушла. Сердце мое было переполнено любовью и благодарностью. Я постоял некоторое время у крыльца, глядя на звезды, а затем медленно направился к выходу. Я должен был ночевать в приличном соседнем трактире, где заранее снял себе комнату, и уже собирался выйти из ворот, когда, случайно повернув голову, увидел свет в кабинете доктора. Я почувствовал некоторое угрызение совести, представляя себе, что он один, без моей помощи, работает над своим словарем. Желая убедиться в этом и, во всяком случае, пожелать ему покойной ночи, я воротился, тихонько прошел через переднюю и, осторожно открыв дверь, вошел в кабинет. Первым, кого я, к удивлению, увидел при слабом свете лампы, затемненной абажуром, был Уриа. Он, стоя близко от лампы, держал одну руку, напоминающую скелета, у рта, а другой опирался о письменный стол.



Доктор сидел в своем рабочем кресле, закрыв лицо руками. Мистер Уикфильд, очень встревоженный и опечаленный, нагнулся к доктору и как-то нерешительно поглаживал его руку.

В первую минуту у меня мелькнула мысль, что доктор нездоров. Под этим впечатлением я сделал шаг вперед, но, встретившись глазами с Уриа, вдруг понял, в чем тут дело. Я хотел сейчас же уйти, но доктор жестом дал мне понять, чтобы я остался.

— Во всяком случае, нам нужно закрыть дверь, — проговорил Уриа, изгибаясь своим неуклюжим телом. — Совсем нет надобности, чтобы это стало достоянием всего города.

С этими словами он на цыпочках подошел к двери, которую я оставил открытой, и осторожно закрыл ее. Вернувшись, он стал у стола в прежней позе. В голосе Уриа и манере себя держать была назойливая услужливость, в которой проглядывало сострадание, и мне лично это казалось более несносным, чем всякое другое проявление чувств с его стороны.

— Я счел своим долгом, мистер Копперфильд, — начал Уриа, — указать доктору Стронгу на то, о чем мы с вами уже беседовали. Впрочем, вы, помнится, тогда не совсем меня поняли.

Я только посмотрел на него, но ничего не ответил и, подойдя к моему сланному старому учителю, сказал ему несколько утешительных, подбадривающих слов. Доктор положил свою руку мне на плечо, подобно тому, как он делал это, когда я был маленьким мальчуганом, но седой своей головы так и не поднял.

— Раз вы меня тогда не поняли, мистер Копперфильд, — снова заговорил Уриа тем же назойливым тоном, — а мы Здесь свои люди, то я хочу сообщить вам, что позволил себе обратить внимание доктора Стронга на поведение миссис Стронг. Поверьте, Копперфильд, мне совсем не понутру впутываться в такую неприятную историю, но что делать! Все мы в жизни бываем замешаны в то, во что совсем не желали бы вмешиваться... Так вот о чем я говорил вам, сэр, когда вы не изволили понять меня.

Припоминая теперь его наглый взгляд, я удивляюсь, как не схватил я этого мерзавца за горло и не попытался придушить его.

— Вероятно, я тогда не особенно ясно выразился, — продолжал Уриа, — а вы промолчали. Понятно, мы оба с вами не были склонны углубляться в такие вопросы. Но в конце концов я решил действовать

начистоту и все рассказать доктору Стронгу... Вы, кажется, изволили что-то сказать, сэр?

Эта последняя фраза относилась к доктору, у которого вырвался стон, и стон этот, я думаю, способен был тронуть каждого, кроме Уриа. На него же это не произвело ни малейшего впечатления.

— Итак, я обратил внимание доктора Стронга, — продолжал он, — на то, что всем бросается в глаза: до чего нежно относятся друг к другу мистер Мэлдон и очаровательная, прелестная супруга доктора Стронга. Действительно, настало время, когда надо было сказать доктору Стронгу то, что всякому было ясно, как божий день, еще до отъезда в Индию мистера Мэлдона. Также нельзя было умолчать и о том, что вернулся мистер Мэлдон не из-за чего иного, как из-за этой нежности, и поэтому он, можно сказать, не выходит отсюда. Как раз, когда вы вошли, мистер Копперфильд, я убеждал моего компаньона, — тут он повернулся к мистеру Уикфильду, — сказать по чести и совести доктору Стронгу, какого мнения на этот счет был он с давних пор... Ну, мистер Уикфильд! Будьте добры высказаться! Поведайте нам, сэр, какого мнения вы придерживаетесь — моего или иного? Да говорите же, компаньон!

— Ради бога, дорогой доктор, — начал мистер Уикфильд, снова нерешительно дотрагиваясь до руки старика, — не придавайте слишком большого значения тем подозрениям, какие могли у меня возникнуть.

— Вот видите! — воскликнул Уриа, качая головой, — Какое печальное подтверждение моих слов! Не правда ли? Ведь говорит это такой старый друг!.. Боже мой! Копперфильд! Ведь я был еще только писцом в его конторе, когда не раз, а двадцать раз видел, как его выводило из себя то, что мисс Агнесса причастна к делам, от которых ей следовало бы быть подальше, — это было так естественно со стороны отца и никак не может быть поставлено ему в вину.

— Дорогой Стронг, — проговорил мистер Уикфильд дрожащим голосом, — добрейший мой друг, вам известно, что у меня всегда была слабость искать у каждого человека побудительные причины его действий и прилагать ко всем одно и то же мерило. Быть может, из-за этой самой слабости и возникли мои сомнения.

— Так, значит, сомнения были у вас, Уикфильд? — проговорил доктор, не поднимая головы. — Были сомнения?

— Говорите же, компаньон! — понукал Уриа.

— Одно время такие подозрения действительно у меня были, — сказал мистер Уикфильд. — Я думал, да простит меня бог, что и у вас они имеются.

— Нет, нет, нет! — вырвалось с глубокой душевной мукой у доктора.

— Было время, когда мне казалось, — продолжал мистер Уикфильд, — что вы хотите услатить Мэлдона за границу именно с целью удалить его навсегда из вашего дома.

— Нет, нет, нет! — возразил доктор. — Только чтобы сделать удовольствие Анни, я старался устроить судьбу ее товарища детства. Тут ничего не было другого.

— Конечно, раз вы говорите, я не могу в этом сомневаться, но я думал, — умоляю не забывать моей слабости судить обо всем со своей, предвзятой точки зрения, — я думал, что при такой разнице в годах...

— Видите, мистер Копперфильд, вот как надо смотреть на вещи! — воскликнул Уриа с лицемерным и оскорбительным состраданием.

— Такая юная и очаровательная девушка, — продолжал мистер Уикфильд, — несмотря на все уважение, питаемое ею к вам, должна была руководствоваться при выходе замуж только житейскими соображениями. Я не принял во внимание бесчисленного количества всяких добрых чувств, какие могли играть тут роль. Ради бога, не забывайте об этом.

— Как он деликатно все это излагает! — кивая головой, вставил Уриа.

— Повторяю, я мог многое упустить из-за того, что смотрел на нее с одной только точки зрения, — продолжал мистер Уикфильд. — Заклинаю вас, мой старый друг, всем, что для вас дорого, помнить об этом! Но теперь я должен сознаться, раз уж нет другого исхода...

— Конечно, нет, если дело дошло до этого, — подхватил Уриа.

— ...должен сознаться, что подозревал ее, — проговорил мистер Уикфильд, беспомощно и растерянно глядя на своего компаньона, — подозревал и считал, что она нарушает свой долг по отношению к вам, и уж если говорить начистоту, то, признаюсь, иногда мне бывало неприятно, что моя Агнесса в таких с ней дружеских отношениях и

может видеть то, что я сам вижу. Никогда никому я об этом не заикался. Никогда не думал, что это может быть известно кому-нибудь другому. И хотя сейчас вам ужасно это слышать, — прибавил мистер Уикфильд с убитым видом, — но если бы вы знали, как ужасно мне это говорить, то вы пожалели бы меня!

Добрейший доктор протянул мистеру Уикфильду руку, и тот держал ее некоторое время, поникнув головой.

— Несомненно, — заговорил Уриа, извиваясь, как угорь, — касаться такого дела чрезвычайно неприятно для каждого из нас, но раз уж мы зашли так далеко, то я позволю себе указать на то, что и Копперфильд замечал это.

Я повернулся к нему и спросил, как смеет он ссылаться на меня.

— О! Это очень похвально с вашей стороны, Копперфильд, — ответил Уриа, продолжая извиваться, — и мы все знаем, какой у вас чудесный характер, но, сознайтесь, вы очень хорошо меня поняли, когда я тогда вечером говорил об этом. Да, Копперфильд, вы прекрасно поняли, не отрицайте этого! Конечно, вы делаете это с наилучшими намерениями, но все-таки лучше вам не делать этого, Копперфильд!

На мгновение кроткие глаза добрейшего доктора остановились на мне, и я почувствовал, что он не мог не прочесть на моем лице былых воспоминаний и сомнений, — они слишком ясно были написаны на нем. Но не стоило жалеть об этом: тут ничего нельзя было исправить, нельзя было отказаться от того, что он прочел на моем лице.

Снова водворилось молчание. Наконец доктор встал, два-три раза прошелся по комнате, затем вернулся к тому месту, где стояло его кресло, прислонился к спинке и, поднося время от времени носовой платок к влажным глазам, стал говорить с таким безыскусственным благородством, которое, по-моему, делало ему больше чести, чем если бы он вздумал скрывать свою скорбь.

— Я виноват, — начал он, — думаю, что даже очень виноват. Я подверг любимое мной существо испытаниям и подозрениям, которым без меня оно никогда не подвергалось бы.

Уриа засопел, вероятно желая выразить этим сочувствие.

— Если бы не я, никогда Анни не стала бы предметом таких подозрений, — продолжал доктор. — Джентльмены, вы знаете, я стар,

а сейчас чувствую, что мне не для чего больше жить. Но головой ручаюсь, да, головой, за честь и верность дорогой мне женщины.

Не думаю, чтобы среди лучших представителей рыцарства и самых идеальных романтических типов, когда-либо изображенных художниками, нашелся такой, который мог бы сказать это с более трогательным достоинством, чем сказал прямодушный старый доктор.

— Но, — продолжал он, — если прежде у меня были какие-нибудь иллюзии на этот счет, то в настоящее время, поразмыслив, я не могу отрицать, что вовлек эту женщину в несчастный для нее брак. Я человек, совершенно не привыкший наблюдать, и потому я более склонен доверять наблюдениям людей разного возраста и разного положения, чем своим собственным.

Я и раньше упоминал, что меня всегда восхищали его кротость и доброта к молодой жене, но теперь эта благородная нежность, с которой он говорил о ней, то почти благоговение, с которым он отвергал малейшее сомнение в ее невинности, еще гораздо больше возвысили его в моих глазах.

— Я женился на этой молодой леди, когда она была еще очень юна, — рассказывал доктор. — Я взял ее, когда характер ее только складывался. Влиять на образование этого характера было для меня счастьем. Я хорошо знал ее отца, хорошо знал ее. Видя, какое это прекрасное, одаренное существо, я учил ее, чему только мог. Теперь я боюсь, что поступил очень дурно, как бы злоупотребив (неумышленно, конечно,) ее благодарностью в привязанностью ко мне, и в душе горячо прошу у нее прощения!

Он прошелся по комнате и стал на прежнее место. Взволнованный он дрожащей рукой оперся о кресло и глухим голосом снова, заговорил:

— Я думал, что буду служить для нее как бы прибежищем среди опасностей и превратностей жизни. Я уверил себя, что, несмотря на разницу в годах, она будет жить со мной спокойно и счастливо. Я не закрывал глаз на то, что наступит момент, когда я ее покину еще молодой и красивой, но уже созревшей! Поверьте, джентльмены, я думал об этом.

Благородство и великодушие преобразили невзрачную фигуру старика, и каждое слово его дышало силой.

— Жизнь моя с этой молодой леди была очень счастлива. До самого сегодняшнего вечера я не переставал благословлять тот день, в который я совершил — теперь вижу — такую великую к ней несправедливость.

Тут голос его стал слабеть и совсем замолк. Через несколько минут он снова нашел в себе силы продолжать:

— Пробудившись теперь от своих грез, — я ведь всю жизнь предавался им то в одной, то в другой области, — я вижу, как естественно ей с некоторым сожалением думать о своем сверстнике и товарище детства. Боюсь, весьма правдоподобно, что она порой, глядя на него, с невинным вздохом рисует себе, как все могло бы быть иначе, не будь меня в ее жизни. За последний, тяжело пережитый мною час многое, что я видел раньше, но на что не обращал внимания, представилось мне в новом свете. Тем не менее, джентльмены, помните, что никогда не только сомнение, но даже намек на него не должен коснуться имени дорогой мне женщины.

На короткое время глаза его загорелись и голос окреп. Помолчав немного, он снова начал:

— Теперь мне остается одно — переносить покорно, насколько я в силах, сознание причиненного мною зла. Не мне надо упрекать ее, а ей — меня. Отныне мой долг — спасти ее от жестоких подозрений, возможных, видимо, даже у моих друзей. Чем уединеннее мы будем жить, тем легче мне будет выполнить этот долг. А когда настанет время мне умереть, — дай господи, чтобы это было только скорее! — и этим освободить ее от пут, я с безграничным доверием и любовью взгляну на ее благородное лицо и навеки закрою глаза с радостной мыслью о том, что ее ожидают впереди более светлые, более счастливые дни...

Я не видел доктора из-за слез, до того я был растроган его добротой, простотой, жаром, с каким говорил он. Направляясь к двери, старик прибавил:

— Джентльмены, я открыл вам свое сердце. Надеюсь, что вы с уважением отнесетесь к моим чувствам. Мы никогда больше не будем касаться того, о чем говорили сегодня. А теперь, Уикфильд, дайте мне опереться на руку старого друга и проводите меня наверх.

Мистер Уикфильд поспешил исполнить его просьбу, и оба они тихо вышли, не проронив ни слова. Уриа проводил их глазами.

— Ну, мистер Копперфильд, — сказал Уриа, с добродушным видом поворачиваясь ко мне, — дело приняло несколько иной оборот, чем можно было ожидать, из-за того, что старый ученый (а какой это прекрасный человек!) слеп, как крот. Но все равно: теперь, думается мне, семейка эта уже не страшна.

Достаточно было мне услышать самый звук его голоса, чтобы притти в такую ярость, в какую я никогда не приходил ни до этого, ни после.

— Мерзавец вы этакий! — закричал я. — Как посмели вы впутывать меня в свои низкие интриги? Как смеете вы, лживый подлец, и теперь говорить со мной так, как будто я с вами заодно?

Мы стояли друг против друга. И я ясно читал на его физиономии скрытое торжество, что, впрочем, не было для меня неожиданностью. Я прекрасно знал, что он нарочно сделал вид, будто я в курсе его интриг, нарочно завлек меня в эту западню, чтобы поиздеваться надо мной. Но это уж было выше моих сил. Его тощая щека так заманчиво торчала передо мной, что я не выдержал и закатил ему пощечину.

Он схватил меня за руку, и мы стояли, глядя друг на друга. Долго мы так простояли, и у меня на глазах белые следы, оставшиеся на его щеке от моих пальцев, успели превратиться в багровые пятна.

— Копперфильд, — наконец произнес он едва слышно, — вы распрощались с вашим рассудком, что ли?

— С вами распрощался! — крикнул я, вырывая от него руку. — Отныне, собака вы этакая, я вас больше не знаю!

— Вот как! — проговорил он, невольно прикладывая руку к, очевидно, очень болевшей щеке, — Но, может быть, этого вы не в силах будете сделать. Однако какой вы неблагодарный, Копперфильд!

— Я не раз показывал вам, как я презираю вас, — сказал я, — сейчас я высказал это только более ясно. Мне нечего бояться, что вы станете вредить окружающим. Вы и так не перестаете это делать.

Он прекрасно понял, на что я намекаю, понял, что заставляло меня до сих пор быть сдержаннее с ним. Я даже думаю, не уверь меня сегодня вечером Агнесса, что она ни под каким видом не пойдет за нею, я, пожалуй, и теперь не дал бы ему пощечины и не сделал бы никаких намеков. Но, впрочем, это не так важно.

Наступило снова продолжительное молчание. В то время как он смотрел на меня, глаза его принимали все цвета, какие только могли

усилить их безобразие.

— Копперфильд, — наконец заговорил он, отнимая руку от щеки, вы всегда были против меня, еще тогда, когда жили у мистера Уикфильда. Я прекрасно это знаю.

— Вы можете думать, что вам угодно, ответил я, все еще охваченный неистовой яростью.

— А между тем, я всегда был расположен к вам, Копперфильд, — продолжал он.

Не удостоив его ответом, я взял шляпу и собрался уйти, когда он загородил мне дорогу, став перед дверью.

— Копперфильд, — сказал он, — для ссоры нужны две стороны, а я не хочу быть одной из них.

— Убирайтесь к чорту! — крикнул я.

— Не кричите так! — остановил он меня. — Вы потом будете сами жалеть об этом. Как можете вы подобным образом унижаться передо мной, выходя так из себя? Но я прощаю вам.

— Вот как! Вы меня прощаете? — с презрением бросил я.

— Да, я прощаю вам, и вы не в силах тут ничего поделаться. Подумать только, как могли вы напасть на меня, человека, бывшего всегда вашим другом! Но, повторяю, ссора может быть, только когда две стороны враждебны, а я этого не желаю. Я хочу насильно остаться вашим другом! Теперь вы знаете, чего можете ждать от меня.

Необходимость вести разговор вполголоса, из-за боязни в такой поздний час разбудить весь дом, не улучшила моего настроения, хотя ярость моя начала уже несколько остывать.

Сказав ему, что я и впредь жду от него того, чего всегда ждал и в чем никогда не ошибался, я вышел, причем так прижал его дверью, словно он был грецким орехом, который я хотел раздавить. Но ему также надо было идти ночевать к своей матери, и не успел я сделать нескольких сот шагов, как он нагнал меня.

— А ведь, по правде сказать, Копперфильд, вы сейчас в незавидном положении, — сказал он мне на ухо, так как я продолжал идти, не поворачивая головы.

Я сознавал, что он прав, и это еще больше выводило меня из себя.

— Поступок ваш далеко не красив, а вы никак не можете запретить мне простить вас. Я не намерен говорить об этом матушке и вообще кому бы то ни было на свете. Я решил простить вас. Но меня



удивляет, как могли вы поднять руку на человека, который, вы знали, был всегда так смиренен!

Я тут почувствовал себя чуть ли не ничтожнее его. Мерзавец знал меня лучше, чем я сам себя. Ответь он ударом или бранью, мне было бы несравненно легче, а он своим смирением как бы поджаривал меня на медленном огне, и я промучился добрую половину ночи.

Утром, когда я вышел на улицу, еще только звонили к ранней обедне, но Уриа уже прогуливался со своей маменькой. Он обратился ко мне так, словно между нами ровно ничего не произошло, и что оставалось мне делать, как не ответить ему! Я так сильно ударил его, что, видимо, разбил зубы. Во всяком случае, щека его была повязана черным шелковым платком, поверх которого он нахлобучил шляпу. Нельзя сказать, чтобы это очень красило его. Потом я узнал, что в понедельник утром он ездил в Лондон рвать себе зуб. Хочу надеяться, что это был коренной.

Доктор Стронг объявил, что он не совсем здоров, и все время, пока у него гостили мистер Уикфильд с дочерью, большую часть дня проводил один в своей комнате. Только через неделю после отъезда Уикфильдов мы принялись с доктором за нашу обычную работу. Накануне он передал мне в незапечатанном конверте записку, где в нескольких ласковых словах просил меня никогда не упоминать о том, что говорилось в тот вечер. Я об этом рассказал только одной бабушке — никому другому. Мог ли я о таких вещах говорить с Агнесой! И, конечно, она не подозревала о том, что произошло.

Я был также уверен, что ничего об этом не ведает и миссис Стронг. В течение нескольких недель я не замечал в ней ни малейшей перемены. Но тем не менее перемена эта совершалась так же медленно, как надвигается туча в безветренную погоду. Сначала, казалось, ее удивляло нежное сострадание, с которым доктор говорил с нею. Не меньше удивило ее то, что он настаивал на приезде к ним ее матери, мотивируя это тем, что та внесет некоторое разнообразие в монотонность ее жизни. Часто, когда, бывало, мы с доктором работаем, а она тут же сидит подле нас, я замечал, что она вдруг оставит свое рукоделье и бросит на мужа тот памятный для меня взгляд. Потом я не раз видел, как она вдруг поднимется и уйдет из комнаты, с глазами, полными слез. Мало помалу какая то пагубная тень стала с каждым днем, все сгущаясь, омрачать ее красоту. Миссис

Марклегем переселилась к ним в дом, но она только безумолку болтала, а замечать ничего не замечала.

Когда с Анни, прежде, как солнце, озарявшей дом доктора, произошла перемена, то и доктор стал казаться и стал как-то серьезнее. Однако его кротость, спокойная доброта, нежная заботливость о жене только еще больше возросли, если это вообще было возможно.

Однажды утром, в день рождения Анни, когда она, придя в кабинет, где мы работали над нашим словарем, села у окна, доктор подошел к ней, взял ее обеими руками за голову, поцеловал и, видимо, чувствуя себя слишком растроганным, поспешно вышел. Она долго, неподвижно, словно статуя, простояла на том месте, где он ее оставил, а потом, склонив голову, всплеснула руками и горько, горько заплакала.

После этого мне иногда казалось, что когда мы с ней остаемся один, ей хочется заговорить со мной о чем-то. Но так она никогда и не заговорила. Доктор беспрестанно предлагал Анни с матерью разные развлечения. Миссис Марклегем, большая до них охотница, была в восторге и восхваляла зятя до небес за его желание повеселить женушку. Но Анни безучастно шла туда, куда ее вели, а в сущности, качалось, ничто ее не занимало.

Я не знал, что и думать. В таком же недоумении была и бабушка. Это заставило ее пройти по нашим комнатам разновременно миль сто. Но что являлось более всего удивительным, так это то, что единственно, кто мог внести некоторое облегчение в таинственное семейное горе Стронгов, был мистер Дик.

Замечал ли мистер Дик то, что происходило в доме Стронгов, что думал он об этом, я не могу сказать, да он и сам в состоянии был бы помочь мне разобраться в этом деле. Но мистер Дик питал безграничное благоговение к доктору Стронгу. А в истинной привязанности, если ее чувствует к человеку даже какое-нибудь животное, всегда проявляется такая тонкая наблюдательность, которая может дать несколько очков вперед даже самому острому уму. И вот благодаря этому, если можно так выразиться, «рассудку сердца» и сверкнули, быть может, в голове мистера Дика лучи истины.

С гордостью вступил он в прежние свои права прогуливаться с доктором по саду, как, бывало, делал это на «докторской» аллее в

Кентербери. Прогулки эти до того нравились мистеру Дику, что он начал вставать раньше по утрам, чтобы посвящать им больше времени. Он и прежде бывал счастливейшим человеком, когда доктор читал ему выдержки из своего замечательного творения — словаря. Теперь же он чувствовал себя совершенно несчастным, пока доктор не вытаскивал из кармана листики этого словаря и не начинал читать их. Когда мы с доктором бывали погружены в нашу работу, мистер Дик обыкновенно проводил время с миссис Стронг, ухаживал за ее цветами, полыл ей грядки. Он, вероятно, не произносил и дюжины слов в течение часа, но тихое участие, светившееся на его задумчивом лице, проникало в душу обоих супругов. Каждый из них знал, что другой любит Дика и Дик любит их обоих. И он стал для них тем, чем никто не мог быть, — связующим звеном.

Как сейчас вижу мистера Дика с его глубокомысленным лицом, когда он прогуливается по саду с доктором Стронгом. С каким восторгом вслушивается он в головоломные, совершенно непонятные для него греческие слова. А вот он несет за Анни огромную лейку с водой; вот он, ползая по земле на четвереньках, в большущих перчатках полет грядки, усердно вырывая среди крошечных растеньиц микроскопическую травку. И всем этим он лучше иного мудрого философа умел деликатно показать ей свою дружбу. Участие, верность и любовь как бы лились из каждой дырочки его лейки. Помню, как, инстинктивно чувствуя несчастье этой семьи, он сам стал разумнее: в саду Стронгов он никогда не заикался о голове злосчастного короля Карла, всей душой стремился быть полезным и, смутно понимая, что между супругами Стронг что-то неладно, жаждал примирить их. Когда я вспоминаю все это, мне делается даже несколько стыдно, что этот не совсем нормальный человек был полезнее меня, с моим здравым умом.

— Никто, кроме меня, Трот, не знает, что это за человек! — с гордостью восклицала бабушка, когда мы с ней заговаривали об этом. — Вот увидите: Дик еще покажет себя!

Прежде чем закончить эту главу, я должен рассказать еще об одном обстоятельстве.

Когда в доме доктора гостили Уикфильды, мне бросилось в глаза, что каждое утро почтальон приносил два-три письма для Уриа Гиппа. Он, пользуясь перерывом в работе, продолжал жить в Хайгейте, пока

здесь оставался его компаньон. Все эти письма были от мистера Микобера, который, судя по конвертам, уже успел приобрести круглый канцелярский почерк. На основании этих незначительных признаков я с радостью заключил было, что мистер Микобер преуспевает, и потому был очень удивлен, получив от его милой супруги письмо такого содержания:

«Кентербери. Понедельник вечером.

Дорогой мистер Копперфильд! Вы, наверное, будете удивлены, получив это письмо. Еще больше удивит вас его содержание. Но, пожалуй, наиболее поразит вас то, что я прошу все сообщаемое вам держать в строжайшем секрете. Как жена и мать я должна облегчить свою душу. Не желая советоваться со своими родичами (и без того относящимися недоброжелательно к мистеру Микоберу), я не знаю никого, к кому я могла бы обратиться с таким доверием, как к моему старому другу и бывшему жильцу.

Вам, дорогой мистер Копперфильд, должно быть хорошо известно, что между мной и мистером Микобером (которого я никогда не покину) всегда царил дух взаимного доверия. Случалось, конечно, что мистер Микобер подписывал какой-нибудь вексель без моего ведома или скрывал действительный срок какого-нибудь платежа. Это, правда, бывало. Но вообще мистер Микобер не имел секретов от любящего его сердца, — я говорю о его жене, — и всегда, когда мы удалялись на покой, он рассказывал обо всем, что случилось в течение дня.

Вы легко представите себе, дорогой мистер Копперфильд, как я убита, когда узнаете, что мистер Микобер совершенно переменялся. Он стал сдержанным. Он стал скрытным. Жизнь его теперь — тайна для товарища его радостей и горестей, — я опять-таки имею в виду его жену. Я только знаю, что жизнь его протекает с утра до ночи в конторе.

Но это еще не все. Мистер Микобер стал угрюмым, суровым. Он чуждается наших старших детей — сына и дочери, не гордится больше нашими близнецами и даже холодно смотрит на невинного младенца, недавно ставшего членом нашей семьи. С огромным трудом получаю я от него те, можно сказать, гроши, которые трачу на хозяйство, причем он часто, давая их, грозит отправить себя на тот свет (подлинные его слова). При всем этом он безжалостно

отказывается объяснить свое, способное свести с ума, поведение. Это невыносимо! Это надрывает мне сердце! Если вы, зная мои слабые силы, дадите мне совет, как разрешить эту необыкновенную дилемму, то прибавите еще одну услугу ко всем, оказанным вами раньше. Мои старшие дети шлют вам привет, а новый пришелец, к счастью, ничего еще не сознающий, улыбается вам. Я же, дорогой мистер Микобер, остаюсь ваша опечаленная Эмма Микобер».

Какой совет я мог дать такой опытной жене, как миссис Микобер, кроме того, чтобы она попыталась повлиять на мистера Микобера кротостью и терпением (что, я знал, она и сама делает)! Но все же письмо это заставило меня сильно призадуматься.

## *Глава XIV*

### *ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*

Еще раз позвольте мне остановиться на памятном периоде моей жизни. Дайте мне заглянуть в ушедшие дни — они словно видения в легкой дымке несутся передо мной... Пронесутся недели, месяцы, времена года... Они мне кажутся немногим больше летнего дня и зимнего вечера. То мы бродим с Дорой по цветущим золотистым лугам, то вокруг нас сугробы снега, из-под которых не видно даже кустов вереска. Вот река. По ее берегам мы гуляем с Дорой в праздничные дни. Она вся сверкает под лучами летнего солнца. А не успеешь оглянуться — и эту самую реку рябит зимний ветер, еще миг — и по ней уже плывут ледяные глыбы... Но быстрее всякой реки, когда-либо мчавшей к морю свои воды, мелькают, заволакиваются туманом и исчезают эти видения ушедших дней...

Ничто не изменилось в доме маленьких тетушек-птичек: все так же тикают часы на камине, все так же висит барометр в передней. Ни часы, ни барометр никогда не показывают правильно, но мы свято верим обоим.

Я достиг совершеннолетия: мне двадцать один год. Но это общий удел. Посмотрим, чего я добился.

Я постиг лютую тайну стенографии. Она дает мне недурной заработок, я на прекрасном счету и вхожу в число двенадцати стенографов, записывающих парламентские дебаты <sup>[12]</sup> для одной утренней газеты. Ночь за ночью переносу я на бумагу предсказания, которые никогда не выполняются, объяснения, цель которых лишь вводить в заблуждение. Я захлебываюсь в словах. Злосчастная Британия всегда рисуется мне в виде курицы, связанной алой лентой и проткнутой во всех направлениях канцелярскими перьями бюрократии. Я достаточно хорошо знаю изнанку политической жизни, чтобы ценить ее по достоинству. Да, в этом отношении я совсем неверующий и никогда не буду обращен.

Мой старый друг Трэдльс также пытался заняться стенографией, но неудачно. Он очень добродушно отнесся к своему провалу и

напомнил мне, что всегда считал себя туповатым. Время от времени он получает работу в той же газете, добывая сырой материал, который потом обрабатывается и приукрашивается людьми с более изобретательными мозгами. Трэдльс вступил в корпорацию адвокатов, предварительно скопив с удивительным терпением и самоотверженностью еще одну сотню фунтов стерлингов для оплаты необходимых при этом расходов. Немало горячего портвейна было выпито нами по такому счастливому случаю.

Я выступил и на другом поприще. Однажды со страхом и трепетом взялся я за перо и тайком от всех написал маленькую вещицу. Без подписи я послал ее в журнал. Напечатали. Тут я увлекся этим делом, и у меня появилось довольно много, правда — небольших рассказов. Оплачивается это недурно и регулярно. И вообще мои денежные дела процветают. Когда я по пальцам левой руки подсчитываю свои доходы, то останавливаюсь на среднем суставе четвертого пальца, — триста пятьдесят фунтов стерлингов — вещь не шуточная.

Мы с бабушкой переехали с Букингамской улицы в хорошенький маленький коттедж по дороге в Хайгейт. Бабушка, выгодно продавшая свой дом в Дувре, однако не собирается остаться здесь и намерена поселиться в еще меньшем коттедже рядом. Что же это значит? Неужели я женюсь? Да!

Да, я скоро женюсь на Доре. Мисс Лавиния и мисс Кларисса уже дали на это свое согласие. Как тут засуетились тетушки-канарейки! Мисс Лавиния взяла на себя заботу о белье и платьях моей дорогой невесты. Она по целым дням вырезывает выкройки из коричневой бумаги и препирается с весьма почтенным молодым человеком с портняжными принадлежностями под мышкой. Портниха, грудь которой всегда утыкана иголками, днюет и ночует в их доме, не расставаясь, кажется, с наперстком ни за едой, ни во сне. Они положительно превращают мою любимую в манекен, то и дело посылая за ней для примерки. Весь вечер мы не можем и пяти минут насладиться своим счастьем, без того чтобы в двери не постучала какая-нибудь назойливая особа женского пола со словами: «Ах, мисс Дора, пожалуйста, поднимитесь вверх!»

Мисс Кларисса и бабушка рыщут по Лондону в поисках мебели для нас с Дорой. Выбрав подходящие, по их мнению, вещи, они

предоставляют нам окончательное решение. Уж лучше бы они все сами закупали, а то бывают такие случаи: Дора, вместо, того, чтобы купить кухонные принадлежности, предпочитает приобрести для Джипа китайский домик с колокольчиками на крыше. Немало времени уходит потом на то, чтобы приучить, Джипа, к его новой резиденции. Каждый раз, когда он входит и выходит, колокольчики звенят, и песик дрожит от страха.

Пиготти приехала помочь нам и тотчас же принялась за работу. Видимо ее специальностью было без конца чистить каждую вещь. Она трет все что только можно тереть, пока оно не засияет как ее собственное милое лицо...

Время от времени я встречаю брата Пиготти, одиноко бродящего ночью по темным улицам. Он всматривается во встречные женские лица. В такие часы я никогда не заговариваю с ним; слишком хорошо я знаю кого он ищет с таким серьезным видом и чего боится....

Почему у Трэдльса был такой торжественный вид, когда он сегодня заходил ко мне в «Докторскую общину», где я еще иногда бываю в свободное время? — Да потому, что осуществляют грезы моей юности: я получаю разрешение на брак!

Как много значит этот маленький документ! Трэдльс смотрит на меня полувосхищенно, полупочтительно. В этом документе рядом стоят, как и в былых моих радостных мечтах, имена Давида Копперфильда и Доры Спенлоу. Вверху штамп учреждения, гербовые марки, без которых человеку нельзя сделать и шагу; в углу казенная печать; здесь же красуется чрезвычайно дешево стоившее нам благословение архиепископа кентерберийского.

Тем не менее все это кажется мне волнующим, счастливым, мимолетным сном... Я не могу поверить, что это вот-вот свершится, но вместе с тем и не могу также поверить, чтобы каждый встречный не догадывался о том, что послезавтра я женюсь.

В консистории меня знают и принимают от меня клятву в том, что я не женат, просто, по-домашнему, без формальностей и волокиты. Трэдльс, хотя в этом и нет нужды, все же сопровождает меня.

— Надеюсь, мой дорогой, в следующий раз вы придете сюда уж ради самого себя, — говорю я Трэдльсу, — и надеюсь, это будет скоро.



— Благодарю вас, дорогой Копперфильд, за добрые пожелания. Я также надеюсь на это. Приятно знать, что моя невеста будет сколько угодно ждать меня и что она действительно чудеснейшая девушка.

— Когда вам, Трэдльс, надо встречать ее в конторе дилижансов?

— В семь часов, — отвечает он, глядя на свои плоские серебряные часы, те самые часы, из которых он вынул когда-то в школе колесико для игрушечной водяной мельницы. — Кажется, почти в это же время приезжает и мисс Уикфильд, не правда ли, Копперфильд?

— Немного позже. Она будет здесь в половине девятого.

— Уверяю вас, дорогой мой мальчик, — говорит Трэдльс, — ваше счастье радует меня почти так же, как если бы я сам женился. А потом, я не знаю, как и благодарить вас за то, что вы оказали такую честь Софи, пригласив ее вместе с мисс Уикфильд в подружки невесты. Чрезвычайно тронут этим.

Я слушаю его, пожимаю ему руку; мы говорим, гуляем, обедаем и так далее, но я не верю в реальность всего этого.

Софи в положенное время приезжает в дом тетушек Доры. У нее приятнейшее лицо, Она не красавица, но чрезвычайно мила. Это одно из самых веселых, прямых и привлекательных созданий, какие я когда-либо видел. Трэдльс с гордостью представляет ее нам и после этого целых десять минут, по часам, потирает руки, а когда я, отведя моего друга в угол, поздравляю его с выбором, каждый волос на его голове становится дыбом.

Я привел Агнессу с кентерберийского дилижанса. И вот она, веселая, красивая, снова среди нас. Агнессе очень нравится Трэдльс. Как хорошо, что они встретились! До чего сияет лицо Трэдльса, когда он знакомит ее с «самой милой на свете девушкой»!

Мне все еще не верится, что это возможно... Мы проводим восхитительный вечер, бесконечно счастливы, но все-таки я не верю. Никак не могу сосредоточиться, не могу охватить своего счастья. Чувствую себя в каком-то тумане, совсем выбитым из колеи. Точно встал я очень рано неделю или две назад и с тех пор так и не ложился. Я положительно не в силах определить, когда было «вчера»: мне кажется, что уже несколько месяцев я ношу в кармане разрешение на брак.

На следующий день, когда мы всей компанией идем посмотреть наш дом, наш с Дорой дом, я совершенно не в состоянии чувствовать себя его хозяином. Здесь я словно с чьего-то разрешения. Я чуть ли не жду, что вот-вот появится настоящий хозяин и любезно скажет, как он рад меня видеть. А что за великолепный домик! Все в нем так ново, все так блестит! Цветы на коврах выкладывают так, как будто они только что сорваны, а зеленые листья на обоях точно сейчас распустились! Какие белоснежные занавеси! Какая розовая мебель! А Дорина шляпка с голубой лентой, уже висящая на крючке! Как она напоминает мне ту, другую шляпку, в которой я полюбил Дору, когда впервые увидел ее! А гитара в футляре, чувствующая себя в углу как дома! А пагода <sup>[13]</sup> Джипа, о которую все спотыкаются, ибо она слишком велика для такого помещения.

Проходит другой счастливый вечер, совершенно такой же нереальный, как и всё вокруг меня. Прежде чем уйти, я прокрадываюсь в комнату наших обычных прощаний с Дорой. Ее там нет. Вероятно, еще не окончили с примерками. Заглядывает мисс Лавиния и таинственно сообщает мне, что Дора сейчас придет. Проходит, однако, немало времени, пока я слышу шорох у двери и стук.

— Войдите!

Но стук повторяется.

Я иду к двери, не понимая, кто там, и вижу блестящие глаза и покрасневшее лицо — глаза и лицо Доры. Мисс Лавиния одела ее в подвенечное платье и парадную шляпку, чтобы показать мае. Я прижимаю к сердцу мою женушку... Мисс Лавиния вскрикивает при виде падающей шляпки, Дора и смеется и плачет, чувствуя, в каком я восторге, а мне все это кажется еще более сказочным, чем когда-либо...

— Вы находите все это красивым, Доди? — спрашивает Дора.

Красивым! Еще бы не находить!

— И вы уверены, что я вам очень нравлюсь?

Эта тема связана с такой опасностью для шляпки, что мисс Лавиния вторично вскрикивает и просит меня понять, что на Дору можно только смотреть, но ни в коем случае не прикасаться к ней. И вот Дора стоит минутку, две в очаровательном смущении, предоставляя мне любоваться собою, затем снимает шляпку, убегает с

нею и вскоре, приплясывая, возвращается обратно уже в своем обычном платье. Тут она спрашивает Джипа, красивая ли женошка у Доди и простит ли ей песик ее замужество, а после этого становится на колени и в последний раз в своей девичьей жизни заставляет своего любимца служить на поваренной книге.

Я иду к себе, в нанятое по соседству помещение, абсолютно не веря в то, что со мной происходит...

На следующее утро я встаю очень рано, чтобы ехать в Хайгейт за бабушкой.

Никогда не видывал я свою бабушку такой нарядной! На ней шелковое платье цвета лаванды и белая шляпка. Она восхитительна! Дженет, одев бабушку, осталась посмотреть на меня. Моя Пиготти тоже принарядилась и собирается в церковь, где с хоров будет смотреть на наше венчание. Мистер Дик, мой посаженный отец, завил себе волосы, Трэдльс, с которым, как было условлено, мы встретились у заставы, представляет собой поразительное сочетание кремового и небесно-голубого цвета. Оба они с мистером Диком имеют чрезвычайно франтоватый вид.

Несомненно, я вижу все это, а вместе с тем я до того растерян, что как будто ничего не вижу и ничему не верю. Тем не менее, когда мы едем в открытой коляске, эта сказочная свадьба кажется мне до известной степени реальной, и я чувствую сострадание к несчастным людям, не принимающим в ней участия, и даже удивляюсь, как они могут подметать свои лавки, заниматься будничными делами.

Бабушка сидит рядом со мной и всю дорогу держит меня за руку. Когда мы останавливаемся недалеко от церкви, чтобы дать сойти Пиготти (мы привезли ее с собой на козлах), бабушка крепко жмет мне руку и целует меня.

— Да благословит вас господь, Трот! Больше не могла бы я любить и родного сына! Сегодня я все время думаю о бедной дорогой крошке...

— И я думаю о ней, а также обо всем, дорогая бабушка, что вы сделали для меня...

— Тсс... дитя мое! — заставляет меня замолчать бабушка и в избытке чувств подает руку Трэдльсу.

Трэдльс подает руку мистеру Дику, Дик берет за руку меня, и вот мы все у церковной двери...

В церкви, конечно, довольно тихо. Но я уверен, что будь здесь паровая машина на полном ходу, я и ее не заметил бы, до того я взволнован.

Все остальное кажется мне более или менее бессвязным сновидением. Как во сне, вводят подружки Дору, и нас выстраивает перед алтарем, словно сержант на ученье, церковная сторожиха; как во сне, спрашиваю я себя с удивлением, почему это церковные сторожихи всегда самые неприятные женщины на свете: неужели религия так ужасно, словно заразы, боится добродушия, что на пути в небеса ей необходимо ставить такие «сосуды с уксусом»? Как во сне, появляется священник со служкой. За ним входят несколько лодочников и еще какие-то люди. Смутно чувствую я за своей спиной старого моряка, от которого на всю церковь разит ромом.

Вот священник басом начинает службу, и мы все внимательно слушаем. Мисс Лавиния, как бы играющая роль добавочной подружки невесты, первая начинает плакать, воздавая своими слезами, как я понимаю, дань памяти мистера Пиджера. Мисс Кларисса тут пускает в ход флакон с нюхательным спиртом. Агнесса ухаживает за Дорой. Бабушка стремится казаться образцом суровости, но по щекам ее непрерывно струятся слезы. Маленькая Дора вся дрожит и отвечает на вопросы едва слышным шопотом...

Будто во сне, стоим мы с Дорой рядом на коленях. Дора дрожит все меньше и меньше, но не перестает держать Агнессу за руку. Спокойно и торжественно проходит служба. Когда она оканчивается, мы с женошкой смотрим друг на друга, улыбаясь, словно апрельское солнце, сквозь слезы. В ризнице Дора вспоминает своего бедного, дорогого папу и истерически рыдает.

Но это длится недолго. Она уже снова весела, и мы расписываемся в церковной книге. Я иду на хоры за Пиготти, желая, чтобы она также расписалась. Няня обнимает меня и вспоминает о том, как она была на свадьбе у моей дорогой мамы. Все кончено, и мы выходим...

С какой любовью и гордостью веду я под руку из церкви свою прелестную женошку, прохожу, как и тумане, мимо людей, скамей, могильных плит, органа, церковных окон, навевающих на меня столько воспоминаний...

До меня доносится шопот: «Какая юная пара, какая прелестная маленькая новобрачная!» Как весело болтаем мы в коляске по дороге в Путней! Софи рассказывает нам, что она едва не лишилась чувств, когда у Трэдльса спросили данное ему мной разрешение на брак: она была убеждена, что он или потерял его, или у него украли его из кармана. Агнесса весело смеется, а Дора так любит ее, что все еще не выпускает ее руки из своей.

Припоминаю я и свадебный завтрак со множеством разных красивых и вкусных вещей. Ем я их, как во сне, совершенно не отдавая себе отчета в их вкусе. Я так полон любовью, что пища, как и все остальное вокруг, как бы не существует для меня.

Так же, как во сне, произношу я речь, не имея представления о том, что, собственно, я хочу сказать. Мы все очень дружелюбно настроены и счастливы (и это я чувствую, словно во сне). Джип получает кусок свадебного пирога, о чем позже ему придется пожалеть.

Но вот почтовые лошади у подъезда. Дора уходит переодеться. Бабушка и мисс Кларисса остаются с нами. Мы прогуливаемся в саду. Бабушка, произнесшая за завтраком целую речь в честь тетушек Доры, с удовольствием и даже не без гордости вспоминает об этом подвиге.

Дора готова, и мисс Лавиния порхает вокруг нее, сожалея о потере красивой игрушки, доставлявшей ей так много приятных забот. К своему удивлению, Дора снова и снова обнаруживает, что она забыла множество своих вещей, и все бегут в разные стороны разыскивать их.

Когда наконец Дора начинает прощаться, ее все окружают и провожающие своими яркими платьями и лентами напоминают цветочную клумбу. Моя дорогая женушка наполовину задушена этими цветами. Плача и смеясь в одно и то же время, она бросается в мои ревнивые объятия.

Я хочу взять на руки Джипа (он едет с нами), но Дора не позволяет, уверяя, что ей непременно нужно нести его самой иначе песик подумает, что, выйдя замуж, она разлюбила его и будет страшно огорчен.

Мы выходим под руку. Дора останавливается и, обернувшись к провожающим, говорит:

— Если я была когда-нибудь нехорошей или неблагодарной по отношению к кому-нибудь из вас, забудьте это, — заливается слезами.

Еще мгновение — Дора машет ручкой, и мы направляемся к коляске. Но Дора еще раз останавливается, оглядывается бежит к Агнессе и в последний раз на прощанье целует ее.

Наконец мы уезжаем, и я как бы пробуждаюсь от сна. Вот когда я верю всему этому! Рядом со мной моя дорогая дорогая, крепко любимая маленькая женушка!

— Счастливы ли вы теперь, глупый мальчик, и уверены ли в том, что не раскаиваетесь? — спрашивает Дора.

Я как бы отошел в сторону, чтобы поглядеть на вереницу прежних дней, видениями проносящихся к своему прерванному повествованию.

## *Глава XV*

# *НАШЕ ХОЗЯЙСТВО*

Когда окончился наш медовый месяц и подружки разъехались по домам я, оставшись в нашем собственном домике наедине с Дорой, почувствовал, что чудесное занятие ухаживания уже позади и я как бы не у дел.

Казалось так удивительно видеть Дору постоянно подле себя! Было так странно, что не нужно никуда отправляться чтобы увидеть ее, не нужно беспокоиться о ней, не нужно писать ей, не нужно ломать себе голову над тем, как умудриться остаться с ней наедине. Порой вечером я, подняв глаза от своей работы и видя, что она сидит против меня, откидывался на спинку стула и думал, как чудно, что мы здесь вместе одни, точно это так и полагается, и никому нет до нас дела, как чудно, что наш роман — уже весь в прошлом и нам не остается ничего, как только до конца дней наших радовать друг друга.

Когда в парламенте затягивались прения и я задерживался, мне казалось так странно думать, идя домой, что меня ждет Дора. Сперва было так поразительно, когда она тихо спускалась вниз, в столовую, и разговаривала со мной, пока я ужинал. Было так удивительно знать, что она завивает себе волосы папильотками, и было совершенно изумительным событием видеть, как она это делает.

Я сомневаюсь, чтобы пара птичек меньше умела вести свое хозяйство, чем мы с моей хорошенькой Дорой. У нас, конечно, была служанка. Эта Мари-Анна так мучила нас, что я в глубине души стал подозревать в ней тайную дочь миссис Крупп.

Ее фамилия была Парагон<sup>[14]</sup>. Когда мы приглашали ее, нас уверяли, что ее фамилия еще не вполне выражает все ее достоинства. У нее был аттестат, пространный, как воззвание, и, согласно ему, она могла исполнять все известные мне домашние работы и множество других, о которых я никогда ничего не слыхал. Была она женщина во цвете лет, сурового вида, постоянно разукрашенная огненно-красными прыщами; особенно много их было на руках. У нее имелся кузен в лейб-гвардии, с такими длинными ногами, что производил

впечатление чьей-то вечерней тени. Его мундир был так же мал для него, как сам он был громоздок для нашего домика. Благодаря его присутствию наш коттедж казался меньше, чем был на самом деле. Кроме того, стены коттеджа были довольно тонки, и когда этот великан проводил вечер в нашей кухне, мы всегда знали об этом по несмолкающему рокоту, несущемуся оттуда.

Наше сокровище было рекомендовано нам как особа трезвая и честная. Поэтому я хочу верить, что с ней был припадок, когда мы нашли ее валяющейся на полу у плиты, а также, что исчезновение чайных ложечек — дело рук мусорщика.

Эта Мари-Анна держала нас в ужасном страхе. Мы так чувствовали свою неопытность и беспомощность! Конечно, мы могли бы рассчитывать на милосердие, если бы таковое у нее имелось, но это особа отличалась полным бессердечием. Она же явилась причиной нашей первой маленькой ссоры.

— Моя дорогая, — сказал я однажды Доре, — как вы думаете, имеет ли Мари-Анна какое-нибудь представление о времени?

— Почему вы это говорите, Доди? — простодушно спросила Дора, поднимая глаза от своего рисунка.

— Потому, любимая моя, что сейчас пять часов, а мы должны были обедать в четыре.

Дора внимательно посмотрела на часы и заметила, что они, должно быть, спешат.

— Наоборот, дорогая моя, — сказал я, взглянув на свои часы, — они даже отстают на несколько минут.

Моя женушка подошла и села ко мне на колени, желая успокоить меня, и провела своим карандашом линию вдоль моего носа. Это было очень приятно, но пообедать этим я не мог.

— Не думаете вы, дорогая моя, что было бы лучше вам поговорить с Мари-Анной? — заметил я.

— О, пожалуйста, не надо! Я не могу, Доди.

— Почему не можете, любимая моя? — спросил я ласково.

— Да потому, что я такая глупышка, а она знает это.

Такое мнение Мари-Анны о моей жене показалось мне столь несовместимым с возможностью Доры воздействовать на нее, что я немного нахмурился.



— Какие уродливые морщины на лбу моего скверного мальчика, — промолвила Дора и, все еще сидя на коленях у меня, провела карандашом по моему лбу.

При этом она поднесла карандаш к своим розовым губкам, чтобы он стал чернее, и принялась разрисовывать мой лоб с таким комично-милым усердием, что я невольно, в восторге, расхохотался.

— Вот — славный мальчик! Вы гораздо красивее, когда смеетесь!

— Но, дорогая моя...

— Нет, нет, пожалуйста! — крикнула Дора, целуя меня. — Не будьте негодной Синей Бородой! Не будьте серьезны!

— Жenuшка моя драгоценная, надо ведь иногда быть серьезным. Ну, садитесь на этот стул, поближе ко мне. Дайте мне сюда карандаш. Вот так. Поговорим разумно. Вы знаете, дорогая... (как мала была эта ручка, которую я держал, какое тоненькое обручальное колечко виднелось на ней!) вы знаете, любимая, не особенно удобно уходить из дому, не пообедав. Не правда ли?

— Д-д-да, — робко пробормотала Дора.

— Как вы дрожите, моя любимая!

— Потому что, я знаю, вы сейчас будете бранить меня! — жалобно воскликнула Дора.

— Душа моя, я только собираюсь рассуждать.

— О, рассуждать — хуже, чем бранить! — закричала Дора в отчаянии. — Я не затем выходила замуж, чтобы со мной рассуждали! Если вы собираетесь рассуждать с таким бедным маленьким существом, как я, вы должны были сказать мне об этом раньше, злой мальчик!

Я пытался умиротворить Дору, но она отвернула свое личико, потряхивала локонами и все повторяла: «Вы злой, злой мальчик!» Я положительно не знал, что мне делать, в нерешительности прошелся несколько раз по комнате и снова вернулся к ней.

— Дора, любимая моя!

— Нет, я вовсе не ваша любимая! Вы, должно быть, жалеете, что женились на мне, иначе вы не стали бы рассуждать со мной, — возразила Дора.

Я почувствовал себя настолько обиженным несправедливостью такого обвинения, что это дало мне силу остаться серьезным.

— Ну, Дора, дорогая моя, вы настоящий ребенок и говорите глупости. Вы, наверно, помните, что я вынужден был вчера уйти с половины обеда и что днем раньше я почувствовал себя очень плохо, потому что поел наспех недожаренной телятины. Сегодня я совсем без обеда и уж почти не решаюсь сказать, как долго мы утром ждали завтрака, а вода все-таки была подана некипяченой. Я не думаю упрекать вас, дорогая моя, но это неудобно.

— О, вы злой, злой мальчик! Сказать, что я неприятная жена, — закричала Дора, заливаясь слезами.

— Ну, что вы, дорогая Дора, вы ведь знаете, что я никогда не говорил этого.

— Вы сказали, что со мной неудобно.

— Я сказал, что «при таком хозяйничанье» неудобно.

— Это совершенно то же самое! — крикнула Дора. И она, видимо, так и думала, ибо заплакала еще горше.

Я опять прошелся по комнате, горя любовью к моей хорошенькой женушке, и готов был в раскаянии разбить себе голову о дверь. Снова я сел и сказал:

— Я не порицаю вас, Дора. Нам обоим надо еще многому учиться. Я только пробую указать вам, дорогая моя, что вы должны, действительно должны (я был полон решимости не уступить в этом) приучить себя присматривать за Мари-Анной, а также немножко делать что-нибудь для себя самой и для меня.

— Я удивляюсь, как можете вы быть так неблагодарны, — рыдала Дора, — когда знаете, что стоило вам на днях заикнуться о рыбе, как я прошла много миль, желая сделать вам сюрприз, и заказала рыбу.

— И это было очень мило с вашей стороны, моя дорогая. Я так был тронут этим, что даже не намекнул вам, что вы купили лосося, слишком большого для нас двоих, и что он стоил один фунт и шесть шиллингов, что нам совсем не по карману.

— А все-таки вы с большим удовольствием ели его, — рыдала Дора, — и еще сказали, что я ваш «мышонок»!..

— И я снова тысячу раз готов сказать вам это, моя дорогая.

Но, видимо, я ужасно поранил нежное сердечко Доры: ее никак нельзя было утешить. Она так трогательно плакала и так горевала, что мне самому стало казаться, будто я сказал ей нечто невероятно обидное. А между тем уйти из дому немедленно было совершенно

необходимо. Работа задержала меня до поздней ночи, и все время меня не переставали мучить угрызения совести. Я чувствовал себя несчастным, казался себе убийцей, совершившим ужасное злодеяние.

Я попал домой только в два или три часа утра. Дома меня ждала бабушка.

— Случилось что-нибудь, бабушка? — спросил я в ужасе.

— Ничего, Трот! Сядьте! Цветочек был немного опечален, и я осталась с ним. Вот и все.

Я склонил голову на руку и чувствовал себя, глядя на огонь камина, более грустным и подавленным, чем мог бы этого ожидать так скоро после того, как осуществились мои самые светлые упования. Сидя в задумчивости, я случайно встретился с устремленным на меня взглядом бабушки. На ее лице я прочел беспокойство, но оно тотчас же исчезло.

— Поверьте, бабушка, я все время чувствовал себя совершенно несчастным, думая о том, что переживает Дора! Но у меня не было другого намерения, как только нежно и ласково поговорить с ней о нашем хозяйстве.

Желая ободрить меня, бабушка кивнула головой.

— Вам надо вооружиться терпением, Трот, — промолвила она.

— Конечно. Но, бабушка, богу известно, что я вовсе не хочу быть несправедливым!

— Верю, верю! — отозвалась бабушка. — Но наш Цветочек — очень нежный цветочек, на него и ветерок должен дуть с осторожностью.

Я был очень благодарен бабушке за ее нежность к моей женошке и был уверен, что она чувствует это. Некоторое время я молча смотрел на огонь.

— Не думаете ли вы, бабушка, что вы могли бы время от времени немного помочь Доре своим советом, к нашей обоюдной с нею пользе?

— Нет, Трот, — проговорила бабушка не без волнения, — нет, не просите меня об этом.

Это было сказано таким серьезным тоном, что я с удивлением посмотрел на нее.

— Видите ли, дитя мое, — начала бабушка, — когда я оглядываюсь назад на свою жизнь, я теперь вижу, что к некоторым

людям, которые уже в могиле, я могла быть добрее. Если я сурово осуждала ошибки в супружестве других людей, то, быть может, потому, что я немало делала ошибок в своей семейной жизни. Но лучше не будем говорить об этом. Долгие годы я была ворчливой, несносной женщиной. Была, есть и буду такой. Но мы с вами, Трот, сделали друг для друга кое-что хорошее, — во всяком случае вы, дорогой мой, сделали мне немало добра, — и не нужно, чтобы теперь между нами могли возникнуть какие-нибудь недоразумения.

— Недоразумения между нами?! — воскликнул я.

— Дитя, дитя! — повторила бабушка, оправляя свое платье. — Не будучи пророком, можно предсказать, что начини я только вмешиваться в ваши семейные дела, так сейчас же у нас с вами появились бы недоразумения. А каким из-за меня несчастным стал бы наш Цветочек! Я же хочу, чтобы наш баловень любил меня и был весел, словно мотылек. Вспомните второй брак вашей матушки и никогда не предлагайте мне делать то, что может и мне и ей принести огорчение.

Я сразу понял, что бабушка была права, и вполне оценил ее великодушное отношение к моей дорогой женошке.

— Ваша семейная жизнь, Трот, только началась, — продолжала бабушка. — Рим строился не день и даже не год. Вы сами сделали свой выбор (мне показалось, что ее лицо на миг омрачилось), и вы выбрали очень красивую и очень любящую девочку. А раз вы ее выбрали, вы должны и вам доставит радость ценить ее такой, какая она есть, ценить в ней те качества, которые у нее имеются, а качества, которых у нее нет, вы сами должны развить в ней. Если же вы не сумеете этого сделать (тут бабушка потерла себе нос), то вы, дитя мое, должны приучить себя обходиться без недостающих ей качеств. Но помните, дорогой мой, ваше будущее с Дорой только в ваших и ее руках. Вам самим надо поработать над ним. Никто не может помочь вам в этом. Вот что такое брак, Трот! Да благословит господь вас обоих! Вы со своей женошкой напоминаете мне детей, заблудившихся в лесу.

Проговорила это бабушка веселым тоном, подкрепив свои слова поцелуем.

— А теперь, Трот, — сказала она, — зажгите фонарик и проводите меня через сад в мой игрушечный домик. Когда же вернетесь к себе, передайте Цветочку мой поцелуй. Но смотрите,

Трот, что бы вы ни делали, не вздумайте создавать пугало из Бетси Тротвуд!

Сказав это, бабушка по-своему повязала себе голову платком, и я проводил ее домой. Когда она стояла в своем саду, подняв фонарик, чтобы осветить, снова мне показалось, что она глядит на меня с озабоченным видом, но я не обратил на это особенного внимания: слишком я был занят обдумыванием того, что она мне сказала, слишком большое впечатление произвела на меня мысль, что мы с Дорой сами должны создавать свое будущее и никто не может помочь нам в этом. Это никогда раньше не приходило мне в голову.

Теперь, когда я вернулся один, Дора, крадучись в своих ночных туфельках, спустилась ко мне. Положив свою головку мне на плечо, она плакала и говорила, что я был жестокосерден, а она — нехорошая. Кажется, и я говорил в том же духе, и все было кончено. Мы тут же порешили, что эта первая размолвка будет последней и, проживи мы сто лет, она никогда уже больше не повторится.

Источником наших дальнейших домашних испытаний были опять-таки служанки. Кузен Мари-Анны дезертировал и спрятался в нашем угольном сарае, откуда и был извлечен, к нашему великому изумлению, пикетом его вооруженных товарищей, закован в ручные кандалы и уведен, опозорив наш дом. Это придало мне духу избавиться от Мари-Анны. Она ушла, так спокойно приняв расчет, что это даже удивляло меня, пока я не обнаружил пропажи чайных ложек и тех мелких займов, которые она делала от моего имени у соседних лавочников. Ее сменила приходящая старушка, слишком слабая, чтобы справиться со своими обязанностями. После нее мы нашли другое сокровище, милейшую женщину, имевшую, однако, склонность постоянно падать с посудой то на лестнице, то в столовой. Опустошения, производимые этой несчастной, вынудили нас расстаться с ней. За ней последовал длинный ряд служанок-инвалидов, завершившийся юной особой милой наружности, уходившей гулять в шляпке Доры. После этого я не помню ничего, кроме бесконечной вереницы неудач.

Казалось, что все, с кем мы сталкивались, стремились обмануть нас. Наш приход в магазин был как бы сигналом для появления на прилавке недоброкачественных товаров. Если мы покупали омара, он оказывался полон воды, мясо бывало всегда крайне жестким, а хлеб

невыпеченным. В поисках рецепта изготовления ростбифа я заглянул в поваренную книгу и, следуя ее указаниям, все же никак не мог добиться успеха: ростбиф выходил то сырым, то пережаренным. Просматривая счета, я обнаружил, что мы расходовали очень много масла. Невероятно много выходило у нас и перца. Но наиболее удивительным являлось то, что при всем этом у нас в доме никогда ничего не было. Случалось, что прачка отдавала в заклад наше белье и приходила к нам в пьяном виде каяться в своем прегрешении. Впрочем, я думаю, это бывало не раз и с другими. Но я считаю, что нам особенно не повезло, когда мы наняли служанку — любительницу спиртных напитков: наши счета на портер в трактире обогатились такими непонятными приписками, как: «кварт<sup>[15]</sup> рому (миссис К.)», «полкварти<sup>[16]</sup> джина (миссис К.)», «стакан рому и перцовки (миссис К.)», причем всегда предполагалось, как обнаруживали расспросы, что все эти крепкие напитки поглощала Дора...

Одним из первых наших подвигов на хозяйственном поприще был маленький обед в честь Трэдльса. Я встретил его утром в городе и пригласил к себе обедать. Он охотно согласился, и я написал Доре, что приведу его с собой. Была прекрасная погода, и всю дорогу мы говорили о моем семейном счастье. Трэдльс был увлечен моими рассказами и заявил, что он будет счастливейшим человеком в тот день, когда Софи станет ожидать его с обедом в таком домике, как наш.

Я не мог бы желать более красивой женоушки за своим столом, но, конечно, мог бы пожелать немного больше простора. Я не знаю, как это получилось, но, хотя обыкновенно нас было только двое, нам всегда было тесно. В то же время было как будто и слишком много простора, так как терялась то одна вещь, то другая. Я подозреваю, что происходило это потому, что ни одна вещь не имела у нас своего определенного места, исключая пагоды Джипа, которая всегда у всех бывала на дороге.

За этим обедом Трэдльс был так стиснут пагодой, футляром от гитары, мольбертом, за которым Дора рисовала свои цветы, и моим письменным столом, что я серьезно опасался, будет ли он в состоянии

действовать ножом и вилкой. Но он протестовал со своим обычным добродушием.

— Что вы! Да это океанские просторы! Уверяю вас, Копперфильд, настоящие океанские просторы!

Второе, чего бы мне хотелось, это чтобы не поощрялись прогулки Джипа по нашему обеденному столу. Я начинал думать, что это вообще вносит некоторый беспорядок, даже не имея он привычки, расхаживая по столу, влезать лапкой в соль и в масло. На этот раз он, видимо, счел своей специальной задачей держать в страхе Трэдльса: он лаял на моего друга и делал налеты на его тарелку с таким бесстрашием и настойчивостью, что, можно сказать, целиком овладел разговором.

Однако, зная нежное сердечко моей дорогой Доры и ее чувствительность ко всему, что касалось ее любимца, я даже и не пробовал протестовать. По тем же соображениям я не позволил себе ни одного намека на слетевшие со стола и разбившиеся тарелки.

— Любимая моя, — сказал я Доре, — что у вас на этом блюде?

Я не мог догадаться, почему Дора начала делать мне милые гримаски, точно желая поцеловать меня.

— Устрицы, дорогой мой! — наконец проговорила женушка.

— Это ваша идея? — воскликнул я в восторге.

— Д-да, Доди.

— Очень счастливая идея: Трэдльс — большой любитель устриц.

— Д-да, Доди, и я купила целый чудесный бочоночек этих устриц, продавец очень хвалил их. Но я... я боюсь, что с ними что-то случилось, они как будто не настоящие.

Тут Дора покачала головой, и в ее глазках сверкнули бриллианты.

— Они лишь полураскрыты, — сказал я, взглянув, — надо совсем открыть их, дорогая!

— Но они не хотят открываться! — воскликнула в отчаянии Дора, делая невероятные усилия раскрыть устрицу.

— Знаете, Копперфильд, — сказал Трэдльс, весело поглядывая на блюдо с устрицами, — я думаю, дело в том... дело в том, что эти превосходные устрицы еще совершенно не открыты.

Они в самом деле были совершенно не открыты, а у нас не имелось устричного ножа. Да и будь он у нас, все равно мы не сумели бы им воспользоваться. Так, глядя на устрицы, мы ели баранину; по

крайней мере, мы съели ту ее часть, которая оказалась дожаренной, приправляя ее капорцами<sup>[17]</sup>. Если бы я только позволил Трэдльсу, то он, превратись в совершеннейшего дикаря, съел бы почти сырое мясо, лишь бы показать, насколько он доволен обедом. Но я не допустил, чтобы подобная жертва была принесена на алтарь дружбы, и мы вместо этого поели холодной свиной грудинки, к счастью обнаруженной в кладовой.

Моя бедная маленькая женушка сначала очень было огорчилась, думая, что я недоволен. Но потом, увидев, что я и не думаю сердиться, пришла в такой восторг, что и мое смущение по поводу неудачи с устрицами скоро рассеялось, и мы провели приятный вечер. Дора сидела, опершись ручкой на мой стул, и, в то время как мы с Трэдльсом попивали вино, то и дело шептала мне на ухо, как хорошо с моей стороны не быть злым, ворчливым старикашкой. Затем она напоила нас чаем и при этом так мило хлопотала, точно играла в куклы, что я не обратил внимания, каков был этот напиток. После чая мы с Трэдльсом сыграли в карты, а Дора пела нам, аккомпанируя себе на гитаре, и мне казалось, что наша любовь и свадьба — прекрасный сон и вечер, когда я впервые слушал ее пение, все еще длится.

Когда Трэдльс ушел и я, проводив его, вернулся в гостиную, моя женушка придвинула свой стул к моему и села рядом со мной.

— Знаете, Доди, я очень огорчена, — начала она. — Не потребуете ли вы поучить меня?

— Сначала я сам должен поучиться. Я знаю не больше вашего, моя любимая, — ответил я.

— Ну, вы-то можете выучиться, — возразила она, — вы ведь умный, такой умный!

— Пустяки, моя мышка!

После долгого молчания моя женушка промолвила:

— Мне бы уехать на год и пожить это время с Агнессой.

Она положила свои руки мне на плечо, уткнулась в них подбородком и спокойно глядела на меня своими голубыми глазками.

— Почему? — спросил я.

— Мне кажется, она могла бы исправить меня, и я многому научилась бы у нее.

— Все в свое время, моя любимая. Вспомните, что на Агнесе уже много лет лежит забота об отце. Еще будучи почти ребенком, она



уже была той Агнессой, которую мы знаем.

— А скажите, будете ли вы называть меня так, как мне хочется? — вдруг, не меняя позы, спросила Дора.

— Как? — улыбаясь, поинтересовался я.

— Это глупое прозвище, — промолвила она, встряхнув локонами: — называйте меня «женой-деткой».

Я, смеясь, спросил мою жену-детку, откуда взялась у нее такая фантазия.

— Я вовсе не хочу сказать, глупый вы мальчик, что вы должны называть меня этим прозвищем, а не Дорой, — мне только хочется, чтобы вы так думали обо мне. Собираясь рассердиться на меня, скажите себе: «Да это ведь только жена-детка!» Когда я буду очень разочаровывать вас, подумайте; «Я ведь знал, давно знал, что она будет только женой-деткой!» Когда вы увидите, что я не то, чем бы хотела быть и никогда не буду, подумайте: «Все же моя глупенькая жена-детка любит меня!» Так как в самом деле я люблю вас, Доди!

В первый момент я не отнесся серьезно к ее словам, думая, что она шутит, но я так ласково отозвался на них, что ее любящее сердечко радостно забилося, и, прежде чем на глазах ее высохли слезы, ее личико уже снова сияло улыбкой.

Она действительно была моей «женой-деткой»: сидя на полу возле пагоды, она один за другим дергала все колокольчики, чтобы наказать Джипа за его недавнее скверное поведение. А Джип, щуря глазки, лежал в дверях пагоды, головой наружу, слишком ленивый, чтобы далее сердиться.

Все-таки просьба Доры — помнить о том, что она только моя «жена-детка», — произвела на меня сильное впечатление.

Теперь, оглядываясь на то время, я вызываю из туманного прошлого тот горячо любимый образ, хочу, чтобы он еще раз повернул ко мне свою прелестную головку. Откровенно признаюсь, что сказанные Дорой тогда слова не перестают звучать в моем сердце. Конечно, в ту минуту я не понял всего их значения: ведь я был молод и неопытен. Но к ее наивной просьбе я не был глух.

Вскоре после этого Дора сказала мне, что она собирается стать «поразительной» хозяйкой. И действительно, она почистила аспидные дощечки, очинила карандаш, купила необъятную расходную книгу, заботливо сшила ниткой все листы поваренной книги, изодранные

Джипом, и вообще делала отчаянные усилия «быть хорошей», как она называла это. Но цифры проявляли прежнее упрямое нежелание складываться. Когда она с трудом заносила в свою расходную книгу две-три обширные записи, Джип, прогуливаясь по странице, смазывал все своим хвостом. Ее маленький средний пальчик правой руки весь пропитывался чернилами, и это, кажется, был единственный результат всех ее усилий.

Иногда вечером, когда я оставался дома и работал, — а теперь я немало писал и начинал понемногу приобретать имя в литературе, — я откладывал перо и наблюдал, как моя «жена-детка» старалась «быть хорошей». Прежде всего она приносила свою необъятную расходную книгу и с глубоким вздохом клала ее на стол. Потом она раскрывала ее на том месте, где вчера похозяничал Джип, и звала его полюбоваться на то, что он натворил. Это доставляло Джипу развлечение, а его носу, пожалуй, немного чернил в наказание. Затем она приказывала Джипу немедленно лечь на стол в позе льва, — это была одна из его штук, хотя, на мой взгляд, сходство со львом далеко не было разительным, — и если он бывал в послушном настроении, то повиновался этому приказу. Затем она брала перо и начинала писать. В перо оказывался волосок. Она брала второе перо и начинала писать, но перо делало кляксы. Она брала третье перо и начинала писать, тихонько-тихонько приговаривая: «О, это перо скрипит, оно помешает Доди!» Наконец она совсем бросала эту досадную работу и откладывала в сторону расходную книгу, притворно замахнувшись на «льва».

Когда же она бывала в очень спокойном и серьезном настроении, то усаживалась за аспидные дощечки и корзиночки со счетами и другими документами, более всего похожими на папильотки, и с их помощью старалась чего-то добиться. Очень тщательно она сравнивала их друг с другом, делала записи на дощечках, стирала их, снова и снова пересчитывала все пальцы левой руки от мизинца до большого пальца и обратно. И при этом у нее был такой огорченный унылый вид, казалась она до того несчастной, что мне было больно смотреть на ее всегда сияющее, а теперь омраченное из-за меня личико. И я тихонько подходил к ней и спрашивал:

— В чем дело, Дора?

Она безнадежно смотрела на меня и отвечала:

— Ничего не выходит. У меня от этих счетов только заболела голова. Они совсем не слушаются меня.

— Ну, теперь давайте попробуем вместе. Я сейчас покажу вам, Дора! — говорил я.

И вот я начинал обучать ее обращению со счетами, а Дора с глубоким вниманием слушала меня минут пять. Потом она начинала испытывать ужасную усталость, принималась навивать на пальцы мои волосы, пробовать, идет ли мне расстегнутый и откинутый на плечи воротник сорочки. Если я молча останавливал ее и настаивал на продолжении работы, ее личико принимало испуганный и еще более безнадежный вид. Тогда я вспоминал ее природную веселость и тот день, когда мы впервые встретились с нею, а также, что она моя «жена-детка», и, упрекая себя, бросал карандаш и просил ее взяться за гитару.

У меня было много работы и немало забот, но по тем же соображениям я держал их про себя. Теперь я далеко не уверен, что это было правильно, но я делал это ради своей жены-детки. Я совершенно искренен в этом повествовании и сознаю, что чего-то мне тогда нехватало, но это не вносило горечи в мою жизнь. Порой, гуляя один в хорошую погоду, я вспоминал о тех летних днях, когда самый воздух, казалось, был напоен моей юной восторженностью. И мне приходило в голову, что не всё из моих мечтаний осуществилось. По временам я чувствовал потребность иметь жену-товарища, с более сильным и настойчивым характером, которая могла бы поддержать меня и благотворно на меня влиять, заполняя подчас ощущаемую мною пустоту. Но мне казалось, что такое счастье невозможно в этом мире.

По годам я был мальчик. Я не знал еще других горестей, кроме рассказанных здесь. Если я наделал немало ошибок, виною этому была моя слепая любовь и неопытность.

Итак, я взял на себя одного все тяготы и заботы нашей жизни. Наше хозяйство шло почти так же, как прежде, но я привык к этому и с удовольствием видел, что Дора теперь редко огорчается. Она была беззаботно-детски весела, очень меня любила и была счастлива среди своих прежних забав.

Когда в парламенте затягивались прения и я поздно возвращался домой, Дора, услышав мои шаги, всегда спускалась встретить меня.

Если же мои вечера были свободны от стенографирования и я работал дома, она, как бы ни было поздно, тихо сидела возле меня и была так молчалива, что часто я спрашивал себя, не заснула ли она. Но стоило мне, бывало, поднять голову, и я видел ее голубые глаза, устремленные на меня с тем же спокойным вниманием, о котором я уже упоминал здесь.

— Бедный мальчик, как он устал! — воскликнула однажды ночью Дора, когда я, запирая стол, встретился с ней глазами.

— Вернее было бы сказать: «Бедная девочка, как она устала!», — отозвался я. — В другой раз, моя дорогая, вы должны ложиться спать, для вас это слишком поздний час.

— Нет, не отсылайте меня спать! — взмолилась Дора, прижимаясь ко мне. — Пожалуйста, не надо.

— Дора!

К моему изумлению, она рыдала у меня на плече.

— Вам нездоровится, моя дорогая? Вас что-то огорчает?

— Нет, я вполне здорова и очень счастлива, — сказала Дора, — но обещайте позволить мне сидеть возле вас и смотреть, как вы пишете.

— Что за зрелище для таких славных глазок в полночь! — возразил я.

— А они в самом деле славные? — спросила, смеясь, Дора. — Как я рада, что они славные!

— Вот тщеславная крошка! — воскликнул я.

Но это не было тщеславием: она простодушно радовалась тому, что я восхищаюсь ею. Я прекрасно знал это сам, раньше чем она сказала мне.

— Если вы находите мои глаза красивыми, скажите, что я могу всегда оставаться с вами и смотреть, как вы пишете. Вы и вправду находите их красивыми?

— Очень красивыми!

— Тогда позвольте мне всегда оставаться и смотреть, как вы пишете.

— Боюсь, что это повредит их красе, Дора!

— Напротив. Видите ли, мой умный мальчик, тогда вы хотя и уйдете в свои грезы, а все-таки не будете забывать меня. Но вы не рассердитесь на меня, если я скажу вам что-то глупое, очень глупое,

еще глупее, чем всегда? — прибавила Дора, заглядывая через плечо мне в глаза.

— Что это за диковинка? — спросил я.

— Пожалуйста, позвольте мне держать ваши перья, — сказала Дора: — я хочу быть чем-нибудь занята в те долгие часы, когда вы так трудитесь. Ну, так можно мне держать ваши перья?

При воспоминании, как ее прелестное личико засияло от радости, когда я согласился на это, у меня навертываются слезы на глаза. В следующий же раз, когда я сел писать, и всегда потом, как только я принимался за работу, она усаживалась на свое прежнее место с большой пачкой гусиных перьев. Торжествующий вид моей жены-детки от сознания, что она участвует в моей работе, ее восторг каждый раз, когда мне требовалось новое перо (а я частенько делал вид, что оно мне необходимо), навели меня на мысль, как еще можно ее порадовать. И вот время от времени я стал притворяться, что мне очень нужно переписать одну-две страницы моей рукописи. И тут Дора бывала наверху блаженства! Как она готовилась к этому великому делу! Надевала кухонный передник с нагрудником для защиты от чернильных пятен, затрачивала уйму времени, без конца останавливаясь, чтобы посмеяться с Джипом, точно песик понимал все происходящее. Она была убеждена, что ее работа не может быть законченной, пока она не подпишет своего имени внизу. А с каким школьническим видом приносила она мне свою работу! И, когда я хвалил ее, как она обнимала меня. Все это — трогательные для меня воспоминания, как бы ни казались они другим наивны...

Скоро после этого она прибрала к рукам ключи, и они звякали на весь дом в корзиночке, висящей у ее пояса.

Я редко находил что-либо запертым, и ключи были лишь игрушкой для Джипа. Но Доре это доставляло удовольствие, и этого было достаточно для меня. Она была совершенно удовлетворена этой видимостью хозяйничанья и была так весела, как будто мы с ней играли в кукольный дом.

Вот как мы жили. Дора была почти так же нежна с бабушкой, как и со мной, и часто вспоминала то время, когда боялась ее, считая «старой ворчуньей». Я никогда не видел, чтобы бабушка кому-нибудь так потворствовала, как Доре. Она ухаживала за Джипом, хотя тот никогда не был благосклонен к ней. День за днем она слушала игру

Доры на гитаре, совсем не будучи поклонницей музыки. Никогда не нападала на наших негодных служанок, хотя, наверное, соблазн был очень велик.

Она проделывала пешком огромные концы, чтобы сделать Доре сюрприз и доставить ей какой-либо пустяк, о котором та мечтала. Придя к нам через сад и не застав Дору внизу, она всегда останавливалась у лестницы и весело кричала на весь дом:

— Где же Цветочек?

## ***Глава XVI***

# ***ПРЕДСКАЗАНИЕ БАБУШКИ ОТНОСИТЕЛЬНО МИСТЕРА ДИКА СБЫВАЕТСЯ***

Прошло уже некоторое время с тех пор, как я перестал работать у доктора Стронга. Но, живя по соседству, я часто с ним виделся, и все мы два-три раза были у него на обеде и чае. Старый Полководец, теща, окончательно поселилась у доктора. Она осталась совершенно тою же, что и была, и те же бессмертные бабочки порхали над ее чепцом.

Подобно многим другим матерям, которых я знал в своей жизни, миссис Марклегем любила разные удовольствия больше, чем ее дочь. Она жаждала развлечений и, добиваясь их, делала вид (хитрый Старый Полководец!), что приносит себя в жертву своему ребенку. Желание доктора, чтобы Анни развлекалась, было весьма наруку этой чудесной мамаше, и она превозносила до небес благоразумие своего зятя.

Я не сомневаюсь, что, сама этого не зная, она, конечно, растревляла душевную рану доктора. Его страшила мысль, что он в тягость своей юной жене и между ними нет душевной близости. Теща усиливала в нем этот страх, усердно расхваливая его желание облегчить Анни бремя жизни.

— Дорогой друг, — как-то сказала она ему в моем присутствии, — вы несомненно понимаете, что для Анни было бы не очень весело постоянно сидеть здесь взаперти.

Доктор благодушно кивнул головой.

— Когда она будет в возрасте своей матери, — продолжала миссис Марклегем, играя веером, — дело будет иное! Посадите меня в тюрьму в обществе милых людей с колодой карт — и я не буду стремиться выйти оттуда. Но я — не Анни, и Анни — не ее мать.

— Конечно, конечно! — согласился доктор.

— Вы — лучший из людей! Нет, прошу вас (доктор сделал протестующее движение), я должна сказать вам в лицо, как всегда

говорю у вас за спиной, что вы — лучший из людей, но вы не можете, не так ли, иметь те же стремления и вкусы, что Анни?

— Не могу, — грустно проговорил доктор.

— Понятно, не можете, — подхватил Старый Полководец. — Возьмите, например, ваш словарь. Какой полезный, какой необходимый труд! Значение слов! Но ведь нельзя же ожидать, чтобы словарь, да еще незаконченный, мог интересовать Анни, не правда ли?

Доктор кивнул головой.

— Вот почему я так одобряю, — сказала миссис Марклегем, кокетливо ударяя зятя веером по плечу, — вашу заботливость. Это показывает, что вы не рассчитываете, как многие старики, найти старые головы на юных плечах. Вы изучили характер Анни и поняли его. Это, по-моему, восхитительно!

Под тяжестью этих комплиментов доктор Стронг, несмотря на свое спокойствие, болезненно морщился.

— Итак, мой дорогой доктор, вы можете распоряжаться мною во всякое время дня и года. Поймите, что я целиком к вашим услугам. Я готова ходить с Анни в оперу, на концерты, выставки, в любые места, и вы никогда не увидите меня уставшей. Долг, мой дорогой доктор, превыше всего в мире!

И маменька не изменила своему слову. Она была из тех людей, которые могут вынести множество развлечений, и она никогда не отступала перед ними. Взяв газету (она ежедневно в течение двух часов читала ее через лорнет, сидя в самом мягком во всем доме кресле), она почти всегда находила в ней то или другое, что Анни, по ее мнению, охотно посмотрела бы. Напрасно Анни протестовала, что она устала от всего этого. Мать всегда возражала ей:

— Дорогая Анни, вам, конечно, лучше знать, но я должна сказать вам, что вы недостаточно цените доброту доктора Стронга.

Обычно это говорилось в присутствии доктора, что, по моему мнению, больше всего и заставляло Анни уступать. Но часто она сразу подчинялась матери и шла туда, куда ее вел Старый Полководец.

Редко случалось теперь, чтобы мистер Мэлдон сопровождал их. Иногда моя бабушка и Дора получали приглашение составить им компанию и отправлялись с ними вместе. Прежде мне было бы не по душе отпускать Дору, но теперь, поразмыслив над тем, что в тот вечер



произошло в кабинете доктора, я изменил свое отношение: поверил, что доктор прав, и перестал подозревать его жену.

Иногда, когда мы с бабушкой оставались одни, она говорила мне, потирая нос, что ровно ничего не понимает в том, что происходит у Стронгов, что хотела бы видеть эту чету более счастливой, но не считает, чтобы «наш воинственный друг» (так она всегда называла Старого Полководца) мог способствовать этому.

Все свои надежды в этом деле она возлагала на мистера Дика. У этого человека, по ее мнению, была какая-то идея в голове, и, сумея он когда-либо уточнить и выразить ее, он должен был сделать что-то необыкновенное.

А между тем мистер Дик, не подозревая об этом предсказании, держал себя в отношении доктора и миссис Стронг совершенно так же, как и прежде.

Но однажды вечером, через несколько месяцев после моей женитьбы, мистер Дик просунул голову в комнату, где я, сидя один, писал (Дора с бабушкой отправилась на чай к тетушкам-птичкам), и спросил, многозначительно покашливая:

— Скажите, не помешаю ли я вам, Тротвуд, своим разговором?

— Конечно, нет, мистер Дик! Входите.

— Тротвуд! — сказал мистер Дик, пожав мне руку и приложив палец к носу. — Прежде чем сесть, я хочу сделать одно замечание. Вы знаете свою бабушку?

— Немножко знаю, — ответил я.

— Она — самая удивительная женщина в мире, сэр!

Выпалив эту фразу, мистер Дик сел с видом более серьезным, чем обычно, и посмотрел на меня.

— Теперь, мой мальчик, я собираюсь задать вам вопрос.

— Сколько вам угодно! — воскликнул я.

— Как смотрите вы на меня, сэр? — спросил мистер Дик, скрестив руки.

— Как на старого, дорогого друга.

— Благодарю вас, Тротвуд! — воскликнул мистер Дик, смеясь и вскакивая с очень веселым видом, чтобы пожать мне руку. — Но я, мой мальчик, другое имею в виду, — прибавил он, вновь делаясь серьезным. — Что вы думаете обо мне вот в этом отношении?.. (Он показал себе на лоб.)

Я был смущен, но он сам вывел меня из затруднения.

— Слабоват? — промолвил он.

— Ну, да, — ответил я нерешительно, — в этом роде...

— Именно так! — воскликнул мистер Дик, казалось, восхищенный моим ответом. — Видите ли, Тротвуд, когда из головы (вы знаете, чьей) вынули некоторые мучительные мысли и переложили их (вы знаете, куда), там образовался... — Тут мистер Дик быстро завертел руками, изображая хаотический беспорядок. — Вот что сделали со мной.

Я кивнул ему, и он мне также ответил кивком.

— Одним словом, мой мальчик, — проговорил Дик, понижая голос до шопота, — я глуповат.

Я хотел было смягчить этот вывод, но он остановил меня.

— Да, я глуп! Она уверяет, что это — не так. Она не хочет слышать об этом. Но я таков — сам знаю это. Не будь она моим другом, сэр, я уже давным-давно сидел бы взаперти, и моя жизнь была бы ужасна. Но я думаю о ней. Я никогда не трачу денег, заработанных перепиской, я откладываю их в копилку. Я сделал завещание и все оставляю ей. Она будет богата, — знатна!

Мистер Дик вынул носовой платок, вытер им глаза, тщательно сложил его, спрятал в карман и, казалось, перестал думать о бабушке.

— Вы учились, Тротвуд, — снова заговорил мистер Дик, — много учились и знаете, какой большой ученый и какой большой человек доктор. Вы знаете тоже, какую он мне всегда оказывал честь. Он совсем не гордится своей ученостью, он скромн. Скромн и снисходителен даже к бедному Дику — простаку и невежде. Я отправил его имя на клочке бумаги по бечевке змея, когда тот был в небе, среди чаек. Змей был рад получить его, сэр, а небо просто засияло!

Я привел его в восторг, с жаром сказав, что доктор действительно заслуживает нашего глубочайшего уважения и почтения.

— А его красавица-жена — звезда! — заявил мистер Дик. — Лучезарная звезда! Я видел ее сияние, сэр! Но... — тут он придвинул свой стул и положил мне на колено руку, — тучи, сэр, тучи...

Я сочувственно покачал головой.

— Что же это за тучи? — проговорил мистер Дик.

Он так пристально смотрел мне в лицо и так жаждал понять, что я постарался ответить как можно медленнее и отчетливее, словно объясняя ребенку.

— Между ними имеется, к несчастью, какое-то недоразумение, какой-то злополучный повод к расхождению, какая-то тайна. Быть может, здесь играет роль разница в годах. А могло также это возникнуть из-за какого-либо пустяка.

Мистер Дик с озабоченным видом кивал головой после каждой моей фразы, а когда я кончил, задумался, глядя мне в лицо и держа свою руку на моем колене.

— Но доктор ведь не сердился же на нее, Тротвуд? — спросил он немного погодя.

— Нет, он боготворит ее.

— Тогда, мой мальчик, я понял, в чем дело! — воскликнул мистер Дик.

В порыве радости он хлопнул меня по колену, откинулся на спинку стула и невероятно высоко поднял брови, так что я, больше чем когда-либо, усомнился в его рассудке. Так же внезапно он опять стал серьезным и снова, нагнувшись вперед, промолвил:

— А самая удивительная женщина на свете — почему она, Тротвуд, ничего не сделала, чтобы поправить дело?

— Слишком деликатное это дело, и потому трудно вмешаться в него.

— Ну, а такой высокоученый человек, — продолжал мистер Дик, дотрагиваясь до меня пальцем, — почему он ничего не сделал?

— По той же самой причине, — ответил я.

— Так теперь, мой мальчик, я знаю, в чем тут дело! — объявил мистер Дик.

И он выпрямился передо мною с еще более ликующим видом, закачал головой и раз за разом стал ударять себя в грудь.

— И вот бедняга, простак, слабоумный, словом — я, — заговорил мистер Дик, продолжая бить себя в грудь, — сделаю то, чего не могут сделать самые удивительные на свете люди. Я их сведу, мой мальчик! Попробую! Меня они не осудят. Мне они не будут возражать. На меня они не будут сердиться, если я и сделаю что-нибудь не так. Я ведь только мистер Дик. А кто обращает внимание на Дика? Дик — ничто! Фу! — презрительно дунул он, словно желая сдуть самого себя.

Хорошо, что он успел высказаться, так как в этот момент мы услышали стук экипажа, подъехавшего к воротам нашего садика, — это вернулись бабушка с Дорой.

— Ни слова, мой мальчик! — прошептал он. — Предоставьте все Дику! Простаку Дику! Сумасшедшему Дику! Я уже давно думаю, что начинаю понимать, а теперь совсем понял. После того, что вы сказали мне, я уверен, что понял. Все в порядке!

Мистер Дик не проронил больше ни слова, но в течение получаса изображал из себя телеграф и, очень волнуя этим бабушку, знаками давал мне понять, чтобы я не разглашал его тайну.

Будучи в достаточной мере заинтересован в том, что получится из попыток мистера Дика, в течение двух или трех недель ничего больше не слыша по этому поводу, я удивлялся, так как, не говоря уже о всегдашней доброте моего старого друга, на этот раз в его словах как бы блеснула искра здравого смысла. Но в конце концов я стал думать, что он при своей душевной болезни мог либо забыть, либо оставить свое намерение.

Однажды вечером мы вдвоем с бабушкой направились в коттедж доктора. Доре захотелось остаться дома. Стояла осень, не было парламентских прений, способных омрачить свежий вечерний воздух; запах сухих листьев напоминал мне наш сад в Блондерстоне, а ветер навевал былую грусть.

Когда мы подошли к коттеджу, уже смеркалось. Миссис Стронг как раз выходила из сада, где мистер Дик, вооруженный ножом, все еще помогал садовнику заострять колья. В кабинете у доктора сидел кто-то, но миссис Стронг сказала нам, что он сейчас освободится, и просила нас обождать. Мы прошли за ней в гостиную и в полутьме сели у окна. Между нами, как между старыми друзьями и соседями, никогда не существовало никаких церемоний.

Не пробыли мы в гостиной и нескольких минут, как поспешно вошла, суетливая, как всегда, миссис Марклегем с газетой в руках и прерывающимся голосом воскликнула:

— Боже мой, Анни! Почему вы не сказали мне, что в кабинете есть кто-то?

— Но, дорогая мама, — спокойно ответила та, — я не могла догадаться, что это может интересовать вас.

— Интересовать меня! — воскликнула миссис Марклегем, опускаясь на диван. — За всю мою жизнь со мной не случилось ничего подобного!

— Значит, вы были в кабинете, мама?

— Была, моя дорогая, — ответила та с пафосом, — была и застала этого прекрасного человека... вы только представьте себе мои чувства, мисс Тротвуд и Давид!.. застала за составлением своего завещания.

Дочь быстро оглянулась на нее.

— Да, за составлением духовного завещания... Какая предусмотрительность! Какая любовь! Я должна рассказать вам, как все это было! Право, мне нужно это сделать ради такого чудного человека! Так вот, слушайте... Вы, вероятно, знаете, мисс Тротвуд, что в этом доме не зажигают свечей, пока вы буквально не начинаете слепнуть над газетой, и во всем доме (кроме как в кабинете) нет стула, на котором можно было бы по-настоящему прочесть газету. Это и привело меня в кабинет, где я увидела свет. Открываю я дверь. Вместе с дорогим доктором стоят у стола два каких-то человека, как видно, юристы. У дорогого доктора в руке перо. До меня долетают слова: «Это просто доказывает, джентльмены (Анни, дорогая, вы послушайте только!), мое доверие к миссис Стронг, в силу которого я оставляю ей все мое состояние без всяких условий». Один из юристов повторяет: «Все состояние без всяких условий».

Тут я, как естественно для матери, бормочу: «Боже мой, боже! Прошу извинить меня», спотыкаюсь о порог и мчусь сюда...

Миссис Стронг открыла дверь и, выйдя на веранду, применилась к колонне.

— Ну, а теперь, мисс Тротвуд, и вы, Давид, скажите, не радостно ли встретить человека в возрасте доктора Стронга, сохранившего всю силу своего ума и способного поступить, как он! — с жаром воскликнул Старый Полководец. — Это только доказывает, как была права я, сказав Анни, когда доктор просил у меня ее руки, что он сделает для нее больше, чем обещает.

В это время раздался звонок и шум шагов уходящих посетителей.

— Ну, все кончено, без сомнения, — сказал, прислушиваясь, Старый Полководец. — Чудесный человек подписал, поставил печать,

отдал завещание на хранение и успокоился. Что за ум у этого человека! Анни, дорогая, теперь я иду в кабинет с моей газетой: я положительно несчастное существо без новостей!.. Мисс Тротвуд, Давид, милости просим к доктору!

Когда вслед за ней мы направились в кабинет, я в полумраке комнаты заметил мистера Дика, который в эту минуту складывал садовый нож. А бабушка, помнится, свой гнев на «воинственного друга» срывала на собственном носу, яростно растирая его. Не помню, кто первым вошел в кабинет и как миссис Марклегемент моментально уселась в свое кресло. Не помню и того, как мы с бабушкой оказались возле двери. Возможно, что она намеренно удержала меня у порога. Но помню, что мы увидели доктора за столом, посреди, его любимых фолиантов<sup>[18]</sup>, раньше, чем он заметил нас. Он спокойно сидел, склонив голову на руку. В этот момент в дверь скользнула бледная, дрожащая миссис Стронг. Мистер Дик поддерживал ее. Положив другую руку на плечо доктора, мистер Дик заставил его рассеянно повернуть голову. В этот момент Анни опустилась перед мужем на колени и, глядя на него, умоляюще подняла руки. При виде этого миссис Марклегемент уронила газету и так вытаращила глаза, что больше всего стала походить на статую «Удивление».

Как был ласков удивленный доктор! Какое достоинство сохраняла в своей умоляющей позе его жена! Какое трогательное участие проявлял мистер Дик! С каким серьезным видом бабушка шептала: «Вот вам и сумасшедший!» Я как будто сейчас все это вижу и слышу...

— Доктор! — обратился к нему мистер Дик. — В чем дело? Взгляните сюда!

— Анни! — воскликнул доктор. — Не надо, не надо! Встаньте, дорогая!

— Нет, не встану, — сказала она. — Я прошу и молю всех остаться. О муж мой и отец! Надо покончить с этим долгим молчанием! Выясним оба, наконец, что произошло между нами...

Миссис Марклегемент тем временем снова обрела дар речи и, исполненная фамильной гордости и материнского негодования, воскликнула:

— Анни! Немедленно встаньте и не унижайте своих родных подобным поведением, если не желаете, чтоб я сейчас сошла с ума!

— Мама, — отозвалась Анни, — не тратьте даром слов: я обращаюсь к своему мужу, и даже вы здесь не имеете голоса.

— Не имею голоса?! — воскликнула миссис Марклегем. — Я не имею голоса! Дитя потеряло рассудок! Дайте мне стакан воды!

Мое внимание было слишком приковано к доктору и его жене, чтобы откликнуться на ее просьбу; никакого впечатления она не произвела и на остальных, и ей оставалось только издыхать, таращить глаза, обмахиваться веером.

— Анни, — заговорил доктор, нежно обнимая ее, — моя дорогая! Если что-либо изменилось с течением времени в нашей семейной жизни, то в этом не приходится обвинять вас. Вина моя и только моя. Поверьте, ничто не изменилось в моей любви, восхищении и уважении к вам. Я хочу сделать вас счастливой. Я искренне люблю и почитаю вас. Встаньте, Анни! Прошу вас!

Но она не встала. Придвинувшись ближе, она поглядела на него, положила руку ему на колени и, склонив голову, сказала:

— Если у меня есть здесь друг, который может по этому вопросу сказать что-либо мне или моему мужу, если у меня есть здесь друг, который может во всеуслышание высказать подозрение, возможность существования которого порой тревожила меня, если у меня есть здесь друг, который почитает моего мужа или когда-либо был расположен ко мне, и он знает что-либо, могущее помочь нам, — я умоляю этого друга сказать свое слово!

Наступило глубокое молчание. После нескольких мгновений мучительных колебаний я заговорил:

— Миссис Стронг, — сказал я, — я знаю кое-что, о чем доктор Стронг убедительно просил меня молчать и о чем я не говорил до этой минуты. Я думаю, что настало время, когда дальнейшее молчание было бы ложной деликатностью. Ваш призыв освобождает меня от данного мною слова.

Она на мгновение повернула ко мне свое лицо, и я понял, что мне надо было так поступить.

— Наш будущий мир, — сказала она, — в ваших руках. Я свято верю, что вы ничего не скроете. Я заранее знаю, что ничто и никто не может набросить тень на благородное сердце моего мужа. А меня не бойтесь задеть. Потом я буду сама за себя говорить перед ним и перед богом.

И вот после такой мольбы, не испросив разрешения у доктора, я правдиво рассказал все, что произошло в тот вечер в этой самой комнате, лишь несколько смягчив грубые выражения Уриа Гиппа. Невозможно описать растерянный вид миссис Марклегем во время моего рассказа и те резкие восклицания, какими она время от времени прерывала его.

Когда я кончил, Анни несколько мгновений молчала, склонив голову. Затем она взяла руку доктора (он сидел все в той же позе), прижала ее к груди и поцеловала. Мистер Дик осторожно поднял ее, и, опираясь на него, она начала говорить, не сводя глаз с мужа.

— Все, что было у меня на душе со времени свадьбы, — тихо сказала она покорным и нежным голосом, — я раскрою перед вами. После того, что я теперь узнала, я не могла бы жить, скрывая что-либо.

— Ну что вы, Анни — ласково сказал доктор, — Я никогда не сомневался в вас, дитя мое! Не нужно, право, не нужно ничего говорить дорогая моя!

— Нет, очень нужно, — ответила она. — Нужно раскрыть целиком мое сердце перед великодушным и правдивым человеком, которого я, видит бог, год за годом, день за днем все больше, любила и уважала.

— Действительно! Если я вообще что-либо тут понимаю... — прервала миссис Марклегем.

— Ничего вы не понимаете, старая болтунья! — бросила негодующим шопотом бабушка.

— ...но позвольте мне заметить, что совершенно незачем входить в эти подробности, — докончила миссис Марклегем.

— Мама, никто, кроме моего мужа, не может судить об этом, — заявила Анни, не сводя глаз с лица доктора, — а он выслушает меня. Если же я скажу то, что вам больно будет слышать, мама, простите меня. Сама ведь я часто и подолгу страдала.

— Честное слово... — пробормотала миссис Марклегем.

— Когда я была очень юной, — начала Анни, — когда я была еще маленькой девочкой, мои первые сведения обо всем окружающем меня я почерпнула от терпеливого друга и учителя — друга моего покойного отца. Ничего я не могу вспомнить из того, что я знаю, не вспомнив об этом дорогом для меня человеке. И эти знания, думается



мне, не были бы для меня таким благом, получи я их из каких-либо других рук.

— Видите, она ни во что не ставит свою мать! — воскликнула миссис Марклегем.

— Это не так, мама, — сказала Анни, — но я отдаю ему должное. Я обязана сделать это. Когда я выросла, он для меня был все тем же. Я гордилась, что он интересуется мной. Я была глубоко, нежно, благодарно привязана к нему, Я смотрела на него, как на отца, руководителя. Похвала его была мне дороже всех похвал, а вера в него была так глубока, что, усомнись я во всех на свете, я не переставала бы верить ему. Вы сами знаете, мама, как я была молода и неопытна, когда вы неожиданно представили его мне в качестве жениха.

— И об этом говорила всем здесь по крайней мере пятьдесят раз, — заметила миссис Марклегем.

— Тогда молчите, ради бога, и не упоминайте больше об этом! — проворчала бабушка.

— Это являлось такой огромной переменой и в первый момент казалось мне такой утратой, — рассказывала Анни все тем же тоном, — что я волновалась и мучилась. Была я еще девочкой, и мне, видимо, жаль было своего привычного отношения к нему. Но ничто уже не могло вернуть прошлого. Я все-таки гордилась тем, что он счел меня достойной себя, и мы повенчались...

— В церкви святого Альфонса в Кентербери, — вставила миссис Марклегем.

— Чорт возьми эту женщину! — воскликнула бабушка. — Она никак не может успокоиться!

— Я никогда не думала, — продолжала Анни, краснея, — о том, что замужество принесет мне такие блага! Простите меня, мама, если я вам скажу, что вы первая подали мне мысль о том, что люди могут оскорбить его и меня жестоким подозрением, будто бы в нашем браке играли роль деньги.

— Я! — воскликнула миссис Марклегем.

— Ах, конечно, вы! — бросила бабушка. — И вам веером не отмахнуться от этого, друг мой воинственный!

— Это было первым несчастьем в моей новой жизни. Это явилось источником всех бесчисленных за последнее время огорчений, но поводом для них было не то, что вы думаете, великодушный мой муж:

у меня нет мысли, воспоминания или надежды, которые не были бы неразрывно связаны с вами.

Когда она говорила, сжимая руки, со взором, обращенным вверх, она казалась мне воплощением красоты и верности.

С этой минуты доктор не сводил с нее глаз, так же как и она с него.

— Я не упрекаю маму: она ничего не просила у вас для себя, и ее намерения были всегда безупречны, я уверена в этом, но я очень страдала, видя, как вас осыпали просьбами от моего имени и как вы были великодушно щедры, к огорчению мистера Уикфильда, так заботящегося о вашем благосостоянии. Как мучила меня мысль, что меня могут подозревать в том, будто я продала вам свою любовь! Я не в силах передать вам (а мама не может представить себе) весь мой ужас и тоску при одной этой мысли, в то время как я всегда сознавала, что день моей свадьбы был счастливейшим в моей жизни.

— Вот какова благодарность детей за заботу о них! — со слезами воскликнула миссис Марклегем.

— Именно в это время, — продолжила Анни, — мама была особенно озабочена судьбой моего кузена Мэлдона. Я была очень привязана к нему. (Она сказала это тихо, но без всякого колебания). В детстве мы были немного влюблены друг в друга. При других обстоятельствах я, быть может, даже уверила бы себя, что действительно люблю его, и, на свое несчастье, вышла бы за него замуж. Ничего не может быть печальнее брака, в котором у супругов нет единства взглядов и стремлений.

Меня поразили эти слова, точно в них было особенное значение и они могли иметь какое-то применение, о котором я еще не догадывался. «Ничего не может быть печальнее брака, в котором у супругов нет единства взглядов и стремлений», мысленно все повторял я.

— У нас с кузеном нет ничего общего, — продолжала Анни, — я давно уже поняла это. Не будь у меня столько других поводов быть признательной моему мужу, я была бы благодарна ему уже за одно то, что он спас меня от первого, ложного порыва моего неопытного сердца.

Говоря это, она стояла так же неподвижно, и голос ее был так же спокоен, но в нем звучала такая искренность, что нервная дрожь

пробежала у меня по телу.

— Когда вы были ради меня так щедры по отношению к нему, я страдала. Я считала, что было бы лучше с его стороны самому пробивать себе дорогу. Я говорила себе, что будь я на его месте, я поступила бы именно так, несмотря ни на какие трудности. Но все же я мирилась с этим до самого отъезда в Индию. А в этот вечер, при прощании, я убедилась в его неблагодарности и вероломстве. Тогда я заметила недоверие ко мне в глазах мистера Уикфильда и впервые прочла в них жестокое подозрение, омрачившее мою жизнь.

— Подозрение, Анни! — воскликнул доктор. — Нет! нет! нет!

— У вас его не было, я знаю, — возразила она. — В тот вечер я пришла к вам со своим горем и стыдом, собираясь рассказать вам, что под вашей кровлей родственник мой, ради меня благодетельствованный вами, говорил мне такие вещи, которых не должен был бы говорить мне даже при самом дурном обо мне мнении. Я хотела рассказать вам это, но у меня нехватило сил нанести вам такой удар, и я промолчала — и молчала до этой минуты.

Миссис Марклегем откинулась со стоном на спинку кресла и закрылась веером.

— С тех пор я не сказала ему ни одного слова, — иначе как в вашем присутствии и лишь тогда, когда это было необходимо, чтобы избежать объяснений. Прошли годы с тех пор. Доброта, с которой вы тайком помогали его карьере, а потом сообщали мне о его успехах, думая порадовать меня этим, только увеличивала мои страдания.

Она тихо опустилась к ногам доктора, хотя он и старался помешать этому, и, со слезами глядя на него, промолвила:

— Не прерывайте меня, дайте мне сказать еще несколько слов... Худо ли это, или хорошо, но, если б суждено было всему этому повториться, я, вероятно, опять поступила бы так же. Вы не можете понять, что значило любить вас и знать, что меня считают вероломной и что такое подозрение может казаться правдоподобным. Я была очень молода, и мне не у кого было спросить совета: мы с мамой совершенно расходились во всем, что касалось вас. Я замкнулась в себе, скрывая нанесенную мне обиду, потому что почитала вас всей душой и горячо желала, чтобы настал день, когда и вы сможете почитать меня.

— Анни! Чистая душа! Моя дорогая девочка! Этот день уже давно настал, и он кончится лишь вместе с моей жизнью.

— Еще последнее словечко!.. сегодня вечером я узнала причину совершившейся в вас перемены — перемены, которая так мучила меня. Подчас я почти догадывалась, в чем тут дело. Случайно я также узнала сегодня вечером, насколько вы, несмотря ни на что, доверяете мне. При всей моей любви и почтении к вам, я не надеюсь стать когда-либо достойной такого вашего доверия. Но я могу торжественно заявить, что я никогда, даже мимолетно, не подумала плохо о вас, никогда не поколебалась в своей любви и верности вам.

Она обняла его, и он склонил к ней голову.

— Прижмите меня к вашему сердцу, муж мой! Никогда не отталкивайте меня! Никогда не думайте и не говорите, что между нами существует неравенство: оно только в моих многочисленных недостатках. С каждым годом я все больше убеждалась в этом и все больше и больше ценила вас. Прижмите меня к своему сердцу, муж мой! Любовь моя — скала, и она непоколебима.

Среди наступившего молчания бабушка неспеша, торжественно подошла к мистеру Дику, обняла его и звонко поцеловала.

— Вы — замечательный человек, Дик! — с восхищением заявила бабушка. — И никогда не пытайтесь быть другим. Я лучше знаю вас.

Тут бабушка потянула его за рукав, кивнула мне, и мы трое тихонько выскользнули из кабинета и направились домой.

— Это, во всяком случае, осадит нашего воинственного друга, — заметила по дороге бабушка, — а я хорошо усну, не говоря уже о других поводах радоваться.

— Боюсь, она была в совершенном отчаянии, — сказал с состраданием мистер Дик.

— Что? Да разве вы видели когда-нибудь крокодила в отчаянии? — спросила бабушка.

— Не думаю, чтобы я когда-либо видел крокодила, — мягко ответил мистер Дик.

— У них вообще ничего не было бы, если бы не эта старая бестия, — убежденно сказала бабушка. — Как было бы хорошо, если бы некоторые маменьки оставляли в покое своих вышедших замуж дочерей и не преследовали их насильственной нежностью. Эти, маменьки, кажется, воображают, что в благодарность за то, что они

произвели на свет несчастных молодых женщин, — как будто те просили родить их, — они имеют право сживать их с этого света. А вы, Трот, о чем вы так задумались?

Я думал обо всем сказанном. Мне все вспоминались некоторые поразившие меня фразы: «Ничего не может быть печальнее брака, в котором у супругов нет единства взглядов и стремлений», «первый ложный порыв неопытного сердца», Но мы уже подходили к дому. Сухие листья шуршали под ногами. Дул осенний ветер.

## **Глава XVII**

### **ВЕСТИ**

Мне кажется, если память не обманывает меня, я был женат уже с год, когда однажды вечером, гуляя, проходил мимо дома миссис Стирфорт. Шел я, погруженный в мысли о книге, над которой усердно работал. Окрыленный успехом, я уже в то время принялся за свой первый роман. Живя по соседству, я иногда проходил мимо этого дома, правда, только в тех случаях, когда надо было сделать слишком большой круг, чтобы миновать его, но все-таки, в общем, это бывало нередко.

Обыкновенно, проходя, я ускорял шаги, едва бросая взгляд на дом. Он имел всегда одинаково мрачный, печальный вид. Ни одна из парадных комнат не выходила на дорогу. Узкие, с тяжелыми рамами, старинные окна и раньше не имели веселого вида, теперь же, постоянно закрытые, со спущенными шторами, они выглядели совсем зловеще. Крытая галерея вела через вымощенный плитам дворик к парадному входу, которым никогда не пользовались. Над этим входом было круглое окно, выходившее на лестницу, и хотя на нем, единственном в доме, не была спущена штора, но тем не менее своим мрачным видом оно гармонировало со всеми остальными. Не помню, чтобы когда-нибудь мне приходилось видеть свет в этом доме. Если бы я был случайным прохожим, мне, наверное, пришло бы в голову, что в нем лежит какой-то безродный покойник. А имей я счастье не быть посвященным в происходящее здесь, то, вероятно, постоянно видя всё в одном и том же неизменном состоянии, я дал бы волю своему пылкому воображению и окружил бы эту усадьбу самыми фантастическими вымыслами.

Теперь же я старался как можно меньше думать об этом доме. Но, увы, пройти мимо скорым шагом было легче, чем отогнать печальные мысли. А в этот вечер, помнится, вместе с грустными размышлениями, вызванными видом мрачного дома, нахлынуло на меня как-то особенно много воспоминаний детства и более поздних мечтаний, вставали тени полузародившихся надежд, смутно

сознавались разочарования, и все это как-то смешивалось с образами героев романа, над которыми я работал.

Шел я в мрачном настроении, как вдруг голос, назвавший меня, заставил вздрогнуть. Это был женский голос, и я без труда узнал маленькую служанку миссис Стирфорт, украшавшую, бывало, свой чепец голубыми лентами. Теперь, очевидно, чтобы примениться к новому царящему в доме духу, она заменила веселые голубые ленты мрачными бантами коричневого цвета.

— Будьте так добры, сэр, зайти к нам переговорить с мисс Дартль, — сказала девушка.

— Это мисс Дартль послала вас за мной? — спросил я.

— Сегодня, сэр, она меня не посылала, но это все равно. На днях мисс Дартль видела, как вы проходили подле нас, и приказала мне сидеть на лестнице с работой и, когда вы будете идти, попросить вас зайти и переговорить с ней.

Я повернул назад и дорогой спросил девушку, как поживает миссис Стирфорт. Она ответила, что ее барыня чувствует себя плохо и редко когда выходит из своей комнаты.

Приведя меня в сад, девушка сказала, что мисс Дартль здесь и предоставила мне самому найти ее. Мисс Дартль сидела на стуле у края террасы, откуда открывался вид на Лондон. Вечер был пасмурный, у неба был какой-то белесоватый отблеск. Неясно виднелся вдали огромный город, и только более крупные его здания вырисовывались в каком-то зловещем освещении. У меня мелькнуло в голове, что вид этот совершенно гармонирует с душой сидевшей здесь бешеной женщины.

Увидев меня, Роза на мгновение поднялась, чтобы поздороваться со мной. Она показалась мне более бледной и худой, тем в последнюю нашу встречу, а ее черные зловещие глаза сверкали еще ярче, шрам вырисовывался еще яснее.

Встреча наша была далеко не сердечна. Мы ведь недружелюбно расстались с нею и в последний раз, а теперь вся фигура ее дышала презрением, и скрыть это она вовсе не старалась.

— Мне передали, что вы желаете говорить со мной, мисс Дартль, — начал я, уклонившись от приглашения сесть. Я стоял перед ней, положив руку на спинку стула.

— Скажите, пожалуйста, — проговорила она, — что, эту девушку уже разыскали?

— Нет!

— А между тем она убежала.

Когда мисс Дартль сказала это, глядя на меня, губы ее стали подергиваться, словно она жаждала осыпать несчастную Эмилию самыми позорными обвинениями.

— Убежала?.. — спросил я.

— Да, от него! — со смехом сказала Роза. — И если она до сих пор не найдена, то, верно, ее уже и не найдут. Должно быть, ее нет в живых.

Никогда не видывал я ни у одного человека такого надменно-жесточкого взгляда, какой мисс Дартль устремила на меня.

— Желать ей смерти есть наилучшее пожелание, какое ей может сделать женщина, — сказал я, — и я рад, что время так смягчило вас, мисс Дартль.

Она не удостоила меня ответом, а, презрительно усмехнувшись, сказала:

— Друзья этой прелестной, так жестоко оскорбленной молодой леди — ваши друзья. Вы ведь рыцарь, ломающий свои копья за них. Не угодно ли вам узнать то, что известно о ней?

— Да, — ответил я.

Она встала со злобной улыбкой и, подойдя к живой изгороди из остролистника, отделявшей лужайку от огорода, громко крикнула: «Сюда!» таким тоном, словно звала какие-нибудь поганое животное.

— Надеюсь, мистер Копперфильд, что вы здесь воздержитесь от всякого проявления рыцарской мести, — проговорила она, все с тем же презрительным видом глядя на меня через плечо.

Я утвердительно кивнул головой, не понимая, что она имеет в виду.

— Сюда! — еще раз крикнула она, и тут вскоре появился почтенный Литтимер.

Он поклонился мне с не меньшим, чем всегда, достоинством и стал позади мисс Дартль. У нее же, когда она уселась между нами, был злобно-торжествующий вид, к которому, как ни странно, примешивалось что-то женственное, обольстительное, — она напоминала мне злую принцессу волшебных сказок.



— Ну, теперь, — промолвила она, не глядя на Литтимера и касаясь рукой своего рубца, вздрагивающего скорее от удовольствия, чем от боли, — расскажите мистеру Копперфильду, что вы знаете о побеге.

— Мы с мистером Джемсом, мисс...

— Не обращайтесь ко мне, — нахмурившись, остановила она Литтимера.

— Мы с мистером Джемсом, сэр...

— Пожалуйста, и ко мне не обращайтесь, — сказал я.

Мистер Литтимер, несколько не смущаясь, слегка поклонился, как бы говоря этим, что все, приятное для нас, приятно так же для него, а снова начал:

— Мы с мистером Джемсом и его девушкой, находящейся под его покровительством, время с тех пор, как она покинула Ярмут, были за границей. Мы побывали в разных местах и видели многое в чужих странах. Жили мы во Франции, Швейцарии, Италии, можно сказать — всюду.

Он глядел на спинку стула, словно обращаясь к ней, и наигрывал на ней пальцами, как бы на немом рояле.

— Мистер Джемс был необыкновенно привязан к этой молодой женщине — продолжал рассказывать Литтимер, — и долго вел себя гораздо степеннее, чем когда либо с тех пор, как я поступил к нему на службу. Молодая женщина преуспевала; она выучилась говорить на языках тех стран, где мы жили, никто не узнал бы в ней прежней деревенской девушки. Я видел, как ею восхищались всюду, куда только мы ни приезжали.

Мисс Дартль взялась рукой за сердце, а Литтимер украдкой посмотрел на нее и слегка про себя усмехнулся.

— Да, все ею восхищались, — повторил он. — Уж не знаю, право, одевалась ли она так хорошо, солнце ли и воздух на нее так подействовали, или, быть может, потому, что она была окружена таким вниманием, но только положительно все на нее заглядывались.

Тут Литтимер сделал короткую паузу, а мисс Дартль беспокойно глядя на расстилающийся вдали Лондон, закусила нижнюю губу, как будто для того, чтобы заставить себя молчать.

Мистер Литтимер снял руки со спинки стула, сложил их вместе, оперся все тяжестью на одну ногу, потупил глаза в землю и, пригнув

немного свою почтенную голову, снова заговорил.

— Так молодая женщина жила некоторое время, порой впадая в подавленное состояние духа. Наконец, как видно, ее стоны и сцены начали надоедать мистеру Джемсу, и вот жизнь у них пошла не так уж приятно, как раньше. Мистер Джемс снова стал неугомонным, и чем делался он неугомоннее, тем больше начинала она грустить. И здесь я должен сказать: трудная настала для меня пора. Тем не менее первое время все кое-как улаживалось, и вообще, мне кажется, это протянулось дольше, чем кто-либо мог ожидать.

Мисс Дартль перестала плядеть в даль и посмотрела на меня с тем же злобно-презрительным, торжествующим видом. Мистер Литтимер откашлялся, благопристойно закрыв рот рукой, оперся на другую ногу и продолжал:

— Наконец, после многих неприятных разговоров и упреков, мистер Джемс в одно прекрасное утро уехал. Мы тогда жили на вилле в окрестностях Неаполя, так как она очень любила море. Ей он обещал вернуться скоро — через день-другой, но мне поручил покончить с этим делом и сказать ей, что, дескать, он для общего блага, — тут Литтимер еще раз откашлялся, — уехал навсегда. Но должен заметить, что мистер Джемс в этом деле повел себя чрезвычайно благородно: он предложил молодой особе выйти замуж за почтенного человека, который готов был совершенно забыть ее прошлое и являлся несомненно хорошей партией для нее, вышедшей из простонародья.

Он переступил с ноги на ногу и смочил языком губы. Для меня лично не было сомнения в том, что этот мерзавец говорил о себе, а взглянув на мисс Дартль, я понял, что и она была того же мнения.

— И это также мне надо было ей сообщить, — добавил Литтимер. — Я готов был на все, лишь бы вывести мистера Джемса из его затруднительного положения и водворить мир между ним и горячо его любящей матушкой, столько перенесшей из-за этого увлечения. Вот почему я и взялся выполнить подобное поручение. Когда я сообщил молодой особе о том, что мистер Джемс совсем уехал, она пришла в неистовство, превзошедшее все наши ожидания: казалось, она совершенно сошла с ума. Пришлось прибегнуть к силе, иначе она покончила бы с собой: или заколола бы себя кинжалом, или бросилась бы в море, или разбила бы себе голову о мраморный пол.

Мисс Дартль с сияющим лицом откинулась на спинку стула. Она, видимо, наслаждалась каждым звуком, вылетавшим из уст этого негодяя.

— Но когда я выполнил вторую часть данного мне поручения, — снова заговорил Литтимер, беспокожно потирая себе руки, — то тут она уж показала себя в истинном свете. Мне кажется, что в таком предложении всякий усмотрел бы только доброе намерение, но куда там! Она разразилась такой бранью, какой я в жизни своей не слыхивал, и вообще вела себя удивительно скверно. Одним словом, она проявила не больше благодарности, чувства терпения и благоразумия, чем какая-нибудь колода или камень. Не прими я некоторых мер, она, пожалуй, еще зарезала бы меня.

— Это делает ей честь! — вырвалось у меня с негодованием.

Литтимер наклонил голову, как бы говоря этим: «В самом деле, сэр? Но вы еще очень молоды», и невозмутимо возобновил свое повествование.

— Короче говоря, нужно было на некоторое время удалить от нее все, чем она могла нанести вред себе и другим, и подержать ее взаперти. И вот, несмотря на все это, она ночью сбежала: выломала жалюзи на окнах, которые я собственноручно забил гвоздями, и спустилась по виноградной лозе, вьющейся вдоль фасада нашей виллы. С тех пор никто не видел ее и не слышал о ней.

— Быть может, ее уже нет в живых, — проговорила мисс Дартль с такой улыбкой, словно она уже попирала ногами труп загубленной девушки.

— Она могла утопиться, мисс, — сказал Литтимер, — это очень вероятно. Но возможно также и то, что ей оказали помощь местные рыбаки, их жены и дети. Она ведь, мисс Дартль, очень любила низкое общество и частенько сживала с семьями рыбаков на берегу, близ их лодок. Бывало, когда мистер Джемс отлучался, она таким образом проводила целые дни. Помню, мистер Джемс даже очень был недоволен, узнав, что она рассказала здешним детям о том, что она также дочь рыбака и в детстве на родине, подобно им, любила бродить по морскому берегу.

О Эмилия! Несчастливая красавица! Какая картина пронеслась тут перед моими глазами! Я видел ее сидящей на далеком морском берегу, окруженной детьми, такими же невинными, как была она сама когда-

то. Она прислушивалась к их милым голосам, думая о том, что и ее какая-нибудь крошка могла называть «мамой», выйди она замуж за бедного человека...

Прислушивалась она к могучему голосу моря, вечно повторяющему: «Никогда больше!»

— Когда уже стало ясно, что делать больше нечего, мисс Дартль...

— Я ведь сказала вам — не обращаться ко мне! — перебила Литтимера Роза, сурово и с презрением глядя на него.

— Вы сами изволили обратиться ко мне, — ответил Литтимер, — Прошу прощения. Моя обязанность — повиноваться.

— Ну, так исполняйте свою обязанность, — проговорила она, — заканчивайте свой рассказ и уходите.

— Когда стало ясно, — начал снова, Литтимер, чрезвычайно почтительно и кланяясь с покорным видом, — что разыскать ее невозможно, я отправился туда, куда мистер Джемс велел адресовать ему письма, и сообщил моему хозяину обо всем случившемся. Тут между нами произошло неприятнейшее столкновение, и мое достоинство не позволило мне больше оставаться у него. Я мог многое терпеть от мистера Джемса и немало вытерпел, до на этот раз он зашел слишком далеко: мистер Джемс ударил меня. Зная о печальном разладе между ним и его матерью, а также понимая, как она должна беспокоиться, я взял на себя смелость вернуться на родину и рассказать...

— За деньги, которые я дала ему, — вставила мисс Дартль, обращаясь ко мне.

— Совершенно верно, мэм, подтвердил Литтимер. — Итак, я вернулся, чтобы рассказать все, что мне было известно. Не знаю, что я могу еще прибавить, продолжал он, немного подумав. — Разве только то, что в настоящее время я без места и был бы очень рад найти какое-нибудь приличное занятие.

Мисс Дартль взглянула на меня, словно хотела спросить, не желаю ли я предложить Литтимеру еще какой-нибудь вопрос, и так как у меня было что спросить, то я сказал:

— Я бы хотел узнать от этой твари (я не был в состоянии выразиться более мягко), было ли перехвачено письмо, посланное «ей» из дому, или он предполагает, что «она» получила его?

Литтимер стоял невозмутимо спокойно и молчал, спустив глаза в землю и приложив кончики пальцев правой руки к кончикам пальцев левой.

Мисс Дартль с презрительным видом повернула к нему голову.

— Извините, мисс, — сказал он, как бы выходя из своей задумчивости, — я, правда, обязан служить вам, но у меня есть свое достоинство, хотя я и не более как лакей. Мистер Копперфильд и вы, мисс, каждый сам по себе. Если мистеру Копперфильду угодно узнать от меня что-либо, то я беру на себя смелость напомнить ему, что он сам может обратиться ко мне с вопросом. Ронять своего достоинства я не должен.

После мгновенной борьбы с собой я, взглянув на него, проговорил:

— Вы слышали, о чем я спрашивал. Если вам так хочется, считайте, что вопрос был обращен к вам. Что вы ответите мне на это?

— Сэр, — начал он, то сводя, то разводя свои холеные пальцы, — мой ответ может быть только неопределенен. Сообщать тайны мистера Джемса его матери или вам — это вещи разные. Вообще же говоря, мне кажется маловероятным, чтобы мистер Джемс поощрял получение писем, которые могли только усилить тоску и неприятные сцены. Больше этого я не хотел бы говорить, сэр.

— Это все, что вы хотели знать? — спросила меня мисс Дартль.

— Мне больше нечего ему сказать, — ответил я и, видя, что он уходит, прибавил: — кроме того, что я прекрасно понимаю, какую роль этот субъект играл в злополучной истории, и советую ему не очень-то показываться на глаза честнейшему человеку, который с раннего детства заменял ей отца, ибо ему все будет сообщено мною.

Как только я заговорил, Литтимер остановился и, выслушав меня, со своим обычным спокойствием сказал:

— Благодарю вас, сэр, но простите меня, если я замечу вам, что в нашей стране нет ни рабов, ни рабовладельцев и самоуправничать никому не разрешается. И мне, кажется, что тот, кто нарушает чаконы, подвергается сам наибольшей опасности. Вот почему, сэр, я несколько не буду бояться ходить всюду, где мне только заблагорассудится.

Проговорив это, он вежливо поклонился мне, а затем мисс Дартль и удалился через ту самую арку в изгороди из остролистника, откуда и появился.

Мы с мисс Дартль некоторое время молча смотрели друг на друга. Вид у нее был тот же, высокомерно-презрительный.

— Он еще рассказывал, — промолвила Роза, сжав презрительно губы, — что, по слухам, его хозяин плавает у берегов Испании и намерен тешиться морским спортом, пока ему не надоест. Но вас это, конечно, мало интересует. Между двумя этими гордыми существами — матерью и сыном — пропасть еще шире, чем раньше, и очень мало надежды на их примирение. Они, как две капли воды, похожи характерами друг на друга, а чем дальше, тем оба они делаются все упрямее и властнее. Это тоже, я знаю, для вас мало интересно, но оно служит как бы вступлением в то, что я хочу сказать вам. Эта чертовка, из которой вы склонны делать ангела, — я говорю о дрянной девчонке, которую он где-то подобрал среди морской тины, — быть может, еще жива; такие подлые твари ведь очень живучи, — прибавила она, обжигая меня своими горящими глазами и подняв со злобой палец. — А если только она жива, то вы, конечно, будете стараться, чтобы эта драгоценная жемчужина была найдена, и о ней позаботитесь. Мы представьте, также желаем этого, боясь, чтобы он как-нибудь случайно снова не стал ее добычей. Как видите, наши интересы здесь сходятся, и вот потому я, при своей жажде сделать наибольшее зло, какое только способна вынести такая низкая тварь, тем не менее сама послала за вами, чтобы вы выслушали все, что здесь вам было рассказано.

По внезапной перемене в ее лице я догадался, что к нам кто-то подходит. Это была миссис Стирфорт. Она подала мне руку холоднее, чем в былые времена, и держала себя еще более величественно, чем раньше, но все-таки от меня не укрылось (и это меня тронуло), что она не могла забыть моей любви к ее сыну. Миссис Стирфорт очень изменилась. Ее прекрасная фигура не была уж так стройна, на красивом лице появились глубокие морщины, а волосы почти совсем поседели. Но когда миссис Стирфорт уселась на скамейку, она все еще производила впечатление очень красивой женщины, и взгляд ее блестящих глаз был попрежнему горд и величествен.

— Все ли уже известно мистеру Копперфильду, Роза? — спросила она.

— Да, все.

— И все это он слышал от самого Литтимера?

— Да, и я объяснила ему, почему именно вы желали этого.

— Вы славная девушка, Роза, — проговорила миссис Стирфорт, а затем обратилась ко мне: — Мы время от времени переписывались с вашим бывшим другом, сэра, но это не вернуло его к сознанию сыновнего долга. Поэтому у меня нет иной цели, кроме той, о которой вам говорила Роза. Если одновременно можно утешить того почтенного старика, которого вы мне тогда приводили (я искренне жалею его, — единственное, что могу сказать), и спасти моего сына от опасности снова попасть в сети этой интриганки, то это будет прекрасно.

Она выпрямилась и устремила взгляд вдаль.

— Мэм, — сказал я ей, почтительно, — я все понимаю и смею вас уверить, что ваши намерения не будут мною истолкованы как-нибудь иначе. Но я, который знаю эту глубоко оскорбленную семью с самого детства, должен сказать вам, что если вы не считаете эту девушку жестоко обманутой, если вы не уверены, что она предпочла бы сто раз умереть, чем взять теперь хотя бы стакан воды из рук вашего сына, — то, доверьте, вы жестоко ошибаетесь!

— Оставьте, Роза! Оставьте! — сказала миссис Стирфорт, видя, что та собирается возразить. — Это не имеет значения. Пусть будет так... Я слыхала, что вы женились, сэра?

Я ответил, что, действительно, недавно женился.

— И, кажется, вы преуспеваете? Хотя я и живу в уединении, но все-таки до меня дошли слухи о том, что вы начинаете приобретать громкую известность.

— Счастье мне улыбнулось, — сказал я, — и порой вокруг моего имени слышатся похвалы.

— У вас ведь нет матери? — спросила она меня более мягким тоном.

— Да, мэм, у меня нет матери.

— Очень жаль, — она гордилась бы вами. Прощайте!

Я пожал ее руку, протянутую мне с таким величественным, непреклонным видом, словно на душе у нее царило полное спокойствие. Гордость этой женщины, казалось, могла влиять на самое биение ее пульса, могла опустить на ее лицо завесу спокойствия, сквозь которую она бесстрастно взирала в беспредельную даль.

Когда я, простившись с ними, проходил мимо террасы, мне невольно бросилось в глаза, как пристально обе женщины смотрели вдаль и как вокруг них все сгущался мрак. Вдали, в городе, там и сям начинали мерцать первые уличные фонари, в то время как на западе еще догорал бледный свет. С ближних равнин поднимался густой, словно море, туман и, казалось, готов был затопить обе сидящие фигуры. Я никогда не забуду этой мрачной картины и всегда думаю о ней с ужасом, ибо, до того как я снова встретился с этими двумя женщинами, бушующее море разбило их жизнь.

Раздумывая об услышанном, я решил, что необходимо все это сообщить мистеру Пиготти. На следующий же вечер я отправился в Лондон, надеясь найти его там. Старик попрежнему бродил с места на место, продолжая поиски племянницы, но все-таки чаще всего бывал в Лондоне. Он занимал ту самую квартирку над свечной лавкой, о которой мне не раз приходилось упоминать и откуда он начал свои подвижнические странствования. Туда я и отправился. От соседей мистера Пиготти я узнал, что он еще никуда не уходил и я найду его наверху, в его комнате.

Он читал у окна, уставленного горшками с цветами. Комната содержалась в частоте и порядке. Мне сейчас же бросилось в глаза, что здесь, видимо, всегда все было готово для Эмилии и ее дядя никогда не выходил без мысли, что, может быть, приведет ее домой. Мистер Пиготти не слышал моего стука и оглянулся только тогда, когда я положил ему руку на плечо.

— Мистер Дэви! Благодарю вас, сэр! Горячо благодарю за ваше посещение! Добро пожаловать, сэр!

— Мистер Пиготти, — начал я, садясь на поданный им мне стул, — не хочу вас обнадеживать, но все-таки кое-что новое могу сообщить вам.

— Об Эмми?

Он нервно приложил руку ко рту и, побледневши, вопросительно взглянул на меня.

— Из того, что я узнал, не видно, где она, но одно несомненно — она уже не с ним.

Продолжая пристально смотреть на меня, он опустил на стул и с глубоким вниманием стал слушать мой рассказ. Никогда не забуду достоинства и даже, можно сказать, красоты его степенного,



серьезного лица, когда он, отведя от меня глаза, опустил их в землю и склонил голову на руку. Все время, пока я говорил, он ни разу не прервал меня. Казалось, в моем рассказе он следил только за образом своей племянницы, а все остальное для него не существовало. Когда я кончил, он закрыл лицо руками и продолжал молчать, а я в это время смотрел в окно и разглядывал цветы.

— Что вы думаете насчет этого, мистер Дэви? — наконец проговорил он.

— Мне кажется, она жива, — ответил я.

— Не знаю. Быть может, удар был слишком силен, неожидан, и она в отчаянии... А это голубое море, о котором она так часто любила говорить... Неужели она не переставала думать о нем только потому, что ему суждено было стать ее могилой?

Он это сказал задумчиво, сдавленным, как бы испуганным голосом, прохаживаясь по комнате.

— Но все-таки, — прибавил он, — я чувствую, мистер Дэви, что она жива. Что-то и на яву и во сне говорит мне, что я найду ее. Эта мысль всегда поддерживала и укрепляла меня, и я не хочу думать, что она была обманчива. Нет, Эмми жива!

Он энергично оперся о стол, и его загорелое лицо дышало смелостью и решимостью.

— Моя племянница Эмми жива, сэр, — сказал он уверенным тоном. — Не могу объяснить, откуда и как мне это известно, но что-то говорит мне, что она жива!

Когда он произносил эти слова, он казался человеком, вдохновленным свыше. Я обождал еще несколько мгновений, чтобы дать ему время успокоиться, а затем решил поделиться с ним пришедшей мне вчера в голову мыслью о мерах предосторожности, которые было бы благоразумно принять на всякий случай.

— Дорогой мой друг... — начал я.

— Благодарю вас, сэр, благодарю! — воскликнул старик, схватив мою руку обеими руками.

— ... если она явится в Лондон, — продолжал я, — что очень вероятно, так как где можно лучше скрыться, как не в этом огромном городе... а что ей остается делать, как не затеряться и скрыть свои следы, раз она не захочет вернуться домой?

— А этого она не захочет, — проговорил старик, печально качая головой, — Она, быть может, и вернулась бы, если б сама ушла от него, но при таких обстоятельствах ни за что не захочет этого сделать.

— Так вот, если она здесь появится, — повторил я, — то никто на свете не сможет ее скорее разыскать, чем одна особа. Помните ли вы... но будьте тверды и думайте только о том, какая перед вами важная цель... Помните Марту?

— Нашу землячку?

Я увидел по его лицу, что он не забыл ее.

— А известно ли вам, что она в Лондоне? — спросил я.

— Я встречал ее здесь на улицах, — ответил мистер Пиготти дрожащим голосом.

— Но вы не знаете, — продолжал я, — что задолго до своего бегства Эмилия при помощи Хэма благодетельствовала ее. Не знаете вы также и того, что когда мы с вами, помните. здесь встретились и беседовали в трактире, она подслушивала нас у дверей.

— Да что вы, мистер Дэви! В ту самую ночь, когда шел такой сильный снег?

— Да, именно в ту ночь. С тех пор я ни разу не видел ее. Расставшись тогда с вами, я вернулся, чтобы поговорить с нею, но ее уже не было. Мне в тот вечер не хотелось говорить с вами о ней, да и теперь неохота, но думаю, что она может помочь нам в розысках и с ней следует повидаться. Вы меня поняли?

— Понял, сэр! Слишком хорошо понял, — ответил старик. Тут мы невольно понизили голос и почти шопотом продолжали наш разговор.

— Вы говорите, мистер Пиготти, что встречали ее? Думаете ли вы, что сможете разыскать ее? Мне лично в этом деле мог бы помочь только случай.

— Мне кажется, мистер Дэви, что я знаю, где ее нужно искать.

— Так не попробовать ли нам вместе сейчас же поискать ее? — предложил я. — Уже стемнело.

Он согласился и немедленно стал собираться. Делая вид, будто я не обращаю внимания на его приготовления, я прекрасно заметил, как тщательно убрал он свою маленькую комнатку, наконец вынул из комода одно из платьев Эмилии (я даже, помнится, видел это платье на ней), еще какие-то ее вещи, шляпку и все это положил на стул. Ни

старик, ни я не заикнулись о сделанных приготовлениях. Несомненно, что много ночей ждали ее здесь эти вещи.

— Было время, мистер Дэви, — сказал он мне, спускаясь по лестнице, — когда я смотрел на эту Марту, как на грязь под ногами моей Эмми. Да простит меня господь за это! Теперь — совсем другое...

Дорогой я спросил его о Хэме, отчасти, чтобы поддержать разговор, а отчасти потому, что интересовался, как живет его племяннику.

Мистер Пиготти почти в тех же выражениях, как при первом нашем свидании, рассказал мне, что Хэм все также изо дня в день влачит свою жизнь, ни в грош ее не ставя, но никогда ни на кого не ропщет и пользуется общей любовью.

Я спросил его, не знает ли он, как относится Хэм к виновнику всех их несчастий. Можно ли опасаться чего-нибудь в этом отношении? Как бы, например, по его мнению, поступил Хэм, если бы они встретились?

— Не знаю, сэр, — ответил он, — я сам не раз думал об этом, но не могу тут разобраться. Да это и неважно.

Я напомнил ему то утро после ее побега, когда мы все трое были на берегу.

— Вы не забыли, — сказал я, — как странно Хэм смотрел тогда на море и сквозь зубы сказал: «Там конец»?

— Ну, конечно, помню.

— Как вы думаете, что хотел он этим сказать? — опять спросил я.

— Я, мистер Дэви, много раз задавал себе этот вопрос, да так и не нашел на него ответа. И вот удивительно, что как ни мил он со мной, а я, представьте, никак не могу заговорить с ним об этом. Такие думы, как его, мистер Дэви, не лежат, так сказать, на поверхности воды, а запрятаны глубоко на дне, и там мне никак их не разглядеть.

— Вы правы, — заметил я, — но подчас это меня беспокоит.

— И меня, признаться, тоже, мистер Дэви, и даже больше, чем его теперешняя страсть рисковать своей жизнью. Не знаю уж, способен ли племянник отомстить обидчику, но хочу надеяться, что они никогда в жизни не встретятся.

Мы вошли в Сити. Разговор наш прервался. Мистер Пиготти шел рядом со мной, очевидно погруженный в мысли о единственной цели своей жизни. С этими своими мыслями он мог чувствовать себя в полном одиночестве и среди самой шумной толпы. Мы уже подходили к Блекфрайерскому мосту, когда мистер Пиготти вдруг повернулся ко мне и указал на одинокую женскую фигуру, быстродвигающуюся по другой стороне улицы. Я тотчас же узнал в ней ту, которую мы искали.

Мы перешли через улицу и стали нагонять ее, когда мне пришла мысль, что будет лучше поговорить с нею в более уединенном месте, вдали от толпы. Я сейчас же посоветовал моему спутнику пока не заговаривать с нею, а только идти вслед за ней. Ко всему, еще у меня было смутное желание узнать, куда именно она направляется.

Мистер Пиготти согласился со мной, и мы пошли за Мартой, не теряя ее из виду, но все-таки стараясь держаться на некотором расстоянии, так как она частенько оглядывалась. Один раз она остановилась, чтобы послушать музыку, и мы тоже остановились.

Долго шла она, и мы за ней. По ее походке было видно, что она идет в определенное место. Наконец она свернула в глухую, темную улицу, где не было ни шуму, ни толкотни.

— Теперь можно с ней поговорить, — сказал я, и, ускорив шаг, мы стали догонять ее.

## *Глава XVIII*

### *МАРТА*

Мы шли за Мартой по кривым, темным, грязным улицам, прячась по возможности в тени домов, но держась поближе к ней. Я сначала думал, что она спешит в какой-то определенный дом, и даже смутно надеялся, что мы найдем там след той, которую разыскивали. Но, когда я заметил впереди зеленоватую воду Темзы, я почувствовал, что девушка не пойдет дальше. Одинокая, печальная, она остановилась на мрачном и пустынном берегу, глядя на воду.

Там и сям в береговой тине лежали лодки и баржи, и это дало нам возможность незаметно подойти к Марте и стать в нескольких шагах от нее. Я сделал мистеру Пиготти знак остаться в тени, а сам направился к ней. Не без трепета сделал я это. Одна-одинешенька стояла она в тени железного, с арками, моста и смотрела на отсвет огней в бурных водах реки.

Унылый вид этого места, то, что она так стремилась сюда, и ее поза — все это внушало мне невольный страх.

Она как будто говорила сама с собой. Не отрывая глаз от воды, она сбросила с плеч свою шаль и нервно, точно в сомнамбулическом состоянии<sup>[19]</sup>, закутывала ею руки. Видя ее дикие движения (никогда не забуду этого!), я испугался, что она сейчас бросится в воду, и схватил ее за руку, назвав по имени.

Она вскрикнула и стала так вырываться, что едва ли я один удержал бы ее, если бы мне на помощь не пришли более сильные руки. Испуганно подняв глаза, она узнала мистера Пиготти и, рванувшись еще раз, свалилась на землю между нами. Мы отнесли ее подальше от воды и положили на сухие камни. Она плакала и стонала. Немного погодя она уже сидела среди камней, охватив обеими руками свою злополучную голову.

— О река, река!.. — рыдала она.

— Тише, тише, успокойтесь, — уговаривал я ее. Но она вновь повторяла все то же.

— Река эта похожа на меня! — восклицала она. — Я знаю, мы с нею родные, знаю, она — подходящая компания для таких, как я. Она течет из полевых просторов, где ее воды были чисты, а теперь, извиваясь по городским улицам, оскверненная и жалкая, она уходит, подобно моей жизни, в великий, вечно волнующийся океан. И вот я чувствую, что должна уйти вместе с ней.

Впервые постиг я, что такое отчаяние, услышав, каким тоном она произнесла эти слова.

— Не могу уйти от нее, — продолжала говорить несчастная, — не могу забыть ее. Она преследует меня день и ночь. Ужасная река!

У меня мелькнула мысль, что по лицу моего спутника, молча и неподвижно смотревшего на Марту, я мог бы прочесть всю историю его племянницы, не зная я ее раньше. Ни в жизни, ни на картине я никогда не видывал на человеческом лице такого соединения ужаса и сострадания. Старик весь дрожал, а его рука (встревоженный, я прикоснулся к ней) была холодна, как лед.

— Она в бреду, — шепнул я ему. — Скоро она заговорит по-другому.

Не знаю, что он собирался ответить мне. Его губы шевелились, и ему, верно, казалось, что он говорит, но он лишь показывал вытянутой рукой на Марту.

Она снова разрыдалась, спрятала лицо между камней и лежала перед нами — воплощенный образ падения и унижения. Понимая, что пока она в таком состоянии, говорить с ней бесполезно, я удержал мистера Пиготти, когда он хотел поднять ее, и мы молча стояли возле нее.

— Марта! — сказал я, когда она несколько успокоилась, и я, нагнувшись, помог ей подняться. Она как будто хотела уйти, но так ослабела, что должна была прислониться к лодке. — Марта! Знаете ли вы, кто со мной?

— Да, — чуть слышно ответила она.

— Знаете ли вы, что мы долго шли сейчас за вами?

Она покачала головой. Не глядя на нас, она стояла в униженной позе, держа шляпку и шаль в одной руке (казалось, она не сознавала этого) и судорожно прижимая другую ко лбу.

— Достаточно ли вы успокоились, — сказал я, — чтобы говорить со мной о том, что так живо интересовало вас в ту, помните, снежную

ночь?.. Наверно, вы не позабыли этого.

Она снова разрыдалась и пробормотала благодарность за то, что я тогда не прогнал ее от двери.

— Я не хочу оправдываться, — заговорила она через некоторое время. — Я скверная, я погибшая. У меня нет никакой надежды. Но скажите ему, сэр, — и она отшатнулась от мистера Пиготти, — скажите ему, если в вас есть хоть капля жалости ко мне, что я совершенно неповинна в его несчастье.

— Да вас никогда в этом и не обвиняли, — горячо возразил я.

— Если не ошибаюсь, — продолжала она дрожащим голосом, — это вы приходили на кухню в тот вечер, когда оно так пожалела меня, была так ласкова со мной и не отвернулась от меня, подобно всем другим, а с такой добротой пришла мне на помощь. Это были вы, сэр?

— Да, это был я.

— Я давно уже была бы в реке, — сказала она, с ужасом взглянув на воду, — если бы у меня на совести была какая-нибудь вина против «нее».

— Причина ее бегства слишком хорошо известна, — заметил я. — Вашей вины тут нет никакой, мы совершенно уверены и знаем это.

— Будь я лучше, я могла бы исправиться ради нее! — воскликнула девушка с горьким сожалением. — Она всегда была так добра ко мне! Каждое сказанное ею мне слово было так ласково и справедливо! Хорошо зная, что я собой представляю, могла ли я пытаться сделать ее такой же, как я сама?! Потеряв все, что привязывает человека к жизни, я больше всего страдала от сознания, что навсегда разлучила себя с нею.

Мистер Пиготти стоял, опустив глаза и закрыв лицо рукою.

— И, когда перед той снежной ночью я узнала от одного человека о случившемся, — выкрикнула Марта, — меня особенно терзала мысль о том, что люди, вспоминая о нашей дружбе, будут говорить, что это я ее развратила, тогда как, богу известно, я готова была бы умереть, чтобы вернуть ей ее доброе имя.

Давно отвыкнув владеть собой, она была страшна в своем отчаянии, мучаясь угрызениями совести.

— Да что умереть — это пустяк! — кричала она — Я сделала бы больше того: осталась бы жить моей ужасной жизнью, лишь бы

спасти ее!

И она снова упала на камни, то горестно ломая руки, то закрывая ими себе лицо.

— Что же мне делать? — повторяла она. — Что мне делать, когда я позорю всех, к кому только приближаюсь?

Вдруг она повернулась к моему спутнику.

— Затопчите меня ногами, убейте меня! — кричала она. — Ведь даже и теперь вы сгорели бы со стыда, если бы мы с ней обменялись хоть одним словом... Я не жалуясь. Я не говорю, что мы одинаковы. Я знаю, какое расстояние разделяет нас. Я только говорю, что, при всей своей мерзости, я всей душой благодарна ей, люблю ее! Не думайте, что я неспособна более любить. Отшвырните меня, как все другие, убейте меня за то, что я стала такой, и за то, что я знала ее, но не думайте так обо мне!

Когда она умолкла, мистер Пиготти ласково поднял ее.

— Марта, — сказал он, — сохрани меня боже судить вас. Вы не знаете, как я изменился с тех пор. Но... — он на миг остановился, затем продолжал: — Вы не догадываетесь, почему мы с этим джентльменом хотим говорить с вами, что у нас на уме? Слушайте же!

Его слова оказали на нее удивительное действие. Она стояла перед ним съежившись, точно боясь посмотреть ему в глаза, но молчала, сдерживая свое отчаяние.

— Раз вы слышали в ту снежную ночь, о чем говорит мы с мистером Дэви, — вы знаете, что я искал (где только не побывал я!) мою дорогую племянницу. Да, дорогую племянницу, — повторил он, подчеркивая, — ибо теперь, Марта, она мне еще дороже, чем когда-либо прежде.

Марта закрыла лицо руками, но вообще казалась более спокойной.

— Я слышал от нее, — продолжал мистер Пиготти, — что вы рано осиротели и у вас не было друга, который мог бы заменить вам родителей. Имей вы такого друга, со временем вы полюбили бы его и были бы ему дочерью, как мне племянница.

Так как она, не проронив ни слова, вся дрожала, старик заботливо закутал ее в поднятую им с земли шаль.



— Я знаю, — сказал он, — она пошла бы за мной на край света, если бы увидела меня, но знаю также и то, что она убежала бы на край света, чтобы избежать встречи со мной. В моей любви к ней она не может сомневаться и не сомневается, нет, не сомневается, — с спокойной уверенностью повторил он, — но между нами встал стыд, и он разделяет нас.

Мистер Пигогги говорил твердо и ясно, как человек, обдумавший все мельчайшие подробности.

— Нам с мистером Дэви кажется вероятным, что она может когда-нибудь, одинокая, приехать в Лондон. Все мы считаем, что вы неповинны, как новорожденный младенец, во всех бедах, постигших ее. Вы говорили, что она была добра и ласкова с вами. Благослови ее боже. Я знаю, что она всегда была добра ко всем. Вы благодарны ей и любите ее? Помогите же нам разыскать ее, и да вознаградит вас господь!

Впервые она подняла на него глаза, точно не веря своим ушам.

— Вы доверяете мне? — тихо, с удивлением проговорила она.

— Вполне! — ответил мистер Пигогги.

— Заговорить с ней, если когда-либо встречу ее? Приютить ее, если у меня самой будет угол, чтобы разделить его с ней? И затем тайком от нее притти к вам и свести вас с ней? Не так ли? — торопясь, спросила она.

Мы оба ответили: да.

Она подняла глаза и торжественно заявила, что всей душой посвятит себя этому делу, никогда не уклонится от него и никогда не оставит его.

Мы сочли тогда нужным подробно рассказать ей все, что сами знали. Она слушала мой рассказ с большим вниманием, часто меняясь в лице и удерживая по временам наворачивавшиеся на глаза слезы.

Когда я окончил, она спросила, где ей найти нас, если это понадобится. При тусклом свете уличного фонаря я написал на листке, вырванном из записной книжки, оба наших адреса. Она спрятала листок на груди. Я спросил у нее, где она живет. Помолчав немного, она сказала, что нигде не живет подолгу. Этого лучше не знать.

Мистер Пигогги шепнул мне на ухо, что мне самому уже приходило в голову, и я вытащил кошелек. Но мне не удалось добиться

не только того, чтобы она взяла деньги, но даже и обещания, что она возьмет их в другой раз. Я указал ей на то, что мистера Пиготти нельзя назвать бедняком, и нам обоим неприятна мысль, что, взяв на себя поиски, она будет всецело предоставлена самой себе. Но она упорно настаивала на своем. Не помогли и уговоры мистера Пиготти; она благодарила его, но осталась непреклонной.

— Я попробую достать работу, — сказала она.

— Ну, так возьмите хоть что-нибудь, пока найдете работу, — предложил я.

— То, что я обещала вам, я не могу делать за деньги. Я не взяла бы их, если бы даже умирала с голоду. Дать мне деньги значило бы лишиться меня вашего доверия, значило бы отнять ту цель, которую вы дали мне, отнять у меня то, что одно может спасти меня от этой реки.

— Ради бога, оставьте эту пагубную мысль! — воскликнул я. — Все мы можем при желании делать что-либо доброе!

Она дрожала, ее губы тряслись, а лицо еще более побледнело.

— Быть может, вам суждено спасти погибшее создание, — проговорила она. — Я боюсь даже думать об этом. Мысль эта кажется мне слишком смелой. Если мне удастся сделать что-нибудь хорошее, я начну тогда надеяться. Вы мне оказали доверие, и я попробую... Больше я ничего не знаю и больше ничего не могу сказать...

Снова едва сдерживая слезы, она протянула руку, коснулась ею мистера Пиготти, словно надеясь получить от него какую-то благодетельную силу, а затем отошла от нас и пошла по пустынной улице.

Она, видимо, была больна и, вероятно, уже давно, очень худа и бледна, и ее запавшие глаза говорили о лишениях и страданиях.

Мы шли за ней на близком расстоянии (нам было по пути), пока не дошли до освещенных и людных улиц. Я так безусловно верил обещанию Марты, что предложил мистеру Пиготти не идти больше за ней: она могла подумать, что мы сомневаемся в ней. Он был того же мнения, и мы, предоставив Марте идти своей дорогой, сами направились в Хайгейт.

Значительную часть пути мистер Пиготти прошел со мною вместе, и, прощаясь, мы горячо пожелали друг другу успеха в нашей новой попытке.

Была полночь, когда я пришел домой. Я остановился у калитки, прислушиваясь к звону колоколов св. Павла и к бою множества городских часов, как вдруг, к своему удивлению, увидел, что дверь бабушкиного домика открыта и слабый свет из ее передней падает на дорогу.

Думая, что бабушка могла переживать один из своих прежних страхов, я решил зайти поговорить с ней. Каково же было мое изумление, когда я заметил стоявшего в ее садике мужчину! У него в руке был стакан и бутылка, и он пил. Я остановился среди густой листвы у забора. Уже взошла луна, и хотя она светила довольно тускло, но я все-таки узнал в незнакомце того самого человека, которого мы с бабушкой однажды встретили в городе.

Он ел, пил и, видимо, делал это с чрезвычайным аппетитом. При этом он с любопытством разглядывал коттедж, точно впервые видел его. Поставив бутылку на землю, он украдкой посмотрел на окна и вокруг себя с видом человека, которому не терпится поскорее уйти.

В этот момент вышла в сад бабушка. Очень взволнованная, она положила в руку незнакомца несколько монет. Я слышал, как они звякнули.

— Только и всего? — спросил он.

— Я не могу уделить больше, — ответила бабушка.

— Тогда я не уйду, — заявил он. — Вы можете взять эти деньги обратно.

— Вы скверный человек, — сказала бабушка, страшно волнуясь. — Как можете вы так обращаться со мною? Впрочем, зачем я спрашиваю! Вы пользуетесь моей слабостью. Мне следовало бы навсегда освободиться от ваших посещений, предоставив вас самому себе!

— А отчего же вы не предоставляете меня самому себе?

— И вы еще спрашиваете меня об этом? Что за сердце у вас!

Он недовольно позвякивал деньгами, качая головой, и наконец проговорил:

— Значит, это все, что вы намерены дать мне?

— Это все, что я могу дать вам, — сказала бабушка. — Вы знаете, что я понесла денежные потери и стала беднее прежнего. Я говорила вам об этом. Скажите, почему, получив эти деньги, вы не уходите с моих глаз? Мне больно видеть вас таким, каким вы стали!

— Действительно, я довольно-таки оборван, если вы имеете это в виду, — согласился мужчина, — живу, как сова.

— Вы почти обобрали меня, — продолжала бабушка, — вы на многие годы ожесточили мое сердце, вы вели себя по отношению ко мне фальшиво, неблагодарно и жестоко. Ступайте и покайтесь. Не прибавляйте новых обид к множеству старых!

— Ну, все это прекрасно, — пробормотал он. — Да, видно, пока придется довольствоваться этой мелочью.

Он, казалось, был смущен слезами бабушки и, понуриив голову, направился к выходу. Сделав два-три шага, я столкнулся с ним у калитки и прошел мимо него, когда он выходил. Мы недружелюбно поглядели друг на друга. Я бросился к бабушке.

— Опять этот человек тревожит вас! — торопясь, сказал я. — Дайте мне поговорить с ним! Кто он?

— Дитя мое, — промолвила бабушка, взяв меня за руку, — пойдемте, и не говорите со мной минут десять.

Мы присели в ее маленькой гостиной. Бабушка укрылась за старым зеленым экраном, привинченным к спинке стула, и время от времени утирала себе глаза. Так прошло около четверти часа. Затем она поднялась, подошла ко мне и села рядом.

— Трот! — проговорила она спокойным тоном. — Это мой муж.

— Ваш муж, бабушка?! Я думал, он умер.

— Умер для меня, — ответила бабушка, — но жив.

Изумленный, я молчал.

— Бетси Тротвуд как будто неспособна к нежной страсти, — тем же спокойным тоном начала рассказывать бабушка, — но было время, Трот, когда она всецело верила этому человеку, когда она любила его и не отказала бы ему ни в чем. Он отплатил тем, что почти разорил ее и едва не разбил ее сердца. Тогда она похоронила все эти чувства раз навсегда...

— Дорогая моя, хорошая бабушка!

— Я поступила с ним великодушно, — продолжала бабушка, по обыкновению положив свою руку на мою. — Теперь, спустя много лет, я могу сказать, Трот, что я действительно была великодушна. Он был так жесток со мной, что я могла бы добиться выгодных для себя условий развода, но я не сделала этого. Он скоро промотал все, что я дала ему, падал все ниже и ниже, женился, кажется, на другой

женщине, стал авантюристом, игроком, мошенником. Вы видели, каков он теперь, но это был красавец, когда я вышла за него замуж (в словах бабушки прозвучал отголосок былой гордости и восхищения), и я, глупая, верила, что он — олицетворение чести.

Она пожала мне руку и покачала головой.

— Теперь он ничто для меня, Трот, меньше, чем ничто. Но чтобы он не понес наказания за свои проступки (а это неминуемо случилось бы, если бы он бродил здесь), я, когда он время от времени появляется, даю ему больше денег, чем даже могу, лишь бы он отсюда убрался. Я была глупа, когда вышла за него замуж, и до сих пор так неисправима в этом отношении, что во имя моих прошлых иллюзий не хотела бы, чтобы он подвергся какой-либо каре.

Бабушка тяжело вздохнула и стала разглаживать рукой свое платье.

— Вот, дорогой мой, — промолвила она, — вы все и узнали об этом: начало, середину и конец. Больше мы с вами не станем говорить о нем. И, конечно, вы никому другому не заикнетесь об этом. Это моя старушечья история, и будем, Трот, держать ее про себя.

## *Глава XIX*

### *ДОМАШНИЕ ДЕЛА*

Не бросая репортерства, я усердно работал над книгой. Она вышла в свет и имела большой успех. Из уважения к себе я оставался скромным, и чем больше меня хвалили, тем больше старался заслужить эти похвалы.

Я не излагаю в этом повествовании историю моих беллетристических произведений (пусть уж они сами говорят за себя) и упоминаю о них лишь мимоходом, поскольку они составляют часть моего жизненного пути.

Имея к этому времени некоторые основания верить, что природа и обстоятельства сделали меня писателем, я отдался этому своему призванию.

Я стал пользоваться как писатель таким успехом, что наступил момент, когда я счел для себя возможным освободиться от надоевших мне парламентских прений. Поэтому в один радостный вечер я в последний раз занес на бумагу скучную музыку парламентских волюнок, чтобы никогда больше не слышать ее. Но все-таки и теперь еще я узнаю на страницах газет завывание этих волюнок, ставшее еще более оглушительным.

Прошло года полтора со времени моей женитьбы. После многих неудачных попыток мы оставили мысль об управлении нашим хозяйством, и оно кое-как шло само собой, с помощью сменявшихся, но неизменно негодных слуг. Когда, однако, двое наших слуг подконец основательно обворовали нас и один из них перекочевал из нашего дома в тюрьму, а после суда и на каторгу, я серьезно задумался и пришел к выводам, которыми не мог не поделиться однажды вечером с Дорой, несмотря на всю мою нежность к ней.

— Любимая моя! — сказал я. — Мне очень больно думать, что наше безразличное отношение к хозяйству приносит вред не только нам, к чему мы уже привыкли, но и другим людям.

— Столько времени вы молчали, — промолвила Дора, — а теперь снова собираетесь быть злокой!

— Нет, нет, моя дорогая! Дайте мне высказаться.

— Да я не хочу ничего знать! — ответила Дора.

— Но я хочу, чтобы вы знали это, моя любимая. Спустите Джипа на пол.

Дора приставила нос Джипа к моему и сказала: «Боб», чтобы рассмешить меня, но, когда это ей удалось, водворила Джипа в его пагоду и села, сложив руки и глядя на меня с самым покорным видом.

— Дело в том, моя дорогая, что в нас — зараза и мы заражаем всех вокруг нас.

Я мог бы продолжать так же фигурально выражать свою мысль и дальше, но, заметив полное недоумение на лице Доры, решил говорить проще.

— Мы, детка, не только благодаря нашей небрежности теряем деньги, не имеем удобств и даже иногда раздражаемся, но и берем еще на себя тяжелую ответственность, развращая всех поступающих к нам в услужение или имеющих с нами деловые отношения. Я начинаю бояться, что вина не только на их стороне и что все эти люди так плохо кончают потому, что мы не делаем как следует своего дела.

— О, какое обвинение! — воскликнула Дора, широко раскрывая глаза. — Можно подумать, что я сама крала!

— Дорогая моя, — возразил я, — не говорите бессмыслицы. Никто ничего подобного не говорил вам.

— Нет, вы говорили, — настаивала Дора. — Вы сами знаете, что говорили! Вы сказали, что я не делала как следует своего дела, и сравнили меня с ним.

— С кем? — спросил я.

— С лакеем-каторжником! — заплакала Дора. — Как мог ли вы, жестокий человек, сравнить с ним свою жену? Почему вы не сказали мне до вашей свадьбы, какового вы обо мне мнения? Почему вы, бесчувственный, не сказали мне и того, что считаете меня хуже лакея-каторжника? Боже мой! Какого вы обо мне ужасного мнения!

— Ну, дорогая Дора, — ответил я, стараясь тихонько отнять платок, который она прижимала к глазам, — все это не только смешно, но и нехорошо с вашей стороны. Прежде всего — это неверно.

— Вы всегда говорили, что он лгун, — со слезами бормотала Дора, — а теперь вы то же самое говорите обо мне. О, что мне делать? Что мне делать?

— Дорогая моя девочка! — сказал я с укоризной. — Я действительно должен молить вас быть рассудительной и прислушиваться к тому, что я говорил и продолжаю говорить. Дорогая Дора, если мы не научимся выполнять наш долг по отношению к тем, чьими услугами мы пользуемся, они никогда не научатся выполнять свои обязанности по отношению к нам. Я боюсь, что мы предоставляем людям такие возможности дурно поступать, которых никогда не следовало бы давать им. Если бы даже нам нравилась наша небрежность, чего на самом деле нет, мы все же не имели бы права продолжать в этом духе. Положительно мы портим людей. Мы обязаны задуматься над этим. Я лично, по крайней мере, не могу не думать об этом, Дора, не в состоянии прогнать эту мысль, и от нее мне подчас очень не по себе. Вот и все, дорогая! Ну, не будьте же глупенькой.

Дора долго не давала мне отнять платок от своих глаз. Она все плакала и бормотала, зачем мне было жениться, если я чувствую себя после этого нехорошо. Зачем я не сказал, хотя бы за день до свадьбы, что мне будет не по себе. И вообще, если я не могу переносить ее, почему я не отсылаю ее к тетушкам в Путней или к Джулии Мильс в Индию. Джулия была бы рада ей и не бранила бы ее, сравнивая с лакеем-каторжником: Джулия — та ведь никогда не бранила ее. Одним словом, Дора была так огорчена и так огорчила меня этим, что я почувствовал полную бесполезность продолжать разговор в том же направлении, как бы ласково ни делал я это, почувствовал, что мне необходимо найти иной путь. Какой же иной путь мне оставался? Может, надо было заняться ее развитием? Это звучало красиво и обещающе, и я решил немедленно приступить к делу.

Когда Дора, бывало, очень ребячилась и мне чрезвычайно не хотелось портить ей это настроение, я все же старался быть серьезным и этим лишь расстраивал и ее и себя. Я говорил с ней о вещах, занимавших меня, читал ей Шекспира и утомлял ее этим до последней степени. Я приучал себя сообщать ей как будто мимоходом обрывки полезных сведений или разумных мыслей, но она шарахалась от них, как от пушечных выстрелов. Сколько ни старался я придать моим усилиям естественный характер, я не мог не видеть, что моя женушка всегда инстинктивно угадывала, куда я клоню, и заранее отчаянно пугалась. Особый страх наводил на нее Шекспир.



Я привлек к делу ничего не подозревавшего Трэдльса и всякий раз, когда он приходил к нам, подвергал его жесточайшему обстрелу. Метя в Дору, я обрушивал на своего друга бездну премудрости. Но это лишь удручало Дору и всегда заставляло ее нервно ждать, что вот-вот настанет и ее черед. Я превращался в школьного учителя, в какую-то западню, в паука, то и дело подстерегающего, словно муху, растерянную бедняжку Дору.

Все же я продолжал упорно гнуть свою линию в надежде, что настанет время, когда я к своему полному удовлетворению добьюсь того, что разовью мою женушку. После нескольких месяцев, однако, я убедился, что из моих усилий ровно ничего не вышло, и начал думать, что, быть может, Дора уже достигла своего предельного развития.

После зрелых размышлений я оставил свой неудавшийся план и решил довольствоваться впредь женой-деткой. Я сам устал от собственных усилий быть всегда рассудительным, устал, видя то угнетенное состояние, в которое постоянно повергали дорогую Дору все мои старания. И вот в один прекрасный день я купил пару красивых серег для женушки-детки, ошейник для Джипа и пришел домой с намерением быть приятным. Дора была восхищена подарками и радостно поцеловала меня. Все же между нами оставалась какая-то тень. Правда, она была незначительна, но я решил и эту тень рассеять или, по крайней мере, спрятать ее на будущее время в споем сердце.

Я подсел к женушке на диван и вдел ей в уши серьги, а затем сказал, что, боюсь, в последнее время мы с ней ладили не так хорошо, как прежде, и что виною этому я один. Конечно, оно так и было, и я чувствовал это.

— Суть дела, дорогая Дора, в том, что я старался быть умным.

— И сделать умной и меня? — робко промолвила Дора. — Не правда ли, Доди?

Утвердительно кивнув головой, я поцеловал ее полураскрытые губки.

— Это совершенно бесполезно, — заявила Дора, трясая головой так, что серьги зазвенели. — Вы знаете, кто я и как я с самого начала хотела, чтобы вы смотрели на меня. Если вы не сможете этого делать, боюсь, вы никогда не будете любить меня. Не являлась ли у вас порой мысль... уверены ли вы в этом?... мысль, что было бы лучше...

— Что было бы лучше, дорогая? — спросил я, так как она умолкла, не окончив своего вопроса.

— Ничего! — сказала Дора.

— Ничего? — повторил я.

Она обняла меня за шею, засмеялась, назвала себя, как часто делала это, «гусенком» и спрятала свое личико у меня на плече.

— Уж не хотели ли вы меня спросить, не думаю ли я, что было бы лучше совсем ничего не делать, чем стараться развивать мою женушку? — смеясь над собой, спросил я. — Да, конечно, я так думаю.

— Так вот, значит, над чем вы старались! — воскликнула Дора. — Вы ужасный мальчик!

— Но больше никогда не буду, — заявил я. — Я нежно люблю вас такой, какая вы есть.

— Правда? — спросила Дора, прижимаясь ко мне.

— Зачем же мне стараться изменить то, что так дорого мне с давних пор? — ответил я. — Ничего не может быть лучше, Дора, когда вы такая, какая вы есть. Бросим всякие фантастические эксперименты, вернемся к нашим старым привычкам и будем счастливы!

— Будем счастливы! — откликнулась Дора. — Да, целый день! И вы не станете сердиться, если иногда не все будет идти вполне гладко?

— Нет, нет! — воскликнул я. — Будем делать, что в наших силах!

— И вы никогда больше не будете говорить мне, что мы портим других людей? — проговорила, ласкаясь, Дора. — Не будете? А то, знаете, это ужасно неприятно.

— Нет, нет! — успокоил я ее.

— Ведь лучше мне быть глупой, чем неприятной, не правда ли?

— Лучше быть просто Дорой, а не кем-то другим!

Она покачала головой, с восхищением посмотрела на меня ясными глазами, поцеловала меня, весело рассмеялась и вскочила, чтобы надеть Джипу новый ошейник.

Так кончилась моя последняя попытка изменить что-либо в Доре.

Я решил делать, что могу, сам исправляя промахи, но предвидел, что это даст мне очень мало, если я не захочу вновь превратиться в паука, постоянно подстерегающего свою жертву.

Тень, о которой я говорил, не должна была впредь вставать между нами, но в моем сердце она залегла прочно.

Я нежно любил свою женушку-детку — и был счастлив, но мое счастье не было тем счастьем, которое я когда-то смутно предвосхищал, — всегда чего-то в нем нехватало. То, чего мне нехватало, всегда казалось мне неосуществимой юношеской мечтой, но я чувствовал, что мне было бы лучше, если бы моя жена больше помогала мне, и я делился бы с ней своими мыслями, а я знал, что это могло бы быть.

Было ли то, что я переживал, общей и неизбежной участью? Или это выпало только на мою долю и могло быть иначе? Я колебался между этими двумя заключениями. Думая о неосуществимых юношеских грезах, я готов был пожалеть о том, что вырос из их поры, и счастливые дни, проведенные с Агнессой в милом старом доме, вставали предо мной виденьями невозвратного прошлого.

Иногда у меня мелькала мысль о том, что было бы, если бы мы с Дорой никогда не знали друг друга, но Дора так вросла в мою жизнь, что эта мысль сейчас же улетучивалась, как пух, уносимый ветром.

Я не переставал любить ее, а мысли и чувства, о которых я только что рассказал, не проявлялись ни в моих словах, ни в поступках. Я нес на себе тяжесть всех наших мелких забот и всех своих планов. Дора держала и подавала мне перья. И мы оба чувствовали, что каждый делает свое дело. Она искренне любила меня и гордилась мной. Когда Агнесса в письмах к ней говорила о том, с какой гордостью и интересом мои старые друзья следят за моей растущей славой и, читая написанные мною книги, как бы слышат меня, она с радостными слезами на глазах читала мне эти строки и называла меня «дорогим, умным и знаменитым мальчиком».

«Первый ложный порыв неопытного сердца...» эти слова миссис Стронг постоянно вспоминались мне в то время. Я часто просыпался с этими словами и даже читал их во сне на стенах домов. Я уже понимал, что и мое сердце было неопытно, когда я впервые полюбил Дору, и что будь оно тогда опытнее, я, женившись, никогда не испытал бы того, что переживал.

Также вспомнились мне и слова: «Ничего не может быть печальнее брака, в котором у супругов нет единства взглядов и стремлений...»

Я старался приспособить Дору к себе, но это не удалось, и мне оставалось лишь самому приспособиться к ней. Мне надо было делить с нею то, что было можно, и быть счастливым: надо было нести на своих плечах то, что я взвалил на них, и все-таки быть счастливым.

Вот как старался я дисциплинировать свое сердце, когда стал более сознательным, и второй год моего брака был много счастливее первого, и — что еще лучше — Дора сияла счастьем.

Но этот год не принес Доре здоровья. Я все надеялся, что ручки более легкие, чем мои, помогут сформировать характер Доры и что улыбка дитяти превратит мою жену-детку во взрослую женщину. Но этому не суждено было случиться: едва родившись, ребенок умер.

— Знаете, бабушка, — сказала однажды Дора, — когда я смогу снова бегать, как прежде, я заставлю и Джипа бегать, а то он становится совсем вялым и ленивым.

— Я подозреваю, моя дорогая, — ответила бабушка, спокойно работавшая возле нее, — что у него болезнь похуже лени: года, Дора.

— Вы думаете, что он стар? — удивилась Дора. — Как странно, что Джип может быть стар!

— Старость, детка, болезнь, которой с годами мы все подвержены, — весело заметила бабушка, — и теперь я это чувствую больше, чем прежде, уверяю вас.

— Но Джип, — сказала Дора, с состраданием глядя на него, — неужели даже маленький Джип может быть стар? Бедняжка!

— Я думаю, он еще долго проживет, Цветочек, — сказала бабушка, лаская Дору.

Дора нагнулась с кушетки, где лежала, поглядеть на Джипа, а тот, став на задние лапки, задыхаясь, старался вскарабкаться к ней.

— Зимой надо будет выстлать его дом фланелью, — продолжала бабушка, — и я не удивлюсь, если весной, когда зацветут цветы, он выйдет из него здоровехоньким. Эта милая собачка, я думаю, всегда найдет в себе силы, чтобы лаять на меня.

Дора помогла Джипу влезть на кушетку, и он тотчас же яростно залаял на бабушку и лаял тем ожесточеннее, чем больше смотрела на него бабушка сквозь свои очки.

Дора с трудом уложила его возле себя и, когда он успокоился, стала гладить его длинные уши, задумчиво приговаривая: «Даже маленький Джип... Бедняжка!»

— У него хорошие легкие, — весело проговорила бабушка, — и его антипатии очень устойчивы. Несомненно, он проживет еще много лет. Но если вы, Цветочек, хотите иметь собаку, чтобы бегать с ней, я подарю вам другую.

— Благодарю вас, бабушка, — промолвила Дора слабым голосом, — но, пожалуйста, не делайте этого.

— Не делать? — спросила бабушка, снимая очки.

— Я не могла бы иметь собаки, кроме Джипа. Это было бы нехорошо по отношению к нему. Кроме того, я не могла бы жить так дружно с другой собакой, как с Джипом, ведь та не знала бы меня до замужества и не лаяла на Доди, когда он впервые пришел в наш дом. Боюсь, бабушка, что я не могла бы любить другую собаку, кроме Джипа.

— Конечно, вы совершенно правы, — сказала бабушка, снова лаская ее.

— А я не обидела вас, бабушка?

— Какая чувствительная крошка! — воскликнула бабушка, нежно наклоняясь над ней. — Откуда ей пришло в голову, что я могу быть обижена?

— Нет, нет, я этого не думала, — возразила Дора, — но я немного устала, и разговор о Джипе сделал меня еще глупее, чем обычно. Он знал меня во все минуты моей жизни... ведь правда, Джип?.. и я не могла бы отвернуться от него из-за того, что он немного постарел. Да разве я могла бы, Джип!..

Джип теснее прижался к своей хозяйке и лениво лизал ей руку.

— Вы не так стары, Джип, чтобы покинуть свою хозяйку, — продолжала Дора, — и мы с вами можем еще некоторое время составлять друг другу компанию.

Прелестная моя Дора! Когда в следующее воскресенье она сошла к обеду и так обрадовалась старине Трэдльсу (он все еще обедал у нас по воскресеньям), мы думали, что через несколько дней она снова будет «бегать, как прежде». Но нам снова и снова говорили: «Подождите еще несколько дней», а она все не бегала и даже не ходила. Выглядела она прехорошенькой и была очень весела, но маленькие ножки, так проворно танцевавшие прежде вокруг Джипа, были вялы и не подвижны.

Каждое утро я сносил ее на руках вниз по лестнице и каждый вечер относил наверх. Она обнимала меня за шею и от души смеялась, а Джип, лая и задыхаясь, вертелся вокруг нас. Бабушка, самая лучшая и самая веселая из сиделок, шла за нами, нагруженная шальями и подушками. Мистер Дик ни за что никому не уступил бы своего поста «свеченосца», Трэдльс, наблюдая, частенько стоял внизу лестницы, и Дора через него посылала веселые приветствия «самой милой девушке на свете». У нас получалась совсем праздничная процессия, и моя жenuшка-детка была при этом радостнее всех.

Но порой, когда я нес ее наверх и чувствовал, как она делается все легче, у меня на душе становилось очень тоскливо и пусто. Мне казалось, что я приближаюсь к каким-то ледяным областям, еще невидимым, но морозное дыхание которых уже начинает сковывать мою жизнь. Я избегал углубляться в это, пока однажды вечером не услышал, как бабушка, прощаясь с ней, крикнула: «Доброй ночи, Цветочек!». Я сел, одинокий, у моего письменного стола и горько заплакал. «Какое роковое прозвище! — думалось мне. — Наш цветочек в самом деле увядает на своем стебельке».

## *Глава XX*

# *Я ВОВЛЕКАЮСЬ В ТАЙНУ*

Однажды утром я получил письмо из Кентербери, адресованное мне в «Докторскую общину», и не без удивления прочел следующее:

«Дорогой сэръ!

По не зависящим от меня обстоятельствам наши дружеские отношения прервались на продолжительное время. А между тем, когда мне изредка удается, среди моих служебных обязанностей, бросить взгляд на сцены и события прошлого, окрашенные радужными цветами воспоминаний, эти наши дружеские отношения всегда возбуждают во мне и впредь будут всегда возбуждать наиприятнейшие, не поддающиеся описанию чувства.

Это обстоятельство, дорогой сэръ, вместе с той высотой, на которую вознесли вас ваши таланты, лишает меня смелости называть товарища моей юности фамильярно: Копперфильд. Довольно того, что это имя, произносить которое я считаю за особую честь, всегда будет с чувством уважения и любви храниться, словно сокровище, в нашем семейном архиве (я имею в виду архив, где миссис Микобер хранит все имеющее отношение к нашим бывшим жильцам).

Человеку, попавшему благодаря собственным ошибкам и случайному стечению неблагоприятных обстоятельств в положение утлой ладьи, идущей ко дну (если только мне будет позволено употребить подобное морское выражение), такому человеку, когда он берется за перо, чтобы обратиться к вам со своим посланием, неуместно говорить комплименты или приносить поздравления. Он должен предоставить это рукам более непорочным.

Если ваши важные занятия позволяют вам дочитать до сего места эти несовершенные строки (что, быть может, и не случится вовсе), то вы, естественно, зададите себе вопрос, какая именно причина побудила меня обратиться к вам с этим посланием. Разрешите сказать мне, что я вполне оправдываю основательность подобного вопроса и, приступая к нему, заранее предупреждаю, что речь здесь будет идти не о денежных, делах.

Не ссылаясь прямо на скрытую, быть может, во мне способность управлять громовыми стрелами или направлять куда следует всепожирающее пламя мести, я позволю себе заметить мимоходом, что мои самые светлые мечты рассеяны навсегда, мир души моей нарушен, моя жизнерадостность убита, сердце мое, так сказать, не на месте, и я не могу больше пройти с высоко поднятой головой мимо своего ближнего. В цветке завелся червь. Чашечка полна до краев горечью. Червь неустанно плодет свою жертву и скоро доконает ее! И чем скорее, тем лучше! А все же я не отступлю!

Находясь в таком необыкновенно тяжком душевном состоянии, которого не в силах рассеять даже тройное (как женщины, супруги и матери) влияние миссис Микобер, я решился хотя на короткое время бежать от самого себя и посвятить имеющиеся в моем распоряжении двое суток на то, чтобы посетить в столице некоторые места, где в былые времена получал удовольствие. Среди других тихих гаваней моего бывшего семейного и душевного спокойствия стопы мои, конечно, направятся и к долговой тюрьме. Заявив о том, что послезавтра ровно в семь часов вечера я буду у южной стены этого места заключения, я должен сказать, что этим самым достиг цели своего послания. Я не чувствую себя вправе просить своего бывшего друга мистера Копперфильда или своего друга мистера Томаса Трэдльса (если только этот джентльмен еще существует и преуспевает), повторяю, не чувствую себя вправе просить их снизить до того, чтобы встретиться со мной и по мере возможности возобновить наши былые отношения. Ограничиваюсь лишь замечанием, что в указанном месте и времени будут находиться жалкие остатки рухнувшей башни

Вилькинса Микобера.

P.S. Считаю не лишним присовокупить к вышеизложенному, что миссис Микобер не посвящена в мои намерения».

Несколько раз перечитал я это письмо. Принимая во внимание высокий эпистолярный слог мистера Микобера и даже то, с каким наслаждением он при всяком удобном и неудобном случае усаживался за писание длинейших посланий, я все-таки решил, что на этот раз за всеми этими высокопарными фразами кроется что-то важное. Я положил письмо на стол, чтобы хорошенько обдумать его, а затем



снова принялся его перечитывать. Я все еще продолжал ломать над этим посланием голову, когда вдруг вошел Трэдльс.

— Дорогой мой! — воскликнул я. — Никогда не был я более рад видеть вас, как в эту минуту. Вы пришли как раз вовремя, чтобы помочь мне своим здравым смыслом. Знаете, Трэдльс, я только что получил престранное письмо от мистера Микобера.

— Да ну! Вы не шутите? — воскликнул Трэдльс. — А я, представьте, получил письмо от миссис Микобер!

Говоря это, Трэдльс (он был красен от ходьбы, а волосы его и от движения и от возбужденного состояния стояли дыбом, словно он только что видел привидение) вынул из кармана свое письмо и обменял его на мое.

Я следил за выражением лица моего приятеля, пока он не дочитал до того места, где говорилось о «способности управлять громовыми стрелами и направлять всепожирающее пламя мести».

— Как вам это покажется, Копперфильд? — воскликнул Трэдльс, высоко подняв брови от удивления: — «громовые стрелы», «пламя мести»!

Как бы отвечая на это восклицание, я так же удивленно поднял брови, а затем принялся за письмо миссис Микобер.

Вот его содержание:

«Свидетельствую искреннее мое почтение мистеру Томасу Трэдльсу и прошу его, если только он еще помнит ту, которая никогда считала за счастье знакомство с ним, уделить ей несколько минут досужего времени. Смею уверить мистера Т. Т., что я не стала бы злоупотреблять его добротой, не находишь я на границе умопомешательства.

Хотя мне это и очень прискорбно, но я должна сказать, что к доброте и снисходительности мистера Трэдльса меня вынуждает обратиться отчужденность мистера Микобера (такого чудного семьянина в былые времена) от его супруги и семьи. Мистер Т. не может даже в достаточной мере представить себе, до чего изменился мистер Микобер, до чего он стал необуздан и раздражителен. Все это в нем так прогрессирует, что подчас кажется просто сумасшествием. Смею уверить мистера Т., что не проходит дня, чтобы у мистера Микобера не случилось какого-нибудь припадка. Надеюсь, мне излишне будет говорить мистеру Т. о своих переживаниях, если он

узнает, что мистер Микобер не перестает заявлять о том, что он продал свою душу дьяволу. Таинственность и скрытничанье давно уж сделались отличительными чертами характера моего супруга, давно заступили место его безграничного прежде доверия. Какой-нибудь пустяк, например мой вопрос, что хотел бы он скушать за обедом, заставляет его сейчас же заговорить о разводе. Вчера вечером, когда наши близнецы попросили у него два пенса на покупку лимонных пирожных (местное лакомство), он пригрозил им ножом для устриц. Да простит мне мистер Т., что я вхожу в такие подробности, но без этого ему трудно было бы понять, как терзается мое сердце.

Отважусь ли я теперь открыть мистеру Т. цель моего письма? Дозволит ли он мне положиться на его дружеское участие? О да! ибо я знаю его сердце!

Любящий глаз зорок, особенно, если это глаз женщины. Мистер Микобер собирается ехать в Лондон. Сегодня рано утром, хотя он и старался скрыть адрес, который писал для маленькую коричневого чемоданчика, видевшего лучшие дни, но орлиный взор встревоженной супруги прочел этот адрес. Дилижанс, с которым поедет мистер Микобер, остановится в Вест-Энде, в гостинице «Золотой крест». Смею ли я умолять мистера Т. повидаться с моим заблудшим супругом и постараться урезонить его? Смею ли просить мистера Т. стать посредником между мистером Микобером и его гибнущим семейством? О нет! Боюсь, что это уж слишком много.

Если мистер Копперфильд помнит еще такую скромную особу, как я, то прошу мистера Т. передать ему мое неизменное почтение и ту же самую мольбу. Во всяком случае, прошу мистера Т. в\_с\_е\_ч\_т\_о\_я\_з\_д\_е\_с\_ь\_п\_и\_ш\_у\_с\_о\_х\_р\_а\_н\_и\_т\_ь\_в\_с\_т\_р\_о\_ж\_а\_й\_ш\_е\_й\_т\_а\_й\_н\_е\_и\_д\_а\_ж\_е\_о\_т\_д\_а\_л\_е\_н\_н\_ы\_м\_о\_б\_р\_а\_з\_о\_м\_н\_е\_н\_а\_м\_е\_к\_н\_у\_т\_ь\_о\_б\_э\_т\_о\_м\_в\_п\_р\_и\_с\_у\_т\_с\_т\_в\_и\_и\_м\_и\_с\_т\_е\_р\_а\_М\_и\_к\_о\_б\_е\_р\_а. Если мистер Т. соблаговолит ответить мне (на что я почти не могу надеяться), то его письмо, адресованное: «Кентербери, М. Э., до востребования», вызовет гораздо меньше последствий, чем посланное непосредственно по адресу той, которая пребывает в глубочайшем своем отчаянии почтительно умоляющим другом мистера Томаса Трэдльса

Эммой Микобер».

— Что же вы думаете насчет этого письма? — спросил Трэдльс, глядя на меня, после того как я еще раз перечел его.

— Ну, а что вы скажете относительно этого письма? — ответил я вопросом на вопрос, видя, что мой приятель, нахмурил брови, не перестает перечитывать послание мистера Микобера.

— Да скажу, что в обоих этих письмах есть что-то более серьезное, чем обыкновенно бывает в письмах четы Микоберов, но что именно — понятия не имею. Не подлежит сомнению, что оба письма совершенно искренни и супруги при этом не сговаривались. Бедная женщина! Было бы просто немилосердно сейчас же не написать ей о том, что мы не замедлим повидаться с мистером Микобером.

Я тем охотнее присоединился к этому проекту, что теперь упрекал себя в недостаточно внимательном отношении к ее последнему письму ко мне. Правда, как я и упоминал здесь об этом, оно заставило меня тогда призадуматься, но, будучи перегружен множеством собственных дел, ничего больше не слыша о Микоберах и вдобавок хорошо зная особенности этого семейства, я мало-помалу забыл о письме миссис Микобер. Мне нередко случалось думать о них, но это касалось их «денежных обязательств» в Кентербери, или я припоминал, как скрытен был со мной мистер Микобер, став клерком Уриа Гиппа.

Я сейчас же настроил от нас обоих утешительное послание миссис Микобер, и мы подписали его. Вслед за этим, отправившись в город, чтобы сдать письмо на почту, мы с Трэдльсом, помнится, много говорили о Микоберах. Затем мы советовались по этому поводу с бабушкой, и единственно, к чему мы пришли после всех наших совещаний, — это к тому, что нам необходимо явиться на свидание с мистером Микобером точно в назначенное им время.

Хотя мы и явились к условленному месту за четверть часа до назначенного времени, но уже застали там мистера Микобера. Прислонившись к стене, он стоял, скрестив на груди рука, и смотрел на железные зубцы этой стены с таким сентиментальным видом, словно перед его глазами грациозно переплетались между собой ветви деревьев, осенявших его в юности.

Когда мы подошли к нему, он показался нам несколько смущенным и по сравнению с прошлым менее элегантным. Вместо

его профессиональной черной пары на нем попрежнему был сюртук и узкие панталоны, но не чувствовалось в нем его обычной изящной самоуверенности. Во время разговора с нами он понемногу становился самим собой, но все-таки его лорнет не висел уже так небрежно и воротник его сорочки, хотя и тех же огромных размеров, не был так туго накрахмален, как бы было прежде.

— Джентльмены! — сказал он нам после первых приветствий. — Вы истинные друзья, друзья в несчастье! Позвольте мне прежде всего осведомиться о состоянии физического здоровья нынешней миссис Копперфильд и будущей миссис Трэдльс... я предполагаю, что мой друг Трэдльс еще не соединился «на радость и горе» с предметом своей любви.

Мы поблагодарили мистера Микобера за его внимание и любезно ответили на его вопросы, а затем он, указывая нам на тюремную стену, снова заговорил:

— Джентльмены!..

Тут я прервал его, сказав, что такая церемонность совершенно излишня и мы просим его говорить с нами попрежнему запросто.

— Дорогой Копперфильд, — воскликнул он, пожимая мне руку, — ваша сердечность подавляет меня! Такое отношение к разбитым обломкам храма, когда-то именовавшегося человеком, — если мне позволено будет так выразиться, — говорит о сердце, могущем быть украшением всего человеческого рода! А теперь я хочу сказать, что вот перед нами тихая, спокойная обитель, где протекло немало счастливейших часов моей жизни...

— И которыми, я уверен, вы обязаны миссис Микобер, заметил я. — Надеюсь, что она здорова?

— Благодарю вас, — ответил мистер Микобер, и лицо его при этом затуманилось, — она чувствует себя ничего... Да, — продолжал он, грустно кивая на стену, — в этой долговой тюрьме... впервые после многих лет мне удалось избавиться от мучительного гнета денежных обязательств. Здесь перестали меня терзать неугомонные голоса назойливых кредиторов, постоянно осаждавших мой дом. Здесь мне не надо было опасаться их стука в дверь, ибо тюремное начальство не допускало их в камеру заключенного. Джентельмены! Бывало, когда тени от железных зубьев на этой каменной стене падали на усыпанную гравием площадку для прогулок заключенных, я видел,

как там весело бегали и резвились мои дети, стараясь не наступать на темные пятна этих теней. Я как бы сроднился с каждым камнем этой тюрьмы! И если я обнаруживаю пред вами свою слабость, то теперь вы поймете причину ее.

— Мы все с тех пор подвинулись вперед на жизненном пути, мистер Микобер, — заметил я.

— Мистер Копперфильд, — с горечью проговорил мистер Микобер, — когда я был обитателем этого убежища, я мог тогда смотреть в глаза моего ближнего и в случае обиды мог хватить его кулаком по голове. Теперь же у меня с моим ближним нет такого славного равенства.

Произнеся это, мистер Микобер с подавленным видом отвернулся от тюрьмы. Тут я взял его под руку, а Трэдльс — под другую, и мы втроем двинулись от тюремной стены.

— По дороге к могиле есть такие вехи, — промолвил мистер Микобер, с нежностью оглядываясь на тюрьму, — с которыми человеку, если бы это было не грешно желать, не хотелось бы расстаться. Одной из вех на дороге в моей тревожной жизни является вот это самое место заключения.

— О, сегодня вы совсем расстроены, мистер Микобер! — воскликнул Трэдльс.

— Правда, сэр, — согласился мистер Микобер.

— Надеюсь, что не потому, что вы разочаровались в юриспруденции, а то вы ведь знаете, что я сам юрист, — добавил Трэдльс.

На это мистер Микобер ничего не ответил.

— А как поживает наш друг Гипп, мистер Микобер? — спросил я после некоторого молчания.

— Дорогой Копперфильд, — ответил, побледнев, сильно взволнованный мистер Микобер, — если вы называете моего хозяина своим другом, я могу об этом только пожалеть; если же вы считаете его моим другом, то на это я отвечу лишь саркастической улыбкой. Вообще же, если вы спрашиваете меня относительно моего хозяина, то, простите, я могу лишь ответить следующее: каково бы ни было состояние здоровья Гиппа, вид у него лисий, если не самого дьявола. А теперь разрешите мне как частному лицу не говорить больше об

этом субъекте, доведем меня на моем служебном поприще до отчаяния.

Я извинился перед ним, что неумышленно затронул вопрос, приведший его в такое возбужденное состояние.

— Смею ли я спросить, не опасаясь совершить такую же оплошность, — сказал я, — как поживают мои старые друзья — мистер и мисс Уикфильд?

— Мисс Уикфильд, — проговорил, покраснев до ушей, мистер Микобер, — и теперь, как всегда, является образцом и примером всех совершенств. Дорогой Копперфильд, это единственная светлая точка в моем мрачном существовании! Как уважаю я эту молодую леди, как восхищаюсь ее характером, как предан я ей за ее сердечность, искренность, доброту!.. Ах, боже мой! уведите меня куда-нибудь в сторону, я совсем не владею собой...

Мы отвели его в соседний переулок и здесь, прислонившись к стене, он вынул носовой платок.

Если у меня был такой же вид, как у Трэдльса, то мы не могли особенно подбодрить нашего старого приятеля.

— Моя судьба уж, видно, такова, — заговорил мистер Микобер, всхлипывая, но стараясь даже это делать с благородным видом, — такова судьба моя, джентльмены, что самые утонченные человеческие чувства ставятся мне в вину. Мое поклонение мисс Уикфильд навлекло на мое сердце тучу вонзившихся в него стрел. Лучше бросьте меня, предоставьте мне бродягой скитаться по белу свету! Тогда червь, пожирающий меня, вдвое скорее справится со своей задачей!

Не обращая внимания на его мольбу, мы молча стояли подле него, пока он не положил носовой платок в карман, пока не поднял своего воротничка и затем, надев шляпу набекрень, не стал напевать какой-то модный мотив, видимо, — для проходящих, которые случайно могли видеть его слезы.

Тут я, совершенно не ведая, что именно могло быть потеряно, если б мы с ним не встретились, сказал ему, какое бы мне доставило удовольствие представить его бабушке, и предложил сейчас же ехать с нами в Хайгейт, где к его услугам будет и постель.

— Вы приготовите нам по стакану нашего чудесного пунша, — прибавил я, — и среди приятных воспоминаний забудете то, что

сейчас тяготит вашу душу.

— Или почувствуйте облегчение, открыв душу друзьям, — благоразумно прибавил Трэдльс.

— Джентльмены, делайте со мной, что хотите, — ответил мистер Микобер, — я не больше как соломинка, носимая, так сказать, по воле стихий...

И вот, попрежнему втроем, мы зашагали, держа друг друга под руки. Как раз отходил наш дилижанс, и мы прибыли в Хайгейт без всяких приключений. Я чувствовал себя очень неловко и совершенно не знал, как лучше было поступить и что сказать в данном случае; повидимому, то же происходило и с Трэдльсом. Мистер Микобер был почти все время погружен в печальное раздумье.

Порой, чтобы подбодрить себя, он принимался напевать какую-нибудь мелодию, но тотчас же обрывал свое пение и опять впадал с тяжелую меланхолию. Эту меланхолию еще больше подчеркивали надетая набекрень шляпа и воротничок, поднятый чуть ли не до самых глаз.

Так как Доре нездоровилось, то мы решили, что лучше пойти к бабушке. По обыкновению, она была у моей женушки-детки, но, когда я послал за ней, она тотчас же явилась и очень сердечно приветствовала мистера Микобера. А он, поцеловав ее руку, отошел в угол и то и дело подносил носовой платок к глазам: казалось, в душе его происходила борьба.

Мистер Дик был дома. Он всегда так сочувственно относился ко всякому, находившемуся в неловком положении, и распознавал это с такой необыкновенной быстротой, что в течение первых же пяти минут он раз шесть пожал руку мистеру Микоберу. Это горячее участие со стороны незнакомого человека до того растрогало удрученного своими переживаниями мистера Микобера, что после каждого нового рукопожатия он восклицал: «Сэр! Вы просто подавляете меня своей добротой!» Это очень нравилось мистеру Дику и подзадоривало его к новым, еще более горячим рукопожатиям.

— Добродушие этого джентльмена, — сказал мистер Микобер, обращаясь к бабушке, — употребляя наше грубое народное выражение, просто «сногшибательно». Человека, над которым тяготеет сложное бремя тревоги и замешательства, подобный прием положительно ставит в затруднительное положение.

— Друг мой, мистер Дик — человек необыкновенный, — с гордостью заявила бабушка.

— Я убежден в этом! — воскликнул мистер Микобер. — Чувствительно благодарен вам, сэр, за ваше сердечное участие, — обратился он к мистеру Дику, снова пожимавшему ему руку.

— Как вы себя чувствуете? — осведомился мистер Дик, тревожно поглядывая на него.

— Так себе, сэр, — вздыхая, ответил мистер Микобер.

— Вы должны подбодриться и почувствовать себя как можно веселее и приятнее, — сказал мистер Дик.

Мистер Микобер был совершенно растроган этими дружескими словами и новым рукопожатием.

— Судьбе угодно было, — проговорил он, — чтобы в разнообразной панораме человеческой жизни я встречал иногда оазисы, но до сих пор никогда не приходилось мне видеть оазиса столь зеленого, столь изобилующего живительной влагой, как сейчас...

В другое время такая сцена, пожалуй, позабавила бы меня, но теперь я чувствовал, что всем нам не по себе. Я видел, что мистер Микобер и хочет открыть что-то и не решается это сделать, и его душевная борьба приводила меня в очень нервное состояние. Трэдльс, сидя на краешке стула, с волосами, более чем когда-либо стоящими дыбом, широко открыв глаза, смотрел то в землю, то на мистера Микобера, не произнося, однако, ни единого слова. Бабушка хотя, как я заметил, и очень внимательно наблюдала за новым своим гостем, но больше всех владела собой. Она завела разговор с мистером Микобером и волей-неволей заставила его отвечать.

— Вы, мистер Микобер, один из самых старых друзей моего внука, — начала бабушка. — Очень жалею, что не имела до сих пор удовольствия видеть вас.

— Я также, мэм, хотел бы иметь честь познакомиться с вами в более ранний период моей жизни. Я ведь не всегда был такой развалиной, какую вы сейчас видите перед собой.

— Надеюсь, что миссис Микобер и ваши дети в добром здоровье, сэр? — спросила бабушка.

Мистер Микобер понурил голову и, помолчав немного, проговорил:



— Все они чувствуют себя так, как могут чувствовать себя отверженные и изгнанники!

— Господь с вами, сэр! Что вы говорите! — со свойственной ей резкостью воскликнула бабушка.

— Существование моего семейства висит, так сказать, на волоске, мэм, — пояснил мистер Микобер, — Мой хозяин...

Здесь, на самом интересном месте, он остановился и принялся срезать корку с лимона, который я велел подать вместе со всем прочим, что было ему нужно для приготовления пунша.

— Вы что-то начали говорить о своем хозяине, — промолвил мистер Дик, деликатно подталкивая локтем нового гостя.

— Очень благодарен вам, дорогой сэр, что вы мне напомнили, — отозвался мистер Микобер, и они снова пожали друг другу руки. — Так, видите ли, мэм, мой хозяин Гипп однажды соблаговолил заметить мне, что не получай я от него жалованья, я, по всей вероятности, был бы бродячим скоморохом, плотающим шпаги и пожирающим пламя. И вот на самом деле очень вероятно, что детям моим придется снискивать себе пропитание, кривляясь и кувыркаясь в то время, как миссис Микобер будет аккомпанировать им, вертя шарманку...

При этом мистер Микобер как бы случайно, но очень выразительно сделал жест ножом, говорящий о том, что кривляться и кувыркаться под звуки шарманки миссис Микобер его дети будут тогда, когда он с собой покончит. Затем с убитым видом он снова принялся срезать корку с лимона.

Бабушка, облокотясь на круглый столик, всегда стоящий у ее кресла, внимательно смотрела на мистера Микобера. Как ни претило мне заставить его открыть то, что, видимо, ему не хотелось открывать, я все-таки принудил бы его говорить, если бы не был поражен его странным поведением: он, например, бросил лимонную корку в котелок, сахар положил на поднос для щипцов (ими тогда снимали нагар со свечей), вылил спирт в пуншевую чашку и пытался извлечь кипяток из подсвечника. Все это говорило о том, что назревает кризис, и он действительно наступил. Мистер Микобер вскочил, оттолкнул от себя все, что было приготовлено для пунша, выхватил из кармана носовой платок и залился слезами.

— Дорогой Копперфильд! — воскликнул он, вытирая платком слезы. — Приготовление пунша требует от человека, более чем всякое другое занятие, спокойствия духа и сознания собственного достоинства. Я не в силах приготовить его, об этом не может быть даже и речи!

— Мистер Микобер! — воскликнул я. — В чем же дело? Пожалуйста, говорите! Вы ведь здесь среди друзей.

— Среди друзей! — повторил мистер Микобер.

И вдруг все, что таил про себя, наконец вылилось наружу.

— Боже мой! — закричал он. — Вот именно потому, что я среди друзей, я и пришел в такое состояние. Вы интересуетесь знать, джентльмены, в чем дело? Так дело в том, что тут низость! тут подлость! тут обман! тут мошенничество! тут коварство! И вся эта масса мерзости носит одно общее имя — Гипп!

Бабушка всплеснула руками, а мы вскочили, словно одержимые.

— Ну, теперь борьба кончена! — закричал мистер Микобер, неистово размахивая носовым платком и время от времени делая руками такие движения, словно он плывет, преодолевая невероятные препятствия. — Нет, больше я не буду вести подобную жизнь! Теперь я жалкое, презренное существо, лишенное всего, что делает жизнь более или менее терпимой. С тех пор как я на службе у этого ужасного негодяя, надо мною тяготеет «табу»<sup>[20]</sup>. Верните мне жену! Верните мне детей! Обратите в прежнего Микобера это ничтожное существо, бродящее теперь по земле! И если после этого вы заставите меня плотать шпаги, то я стану плотать их даже с аппетитом!

Мне до сих пор никогда не приходилось видеть человека в таком возбужденном состоянии. Я пытался успокоить его, добиваясь услышать от него что-либо путное, но он все больше горячился и совершенно не слушал меня.

— Я никому не подам руки, — кричал мистер Микобер, пыхтя, задыхаясь и всхлипывая, точно он барахтался в холодной воде, — пока не разорву на клочки эту подлую гадину — Гиппа!.. Я не воспользуюсь ничьим гостеприимством, пока не добьюсь, чтобы огнедышащий Везувий поглотил этого презренного мерзавца — Гиппа!.. В этом доме я не смогу проглотить ничего, тем более пунш, если перед этим не выдавлю глаз из головы этого беспримерного плута и лгуна — Гиппа!.. Я ни с кем не буду знаться, ни с кем не

перекинуть словом, нигде не преклоню главы своей, пока не превращу в прах этого лицемера и клятвопреступника — Гиппа!..

Признаться, я не на шутку стал бояться, как бы мистер Микобер не умер здесь же на месте. Было что-то страшное в его манере извергать с необыкновенным усилием одну за другой эти отрывистые, бессвязные фразы. Было нечто страшное и в том, как, почти в изнеможении добираясь до имени Гиппа, он вдруг выкрикивал это имя с изумительной энергией. Но, когда он свалился на стул, уставился на нас растерянным взглядом, не только красный, а просто посинелый, весь в испарине, с трудом дыша, можно было подумать, что он при последнем своем издыхании. Я хотел было оказать ему помощь, но он только махнул рукой, показывая этим, что не желает ничего слышать.

— Нет, Копперфильд, не надо! Не говорите мне ни слова... до тех пор, пока не будет заплачено... все зло, нанесенное мисс Уикфильд... этим первостепенным мерзавцем — Гиппом! (Я уверен, что в том состоянии, в каком находился мистер Микобер, он был бы не в силах произнести и трех слов, если бы это ненавистное имя не придавало ему удивительной энергии). Это неприкосновенная тайна — для всех, без исключения! Прошу всех присутствующих — и вашу бабушку и добрейшего господина — собраться через неделю, в час первого завтрака, в той кентерберийской гостинице, где когда-то мы с миссис Микобер и с вами, Копперфильд, помните, пели хором шотландскую песню... и я разоблачу этого нетерпимого злодея — Гиппа! Не скажу больше ни слова... и слышать ничего не хочу... Я не в состоянии быть ни в чьем обществе — я, идущий по стопам проклятого... обреченного... предателя — Гиппа!

Произнеся это магическое имя, в котором он как бы черпал свои силы, мистер Микобер бросился вон из дома. А мы были так удивлены, взволнованы, что чувствовали себя не многим лучше его. Но и тут не покинула мистера Микобера его страсть писать письма. Мы еще не пришли в себя, как мне уже было передано послание, написанное им в соседнем трактире, куда он, очевидно, специально для этого зашел.

Содержание его было таково:

«В высшей степени секретно и конфиденциально.

Дорогой сэр!

Позвольте мне передать через вас вашей превосходной ба бушке мои извинения по поводу того возбужденного состояния, которое я только что позволил себе проявить. Взрыв долго дремавшего вулкана был следствием внутренней борьбы, которую легче представить себе, чем описать.

Надеюсь, что мне удалось достаточно ясно высказать, что ровно через неделю утром я рассчитываю свидеться со всеми вами в Кентербери, в гостинице, где когда-то мы с миссис Микобер имели честь соединить свои голоса в бессмертной песне шотландского поэта с берегов Твида <sup>[21]</sup>.

Когда я исполню свой долг и заплажу зло, причиненное злодеем, что одно позволит мне глядеть в глаза моему ближнему, я снова впаду в безвестность... Тогда у меня останется единственное желание — быть положенным в то место всеобщего упокоения, где «суровые праотцы спят непробудным сном в своих тесных могилах», с простой надписью:

«ВИЛЬКИНС МИКОБЕР».

## ***Глава XXI***

# ***МЕЧТА МИСТЕРА ПИГОТТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ***

Между тем прошло несколько месяцев с вечера нашего свидания с Мартой на берегу Темзы. Я с тех пор не встречался с нею, но она за это время не раз виделась с мистером Пиготти. Из его слов я заключил, что, несмотря на все рвение Марты, ей пока ровно ничего не удалось узнать о судьбе Эмилии. Я, признаться, начал уже было отчаиваться и все больше и больше проникался убеждением, что ее нет в живых.

Но дядя ее попрежнему был непоколебим. Сколько мне известно, — а мне кажется, я насквозь видел его простодушное сердце, — он ни на минуту не сомневался в том, что его любимица жива и он в конце концов найдет ее. Я с трепетом думал о том, что будет с несчастным моим старым другом если когда-нибудь одним ударом разобьется его уверенность. Но в этой уверенности, так глубоко укоренившейся в его наивной, чистой душе, было столько чего-то святого, трогательного, что я с каждым днем все больше и больше любил и уважал старика.

Он был не из тех людей, которые, будучи уверены в чем либо, пассивно сидят сложа руки. Всю свою жизнь он был человеком энергичным, деятельным и прекрасно знал, что во всех делах, где вам приходится прибегать к посторонней мощи, нужно прежде всего не покладая рук действовать и самому. Помню, как он раз ночью отправился пешком в Ярмут почему-то опасаясь, что на окне в барже может быть не зажжена свеча. Не раз также случалось, что, прочитав в газете какое-нибудь известие, которое могло относиться и к его Эмми, он брал палку и пускался в путь за шестьдесят-восемьдесят миль. Узнав от меня подробности, сообщенные Литтимером, о жизни Эмилии в окрестностях Неаполя, старик, недолго думая, отправился туда морем. Все его странствования были обставлены самым скромным образом, так как всякий грош он копил для Эмми. И во все

это время я никогда не слышал чтобы старик пожаловался, заикнулся об усталости, пал духом.

Дора, став моей женой, часто виделась с ним и очень его полюбила. Как сейчас передо мной эта картина: старик стоит у дивана Доры и держит в руках свою шляпу, а моя женушка-детка с робким изумлением смотрит на него своими голубыми глазками. Иногда, когда мистер Пиготти приходил ко мне побеседовать в сумерки, мне удавалось убедить его выкурить трубку в нашем саду, и мы, потихоньку разговаривая, прогуливались там с ним взад и вперед. Во время этих прогулок передо мной особенно ярко рисовался его покинутый дом-баржа, и рисовался он таким уютным, каким казался мне в детстве, когда вечером в его очаге весело пылал огонек, а кругом по побережью завывал морской ветер...

В один из таких вечеров мистер Пиготти сообщил мне, что накануне, когда вышел из дому, он наткнулся на поджидавшую его Марту, и та просила его ни в коем случае не покидать Лондон, пока он снова не увидится с ней.

— А объяснила она вам, почему это нужно? — поинтересовался я.

— Я спросил ее об этом, мистер Дэви, но она ведь не охотница до разговоров и почти ничего мне не сказала, только взяла с меня обещание не отлучаться и ушла.

— По крайней мере, сказала она вам, когда ее можно снова ждать?

— Нет, мистер Дэви, — ответил задумчиво старик, проводя рукой по лицу. — Я и об этом ее спрашивал, но она уверила меня, что сказать не может.

Так как я давно уже поставил себе за правило не поддерживать висевших на волоске надежд моего старого друга, то и тут я нашел нужным только высказать мысль, что, наверное, Марта скоро снова появится. О моей же собственной тени надежды, вызванной рассказом старика, я предпочел умолчать.

Прошло недели две. Я гулял вечером один по саду. Так живо помню я этот вечер. Целый день шел дождь, и в воздухе чувствовалось много влаги. Мокрые листья на деревьях казались тяжелыми, небо все еще было мрачно, но дождь уже перестал, беззаботные птички начали весело щебетать. Пока я так ходил взад и вперед по саду, сумерки

сменились темнотой, и птички умолкли. Воцарилась та особенная тишина, которая бывает в деревне после дождя, когда даже листья — и те не шелохнутся, а только время от времени с ветвей упадет капля, другая...

Подле нашего домика была небольшая аллея, где по трельяжам вился плющ. Сквозь эту аллею открывался вид на большую дорогу, проходящую мимо нас. Прогуливаясь в задумчивости, я случайно бросил взгляд на дорогу и увидел там женскую фигуру в простом плаще; женщина перегнулась в сад и делала мне знаки.

— Марта, это вы? — сказал я, подходя к ней.

— Можете ли вы сейчас пойти со мной? — взволнованно прошептала она. — Я была у него, но не застала дома. Написала ему, куда он должен прийти, и эту записку собственноручно положила на его стол. Соседи мне сказали, что он скоро должен вернуться. У меня есть вести для него... Так можете вы сейчас же отправиться со мной?

Вместо ответа я в тот же миг очутился на дороге. Марта торопливо махнула мне рукой, как бы умоляя терпеливо ждать и ничего не говорить. Затем она повернулась в сторону Лондона, откуда, повидимому, пришла пешком.

Я спросил, куда мы направляемся, и, узнав, что в Лондон, подозвал проезжавшую мимо пустую извозчичью карету; мы сели в нее, и я осведомился у Марты, куда велеть ехать кучеру.

— К «Золотому скверу», — проговорила она, — только скорей!

Когда карета тронулась, она забилась в угол, одной рукой закрыла себе лицо, а другой все махала, словно показывая этим, что не к состоянию в данную минуту слышать человеческий голос.

Я был очень взволнован: во мне боролись и проблески надежды и страх. Я ждал от Марты каких-нибудь объяснений, но видя, что она совершенно не расположена говорить, не стал ее расспрашивать. Дорогой мы с ней не проронили ни единого слова. Время от времени она выплядывала из окна кареты, видимо считая, что кучер едет слишком медленно (на самом деле он гнал лошадь вовсю), а затем снова забивалась в свой уголок.

Мы вышли из кареты у одного из входов указанного ею «Золотого сквера». Здесь я велел извозчику подождать, думая, что он может еще понадобиться. Марта взяла меня под руку и повела в одну из темных улиц этого квартала, где когда-то в особняках жили богатые семьи, а

теперь эти дома сдавались по комнатам беднякам. Войдя в один из таких домов, Марта оставила мою руку и знаком указала следовать за ней по общей лестнице.

Дом был набит жильцами. Когда мы шли по лестнице, то по сторонам открывались двери, и из них выглядывали любопытные, а другие проходили мимо нас, спускаясь по лестнице. Еще подходя к дому, я заметил в окнах женщин и детей, смотревших на нас из-за цветочных горшков. Повидимому, мы привлекли к себе общее внимание. Лестница была широкая, с массивными перилами из какого-то ценного темного дерева. На карнизах были изображены цветы и фрукты. Все эти остатки бывшего величия пришли в ветхость и были очень грязны. Время не пощадило и пола: местами роскошный паркет был заделан сосновыми досками, а местами был даже небезопасен. Некоторые из окон, выходящих на лестницу, были или наполовину, или совсем забиты, в других же не уцелело почти ни одного стекла. Окна эти выходили на жалкий внутренний двор, служивший мусорной ямой для всего дома.

Мы стали подниматься на верхний этаж. Раза два-три мне и полумраке показалось, что впереди мелькает фигура женщины. Когда мы почти достигли верхней площадки, мы ясно увидели женщину. Она остановилась на мгновение у двери, затем повернула ручку двери и вошла.

— Что это значит? — прошептала Марта. — Она вошла в мою комнату, а я ее совсем не знаю.

Я же знал ее. К великому моему удивлению, это была Роза Дартль. Едва успел я в нескольких словах объяснить Марте, что мне случалось раньше встречать эту особу, как из комнаты донесся ее голос, но разобрать слов было нельзя. Изумленная Марта сделала мне знак, чтобы я молчал, и тихонько повела меня вверх по лестнице к маленькой боковой двери, которая, казалось, не запиралась. Она толкнула ее рукой и ввела меня в небольшой пустой чердак с покатою крытой, откуда была полуоткрыта дверь в ту комнату, которую Марта называла своей. Тяжело дыша после подъема по лестнице, мы остановились здесь, и Марта слегка коснулась рукой моего рта. С того места, где я стоял, видно было, что комната Марты довольно большая, что в ней стоит кровать, а на стенах висят простенькие картины с изображением кораблей; но ни мисс Дартль, ни особы, с которой она



говорила, видеть я не мог; конечно, не могла видеть их и моя спутница, стоявшая позади меня.

Мертвая тишина царила некоторое время. Марта продолжала закрывать мне рот одной рукой, а другую подняла, как бы прислушиваясь.

— Для меня не имеет значения, дома она или нет, — слышался высокомерный голос Розы Дартль. — Я с ней незнакома. Я пришла к вам.

— Ко мне? — повторил приятный голос.

Я весь задрожал — это был голос Эмилии.

— Да, — ответила мисс Дартль, — я пришла поглядеть на вас. Как не стыдитесь вы самого лица своего, наделавшего столько зла?

Слыша беспощадную ненависть и холодную суровость, звучащие в ее голосе, чувствуя сдерживаемое ею бешенство, я так ясно представил себя эти сверкающие черные глаза, эту тощую фигуру, словно иссушенную страстью, представил себе этот белый рубец, пересекающий ее рот, трепещущий и вздрагивающий, когда она говорит:

— Да, я пришла поглядеть на каприз, на игрушку Джемса Стирфорта, на девушку, которая убежала с ним и покрыла себя позором среди своих земляков, пришла поглядеть на дерзкую, наглую, продувную подругу такого человека, как Джемс Стирфорт! Мне хотелось знать, что собой представляет такая тварь!

Послышался шорох, как будто несчастная девушка, на которую сыпались эти обидные слова, порывалась убежать, а Роза преградила ей путь.

После короткой паузы мисс Дартль, топнув ногой, снова заговорила сквозь зубы;

— Ни с места! Не то я объявлю всему дому, всей улице, кто вы такая! Не пытайтесь бежать от меня: я удержу вас за полосы и подниму против вас самые камни этого дома!

Испуганный шопот был всё, что я мог уловить. Снова наступило молчание. Я не знал, что мне делать. Как ни жаждал я положить конец этому ужасному свиданию, но я чувствовал, что не имел права вмешиваться в такое дело, — помочь ей мог только мистер Пиготти. «Когда же наконец он явится?» — с нетерпением думал я.

— Так вот наконец я увидела вас! — с презрительным смехом сказала Роза Дартль. — Я, признаться, не ожидала, чтобы Джемса Стирфорта могли соблазнить притворная скромность и грустно опущенная головка.

— Ради бога, пощадите меня! — воскликнула Эмилия. — Кто бы вы ни были, но вы знаете мою злосчастную историю и будете милосердны ко мне, если хотите, чтобы и вас когда-нибудь помиловал господь!

— Чтобы меня из-за вас помиловали! Да что может быть общего между мною и вами?

— Правда, я все это заслужила! — крикнула Эмилия. — Но это ужасно! Дорогая, дорогая миледи, подумайте только, что я выстрадала, каким образом я пала так низко! Ах, Марта, возвращайтесь скорей!.. Ах, как бы я хотела быть дома!..

Мисс Дартль опустилась на стул, и мне стало ее видно. Она смотрела вниз, как будто Эмилия валялась у ее ног. Теперь я хорошо мог рассмотреть ее презрительно поднятую губу, ее свирепый взгляд, со злорадным торжеством устремленный в какую-то точку.

— Выслушайте меня, — заговорила Роза, — а ваше притворство оставьте для других: меня вы не проведете! Неужели вы надеетесь тронуть меня своими слезами? Это так же невозможно, как очаровать меня вашими улыбками, продажная рабыня!

— Ах, сжальтесь надо мной! Будьте хоть немного милосердны, или я тут же сойду с ума и умру!

— Что же! Это было бы не особенно тяжелой карой за ваши преступления, — заявила Роза Дартль. — Знаете ли вы, что вы сделали? Думаете ли вы о доме, который вы разрушили?

— О, поверьте, я об этом никогда не перестая думать и днем и ночью! — крикнула Эмилия.

Теперь я и ее увидел. Она стояла на коленях, закинув голову назад и подняв вверх свое бледное личико. Волосы рассыпались у нее по плечам, и она с мольбой судорожно сжимала руки.

— Нет буквально минуты ни днем, ни ночью, чтобы я не видела его перед собой таким, каким он был в тот злополучный день, когда я покинула его навсегда, навсегда! О, дом мой, родной дом! О, дорогой, дорогой дядя! Если бы вы могли знать, какие душевные муки принесет мне воспоминание о вашей любви, когда я совращусь с пути

истинного, то вы, наверно, так не высказывали бы мне любви на каждом шагу. Пусть бы хоть раз вы рассердились на меня — все же было бы мне легче. Но у меня нет, нет никакого утешения на земле именно потому, что все они слишком меня любили!

И тут она припала лицом к полу перед властной женщиной, сидевшей на стуле, и пыталась с мольбой прикоснуться к ее платью.

Роза Дартль смотрела на нее бесчувственно, как бронзовая статуя. Я видел, что губы ее были плотно сжаты, словно она сознавала, как необходимо ей сдерживаться, чтобы не ударить ногой красавицу-девушку, распростертую перед нею.

— А какое тщеславие у этих земляных червей! — воскликнула Роза Дартль, поборов бушевавшую в ее груди бурю на столько, что могла начать говорить. — Скажите! «Ее» дом! Да неужели вы думаете, что я имела в виду «ваш» дом или допускала, что вы могли нанести такой урон своему жалкому дому, которого нельзя было бы с лихвой вознаградить деньгами? Ваш дом! Да вы в нем были такой же продажной вещью, как и все другие, какие продают и покупают ваши родичи!

— О, только но это! — закричала Эмилия. — Обо мне говорите все, что вам угодно, но не марайте моим позором больше, чем я уже сама это сделала, тех людей, которые так же честны, как и вы! Если в душе у вас нет жалости ко мне, то прошу вас хотя бы из чувства собственного достоинства относиться к этим людям с уважением.

— Я говорю, — продолжала Роза Дартль, не удостоивая ответы несчастную Эмилию и отдергивая от нее свое платье, словно боясь оскверниться, — я говорю о «его» доме — доме, где я живу. Так вот она! — с презрительным смехом проговорила Роза, указывая пальцем на лежащую у ее ног Эмилию. — Вот она, эта достойная причина разлада между матерью — знатной дамой — и ее благородным сыном! И ей, которую не взяли бы в этот дом кухонной девкой, ей удалось внести туда столько горя, раздражения и упреков! Подумать только, что мог сделать этот кусок грязи, подобран ный где-то на морском берегу, чтобы с ним час другой позабавиться, а затем отшвырнуть его на прежнее место!

— Нет, нет! — закричала Эмилия, сжимая в отчаянии руки, — Когда я впервые встретила его на своем пути... о, если бы этот день никогда не настаивал для меня! о, если бы увидел он меня уж только в

гробу!.. я была так же целомудренна, как вы или какая-нибудь леди из знатной семьи. Я была невестой лучшего из людей... Вы сказали, что живете в его доме и, значит, знаете его, тогда, вероятно, вам известно, какое влияние он мог иметь на слабохарактерную, пустую девочку. Я не оправдываю своих поступков, нет, но я знаю, да и он это знает или, во всяком случае, узнает, когда настанет его смертный час и в нем заговорит совесть, что он не остановился ни перед чем, чтобы соблазнить меня. А я беззаветно верила ему и любила его.

Роза Дартль вскочила со стула и, отступив назад, замахнулась на Эмилию с таким искаженным злобой и бешенством лицом, что я едва не бросился между ними. Удар пришелся мимо... Теперь, когда она стояла, задыхаясь, дрожа от бешенства, и смотрела на свою жертву со всей ненавистью, на какую только была способна, я невольно подумал, что мне никогда не случалось и, наверное, никогда не случится видеть что-либо подобное.

— «Вы» его любили?! «Вы»?! — закричала Роза, сжимая в кулак руку за неимением хлыста, которым хотела бы стегнуть ненавистную женщину.

Тут я перестал видеть Эмилию. Я также не слышал, чтобы она ответила что-либо Розе.

— И «мне» говорите вы это своими бесстыдными губами! — бросила она. — Почему не секут подобных тварей? С каким бы наслаждением приказала я засечь досмерти эту девку!

Я нисколько не сомневался в том, что сна способна была это сделать. Ее глаза горели такой ненавистью, что, пожалуй, она сама стала бы пытаться бедняжку.

Ее злобный взгляд мало-помалу сменился насмешливым. и она снова заговорила, хохоча и указывая на Эмилию рукой, словно на существо самое презренное перед богом и людьми:

— «Она» способна любить! Эта падаль! Да еще уверять, что он добивался ее! Ха-ха-ха!.. Ну и умеют же врать эти продажные твари!

Ее насмешки были еще хуже ее ярости.

— Как я уже говорила вам, чистейший источник любви, — продолжала Роза, — пришла я сюда, чтобы посмотреть, что представляет собой такая тварь, как вы. Теперь мое любопытство удовлетворено. Кроме того, я хотела сказать вам, чтобы вы как можно скорее возвращались в свой родной дом, к тем чудным людям, которые

не могут дожидаться вас. Не сомневаюсь, что ваши деньги принесут им утешение. А когда эти деньги будут истрачены, так вы снова сможете «и верить и любить»! Я думала найти в вас сломанную игрушку, отжившую свой век, мишуру, утратившую мимолетный блеск, а нашла чистое золото, настоящую даму, нашла угнетенную невинность с непорочным сердцем, полным любви и верности... ведь вы же таковы, судя по вашим словам? И я хочу еще кое-что сказать вам, мой чистый ангел! Выслушайте меня внимательно, ибо то, что я говорю, я сделаю.

Тут ею снова овладело бешенство, но она моментально подавила его и с улыбкой продолжала:

— Спрячьтесь где-либо, если не у себя дома, то в каком-нибудь укромном местечке, или даже совсем уйдите из жизни. Вообще я удивляюсь, почему, если ваше любящее сердечко само не разбилось, вы до сих пор не помогли ему в этом? Я не раз слыхала о таких способах. Мне кажется, найти их не так трудно.

Ее прервал глухой плач Эмилии. Роза замолчала и стала прислушиваться к нему, как к чудесной музыке.

— Я, быть может, странное существо, — снова заговорила Роза Дартль, — но я не могу дышать воздухом, которым вы дышите! Он вреден для меня. И вот почему я хочу освежить его, хочу очистить его от вас! Если завтра вы будете еще здесь, то всему дому станет известна и ваша история и то, что вы собой представляете. Я слыхала, что здесь живут порядочные женщины, и очень жаль, если среди них будет скрываться такое «светлое» существо, как вы. Если, уйдя отсюда, вы вздумаете устроиться в Лондоне в какой-нибудь иной роли, кроме своей собственной, — продажной женщины (этим ремеслом я предоставляю вам заниматься), — то знайте, что всюду, где бы вы ни поселились, я окажу вам ту же услугу: всё о вас будет известно.

«Да неужели же он никогда не придет? — с ужасом думал я. — Сколько же времени еще мне придется выносить это? Долго ли буду я в силах держать себя в руках?»

— О боже мой, что же мне делать? — воскликнула злосчастная Эмилия таким тоном, который, мне кажется, мог растрогать самое бесчувственное сердце.

Но Роза Дартль все так же злорадно улыбалась.

— Что вам делать? — повторила Роза Дартль. — Жить былым счастьем. Посвятить свою жизнь воспоминаниям о любви Джемса

Стирфорта, дошедшей до того, что он хотел выдать вас замуж за своего лакея, не так ли? Можно также наполнить свою жизнь благородным чувством к этому достойному человеку, который соглашается получить вас из рук своего барина. Если же ваша жизнь не может быть заполнена всеми этими радостными воспоминаниями и сознанием ваших добродетелей, так возвысивших вас в глазах всех, кто не утратил еще человеческого облика, то выходите замуж за этого хорошего человека и будьте счастливы его снисходительностью. А если вам и это не улыбнется, то умрите! Мало ли есть на свете глубоких помойных ям! Утопитесь в одной из них — и вы вознесетесь на небеса!

Тут я услышал на лестнице отдаленные шаги. Я тотчас же узнал их. Слава богу! Наконец-то он!

— Но не забывайте, — сурово и медленно прибавила Роза Дартль, исчезая из моего поля зрения и открывая другую дверь, — не забывайте, что я решила, в силу имеющихся у меня причин, а также из-за ненависти, которую питаю к вам, беспощадно преследовать вас, пока вы не уберетесь подальше или не скинете своей маски. Вот то, что я хотела вам сказать. А то, что я говорю, — я делаю!

Шаги поднимающегося по лестнице человека все приближались и приближались. Человек прошел мимо спускавшейся Розы Дартль и ринулся в комнату.

— Дядя! — вырвалось у Эмилии, и затем раздался страшный крик...

Переждав минуту, я заглянул в комнату и увидел, что мистер Пиготти держит в объятиях свою племянницу: она была без чувств. Несколько секунд смотрел он ей в лицо, потом нагнулся и поцеловал его с невыразимой нежностью, а затем прикрыл платком.

— Мистер Дэви, — сказал он тихим, дрожащим голосом, — благодарю всевышнего! Моя мечта сбылась! Всем сердцем благодарю господу, что он привел меня к моей любимой девочке.

С этими словами он взял ее, все еще бесчувственную, на руку, повернул прикрытое личико к своей груди и стал с ней спускаться по лестнице...

## ***Глава XXII***

# ***ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ЕЩЕ БОЛЕЕ ДЛИННОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ***

На следующий день рано утром, когда я прогуливался в нашем саду с бабушкой (ухаживая за моей дорогой Дорой, она почти никуда больше не выходила), мне сказали, что пришел мистер Пиготти и хочет говорить со мной. Я тотчас же направился к калитке и встретился с моим старым другом в саду. Он, как всегда при виде бабушки, еще издали, из глубочайшего уважения к ней, снял шляпу. Я уже рассказал бабушке обо всем, что случилось накануне. Не говоря на слова, она с самым приветливым видом подошла к мистеру Пиготти, пожала ему руку и потрепала по плечу. Сделано это было так выразительно, что слова тут уже были излишни, и старик прекрасно ее понял.

— Теперь я пойду, Трот, — сказала бабушка, — надо позаботиться о нашем Цветочке — он скоро уже проснется.

— Надеюсь, вы не из-за меня, мэм, уходите? — сказал мистер Пиготти. — Если ум мой не совсем еще зашел за разум сегодня, то, мне кажется, это я виной тому, что вы покидаете нас.

— Вам ведь нужно переговорить, друг мой, и без меня это будет свободнее сделать, — ответила бабушка.

— С вашего позволения, мэм, я попросил бы вас остаться, если только вас не утомит то, что я буду молоть.

— Если вы этого хотите, — добродушно сказала бабушка, — то, конечно, я останусь.

Она взяла мистера Пиготти под руку и пошла с ним к небольшой, увитой зеленью беседке в глубине сада. Здесь она уселась на скамейку, а я рядом с ней. Было место и для мистера Пиготти, но он предпочел стоять, опершись рукой на маленький садовый столик.

Прежде чем заговорить, он некоторое время простоял молча, глядя на свою шляпу, и мне невольно бросилось в глаза, какая твердость характера и решимость чувствовались в его мускулистой

руке и как это гармонировало с его честным лицом и седеющими волосами.

— Вчера вечером, — подняв на нас глаза, начал мистер Пиготти, — я унес мое дорогое дитяtko в свою квартирку, где давно ждал ее и все для нее приготовил. Немало часов прошло, прежде чем она хорошенько пришла в себя и узнала меня. Тут она упала передо мной на колени и, как на исповеди, все рассказала мне. Поверите, когда я услышал ее печальный голос, бывало так весело звучащий у нас дома, увидел ее лежащей, так сказать, во прахе, я, несмотря на всю свою благодарность всевышнему, почувствовал ужасную боль в сердце.

Он отер рукавом слезы, не стараясь их скрыть от нас, и, откашлявшись, продолжал:

— Но сердце мое не долго болело: ведь она была найдена! стоило мне только об этом подумать — и все прошло. Не знаю, право, почему я заговорил о себе, — минуту назад я совсем не собирался этого делать. Как-то само собой вышло.

— Вы самоотверженный человек и получите награду за это, — проговорила бабушка.

Старик, на лице которого играла тень от ливня, не понимая, чем заслужил он эту похвалу, с удивлением посмотрел на бабушку, а затем вернулся к своему рассказу:

— Когда моя Эмми убежала, — на лице старика вспыхнул гнев, — из дома, где ее держал в плену этот полосатый гад... (Мистер Дэви видел его, и то, что он ему рассказал, совершенная правда, — пусть же его покарает господь!)... так вот, когда она убежала, стояла глухая ночь. Ночь была безлунная, только множество звезд ярко горело на небе. Бедняжка была как помешанная. Она вообразила, что здесь наша старая баржа, и стала кричать, чтобы мы отвернулись, ибо ей стыдно нас. Слыша свои вопли, она думала, что рыдает кто-то другой. Она избила себе все ноги о камни, но чувствовала это не более, чем если бы сама была каменная. И она все бежала и бежала, и перед глазами у ней словно носилось зарево, а в ушах стоял страшный шум... Вдруг — или так, понимаете ли, ей показалось — стало светать. Сыро, ветрено, она лежит на берегу у груды камней. Тут же подле нее молодая женщина. Она спрашивает ее на языке той земли, что с ней случилось...



Казалось, все, о чем рассказывал старик, он как бы видел перед собой. Эта картина рисовалась ему так ярко, что он передавал ее гораздо более живо, чем я способен это сделать. И когда теперь, так много лет спустя, я повествую об этом, мне просто не верится, что я не был очевидцем этих сцен, до того запечатлелись они с его слов в моей памяти.

— Вглядевшись в эту женщину своими утомленными глазами, — продолжал свой рассказ мистер Пиготти, — Эмми узнала в ней одну из тех женщин, с которыми она, бывало, часто разговаривала на морском берегу. Хотя она и далеко успела убежать, но раньше она делала большие прогулки и пешком, и в экипаже, и на лодке, а потому знала окрестное население на много миль кругом. Женщина эта не так давно вышла замуж, детей у нее еще не было, но, видимо, она ждала скорого прибавления семейства... Услышь, господи, мою молитву и пошли ей такого ребенка, который был бы для нее в жизнь радостью, утешением и гордостью! Дай бог, чтобы это дитя любило ее, почитало, заботилось о ней в старости до конца ее дней, было ее ангелом в здешней жизни и в будущей!.. Женщина эта отличалась характером робким и застенчивым, и обыкновенно, когда Эмми, бывало, вела разговоры с детьми, она сидела поодаль за пряжей или другой работой. Но Эмми обратила на нее внимание, подошла к ней и заговорила первая. Молодая женщина тоже любила детей, а потому обе они скоро подружились, и, когда Эмми бывала в тех местах, ее новая приятельница всегда дарила ей цветы. Так вот, она-то теперь и спрашивала Эмми, что с нею случилось. Эмми рассказала ей все, как было, и та взяла ее к себе домой. Да, она это сделала — взяла ее к себе домой! — повторил мистер Пиготти, закрывая себе лицо руками.

Вспоминая о поступке доброй женщины, старик пришел в такое волнение, в какое, по-моему, ничто не приводило его с самого бегства Эмилии. Мы с бабушкой молча дали ему успокоиться.

— Это, понимаете ли, была совсем крошечная хижинка, — вскоре заговорил он, — а все же она нашла и ней место для Эмми! Мужа ее дома не было, он с другими рыбаками ушел далеко в море. Она решила скрывать, что приютила у себя Эмми, и попросила соседей — их немного было поблизости — тоже никому не говорить об этом. Тут Эмми заболела жестокой горячкой, и, что мне кажется очень странным, — для ученых людей, быть может, в этом нем ничего

удивительного, — она вдруг забыла язык тех мест, только помнила свой родной, и никто ее не мог понять. Ей вспоминается, словно это было во сне, что она лежит в этой хижине, все говорит на родном своем языке, ей все кажется, что наша старая баржа здесь поблизости, за мыском, и она просит и умоляет, чтобы сходили к нам, сказали, что она умирает, и принесли ей из родного дома хоть одно слово прощения. Почти все время ей чудится также, что гад, о котором я упоминал, не перестает разыскивать ее и прячется под окошком, а тот, кто увез ее, стоит здесь в комнате, — и вот она кричит и молит свою молодую хозяйку не отдавать ее, но при этом она сознает, что та ее не понимает, и поэтому, трепещет, что ее вот-вот увезут куда-то. Перед глазами ее словно зарево, и в ушах страшный шум. А времени она совершенно не знает: для нее нет ни вчерашнего, ни сегодняшнего дня, а то, что когда-либо случилось или никогда не случилось с нею в жизни, то, что могло случиться или было совершенно невысказано, — все перепуталось в ее бедной голове, и вдруг среди всего этого сумбура она начинает петь и смеяться. Не знаю уж, сколько это продолжалось, но наконец она заснула. Пока она бредила, откуда-то у нее брались силы, а когда после она проснулась, то была слаба, как маленький ребенок.

Старик замолчал, как бы отдыхая от ужасов, им изображенных, а затем, через несколько минут снова вернулся к своему рассказу.

— Проснулась она после полудня. Погода стояла чудесная, тишина такая, что был только слышен плеск синего моря о берег. Сначала ей показалось, что это воскресное утро дома, но виноградная лоза, вившаяся по окну, и видневшиеся вдаль холмы разубедили ее в этом. Как раз вошла ее приятельница-хозяйка и села подле ее кровати. Тут Эмми поняла, что нашей старой баржи нет за мыском, а сама она далеко-далеко, вспомнила, где она и почему, — и бедняжка разрыдалась на груди доброй молодой женщины, на той груди, у которой, надеюсь, теперь лежит крошка, радуя маму своими прелестными глазенками.

Старик без слез не мог вспомнить об этом преданном друге своей Эмми. Напрасно пытался он сдерживать себя: он снова заплакал, призывая на нее благословенье божье.

— Когда Эмми выплакалась, ей стало легче, — опять заговорил он, совладав, наконец, со своим волнением (оно невольно передалось

и мне, не говоря уже о бабушке, плакавшей навзрыд), — и бедняжка стала поправляться. Но она все не могла никак вспомнить язык этой местности и должна была объясняться знаками. И вот с каждым днем она хотя медленно, но поправлялась. Начала она снова на их языке учить названия самых необходимых вещей, и — странное дело! — ей казалось, что она никогда в жизни этих слов не слыхивала. Как-то раз вечером она сидела у окошка и смотрела на маленькую девочку, игравшую на берегу. Вдруг эта девочка протянула к ней ручонку и сказала по-своему. «Рыбакова дочка, вот тебе раковина». Понимаете ли, сначала все ее звали «милая барыня», как у них там полагается, а Эмми выучила их называть себя «рыбаковой дочкой». И, подумайте, когда она услышала «рыбакова дочка», она почему-то сразу поняла и, заливаясь слезами, ответила девчурке на ее языке. С тех пор она стала опять с ними говорить по-ихнему...

«Когда Эмми совсем поправилась, — снова заговорил старик, немного помолчав, — она стала подумывать о том, что надо расстаться со славной своей приятельницей и двинуться восвояси. Хозяин в это время уже вернулся домой. Они вместе с женой усадили ее на маленькое торговое суденышко, шедшее сначала в Ливорно, а затем во Францию. У Эмми было немного денег, но рыбацья чета почти ничего не согласилась взять за все свои хлопоты. Хотя эти люди очень бедны, но я рад за них: то, что они сделали для Эмми, им пригодится там, где моль не ест, ржа не портит, воры не крадут... Да, мистер Дэви, это стоит больше всех сокровищ мира!

«Во французском портовом городе Эмми поступила номеранткой в гостиницу — ухаживать за путешествующими дамами. Как вдруг однажды в этой гостинице появился тот гад, о котором я вам говорил. Пусть он никогда не попадается мне на глаза! Уж не знаю, что и сделал бы я с ним! Как только она его увидела (гад-то ее не приметил), на нее опять напало безумие, и она сбежала, чтобы не дышать одним с ним воздухом. Она отправилась в Англию и высадилась в Дувре.

«Не знаю, когда именно начала она падать духом, но всю дорогу до самой Англии она только и думала, как добраться до родного дома. Высадившись, она и направилась туда, но тут почему-то на нее напал страх. Она стала бояться, что ее не захотят простить, что все будут показывать на нее пальцами, вообразила даже, что кто-то из нас,

наверно, умер с горя из-за нее. Все эти мысли навели на нее такой ужас, что она не была в состоянии вернуться домой, словно сила какая-то свернула ее с дороги!

«Дядя, дядя! — рассказывала она мне. — Сильней всех страхов было сознание, что я недостойна сделать то, чего жаждало мое истерзанное сердце. Я повернула назад, а в то же время не переставала молить бога о том, чтобы мне до ползти среди ночи до родного порога, поцеловать его, прильнуть к нему своим грешным лицом и тут же умереть».

— И вот она в Лондоне, — продолжал рассказывать еле слышным, прерывающимся голосом мистер Пиготти. — Она, никогда раньше в жизни не бывавшая здесь, без гроша, молодая, такая красивая, — одна в Лондоне. Чуть ли не в первую минуту она наткнулась на особу, которую в своем одиночестве приняла за друга. Какая-то, на вид приличная женщина заговорила с ней о шитье, уверила ее, что может достать ей сколько угодно подобной работы, предложила приютить ее на ночь и даже обещала на следующий день тихонько разузнать обо мне и вообще обо всем нашем доме. И вот, когда мое дитя стояло на краю бездны, — проговорил старик, повышая голос, в котором звучала бесконечная благодарность, — бездны, о которой мне не только говорить, но и подумать страшно, — Марта, верная своему обещанию, спасла ее.

У меня невольно вырвался радостный крик.

— Мистер Дэви, — сказал старик, крепко сжимая мою руку в своей сильной руке, — это вы сказали мне о ней. Горячо благодарю вас, сэр. Марта ревностно взялась за дело. Она знала из собственного горького опыта, где надо было подстергать Эмми и как затем поступить. Бледная, взволнованная, она пробралась в тот дом, где была Эмми, и застала ее спящей. Немедленно она разбудила ее, сказав: «Вставайте и идите со мной, — здесь вам грозит беда хуже смерти». Хозяева дома пытались остановить Марту, но легче было бы им удержать разбушевавшееся море...

«Посторонитесь! — крикнула Марта. — Я провидение, явившееся спасти ее на краю открытой могилы». Она сейчас же рассказала Эмми о том, что виделась со мной, что я люблю ее и все прощаю. Наскоро одев бедняжку, она взяла ее, едва державшуюся на ногах, дрожащую, под руку и, словно глухая, не обращая никакого

внимания на все возражения окружающих, среди ночи вывела мое дитяtko из этого мрачного вертепа.

«Всю ночь и весь следующий день она ухаживала за моей Эмми, — продолжал старик, приложив руку к тяжело дышащей груди, — а бедняжка моя совсем ослабела и временами даже бредила. Когда ей стало несколько лучше, Марта отправилась за мной и за вами, мистер Дэви, не сказала ничего Эмми — из опасения, что та оробеет и еще вздумает куда-нибудь спрятаться. Как проведала злая дама, про то, что Эмми здесь, уж не знаю. Быть может, тот гад, о котором я уже говорил, случайно видел, когда они с Мартой входили в дом, или (это, пожалуй, вероятнее всего) он узнал об этом от той женщины, в руки которой попала Эмми. Да я над этим не задумываюсь — дитяtko мое найдено!

«Всю ночь напролет мы с Эмми провели вместе. Она из-за слез, лившихся как бы из самого ее разбитого сердца, в сущности, не много сказала мне, и я едва мог рассмотреть любимое личико — личико, которое у моего сердца из детского превратилось в женское. Но всю ночь руки ее обвивали мою шею, а головка лежала вот здесь, и теперь мы с ней знаем, что отныне можем доверять друг другу.

Он замолчал, спокойно опустил на стол руку, и в нем чувствовалось столько решимости, что, казалось, он мог бы сразиться со львами.

— Когда-то, Трот, мне очень улыбалось стать крестной матерью вашей сестры Бетси Тротвуд, обманувшей мои надежды, — промолвила бабушка, вытирая глаза, — но теперь, знаете, вряд ли что могло бы доставить мне большее удовольствие, чем крестить ребенка у той славной молодой итальянки.

Мистер Пиготти кивнул головой, показывая этим, что он вполне понимает ее, но так ничего и не сказал. Мы все молчали, погруженные в свои мысли, только бабушка, все вытирая глаза, время от времени принималась то всхлипывать, то смеяться, называя себя при этом «старой душой».

Наконец я заговорил:

— Скажите, дорогой мой друг, у вас ведь есть уже план на будущее? Об этом, мне кажется, и спрашивать почти излишне.

— Конечно, мистер Дэви, — ответил старик, — и я его уже сообщил Эмми. Мало ли есть на свете разных стран далеко отсюда. И

наша с ней будущая жизнь — там, за морями.

— Слышите, бабушка, — сказал я, — они хотят с племянницей эмигрировать.

— Да, — подтвердил мистер Пиготти, и улыбка, полная надежды, озарила его лицо, — в Австралии уж никто не попрекнет мою любимицу, и там мы начнем с нею новую жизнь.

Я поинтересовался узнать, когда предполагает он туда отправиться.

— Сегодня ранехонько я был уже в порту, сэ, — ответил он, — чтобы разузнать, когда уходят их суда, и мне сказали, что через шесть недель, много через два месяца в Австралию отплывает большой корабль. Я сейчас же побывал на нем и осмотрел его. Вот на нем мы с Эмми и отправимся.

— Только вдвоем с ней? — спросил я.

— Да, мистер Дэви. Видите ли, сестра так любит вас и всех ваших, потом для нее ничего нет лучшего на свете, как ее родина, и потому увозить ее отсюда было бы, мне кажется, не совсем хорошо. А кроме того, не надо ведь забывать, что у нее есть здесь о ком заботиться.

— Бедняга Хэм! — вырвалось у меня.

— Видите ли, мэм, моя славная сестра ведет его хозяйство, — пояснил мистер Пиготти бабушке, — и он очень привязался к ней. Подчас он подсядет к ней и спокойно поговорит о том, о сем, тогда как с другими и слова не проронит. Бедный парень, — прибавил мистер Пиготти, покачивая головой, — у него и так в жизни мало осталось хорошего, куда ему еще и последнее отдавать!

— А миссис Гуммидж? — спросил я.

— Ну, вот она заставила-таки меня призадуматься, — ответил мистер Пиготти с некоторым смущением, которое, впрочем, мало-помалу исчезло. — Видите ли, сэ, когда миссис Гуммидж начинает вспоминать старика, тогда ее общество нельзя назвать приятным. Между нами будь сказано, когда миссис Гуммидж начинает хныкать, то тем, кто не знал ее старика, это может показаться довольно-таки несносным. Я-то знал ее покойного мужа, очень ценил его и потому могу понять старуху, а другим, конечно, этого не понять...

Мы с бабушкой совершенно были согласны с ним.

— Может случиться так, — конечно, я только предполагаю, — что и сестра моя порой будет тяготиться миссис Гуммидж. Поэтому я не хочу навязывать им, а устрою ее где-нибудь отдельно, и она будет получать от меня пенсию, на которую сможет прожить безбедно. Миссис Гуммидж — вернейшее и преданнейшее существо, но нельзя же ожидать, что в ее годы, и вытерпев столько горя, эта одинокая старушка могла бы пуститься за океан и жить там среди пустынь и лесов. Вот почему я и решил устроить ей иную жизнь.

Мистер Пигогги никого не забыл. Он думал о нуждах и желаниях всех, кроме своих собственных.

— Эмми, — продолжал он, — до самого нашего отъезда будет здесь, у меня: бедняжка так нуждается в отдыхе и покое. К тому же, ей надо еще сшить себе необходимое белье и платье. Хочу надеяться, что возле своего неотесанного, но крепко любящего ее дяди она станет помаленьку забывать о своих горестях.

Кивнув головой, бабушка поддержала в нем такую надежду и этим доставила старику большое удовольствие.

— Теперь еще одно, мистер Дэви, — сказал он и, засунув руку в боковой карман, с серьезным видом вынул оттуда маленький пакет, который я у него уже раньше видел, и стал разворачивать его на столе. — Здесь вот эти банковые билеты: пятьдесят фунтов стерлингов и еще десять фунтов. К ним я хочу приложить еще и те деньги, которые Эмми, убегая, взяла с собой. Я, не говоря ей, для чего мне это надо, узнал от нее точно, сколько было их, этих денег. Да вот в счете-то я не очень силен. Не будете ли вы так добры, сэр, проверить, не ошибся ли я?

Он подал мне написанный на клочке бумаги счет и все время, пока я проверял его, не отрывал от меня глаз. Подсчитано было совершенно правильно.

— Благодарю вас, сэр, — промолвил он, получая от меня проверенный счет. — Надеюсь, вы не будете против того, что я собираюсь сделать. Я хочу перед отъездом эти деньги положить в конверт, написать его имя и переслать в письме к его матери. А ей я очень коротко объясню, какие это деньги, и прибавлю, что я уезжаю и вернуть мне их невозможно.

Я согласился, что он поступает совершенно правильно.

— Я сказал было, что у меня к вам есть одно дело, а оказывается, их целых два, — проговорил с задумчивой улыбкой мистер Пиготти, кладя пакетик обратно себе в карман. — Сегодня утром, выходя со двора, я все ломал себе голову над тем, как сообщить Хэму о том, что, к великому счастью, у нас случилось. В конце концов я написал ему и, будучи в городе, сдал письмо на почту. В чем я рассказал обо всем и прибавил, что завтра сам приеду покончить с некоторыми делами и распрощаться, скорее всего окончательно, с Ярмутом.

— И вы хотите, чтобы я поехал с вами? — спросил я, видя, что он недоговаривает чего-то.

— Если бы вы могли мне сделать такое одолжение, — ответил старик, — я уверен, что всех их там это очень порадовало бы.

Моя маленькая Дора была в хорошем настроении и очень благожелательно отнеслась к тому, чтобы я поехал в Ярмут, и потому я сейчас же объявил моему старому приятелю, что охотно составлю ему компанию.

И вот на следующее утро мы с мистером Пиготти ехали в ярмутском дилижансе по старой, хорошо известной мне дороге. Вечером мы были уже в Ярмуте, Проходя по давно знакомым улицам (причем мистер Пиготти, несмотря на все мои возражения, нес мой дорожный мешок), я заглянул в лавку «Омер и Джорам» и увидел там своего старого приятеля, по обыкновению курящего трубку. Мне не хотелось присутствовать при первой встрече мистера Пиготти с его сестрой и Хэмом, и я расстался с ним под тем предлогом, что мне надо зайти к мистеру Омеру.

— Как поживаете, мистер Омер? — сказал я, входя в лавку. — Давненько-таки я не видел вас!

Старик, чтобы лучше рассмотреть говорившего, отмахнул от себя дым и, сейчас же узнав меня, пришел в восторг.

— Конечно, сэр, я немедленно встал бы, чтобы приветствовать такого почетного гостя, — воскликнул он, — но ноги что-то не совсем слушаются меня, и вот приходится передвигаться на колесиках... Впрочем, за исключением ног и одышки, я, слава богу, чувствую себя как нельзя лучше.

Я выразил ему свое удовольствие по поводу его веселого вида и прекрасного состояния духа и тут заметил, что кресло его действительно на колесиках.



— Не правда ли, остроумная штука? — проговорил мистер Омер, видя, что я рассматриваю кресло. — Оно легче пера, а летит, точно дилижанс. Ей-богу! Моя маленькая Минни... знаете, внучка моя, дочка Минин... так вот, стоит ей, с ее силенками, подтолкнуть это кресло сзади, и оно покатится так, что любо-дорого смотреть. Да еще, скажу вам, как удобно в нем курить трубку!

Я никогда не встречал такого милого старика, способного во всем видеть одно только хорошее. Мистер Омер сиял так, словно его кресло, одышка, парализованные ноги — все это было мудро изобретено исключительно для того, чтобы ему приятнее было курить свою трубку.

— С тех пор, как я сижу в моем кресле, — продолжал рассказывать мистер Омер, — я гораздо больше в курсе того, что делается на белом свете. Вы не поверите, сэр, сколько людей перебивает у меня за день, чтобы поболтать со мной! Право, удивились бы! Потом, с тех пор, как я катаюсь в кресле, в газетах стали печатать как будто вдвое больше. Да вообще я очень много читаю, и это мне доставляет огромное удовольствие. Уж не знаю, что и делал бы я, потеряй я зрение или слух! А ноги — это пустяк: они, когда я ими пользовался, лишь усиливали мою одышку. Теперь же, если я захочу прогуляться по улице или по морскому берегу, мне стоит только позвать Дика, ученика Джорама, и уж я качу в собственном экипаже, как лондонский лорд-мэр!

Тут старик так расхохотался, что едва не задохнулся.

— Господи! — снова заговорил мистер Омер, берясь за трубку. — Поверьте, сэр, надо уметь от жизни брать и хорошее и плохое. Вот у Джорама дела идут хорошо, можно даже сказать — прекрасно...

— Очень рад это слышать, — сказал я.

— Я так и знал, что вы порадуетесь... И живут они с Минни, как голубки. Чего же еще, спрашивается, желать человеку? Что такое по сравнению с этим какие-то ноги!

Это полнейшее пренебрежение к собственным ногам показалось мне самым милым чудачеством, какое я когда-либо встречал.

— И, значит, с тех пор, как я принялся за чтение, вы, сэр, принялись за писание, не так ли? — проговорил старик, восторженно глядя на меня. — Какую чудную вещь вы написали! Как там все

прекрасно рассказано! Я прочел все, от доски до доски, и уж, доложу вам, ко сну меня не клонило, — нет, нет!

Смеясь, я выразил свое удовольствие по этому поводу, но, признаться, его замечание об усыпляющем действии книги намотал себе на ус.

— Клянусь честью, сэра, — продолжал мистер Омер, — когда передо мной на столе лежат ваши три тома... да, первый, второй, третий... я бываю горд, как Петрушка, что когда, — то имел дела с вашим семейством. Давно это было, не правда ли? В Блондерстоне? Помню, маленькое хорошенькое существо лежало с другим существом. Да и вы сами, мистер Копперфильд, тогда были еще совсем маленьким человечком. Господи, боже мой!

Чтобы переменить тему, я заговорил об Эмилии. Начав с того, что я не забываю, как он всегда интересовался ею и как всегда был добр к ней, я рассказал ему, каким образом дядя разыскал ее при помощи Марты. Я знал, что это доставит старику удовольствие. Он слушал меня с величайшим вниманием и, когда я кончил, с чувством проговорил:

— Очень, очень рад этому, сэра! Давно уж мне не случалось слышать такой приятной новости. Ах, господи, господи! Что же теперь будет с этой злосчастной Мартой?

— Вы затронули вопрос, о котором я со вчерашнего дня не перестаю думать, — ответил я, — но пока, мистер Омер, нечего не могу вам сказать. Мистер Пиготти не касался этого вопроса, а мне неловко было его спрашивать. Не сомневаюсь, однако, что он не забудет ее. Этот человек никогда не забывает самоотверженной доброты.

— А знаете, почему я спросил? — продолжал мистер Омер. — Потому что во всем, что будет для нее сделано, я хотел бы принять участие. Когда вы это выясните, пожалуйста, напишите мне. Я никогда не считал эту девушку совершенно испорченной и очень рад, что оказался прав. Дочь моя Минни будет тоже рада. Молодые женщины ведь часто говорят только для того, чтобы противоречить нам. Мать Минни была такая же, как и она, но сердце у них золотое. Все, что, помните, Минни говорила о Марте, было только так, для виду. Не могу вам сказать, зачем ей это было нужно, но только она радешенька была бы втихомолку помочь ей. Итак, повторяю, когда у

вас выяснится относительно Марты, очень прошу вас черкнуть мне несколько словечек. Не правда ли, вы сделаете это, сэр? Боже мой! Когда человек, можно сказать, вторично впадает в младенчество и его возят опять в колясочке, то, конечно, его приводит в восторг возможность сделать какое-нибудь доброе дело, и чем чаще, тем лучше. Я не говорю, сэр, только о себе, — я вообще считаю, что все мы катимся под гору, ибо время не останавливается ни на одно мгновение. Будем же стараться всегда, когда можем, делать добро и радоваться этому. Право, так, сэр.

Он выколотил золу из трубки и положил ее на специально приделанную для этого к спинке кресла полочку.

— Вот, скажем, двоюродный брат Эмили, тот, за которого она должна была выйти замуж, — снова заговорил старик, тихонько потирая себе руки, — это лучший малый во всем Ярмуте! Он иногда заходит ко мне вечером на часок побеседовать и почитать мне вслух. Разве это не большая доброта о его стороны? Да вообще вся его жизнь — одна доброта.

— Я как раз сейчас иду к нему, — заметил я.

— Вот как! Тогда, пожалуйста, передайте ему, что я бодр и свидетельствую ему свое почтение. Минни и Джорам сейчас на балу. Будь они дома, они, так же, как и я, были бы польщены вашим посещением. Минни не хотела было идти («из-за отца», говорила она), но я побожился, что если только она не пойдет, я улягусь спать в шесть часов вечера, и благодаря этому, — мистер Омер так расхохотался своей хитрости, что кресло заходило под ним, — она и Джорам на балу! Я пожал ему руку и пожелал спокойной ночи.

— Побудьте еще с полминутки, сэр, — попросил мистер Омер. — Если вы уйдете, не поглядев на моего маленького слона, вы много потеряете. Никогда ничего подобного вы не видывали!.. Минни!

Мелодичный голосок ответил откуда-то сверху: «Иду, дедушка!»

И вскоре в лавку вбежала прехорошенькая девчурка с длинными белокурыми кудрями.

— Вот мой маленький слоник, сэр! — заявил старик, лаская ребенка, — настоящей сиамской породы. Ну, слоник, за работу!

«Слоник» отворил дверь в бывшую гостиную (она, как я заметил, была превращена в спальню мистера Омера, из-за того, что его трудно

было поднимать наверх) и уперся своей хорошенькой кудрявой головкой в спинку дедушкиного кресла.

— Вы ведь знаете, сэр, что слоны всегда преодолевают препятствия головой? — проговорил, подмигивая мне, мистер Омер. — Ну, слоник, раз, два, три!

По этой команде «слоник» с ловкостью, действительно поразительной для такого маленького существа, повернул кресло и, не задев за дверь, вкатил его в спальню, а дедушка с ликующим видом смотрел на меня, словно это выступление маленькой внучки было блестящим завершением всех его жизненных трудов.

Побродив еще по городу, я пошел к Хэму. Моя Пиготти теперь совсем переселилась к нему, а свой дом сдала внаймы преемнику мистера Баркиса в извозничьем деле, и тот хорошо заплатил за фирму, повозку и лошадь. По-моему, лошадь была та самая, которая когда-то лениво возила меня в детстве.

Я всех застал в чистенькой кухне, где была и миссис Гуммидж. Ее сюда привел со старой баржи сам мистер Пиготти. Не думаю, чтобы кому-нибудь другому удалось заставить ее покинуть свой пост. Очевидно, старик уже все сообщил им. Обе женщины утирали себе глаза передником, а Хэм только что ушел «пройтись немного по берегу». Вскоре он вернулся до мой и очень был рад видеть меня. Вообще, мне кажется, мое присутствие принесло им всем некоторое облегчение. Мы почти весело говорили о том, как мистер Пиготти разбогатеет в новой стране и о каких чудесах он будет нам рассказывать в своих письмах. Имени Эмилии мы не упоминали, но не раз разговор касался ее, Хэм выглядел веселее и спокойнее всех.

Но, когда моя Пиготти со свечой в руках провожала меня в маленькую комнатку, где на столе всегда лежала в ожидании меня книга о крокодилах, я узнал от нее, что Хэм все в том же состоянии. И няня считала (говоря это, она заплакала), что хотя он и необыкновенно мужествен и ласков ко всем, хотя усерднее и лучше, чем кто-либо работает на здешней верфи, но сердце бедняги, видимо, совсем разбито. Порой вечерком он заговаривает с ней о прежнем житье-бытье в старой барже, даже вспоминает при этом крошку Эмми, но никогда не вспоминает ее взрослой.

Мне показалось, что Хэму хотелось поговорить со мной наедине, и я решил на следующий же вечер встретиться с ним, когда он будет

итти с работы. Приняв это благое намерение, я крепко заснул. В эту ночь, впервые после многих ночей, не горела свеча на окне старой баржи. Мистер Пиготти улегся спать в своем подвешенном к крючьям гамаке, а вокруг него попрежнему завывал ветер.

Весь следующий день мистер Пиготти был занят продажей своей лодки и рыболовных снастей, а также укладкой тех домашних вещей, которые он хотел взять с собой за море. Эти вещи он отправил подводой в Лондон, а остальное из домашнего скарба также распродал или подарил миссис Гуммидж. Она неотлучно была при нем весь день.

С грустью думал я о старой барже, с которой было связано столько сладких воспоминаний детства. Мне хотелось побывать и ней еще раз, прежде чем она будет наглухо заколочена, и я предложил всем сойтись там вечером. Но я рассчитал так, чтобы раньше мне повидаться с Хэмом.

Встретиться с ним было нетрудно, так как я знал, где он работает. Я подждал его на пустынной отмели, через которую ему надо было проходить. Вскоре он появился. Поздоровавшись, я пошел с ним обратно, чтобы дать ему возможность поговорить со мной, если он действительно хотел этого. Я не ошибся в своих догадках. Не прошли мы нескольких шагов, как он спросил, не глядя на меня:

— Мистер Дэви, вы ее видели?

— Всего один миг, когда она была в обмороке, — тихо ответил я.

Мы прошли с ним еще немного, и он снова задал мне вопрос:

— Как вам кажется, мистер Дэви, вы ее еще увидите?

— Быть может, это свидание слишком тяжело для нее, — заметил я.

— Я тоже думал об этом, — проговорил он. — Конечно, это должно быть тяжело, конечно...

— Но послушайте, Хэм, — ласково сказал я ему, — если я не увижусь с ней, то могу ведь написать то, что вы захотите передать ей через меня. Поверьте, я сочту священным своим долгом исполнить ваше поручение.

— Я в этом уверен. Благодарю вас, сур, вы очень добры. Да, мне кажется, есть кое-что, что нужно было бы передать ей — на словах или в письме.

— Что именно?

Мы прошли молча некоторое расстояние, и затем он заговорил:

— Я, видите ли, вовсе не хочу передавать, что прощаю ее. Это совсем не то. Скорее мне надо просить у нее прощения, что я навязывался ей со своей любовью. Часто я думаю о том, что не обещаю ей выйти за меня замуж, она, пожалуй, по-дружески рассказала бы мне все происходившее у нее в душе, спросила бы моего совета, и, быть может, я был бы в силах спасти ее.

— И это все? — сказал я, пожимая ему руку.

— Есть еще кое-что, — ответил он, — только не знаю, сумею ли я это высказать...

Тут мы опять довольно долго шли с ним в глубоком молчании. Вдруг он снова заговорил, часто останавливаясь (я эти остановки изображу черточками), и не потому, что плакал, а потому, что подыскивал самые простые и ясные слова.

— Я люблю ее — люблю память о ней, — и любовь моя слишком глубока, чтобы я был в силах уверить ее, что счастлив. — А счастлив я смог бы быть — только забыв ее, — но, боюсь, мне не вынести, если до нее дойдет, будто я забыл ее. Быть может, мистер Дэви, вы, такой ученый, придумаете сказать, ей что-нибудь, — что заставит ее поверить, будто я не особенно страдаю, — хотя и очень люблю и тоскую по ней. Быть может, вы сумеете уверить ее, что жизнь мне не в тягость, — но в то же время пусть она знает, что я мечтаю о свидании с ней, чистой, безупречной, — там, где злые уже не обижают добрых — и страдающие находят покой. Быть может, нам удастся облегчить ее скорбящую душу, — а вместе с тем дать ей понять, что я никогда не женюсь и никто никогда не займет в моем сердце ее места. — Так вот, мистер Дэви, если вы сможете все это передать ей, передайте и прибавьте, что я не перестаю молиться за нее, — за нее, — которая была так дорога мне...

Я еще раз пожал его мужественную руку и обещал как можно лучше исполнить его поручение.

— Благодарю вас, сэр, — ответил он. — Вы сделали доброе дело, что пришли сюда повидаться со мной, и другое доброе дело сделали, что приехали с «ним». Я знаю, мистер Дэви, что тетка моя поедет в Лондон проститься с ними перед их отплытием, и они еще побудут вместе, но я-то вряд ли когда увижусь с дядей. Можно сказать, я даже уверен в этом. Мы об этом не говорили, но так будет, и это к лучшему.

И вот когда вы, мистер Дэви, увидите его в последний раз, — в самую последнюю минуту, — передайте ему глубокое почтение и благодарность от сироты, для которого он всегда был больше чем отец.

Я и это обещал свято выполнить.

— Еще раз благодарю вас, сэр, — сказал он, горячо пожимая мне руку. — Я знаю, куда вы сейчас идете. Прощайте!

Слегка махнув рукой, как бы показывая этим, что он не в силах переступить порог их старого гнезда, Хэм повернулся и ушел. Я посмотрел ему вслед: проходя по пустырю, залитому лунным светом, он упорно глядел на сверкающую в море полосу, глядел до тех пор, пока в моих глазах сам не превратился в тень.

Когда я подошел к барже, двери ее были открыты настежь. Войдя, я обнаружил, что из нее все было вынесено, за исключением одного старого сундучка; на нем сидела с корзинкой на коленях миссис Гуммидж и не отрывая глаз смотрела на мистера Пиготти. Старик стоял, облокотясь о грубый камин, и глядел на догорающие в нем уголья. Увидев меня, он бодро поднял голову и заговорил веселым тоном:

— Ну, мистер Дэви, вы-таки пришли, как обещали, проститься с нашим старым домом. — С этими словами он поднял свечу. — Видите, как пусто стало, не правда ли?

— В самом деле, вы времени не теряли, — отозвался я.

— Да, мы, сэр, не сидели сложа руки. Миссис Гуммидж работала так, что я даже не знаю, с кем ее сравнить... Вот как она работала! — проговорил мистер Пиготти, поглядывая на нее.

Миссис Гуммидж, наклонившись над своей корзинкой, упорно молчала.

— Вот сундучок, на котором вы в былое время сживали с Эмми, — шопотом сказал мистер Пиготти, — я уж его последним заберу с собой. А вот и ваша прежняя спальня, мистер Дэви, видите... Сегодня вечером здесь так мрачно и печально, что мрачнее и печальнее, кажется, и быть не может.

И правда, сам по себе не очень сильный, ветер как-то особенно уныло завывал вокруг опустевшего дома. А из моей бывшей спальни все было вынесено. Я вспомнил тот вечер, когда ночевал здесь в маленькой кроватке в то время, как в родном доме должна была произойти первая великая перемена в моей жизни; вспомнил

голубоглазую девчурку, пленившую меня; вспомнил Стирфорта... и вдруг мне в голову пришла нелепая, страшная мысль, что он где-то здесь по соседству и может встретиться за каждым поворотом.

— Не скоро наймут эту баржу, — проговорил мистер Пиготти глухим голосом: — ее теперь все кругом считают каким-то проклятым местом.

— А чья эта баржа? — поинтересовался я.

— Одного здешнего корабельного мастера, — ответил старик. — Сегодня же собираюсь отдать ему ключ.

Мы еще заглянули во вторую комнатку и вернулись к миссис Гуммидж, все еще продолжавшей сидеть на старом сундучке. Мистер Пиготти поставил свечу на камин и попросил ее встать, чтобы можно было вынести этот сундучок, прежде чем будет потушена свеча.

— Дэниэль! — воскликнула миссис Гуммидж, вдруг откидывая в сторону свою корзину и цепляясь за руку мистера Пиготти. — Дорогой мой Дэниэль! Последнее, что я скажу, прощаясь с этим домом: не покидайте меня! Даже и не думайте о том, чтобы бросить меня здесь, умоляю, не думайте.

Смущенный мистер Пиготти смотрел то на миссис Гуммидж, то на меня с таким видом, словно еще не очнулся от сна.

— Не покидайте меня здесь, дорогой мой Дэниэль, не покидайте! — с жаром кричала миссис Гуммидж. — Возьмите меня с собой, Дэниэль! Вы с Эмилией возьмите меня с собой! Я буду вашей вечной верной слугой. Если в той стране, куда вы едете, есть невольники, то я сочту себя счастливой быть вашей рабой, но только не бросайте меня здесь, дорогой, дорогой Дэниэль!

— Душа моя, — сказал, качая головой, мистер Пиготти, — вы не представляете себе, что это за длинейшее путешествие и как тяжела там жизнь!

— Нет, я представляю себе это, догадываюсь! — крикнула миссис Гуммидж. — Вот мое последнее слово в этом доме: если только вы не возьмете меня, я вернусь сюда и здесь умру. Я умею копать землю, Дэниэль, я умею работать. Я в силах переносить тяжелую жизнь. Вы даже не представляете себе, какой теперь я буду доброй и терпеливой, — вот увидите, Дэниэль! До пенсии вашей, Дэниэль Пиготти, я не дотронусь, хотя бы даже мне пришлось умереть от голода, а если вы мне только позволите, то с вами, Дэниэль, и с



Эмилией я пойду на край света! Я знаю, почему вы не хотите брать меня с собой: вы думаете, что я попрежнему буду хныкать и ныть, что я одинокое, заброшенное существо, но, дорогой мой, теперь этого не будет. Когда я сидела здесь в одиночестве и думала о ваших испытаниях, это принесло мне пользу. Мистер Дэви, замолвите за меня словечко! Ведь я знаю все его привычки и привычки Эмили. Я знаю их горести и подчас смогу их утешить, а работать на них буду всегда не покладая рук. Дэниэль, дорогой Дэниэль, позвольте мне ехать с вами!

И миссис Гуммидж схватила его руку и поцеловала ее с тем непосредственным чувством благодарности и преданности, которого старик вполне заслуживал.

Мы вынесли старый сундучок, потушили свечу, заперли дверь и покинули старую баржу. И она вырисовывалась позади нас темным пятном на ночном, с нависшими тучами небе...

Когда на следующий день мы с мистером Пиготти возвращались в Лондон, сидя на империале дилижанса, миссис Гуммидж ехала с нами и была счастлива.

## **Глава XXIII**

# **Я ПРИСУТСТВУЮ ПРИ ИЗВЕРЖЕНИИ**

Накануне дня, столь таинственно назначенного нам мистером Микобером для свидания, мы с бабушкой начали совещаться о том, как поступить, ибо ей совсем не хотелось оставлять Дору одну. Увы! как легко теперь стало мне носить по лестнице мою женушку-детку!

Несмотря на то, что мистер Микобер очень настаивал на присутствии бабушки в Кентербери, мы с нею склонялись к тому, чтобы она осталась дома, а мы с мистером Диком явились бы там ее представителями. Мы было так и уговорились, когда Дора вдруг расстроила все наши планы, объявив нам, что если только бабушка вздумает остаться дома под каким угодно предлогом, то она этого никогда не простит ни себе, ни своему скверному мальчику.

— Так и знайте, я не стану говорить с вами, — объявила она бабушке, потряхивая локонами. — Я буду очень гадкая. Я заставлю Джипа лаять на вас целый день. И вообще, если вы не поедете, я решу, что вы в самом деле злая старуха.

— Тише, тише, Цветочек! — смеясь, ответила ей бабушка. — Вы ведь знаете, что без меня обойтись не можете.

— Нет, прекрасно могу! — возразила Дора. — Вы мне совсем не нужны. Разве это вы бегаєте для меня по целым дням вниз и вверх по лестнице! Разве вы сидите подле меня и рассказываете мне о том, как Доди, бедный мальчуган, прибежал в Дувр в изодранных ботинках, весь покрытый грязью и пылью? Разве вы постоянно доставляете мне удовольствия?.. Ведь нет же, дорогая!

Тут Дора бросилась целовать бабушку, приговаривая: «Нет, нет, я пошутила: все это делаете вы», словно боясь, как бы та в самом деле не приняла ее болтовню за чистую монету.

— Ну, пожалуйста, бабушка, — ласкаясь, говорила Дора. — Вы должны поехать! Я буду надоедать вам до тех пор, пока вы не сделаете по-моему. А гадкому моему мальчику я просто отравлю жизнь, если он не уговорит вас ехать. Вот увидите, какие мы с Джипом станем

отвратительные. Вы проклянете свою судьбу, что не были пайнкой и не поехали. Да вообще, почему бы не отправиться и обоим? — добавила Дора, отбрасывая назад свои локоны и глядя с недоумением то на бабушку, то на меня. — Ведь, кажется, мне не так уж плохо? Или вы считаете, что я серьезно больна?

— Ну и странный вопрос! — воскликнула бабушка.

— Что это вы, в самом деле, выдумали! — прибавил я.

— Да, я знаю, что я глупышка! — промолвила Дора, откидываясь на подушку, и, попеременно поглядывая на нас с бабушкой, сложила свои губки как бы в ожидании поцелуя.

— Ну, так слышите! — заговорила она — Вы оба должны ехать, а иначе я не поверю вам, что моя болезнь пустячная, и буду плакать.

По лицу бабушки я понял, что она начинает сдаваться; от Доры тоже не укрылось это, и она повеселела.

— Оттуда вы привезете столько новостей, что мне понадобится, пожалуй, не меньше целой недели, чтобы их понять, — заявила Дора. — Ведь я знаю, если там какие-нибудь дела, так я долго не пойму, а дела, наверно, будут. Если же придется еще что-нибудь считать, то уж совсем неизвестно, когда я и справлюсь с этим, а у моего гадкого мальчика тут будет все время несчастное лицо. Ну, так, значит, вы едете, правда? Вас ведь всего одну ночь не будет, а меня в это время покараулит Джип. Перед отъездом Доди снесет меня наверх, и я там пробуду до вашего возвращения. А вы отвезете Агнесе от меня ужасно бранное письмо — за то, что она ни разу не побывала у нас.

Не раздумывая больше, мы оба с бабушкой решили ехать и сделали вид, что считаем Дору маленькой обманщицей, которая притворяется больной, чтобы ее больше баловали. Моя женушка-детка была очень довольна и весела. А мы вчетвером — бабушка, мистер Дик, Трэдльс и я — в тот же вечер отправились дилижансом в Кентербери.

Среди ночи мы подъехали к той гостинице, где мистер Микобер назначил нам свидание; не без труда проникли мы в нее, и тут мне подали письмо мистера Микобера, в котором он сообщал, что явится на следующее утро ровно в половине десятого. Все продрогшие, мы поспешили разойтись по своим комнатам. Итти приходилось по узким

затхлым коридорам, где, казалось, все испокон веков было пропитано запахом супа и конюшни.

Рано утром я пошел побродить по таким милым моему сердцу, таким знакомым тихим улицам и опять очутился под тенью старинных арок и церквей. Грачи носились над башнями собора. А эти башни, царившие над роскошными окрестностями с их ручьями и реками, так четко вырисовывались в ясном утреннем воздухе, словно говорили о том, что на земле ничто не меняется. Но заунывный звон колоколов, наоборот, напоминал мне, как все меняется, напоминал, как стары сами колокола и как юна моя хорошенькая Дора; напоминал он о многих людях, живших, любивших и умерших юными в былые времена, когда звон этих самых колоколов отдавался в заржавленных латах Черного принца<sup>[22]</sup>, отдавался и исчез в глубине времен, как исчезает круг от брошенного в воду камня.

Я поглядел издали на старый дом, где когда-то жил, но подойти к нему ближе не решался, боясь, что меня, пожалуй, увидят оттуда и это может повредить делу, для которого я приехал. Утреннее солнце своими косыми лучами золотило фронтон старинного дома и его решетчатые окна. И мне почудилось, что немного спокойствия влилось в мою душу.

Побродив еще с часок по окрестностям, я вернулся в гостиницу по главной улице, которая к этому времени уже успела пробудиться от ночного сна. В одной из открывшихся лавок я увидел своего прежнего врага — мясника. Теперь он стал хозяином мясной лавки; на нем были сапоги с отворотами, а на руках он держал ребенка. Повидимому, этот забияка превратился в совершенно мирного члена общества.

Мы сели завтракать, с нетерпением ожидая появления мистера Микобера. По мере того, как время приближалось к половине десятого, наше волнение и нетерпение все возрастали. Под конец мы все, за исключением мистера Дика, перестали даже притворяться, что интересуемся завтраком. Бабушка начала ходить взад и вперед по комнате, Трэдльс сидел на диване и делал вид, что читает газету, но глаза его все время бродили по потолку, а я стоял у окна, чтобы сейчас же оповестить о появлении мистера Микобера. Ждать мне пришлось недолго, — не успели часы пробить половины, как он показался на улице.

— Вот он! — оповестил я. — И притом не в своем профессиональном костюме.

Бабушка завязала ленты своей шляпки, в которой спустилась к завтраку, и накинула шаль с таким видом, словно готовилась к чему-то, требующему всей ее энергии. Трэдльс с решительным видом застегнул сюртук на все пуговицы. Мистер Дик, смущенный всеми этими грозными приготовлениями и вместе с тем чувствуя, что должен подражать нам, надвинул как только мог глубоко на уши свою шляпу, но тотчас же снял ее, чтобы поздороваться с мистером Микобером.

— Джентльмены и мэм, позвольте приветствовать вас с добрым утром! — провозгласил мистер Микобер. — Дорогой сэръ, — обратился он к мистеру Дику, горячо пожимавшему ему руку, — вы чрезвычайно добры.

— Завтракали ли вы? — спросил мистер Дик. — Не угодно ли вам котлетку?

— Ни за что на свете, добрейший сэръ! — крикнул мистер Микобер, отводя его руку от звонка. — Мы, то есть я и аппетит, давно не имеем ничего общего, мистер Диксон!

«Мистер Диксон» пришел в такой восторг от своего нового имени и считал столь любезным со стороны мистера Микобера пожаловать ему это имя, что снова принялся жать ему руку и детски-добродушно смеяться.

— Дик, будьте внимательны! — остановила его бабушка. Мистер Дик покраснел и тотчас же подтянулся.

— Ну, сэръ, — обратилась бабушка к мистеру Микоберу, надевая перчатки, — мы готовы наблюдать извержение Везувия, как только вам это будет угодно.

— Действительно, мэм, — ответил мистер Микобер, — я надеюсь, что скоро вы будете свидетелями извержения... Мистер Трэдльс, думаю, вы разрешите мне упомянуть о том, что мы с вами сносились?

— Это несомненный факт, Копперфильд, — подтвердил, к большому моему удивлению, Трэдльс. — Мистер Микобер советовался со мной по данному делу, и я помогал ему, насколько это было в моих силах.

— Мне кажется, если я не ошибаюсь, мистер Трэдльс, дело идет о важном разоблачении? — продолжал мистер Микобер.

— Чрезвычайно важном, — подтвердил Трэдльс.

— А при таких обстоятельствах, мэм и джентльмены, — заявил мистер Микобер, — вы, быть может, окажете мне милость и согласитесь в данный момент следовать указаниям человека, который если и чувствует себя кораблем, разбитым у берегов человеческой жизни, но все-таки ваш ближний, хотя и утративший свой первоначальный вид благодаря собственным ошибкам и стечению многих неблагоприятных обстоятельств.

— Мы вполне доверяем вам, мистер Микобер, — сказал я и будем делать все, как вы найдете нужным.

— Ваше доверие, мистер Копперфильд, поверьте, не будет употребленно во зло при существующем положении вещей. Я попрошу вас выйти отсюда ровно через пять минут, а затем я буду иметь честь принять все ваше общество в конторе «Уикфильд и Гипп», где я состою на службе. Вы явитесь к мисс Уикфильд.

Мы оба с бабушкой взглянули на Трэдльса, он утвердительно кивнул нам головой.

— Пока мне нечего больше сказать вам, — заметил мистер Микобер.

Затем он, к моему величайшему удивлению, церемонно отвесил общий поклон и исчез. Мне бросилось в глаза, что держал он себя чрезвычайно сдержанно и был поразительно бледен. Когда я вопросительно посмотрел на Трэдльса, ожидая от него объяснения, он только улыбнулся и покачал головой (на ней, по обыкновению, волосы торчали дыбом). Мне ничего больше не оставалось, как вынуть часы и отсчитать пять минут.

Бабушка со своими часами в руках сделала то же самое. Когда назначенное время прошло, Трэдльс предложил ей руку, и мы вместе направились к старому дому Уикфильдов. По дороге никто из нас не проронил ни единого слова.

Мы застали мистера Микобера за его столом в маленькой конторе, помещавшейся в нижнем этаже башенки. Он писал или делал вид, что пишет. Большая конторская линейка была засунута за его жилет и, высываясь сверху чуть ли не на фут, походила на какое-то своеобразное жабо <sup>[23]</sup>.

Так как мне показалось, что от меня ждут, чтобы я начал говорить, то я громко сказал:

— Здравствуйте, мистер Микобер.

— Мистер Копперфильд, — с серьезным видом отозвался он, — надеюсь, вы в добром здоровье?

— Дома ли мисс Уикфильд, — спросил я.

— Мистер Уикфильд нездоров, сэр, и лежит в постели: у него приступ ревматизма, — ответил он, — а мисс Уикфильд, я уверен, будет очень рада видеть старых друзей. Не угодно ли вам пожаловать, сэр?

Он провел нас в столовую (это была первая комната в доме, которую мне пришлось увидеть, когда я появился здесь мальчиком) и, широко распахнув дверь в бывший кабинет мистера Уикфильда, доложил звучным голосом:

— Мисс Тротвуд, мистер Давид Копперфильд, мистер Томас Трэдльс и мистер Диксон!

Я не видел Уриа Гиппа с тех пор, как дал ему пощечину. Наше посещение, видимо, удивило его (но и сами ведь мы не меньше его были удивлены). Он не нахмурил бровей, ибо их у него не имелось, но так сморщил лоб, что его крошечные глазки почти исчезли, а нервное движение его костлявой руки у подбородка обнаруживало его волнение или удивление. Но что я заметил, когда входил в его кабинет, бросив на него взгляд через плечо бабушки. Момент спустя он уже был таким же подобострастным и смиренным, как всегда.

— Вот, могу сказать, неожиданная радость, — воскликнул он, — сразу увидеть всех лондонских друзей! Да, это совсем непредвиденное удовольствие! Мистер Копперфильд, надеюсь, вы пребываете в добром здоровье и благосклонно относитесь к людям, которые всегда, как бы то ни было, были вашими друзьями? Надеюсь, что ваша супруга, миссис Копперфильд, поправляется? Поверьте, мы, узнав не так давно о ее болезни, были очень встревожены.

Мне было стыдно, что я позволил ему пожать мне руку, но в ту минуту я не нашелся, как поступить иначе.

— Не правда ли, мисс Тротвуд, обстоятельства изменились с тех пор, как я, будучи скромным писцом, держал под уздцы вашего пони? — обратился Уриа к бабушке со своей тошнотворной улыбкой. — Но сам я, мисс Тротвуд, совсем не переменялся.

— По правде сказать, — ответила бабушка, — уж не знаю, насколько это вам понравится, сэр, но вы нисколько не обманули моих ожиданий.

— Благодарю вас, мисс Тротвуд, за ваше хорошее мнение! — воскликнул Уриа, извиваясь по-змеиному. — Микобер, скажите, чтобы доложили мисс Уикфильд и моей матушке о приезде гостей. Воображаю, как будет рада матушка! — сказал он, расставляя для нас стулья.

— Вы не очень заняты, мистер Гипп? — спросил Трэдльс, случайно встретив хмурый взгляд его красных глаз, в которых читалось не то желание выведать все от нас, не то ускользнуть.

— Нет, мистер Трэдльс, — ответил Уриа, садясь на свое прежнее место и засовывая свои костлявые руки ладонями вместе между такими же костлявыми коленями. — Не столько занят, как бы мне этого хотелось: вы ведь знаете, что адвокатов, акул и пиявок не так-то легко насытить. Но, во всяком случае, мы с Микобером не сидим сложа руки, ибо мистер Уикфильд почти не в состоянии что-либо делать, сэр. Впрочем, работать для него, конечно, не только мой долг, но и удовольствие. Повидимому, мистер Трэдльс, вы не были близко знакомы с мистером Уикфильдом, не так ли? Я, мне кажется, только один раз имел честь встретиться с вами.

— Да, я не был близко знаком с мистером Уикфильдом, — ответил Трэдльс, — иначе, верно, я раньше появился бы здесь.

В тоне, которым это было сказано, послышалось нечто, что заставило Уриа бросить на Трэдльса мрачный и подозрительный взгляд. Однако добродушие, написанное на лице моего друга, его простота и стоящие дыбом волосы, видимо, успокоили Уриа, и он, извиваясь всем туловищем, особенно шеей, проговорил:

— Очень жаль, мистер Трэдльс, ибо вы полюбили бы моего компаньона, как все мы его любим, и даже его маленькие слабости сделали бы его вам еще дороже. Но, если вы хотите услышать что-нибудь более красноречивое о моем компаньоне, обратитесь к мистеру Копперфильду: он неистощим, когда разговор заходит об этом семействе.

Пожелай я даже отклонить такой комплимент, я не имел бы времени этого сделать, так как в эту минуту мистер Микобер ввел Агнессу. Мне показалось, что у нее не было обычного самообладания.



Видимо, она перенесла много беспокойства и была утомлена, но в ее сердечной приветливости и спокойной красоте чувствовалось еще больше кротости.

Я заметил, что Уриа следил за ней, когда она с нами здоровалась; он напомнил мне безобразного злого духа, подстерегающего доброго гения. В эту минуту Трэдльс, обменявшись с мистером Микобером каким-то условным знаком, выскользнул из комнаты, не замеченный никем, кроме меня.

— Вам нечего здесь ждать, Микобер! — сказал Уриа.

Мистер Микобер стоял выпрямившись у стены, положив руку на торчащую из-за его жилета канцелярскую линейку. Он пристально смотрел на одного из своих ближних, и этот ближний был его начальник.

— Чего же вы ждете, Микобер? — спросил Уриа. — Разве вы не слышали, что здесь вам нечего делать?

— Да, слышал, — ответил, не двигаясь с места, мистер Микобер.

— Так почему же вы продолжаете здесь оставаться?

— Почему?.. Да потому, что я так хочу! — выпалил мистер Микобер.

Уриа страшно побледнел, красными остались одни его веки. Он внимательно посмотрел на мистера Микобера, причем физиономия его вся подергивалась.

— Вы беспутный малый — это всем известно, — проговорил Уриа с деланной улыбкой. — Боюсь как бы вы не принудили меня избавиться от вас. Ступайте, я после поговорю с вами!

— Если на свете есть подлец, — с бешенством, совершенно выходя из себя, закричал мистер Микобер, — с которым я уже слишком много вел разговоров, так имя этого подлеца Гипп!!!

Уриа отшатнулся, словно его ударили или ранили. Затем посмотрев на нас всех с самым злым и мрачным выражением лица, на какое только был способен, он промолвил более тихим голосом:

— Ого, это пахнет заговором! Так это вы сговорились здесь встретиться? А вы, Копперфильд, значит, стакнулись с моим конторщиком? Ну, берегитесь! Этим вы ничего не выиграте. Мы с вами хорошо понимаем друг друга. Любви между нами никогда не было, с самого вашего появления здесь. Вы, еще будучи мальчиком, задирали нос, а теперь вы с завистью смотрите на мое возвышение,

ведь правда? Бросьте ваши интриги! Я отвечу на них тем же! Микобер! Вон отсюда! Я сейчас поговорю с вами.

— Мистер Микобер, — сказал я, — взгляните, какая необыкновенная перемена произошла с этим малым, и не только в том, что он, против своего обыкновения, сказал правду. Видимо, он прижат к стене. Воздайте же ему по заслугам!

— Ну и хороши же вы все! Нечего сказать! — опять заговорил Уриа тем же глухим голосом, вытирая со лба длинной костлявой рукой холодный пот. — Вы подкупили моего конторщика, одного из тех подонков общества, к которым принадлежали и вы сами, Копперфильд, пока вас не подобрали из жалости, и вы подкупили его, чтобы он очернил меня своей клеветой. А вы, мисс Тротвуд, вы лучше прекратив все это, или я прикончу вашего муженька крепче, чем вам это придется по вкусу. Недаром, старая барыня, я ознакомился как специалист с вашим делом! А вы, мисс Уикфильд, если сколько-нибудь любите вашего отца, смотрите, не связывайтесь с этой шайкой! Только сделайте это — и я погублю его! Ну, а вообще не надо забывать, что кое-кого из вас я держу в своих руках. И пусть они не раз прикинут это в уме, прежде чем я примусь за них. Особенно же хорошенько подумайте вы, Микобер, если не хотите, чтобы я раздавил вас! Советую вам, дурак вы этакий, пока еще есть время, удалиться подобру-поздорову... Где же матушка? — вдруг воскликнул он, с ужасом заметив, что в комнате нет Трэдльса, и тут же дернул за шнурок звонка. — Нечего сказать, чудные дела происходят в собственном моем доме! — прибавил он.

— Миссис Гипп здесь, сэр! — сказал Трэдльс, входя в этот момент с достойной матерью достойного сына. — Я взял на себя смелость сам представиться ей.

— Да кто вы такой, чтобы вам надо было представляться? — резко бросил Уриа. — Скажите, что вам здесь нужно?

— Я имею честь быть поверенным и другом мистера Уикфильда, — ответил Трэдльс спокойным деловым тоном, — и у меня в кармане лежит доверенность, в силу которой я могу за него действовать во всех его делах.

— Старый осел, как видно, довел себя пьянством до слабоумия, — прошипел Уриа, — и эту доверенность у нею вы выманили, конечно, обманным путем.

— Обманным путем у него действительно кое-что выманили, я знаю, — спокойно ответил Трэдльс, — и вам это известно, мистер Гипп. С вашего позволения, мы передадим этот случай на обсуждение мистериу Микобериу.

— Но Ури... — начала с беспокойством миссис Гипп.

— Держите язык за зубами, матушка, — перебил ее сынок. — Чем меньше болтать, том лучше.

— Но, Ури мой...

— Да замолчите ли вы, матушка, и дадите ли вы мне говорить?

Хотя мне давно было известно, что раболепство его деланное, давно известно, что он мошенник и лгун, но все же я не представлял себе, как велико его лицемерие, пока он не сбросил с себя маски. И несмотря на то, что я знал его многие годы и питал к нему отвращение, но быстрота, с какой он сбросил свою маску, сообразив, что она ему бесполезна, злоба, наглость и ненависть, обнаруженные им при этом, его дьявольская торжествующая усмешка от сознания, что ему удалось наделать столько зла даже в ту минуту, когда он был в отчаянии и понимал, что выпутаться ему уже невозможно, — все это, признаться, сначала удивило меня.

Я уж не говорю о взгляде, который он, обведя нас всех глазами, бросил на меня. Я всегда понимал, что он меня ненавидит, и сам я не забыл еще следов на его лице от моей пощечины. Но, когда глаза его остановились на Агнесе и в них зажглось бешенство от сознания того, что власть над нею окончательно ускользает из его рук, я ужаснулся от одной мысли, что она могла хотя единый час провести под одной кровлей с подобным человеком.

Потерев подбородок своими костлявыми пальцами и попядев на нас злобными глазами, Уриа обратился ко мне с полуприниженным, полудерзким видом:

— И вам не стыдно, Копперфильд, вам, который так важничает своим благородством, честью и тому подобным, прокрадываться в мой дом и подкапываться под меня вместе с моим конторщиком! Сделай это я, было бы неувидительно, ибо я никогда не разыгрывал из себя джентльмена, хотя никогда не был и уличным бродягой, как вы, по рассказам Микобера... Но вы!!! А с другой стороны, разве за себя вы не боитесь? Вы не думаете о том, что я могу отомстить вам, например привлечь вас к ответственности за заговор или что-нибудь в

этом роде? Ну, хорошо! Посмотрим. А вы, мистер... как вас там звать?.. вы ведь собирались передать какой-то случай на обсуждение мистеру Микоберу. Так вот ваш третейский судья перед вами! Что же вы приказываете ему говорить? Свой урок, как видно, он выучил прекрасно!

Заметив, что слова его не произвели ни малейшего впечатления ни на кого из нас, он сел на край стола, засунул руки в карманы, закинул одну свою костлявую ногу на другую и с мрачным видом стал ждать, что будет дальше.

Мистер Микобер, бурные порывы которого мне до сих пор с большим трудом удавалось сдерживать на первом слоге слова «подлец», тут бросился вперед, вытащил из-за жилета линейку (вероятно, как оружие для защиты), а из кармана бумагу большого формата, сложенную в виде письма, и, с явным восхищением пробежав глазами написанное, с прежним победоносным видом приступил к чтению:

— «Дорогая мисс Тротвуд и дорогие джентльмены!..»

— Господи, помилуй этого человека! Он, кажется, не перестал бы изводить на свое писание стопы бумаги, даже угрожай ему за это смертная казнь! — воскликнула бабушка вполголоса.

До ушей мистера Микобера не дошло это замечание. Он продолжал читать:

— «...Выступая перед вами, чтобы изобличить самого низкого мерзавца, когда-либо существовавшего на свете, — при этом он, не отрывая глаз от бумаги, линейкой, словно волшебным жезлом, указал на Уриа Гиппа, — я не прошу удостоить меня лично вашим вниманием. От самой колыбели жертва денежных обязательств, которых я не в силах был выполнять, я всегда был игрушкой унижительных обстоятельств. Позор, нужда и отчаяние были всегда вместе и порознь спутниками моими на жизненном пути...»

Наслаждение, с каким мистер Микобер изображал себя жертвой всех этих мрачных бедствий, могло быть сравнено лишь с пафосом, с каким читал он свое послание, и с почтением, с каким он склонял голову, читая те места в своем послании, где ему казалось, что он превзошел самого себя.

— «...Под гнетом позора, нужды, отчаяния и безумия я поступил в контору (или, как выразился бы наш веселый сосед галл, в «бюро»)

фирмы, известной под именем «Уикфильд и Гипп», на самом же деле управляемой только Гиппом. Гипп и только Гипп — механизм этой машины. Гипп и только Гипп занимается подлогами и плутовством...»

Уриа от этих слов даже не побледнел, а посинел и бросился к «посланию», как видно, желая изорвать его на клочки, но мистер Микобер так ловко хватил линейкой по протянутым пальцам его правой руки, что она повисла, будто сломанная, а по звуку могло казаться, что удар пришелся по дереву.

— Чорт вас подери! — прошипел Уриа, корчась на этот раз уже от боли.

— Подождите, мы с вами еще сосчитаемся! Только подойдите еще ко мне, вы... вы... вы, «Гипп», — куча мерзости! задыхаясь от ярости, кричал мистер Микобер, — И если у вас голова человечья, я размозжу ее!.. А ну-ка, суньтесь!

Кажется, в жизни я не видывал ничего более комичного, даже в такую минуту я не мог не обратить на это внимания. Мистер Микобер, выкрикивая свое «ну-ка, суньтесь!», размахивает линейкой, как саблей, а мы с Трэдльсом стараемся оттеснить его в угол, откуда он все порывается вырваться. Его противник, что-то бормоча себе под нос, потирает ушибленную руку, не спеша снимает свой шейный платок и обвязывает ее. Затем, поддерживая эту руку, он с мрачным видом и опущенной головой садится попрежнему на стул.

Несколько успокоившись, мистер Микобер возобновляет чтение своего послания:

— «Условия, на которых я поступил на службу к Гиппу (он неизменно каждый раз перед этим именем останавливался, а затем произносил его с особой силой), не были точно определены, за исключением еженедельной платы в двадцать два шиллинга и шесть пенсов. То, что я получал сверх этого, было поставлено в зависимость от моего усердия по службе, вернее сказать, от моей подлости, алчности, нищеты, в которой находилось мое семейство, от моего нравственного, или, точнее выражаясь, безнравственного сходства с Гиппом. Нужно ли мне говорить о том, что при ничтожной основной плате я принужден был обращаться к Гиппу с просьбой выдать мне авансом жалованье на содержание миссис Микобер и моего несчастного подрастающего семейства? Нужно ли говорить о том, что

Гипп заранее предвидел необходимость для меня этих авансов и обеспечивал их моими векселями или другими долговыми обязательствами, имеющими в нашей стране законную силу, и что таким образом я мало-помалу попал в расставленные им для меня сети?..»

Мистер Микобер, описывая это тяжелое положение вещей, так наслаждался своим эпистолярным талантом, что, видимо, забывал, сколько это ему в самом деле приносило горя и беспокойства.

— «Вот тут-то Гипп и начал оказывать мне доверие, нужное ему для выполнения его адских замыслов, а я начал, выражаясь языком Шекспира, «чахнуть, томиться и таять». Я убедился, что мои услуги постоянно требуются для того, чтобы совершать подлоги и вводить в заблуждение лицо, которое я буду называть мистером У. Этого мистера У обманывали, держали в полнейшем неведении, всячески обходили его, в то время, как этот головорез Гипп не переставал выказывать своей жертве бесконечную благодарность и бесконечную преданность! Это уж было достаточно скверно, но, как заметил философски датский принц Гамлет в бессмертном творении великого Шекспира, «худшее было еще впереди».

Эта последняя фраза с цитатой из «Гамлета» так поправилась мистеру Микоберу, что он, под тем предлогом, будто потерял то место, где остановился, доставил себе и нам наслаждение прослушать ее вторично.

— «Я не намерен, — продолжал он читать, — описывать здесь подробно все более мелкие злодеяния (хотя у меня имеется их список), творимые во вред лицу, названному мною мистером У., коих я был безмолвный участник. Когда закончилась происходившая в моей душе борьба: получить жалованье или лишиться его, иметь хлеб или голодать, существовать или умереть с голоду, — я решил разоблачить более важные злодеяния, содеянные к величайшему вреду и ущербу вышеупомянутого мистера У. Гиппом. Побуждаемый безмолвной увещательницей внутри себя, именуемой совестью, и другой не менее трогательной и убедительной увещательницей из внешнего мира, которую я назову мисс У, я предпринял нелегкий труд тайных расследований, длившихся, по-моему, не менее двенадцати календарных месяцев».

Он прочел это место так, словно это была выдержка из какого-нибудь парламентского акта, упиваясь звуком собственных слов.

— «Обвинения мои против Гиппа, — продолжал он, взглянув на своего врага и засунув под левую руку на всякий случай линейку, — состоят в следующем:

Мне кажется, мы все тут затаили дыхание, а уж об Уриа и говорить нечего.

— «Во-первых, — прочел мистер Микобер, — когда (по причинам, в которые входит я считаю ненужным) способность управлять делами и память мистера У. ослабевали и вообще бывали не на высоте, Гипп умышленно старался как можно больше осложнить и запутать все официальные дела конторы. В то время, когда мистер У. бывал наименее способен занимался делами, Гипп обязательно принуждал его к этому. При таких обстоятельствах он подсовывал мистеру У. подписывать важные документы, выдавая их за маловажные. Так, между прочим, мистер У. выдал ему, Гиппу, доверенность распоряжаться вверенной ему одним клиентом суммой в двенадцать тысяч шестьсот четырнадцать фунтов стерлингов два шиллинга и девять пенсов и употреблять эту сумму на уплату несуществующих долговых обязательств их конторы и на пополнение мнимых недочетов по другим вкладам. А дело он обставил так, как будто причиной всему этому были противозаконные, неблагоприятные действия самого мистера У. Благодаря этой уловке он впоследствии держал мистера У. в своих руках, мучил его и совсем поработил».

— Это уж вам, Копперфильд, придется доказывать, — заметил Уриа, с угрожающим видом тряхнув головой. — Все в свое время! Ну, потерпим!

— Мистер Трэдльс, спросите, пожалуйста, Гиппа, кто поселился после него в его квартире? — проговорил мистер Микобер, поднимая глаза от своего послания.

— Там поселился дурак, живущий в этой квартире и поныне, — с презрительным видом отозвался Уриа.

— Будьте добры еще спросить Гиппа, не имел ли он, живя в этой квартире, записной книжки? — продолжал мистер Микобер.

Я заметил, что тощая рука Уриа перестала скоблить подбородок.

— Или спросите его, — не унимался мистер Микобер, — не сжигал ли он там когда-нибудь такой книжки?.. Если он ответит на это

утвердительно и поинтересуется узнать, где находится пепел от этой книжки, то направьте его к Вилькинсу Микоберу, и он узнает не совсем приятные для себя вещи.

Торжествующий тон, которым были произнесены эти слова, так напугал маменьку Уриа, что она закричала:

— Ури! Ури! Смиритесь, дорогой мой! Поладьте с ними!

— Матушка! — крикнул он на нее. — Будете ли вы наконец молчать? Вы перепугались и сами не знаете, что говорите. Смириться?! — повторил он, злобно глядя на него. — Было время, когда при всем своем смирении, я заставлял и других смиряться.

Мистер Микобер с видом барича опустил подбородок в воротник и снова принялся за свой документ:

— «Во-вторых, Гипп во многих случаях, как мне это прекрасно известно, систематически подделывал подпись мистера У. в разных записях, книгах и документах. И, между прочим, он подделал подпись на одном документе, что может быть мною бесспорно доказано таким образом...»

Тут мистер Микобер остановился, как бы смакуя каждое слово, а затем снова начал читать:

— «Когда мистер У. был болен, можно было предвидеть, что его болезнь поведет к неприятным разоблачениям и к потере власти Гиппа над семьей У., Гипп счел нужным заблаговременно заpastись долговым обязательством на вышеуказанную сумму двенадцать тысяч шестьсот четырнадцать фунтов стерлингов два шиллинга и девять пенсов, с процентами. Сумма эта якобы была дана Гиппом мистеру У., дабы спасти его от позора. На деле, конечно, он никогда не давал и не мог дать такой суммы. Подпись на этом долговом обязательстве — мистера У., а заверена она Вилькинсом Микобером. И то и другое — произведение рук Гиппа. (В имеющейся у меня записной книжке Гиппа сохранилось несколько его подобных подделок подписи мистера У. Правда, кое-где они пострадали от огня, но тем не менее каждый может прочесть их.) Такое долговое обязательство я никогда не заверял, и это долговое обязательство находится в моих руках».

Уриа вскочил с места, вынул из кармана связу ключей и отпер один из ящиков, но, вдруг, видимо, что-то вспомнив, он даже не заглянул в ящик и вернулся на прежнее место.



— «Это долговое обязательство находится в моих руках, — вторично прочел мистер Микобер, — то есть, вернее сказать, оно еще сегодня утром находилось в моих руках, когда и составлял этот документ, а теперь оно в распоряжении мистера Трэдльса».

— Совершенно верно, — подтвердил Трэдльс.

— Ури! Ури! — крикнула маменька. Смиритесь и поладьте с ними!.. Джентльмены! Я знаю, что сын мой смирится, если только вы дадите ему время подумать... Мистер Копперфильд! Ведь вам известно, сэр, что он всегда был очень смиренен!

Странно было видеть, как маменька продолжает прибегать к прежней уловке, в то время как сынок уже оставил ее за бесполезностью.

— Матушка! — проговорил Гипп, нетерпеливо кусая платок, которым была обвязана его рука. — Вы лучше возьмите ружье и выстрелите в меня.

— Но я люблю вас, Уриа! — кричала маменька (и, как ни странно это могло казаться, для меня не было сомнений в том, что она любит его, а он — ее; эти два существа были очень близки друг другу по духу). — И я не могу слышать, как вы раздражаете джентльмена и накликаете на себя еще большую беду. Когда этот джентльмен пришел ко мне наверх и объявил, что все открыто, я тотчас же сказала ему, что вы смиритесь и все заладите... Ах, взгляните на меня, джентльмены! Вы видите, как смиренна я перед вами, а на сына не обращайте внимания!

— Эх, матушка! Вот этот самый Копперфильд охотно дал бы вам сто фунтов стерлингов за половину того, что вы здесь выболтали, — с досадой отозвался Уриа, указывая на меня своим костлявым пальцем.

(Очевидно, он считал меня главным виновником происшедшего и на мне больше всего сосредоточил всю свою ненависть; а я не думал разубеждать его в этом).

— Но я не в силах это вынести, Ури! — снова крикнула маменька. — Я не могу видеть, как вы, задирая так высоко голову, подвергаете себя опасности. Говорю вам, будьте так же смиренны, как всегда были.

Уриа молча кусал некоторое время свой шейный платок, а затем, хмуро глядя на меня, сказал:

— Что там еще у вас? Если есть что-нибудь, так говорите, что вам, собственно, нужно от меня?

Мистер Микобер не замедлил снова приняться за чтение послания, доставлявшего ему такое наслаждение:

— «Наконец, в — третьих: я в состоянии теперь доказать с помощью конторских книг, подделанных Гиппом, и его записных книжек, начиная с той, несколько потерпевшей от огня (случайно найденной миссис Микобер в ящике для золы), что в продолжение многих лет Гипп пользовался слабостями, недостатками и даже самыми добродетелями несчастного мистера У. - как, например, его отцовской любовью, чувством чести — для своих низменных целей. Могу доказать, что мистер У. многие годы был жертвой самого бессовестного обмана и грабежа, совершаемых на всевозможные лады для обогащения хищного, лживого и алчного Гиппа. После обогащения следующей главной целью Гиппа было полное подчинение себе мистера У. и мисс У., (не говоря уж о дальнейших видах его на мисс У.). Последняя проделка Гиппа, имевшая место всего несколько месяцев тому назад, заключалась в том, что он заставил мистера У. отказаться в его пользу от своей доли барышей в их фирме и даже выдать бумагу о продаже ему, Гиппу, всей обстановки своего дома, взамен чего Гипп обязался уплачивать мистеру У. ежегодную ренту, вносимую аккуратно в четыре срока. Все подлые проделки Гиппа были как бы петлями той сети, в которую он запутывал несчастного мистера У., и эта сеть все туже и туже сдавливала его. Наконец, наступил момент, когда злополучный мистер У. запутался так, что уже не видел для себя выхода из этого ужасного положения. Он считал себя банкротом и не надеялся даже спасти свое честное имя. Единственным якорем спасения в его (глазах было это чудовище в человеческом образе (мистер Микобер особенно подчеркнул это выражение, считая его очень удачным), то самое чудовище, которое, сумев сделаться ему необходимым, вело его к гибели. Все это и, быть может, еще многое другое я берусь доказать».

Я шепнул несколько слов стоявшей подле меня Агнессе она плакала одновременно и от радости и от горя. Среди присутствующих началось движение: очевидно, они решили, что мистер Микобер кончил. Но он, заметив это, произнес с чрезвычайно серьезным видом «простите» и, одновременно переживая сложное чувство

подавленности и величайшего радостного подъема, приступил к заключительной части своего послания:

— Теперь я кончил. Мне остается только привести достаточные обоснования для моего обвинения, а затем со своей злополучной семьей исчезнуть из здешнего ландшафта, который, видимо, мы загромождаем. И это будет сделано к ближайшее время. Есть основание предполагать, что первым от истощения погибнет наш крошка, как слабейший в этом семействе. Вслед за ним, вероятно, последуют наши близнецы. Да будет так! Что касается меня, то паломничество мое и Кентербери стоило мне много сил, а долговая тюрьма и нужда скоро совсем dokonают меня. Я надеюсь, что трудности и риск, с которыми я расследовал данное дело... мне ведь приходилось по крохам собирать фактические данные и создавать из них стройное целое, — притом делал я это, находясь под гнетом других утомительных занятий и терзавшего меня тяжелого материального положения моего семейства, — трудиться на рассвете, в сумерки, среди ночного мрака, под бдительным оком того, кого мало назвать дьяволом... и все это, повторяю, надеюсь, будет каплями живительной росы на мой погребальный костер. Большого я не требую. Пусть только по справедливости скажут обо мне, как о том славном морском герое (с которым я не дерзаю сравнивать себя), что все сделанное мною было сделано отнюдь не из корысти, не из эгоистических побуждений, но «ради Англии, отчизны и красоты»! Остаюсь уважающий вас и т. д.

Вилькинс Микобер».

Сильно взволнованный, но вместе с тем чрезвычайно радостный мистер Микобер сложил свое послание и с поклоном передал его бабушке как нечто, что она наверное захочет сохранить.

В этой комнате был небольшой несгораемый шкаф (я обратил на него внимание еще мальчиком, при первом моем появлении в этом доме), ключ торчал в его замке. Вдруг в голове Уриа, видимо, мелькнуло подозрение. Бросив взгляд на Микобера, он подошел к шкафу и распахнул его. Там было пусто.

— Где книги?! — закричал он с искаженным от бешенства лицом. — Какой вор украл их?

— Я это сделал, — заявил мистер Микобер, похлопывая себя линейкой. — Взял их я, когда по обыкновению сегодня утром, только

на этот раз несколько пораньше, получил от вас ключ.

— Не беспокойтесь, — вмешался Трэдльс, — эти книги находятся у меня в сохранности, и в силу данной мне доверенности (о чем я упоминал уже) они будут на моем попечении.

— Так, значит, вы укрываете краденые вещи? — закричал Уриа.

— При подобных обстоятельствах — да, — ответил Трэдльс.

Но каково было мое удивление, когда я увидел, что бабушка, до этого спокойно и внимательно слушавшая, вдруг вскочила со своего места, бросилась к Уриа и схватила его за шиворот обеими руками.

— Вы знаете, что мне нужно? — крикнула она.

— Смирительную рубашку! — ответил Уриа.

— Нет! Мое состояние! — крикнула бабушка. — Агнесса, дорогая моя, пока я считала, что деньги мои растрочены вашим отцом, я никому, даже Троту, не заикалась о том, что я вложила деньги в вашу контору. Но теперь я знаю, что этот молодчик ответствен за них, и желаю получить свое... Трот, идите сюда и отберите у него мои деньги!

Признаться, я не знаю, думала ли бабушка в эту минуту, что ее состояние спрятано у Гиппа в шейном платке, но только она трясла его так, словно была в этом уверена. Я поспешил разнять их и уверить бабушку, что нами будут приняты все меры к тому, чтобы Уриа вернул целиком незаконно им присвоенное. Подумав немного, бабушка успокоилась и, нисколько не смущаясь своей выходкой, чинно уселась на прежнее место.

Миссис Гипп во время этой сцены сначала кричала сыну, чтобы он смирился, а затем стала падать на колени поочередно перед каждым из нас, давая нам самые фантастические обещания.

Наконец сын усадил ее на стул, стал подле нее и, придерживая ее за плечо, впрочем не грубо, обратился ко мне с суровым видом:

— Чего, в сущности, вы хотите от меня?

— Я скажу вам, чего мы хотим от вас, — заявил Трэдльс.

— А разве у Копперфильда нет языка? — пробормотал Уриа. — Я бы дорого дал, если бы узнал, что кто-нибудь ему вырезал его на самом деле.

— Мой Ури готов смириться! — крикнула его маменька. — Добрейшие джентльмены, умоляю вас, не обращайтесь внимания на то, что он говорит!

— Вот что мы хотим от вас, — заявил Трэдльс. — Прежде всего вы должны сейчас же здесь вернуть мне документ, в котором мистер Уикфильд уступает в вашу пользу свою долю в доходах конторы и передает вам свое движимое имущество...

— А если этого документа у меня не имеется? — прервал его Уриа.

— Нам известно, что он у вас есть, — сказал Трэдльс, — и потому, знаете ли, не стоит делать ненужных предположений. (И я не могу не признаться, что это был первый случай, когда я оценил по справедливости светлую голову и спокойный практический здравый смысл моего старого школьного товарища.)

— Затем вы должны приготовиться к тому, чтобы вернуть до последнего фартинга<sup>[24]</sup> все, что заграбастали благодаря своей алчности. Все книги и документы фирмы должны остаться в нашем ведении, так же как и ваши личные книги, документы, деньги, — словом, все, имеющееся в этой конторе.

— В самом деле? Это так полагается? — проговорил Уриа. — Я еще не знаю, должен ли я это сделать. Мне надо еще подумать об этом.

— Ну что же, подумайте, — согласился Трэдльс, — Но пока все не будет сделано для нашего полного удовлетворения, мы оставим у себя все вышеупомянутое и попросим вас, правильнее сказать — заставим вас не покидать своей комнаты и ни с кем не входить в сношения.

— Не стану этого делать! — крикнул Уриа, разражаясь ругательствами.

— В таком случае Медстонская тюрьма будет более надежным местом заключения, — возразил Трэдльс, — и хотя судебным порядком мы не так скоро и, быть может, не так полно добьемся желаемого, как войдя в соглашение с вами, но вы-то во всяком случае понесете наказание. Да что тут говорить, вам это так же хорошо известно, как и мне... Копперфильд, пожалуйста, сходите в ратушу<sup>[25]</sup> и приведите оттуда парочку полисменов.

Тут миссис Гипп, сорвавшись с места, бросилась на колени перед Агнессой, со слезами моля ее заступничества. Она уверяла, что ее Уриа чрезвычайно смиренен и признает себя во всем виновным, а если

даже он не сделает того, что мы требуем, то она сама исполнит все это и даже больше того. Маменька почти обезумела от страха за свое любимое детище. А спрашивать себя, что бы сделало это детище, имей оно сколько-нибудь мужества, было бы все равно, что интересоваться тем, как поступила бы ничтожная дворняжка, если бы в нее вдруг вселился дух тигра. Уриа был трус с головы до пят, и в эту минуту он своим подавленным видом более, чем когда-либо, выказал всю подлость своей низкой душонки.

— Пойдите! — проворчал он, вытирая пот с разгоряченного лица. — Матушка, помолчите! Пусть себе получают этот документ. Сходите и принесите его сюда!

— Мистер Дик, будьте так добры, окажите ей содействие, — сказал Трэдльс.

Гордый таким поручением и понимая всю важность его, мистер Дик последовал за маменькой словно овчарка, сторожащая овцу. Но много хлопот она ему не доставила, так как сейчас же вернулась не только с документом, но и со шкатулкой, в которой он находился, где мы обнаружили банковскую чековую книжку и еще некоторые документы, пригодившиеся нам впоследствии.

— Хорошо, — сказал Трэдльс, когда все это было принесено. — Теперь, мистер Гипп, вы можете идти к себе и все обдумать. Прошу вас обратить особенное внимание на то, что я заявляю вам от лица всех здесь присутствующих: единственно, что вам остается, — это сделать так, как я вам сказал, и сделать немедленно.

Уриа, волоча ноги и уставившись глазами в землю, направился к двери, потирая себе подбородок. У порога он остановился и сказал;

— Я всегда ненавидел вас, Копперфильд, вы всегда были выскочкой и всегда были прошв меня.

— Я, кажется, уже говорил вам, — ответил я, — что ваша алчность и коварство заставляют вас ненавидеть всех на свете. Быть может, вам будет полезно поразмыслить над тем, что люди на свете в алчности и коварстве не умеют остановиться вовремя и всегда перехватывают через край. Это так же верно, как то, что мы все когда-нибудь умрем.

— Или так же верно, как то, что в школе (той самой, где я проникся таким смирением) нам преподавали с девяти до одиннадцати, что труд есть проклятие, а с одиннадцати до часу — что

этот самый труд является благословением Божиим, отрадой и все в таком же роде, — с насмешкой проговорил Уриа, — Ваша проповедь не более последовательна, чем та, школьная. Вы думаете, что смирением ничего нельзя добиться, а вот, по-моему, я не смог бы без него так ловко обойти своего компаньона... С вами же, мистер Микобер, старый задира, мы посчитаемся.

Мистер Микобер с величайшим презрением, гордо выпятив грудь, смотрел на Уриа, пока тот, грозя ему пальцем, прокрадывался к двери. Потом мистер Микобер обратился ко мне с предложением «быть свидетелем восстановления взаимного доверия между ним и миссис Микобер». На это трогательное зрелище были приглашены и все остальные.

— Завеса, — так долго разделявшая нас с миссис Микобер, теперь отдернута, — заявил мистер Микобер, — а также мои дети и виновник их существования могут снова, не краснея, вступить в общение друг с другом.

Мы все были так благодарны мистеру Микоберу, и нам так хотелось это выразить ему, насколько позволяло наше волнение, что, конечно, мы все пошли бы к нему, но Агнессе необходимо было вернуться к отцу, — ему мы решились пока открыть лишь тень надежды, — да кому-нибудь еще надо было остаться сторожить Уриа. Это взял на себя Трэдльс, которого должен был вскоре сменить мистер Дик. Вот почему с мистером Микобером отправились только бабушка, мистер Дик и я.

Поспешно простившись с милой девушкой, так много в жизни сделавшей для меня, я дорогой задумался о том, от какого ужаса, быть может, она была только что спасена, и благословил судьбу за посланные мне тяжелые дни, благодаря которым я познакомился с мистером Микобером.

Квартира его была недалеко, и так как входная дверь вела прямо в гостиную, а он влетел туда, по своему обыкновению, стремглав, то мы тотчас же очутились среди его семейства.

— Эмма! Жизнь моя! — воскликнул мистер Микобер, бросаясь в объятия своей супруги.

Миссис Микобер вскрикнула и прижала его к своей груди. Мисс Микобер, нянчившая «невинного пришельца», о котором писала мне миссис Микобер в своем последнем письме, была поражена и

растрогана. «Невинный пришелец» запрыгал. Близнецы проявляли свою радость не совсем благовоспитанным, но невинным образом. Мистер Микобер-младший, характер которого пострадал от ранних жизненных разочарований, сделавших его угрюмым, так расчувствовался, что заплакал.

— Эмма! — заговорил мистер Микобер. — Туча, заволакивавшая мою душу, рассеялась. Наше взаимное доверие, так долго когда-то сохранявшееся, восстановлено и никогда больше не будет нарушено... А теперь приветствую тебя, бедность! — воскликнул мистер Микобер, заливаясь слезами. — Приветствую и вас, невзгоды, бесприютность, голод, рублища, холод и нищенская сума! Теперь вы не страшны! Нас будет поддерживать взаимное доверие!

Выкрикнув это, мистер Микобер усадил свою супругу на стул и принялся поочередно целовать всех членов семейства. Тут он снова восторженно заговорил о всевозможных грядущих бедствиях, приглашая всех своих выйти с ним на улицу, чтобы, распевая хором, снискивать себе пропитание, ибо, по его словам, ничего другого для поддержания существования у них не оставалось.

Но прежде всего, прежде даже, чем организовать этот семейный хор, надо было привести в чувство миссис Микобер, упавшую в обморок. Этим занялись бабушка и мистер Микобер. Когда хозяйка дома пришла в себя, ей представили бабушку. Меня она тотчас же узнала.

— Простите меня, дорогой мистер Копперфильд, — сказала бедная миссис Микобер, подавая мне руку, — нервы у меня вообще не особенно крепки, и радость, что между нами с мистером Микобером окончились все недоразумения, была мне не по силам.

— Это все ваши дети, миссис Микобер? — спросила ее бабушка.

— Пока это все, — ответила счастливая мать.

— Боже мой! воскликнула бабушка. — А мне просто не верилось, что это все ваши дети. Так это в самом деле все ваши?

— Да, мэм, это все — наше потомство, — подтвердил мистер Микобер.

— А скажите, — в раздумье спросила бабушка, — к какой карьере предназначаете вы вот этого взрослого молодого человека?

— Приехав сюда, — начал пояснять мистер Микобер, — я надеялся устроить Вилькинса в церковь, или, говоря иначе, в



церковный хор. Но в величественном соборе, которым так славится этот город, не оказалось вакансий для тенора, и сын мой принужден вместо священных гимнов распевать в увеселительных местах.

— Но намерения у него хорошие, — с нежностью глядя на сына, заметила миссис Микобер.

— Скажу больше, душа моя, — вмешался мистер Микобер, — намерения его не только хорошие, а наилучшие, но я не нахожу, чтобы пока эти наилучшие намерения приводили к чему-нибудь путному.

Лицо мистера Микобера-младшего снова стало угрюмым, и он спросил несколько раздраженным тоном, что же, в сущности, от него хотят. Не мог же он, в самом деле, родиться плотником или маляром, — это так же невозможно, как родиться птицей. А быть может, думают, что, не будучи фармацевтом, он в один прекрасный день найдет на соседней улице помещение и откроет в нем аптеку? Или бросится в суд и объявит себя адвокатом? Или ворвется в оперный театр и заставит себе аплодировать? Да вообще, спрашивается, можно ли делать то, чему вас не учили?

Подумав немного, бабушка сказала;

— Знаете, мистер Микобер, меня удивляет, как вам никогда не приходила в голову мысль об эмиграции.

— Мэм, — ответил мистер Микобер, — это было мечтой моей юности, и я тщетно жаждал этого в более зрелые годы.

Кстати сказать, я глубоко убежден, что он никогда в жизни об этом не думал.

— Вот как! — воскликнула бабушка, многозначительно поглядывая на меня. — А как было бы чудесно для вас самих, мистер и миссис Микобер, и для ваших детей, если бы вы теперь эмигрировали!

— Презренный металл, мэм, презренный металл нужен, — грустно проговорил мистер Микобер.

— Это, дорогой мистер Копперфильд, главное, можно сказать, — самое существенное препятствие, — добавила миссис Микобер.

— Деньги! — воскликнула бабушка. — Но вы нам оказываете, или, вернее сказать, уже оказали, громадные услуги, — ведь, наверно, благодаря вам многое будет спасено, — а чем лучше мы сможем отблагодарить вас, как не снабдив нужными для эмиграции деньгами!

— Я не могу принять это как дар, — с жаром сказал мистер Микобер, — но, если бы мне могли предложить достаточную сумму

денег, ну, скажем, по пяти процентов годовых под мои векселя на двенадцать, восемнадцать и двадцать четыре месяца, чтобы дать время чему-нибудь подвернуться...

— Вы говорите «могли бы»! — воскликнула бабушка. — Могут и сделают на тех условиях, на каких только вам будет угодно. Вам стоит сказать только слово. А теперь вы оба хорошенько подумайте об этом. У Давида есть знакомые, которые скоро отплывают в Австралию. Если вы решите эмигрировать, то почему бы вам не отправиться с ними вместе на одном корабле? Вы могли бы быть полезны друг другу. Повторяю, подумайте об этом, мистер и миссис Микобер, не спеша и взвесьте все.

— Дорогая мадам, есть вопрос, который я хотела бы вам задать, — обратилась к бабушке миссис Микобер; — здоровый ли там климат? Мне кажется, да?

— Лучший климат в мире! — ответила бабушка.

— Прекрасно, — отозвалась миссис Микобер. — Тогда я еще позволю себе задать вам вопрос: скажите, пожалуйста, позволят ли условия той страны человеку с такими способностями, как у мистера Микобера, подняться по общественной лестнице? Я не говорю, конечно, о poste губернатора или о чем-либо в этом роде, а интересуюсь знать, найдется ли там поприще для применения талантов мистера Микобера?

— Для карьеры человека деятельного и хорошего поведения нигде не может быть лучших условий, — заявила бабушка.

— Для человека деятельного и хорошего поведения, — повторила с деловитым видом миссис Микобер, — совершенно верно. Теперь мне ясно: для мистера Микобера Австралия, очевидно, является настоящим полем деятельности.

— Я убежден, дорогая мадам, — заговорил мистер Микобер, — что при существующих обстоятельствах Австралия, и только Австралия, есть настоящее место для меня и моего семейства, и также убежден в том, что на тех берегах нам подвернется что-то необыкновенное. А дальность расстояния — это, в сущности, пустяки. Словом, хотя мы и должны обдумать ваше любезное предложение, но это будет только одна формальность.

Никогда не забыть мне, как в один миг мистер Микобер превратился в человека, охваченного самыми радужными надеждами

на будущее, а миссис Микобер заговорила о повадках кенгуру.

И всегда улицы Кентербери в базарный день будут напоминать мне мистера Микобера, когда он, после всего описанного мной, шел с нами по этим улицам: приняв самоуверенно-небрежный тон, он уже имел вид временного обитателя Англии, а на проходящих мимо быков смотрел глазами австралийского фермера.

## *Глава XXIV*

### *ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*

Еще раз должен я прервать свое повествование.

О моя женушка-детка! Среди множества пронсящих в моей памяти образов есть один тихий, спокойный. В своей чистой любви и детской красоте, он говорит мне: «Остановитесь, подумайте обо мне! Повернитесь и взгляните на Цветочек, взгляните, как он клонится к земле!»

И я повинуюсь. Все остальное заволакивается дымкой и исчезает... Снова мы с Дорой в нашем коттедже; я не знаю, давно ли она больна: я так привык к этому, что потерял уже представление о времени. Если считать неделями и месяцами, это, быть может, и не так уж много, но при моих повседневных переживаниях время это кажется мне таким бесконечным и таким тяжким. Мне уж больше не говорят: «Вот обождите еще несколько деньков». И я все больше и больше начинаю бояться, что никогда не засияет тот солнечный день, когда я увижу мою женушку-детку, бегущую со своим старым другом Джипом.

Песик как-то вдруг постарел. Быть может, он чувствует, что его хозяйке недостает чего-то, что и его оживляло и молодило. Он тоскует, плохо видит, вообще как-то весь ослабел. Бабушка огорчена, что Джип уже не лает на нее, а когда она сидит у постели Доры (где песик лежит все время), подползает к ней и, ласкаясь, лижет ей руку.

Дора лежит, улыбаясь нам. Она прелестна, никогда не слышно от нее ни одного слова жалобы или недовольства; она уверяет, что мы очень добры к ней, что ее дорогой, заботливый мальчик извелся из-за нее, а неумомимая бабушка совсем не спит, не переставая ласково ухаживать за ней. Иногда навещают Дору ее маленькие тетушки-птички, и мы вспоминаем с ними день нашей свадьбы и все то счастливое время. Какое странное затишье наступило в моей жизни и во всем вокруг меня! Кажется даже, как будто все остановилось.

Я сижу в уютной, тщательно прибранной полутемной комнате, и голубые глазки моей женушки-детки устремлены на меня, а нежные ее пальчики покоятся на моей руке. Много, много часов провел я так,

но за все это время особенно ярко запечатлелись в моей памяти три момента.

Утро. Бабушка только что убрала и принарядила Дору, и моя женушка-детка показывает мне, как еще вьются по подушке ее чудесные длинные блестящие волосы, и говорит, как ей нравится, когда они, распущенные, уложены в сетку.

— Не думайте, насмешник, что я тщеславна, — говорит она, заметив, что я улыбаюсь. — Мне нравятся мои волосы потому, что вы всегда находили их такими красивыми, и еще потому, что когда я только начала думать о вас, я помню, как, бывало, глядя в зеркало, спрашивала себя: было бы вам приятно, если б я вам подарила на память локон? А помните, Доди, каким глупеньким мальчиком вы были, когда этот локон я дала вам?

— И было это, Дора, как раз в тот день, когда вы рисовали подаренный мной букет цветов и я сказал вам, как горячо люблю вас.

— А я тогда не захотела признаться вам, — продолжала Дора, — что над этим самым букетом я, решив, что вы на самом деле любите меня, плакала радостными глазами. Знаете, Доди, когда я снова буду бегать, как прежде, мы с вами непременно отправимся в те места, где когда-то были такими глупыми, хорошо? Там мы побродим по знакомым уголкам и побываем на могиле моего бедного папы.

— Непременно сделаем это, — согласился я, — и, наверно, замечательно проведем с вами время. Смотрите только, дорогая моя, поскорее выздоравливайте!

— О, я скоро выздоровлю! Вы себе представить не можете, насколько мне стало лучше!

Вечер. Я сижу на том же стуле, у той же кровати, и передо мною то же личико. Мы молчим, но на личике бродит улыбка. Я уже перестал носить вниз и вверх по лестнице мою легкую ношу: женушка-детка целыми днями лежит здесь.

— Доди!

— Что, дорогая моя?

— Помните, Доди, вы недавно говорили мне, что мистер Уикфильд плохо себя чувствует, и вот после этого вы не сочтете неблагоприятным то, что я собираюсь сказать вам?.. Мне хочется видеть Агнессу, очень хочется видеть ее!

— Я ей напишу об этом, дорогая моя.

— Так напишете?

— Сейчас же это сделаю!

— Какой хороший, добрый мальчик Доди, возьмите меня на руки!

Не думайте, дорогой, что это каприз: мне в самом деле очень нужно повидаться с Агнессой.

— Верю, дорогая моя, и стоит мне написать Агнессе, как она сейчас же приедет.

— Вам теперь очень скучно, когда вы спускаетесь вниз? Ведь правда? — шепчет Дора, обнимая меня за шею.

— Как могу я не скучать, любимая моя, когда я вижу перед собой ваш пустой стул?

— Мой пустой стул, — повторяет она и, прижавшись ко мне, некоторое время молчит. — И вам действительно нехватает меня? — с сияющей улыбкой допытывается она. — Меня, такой жалкой, легкомысленной, глупенькой?

— Чье же отсутствие, родная моя, могу я так чувствовать?

— О муженек мой! Как я рада, а вместе с тем как мне грустно! — шепчет она, еще крепче прижимаясь ко мне и обнимая меня обеими руками.

Она и смеется и плачет, а потом успокаивается я уверяет, что совершенно счастлива.

Совершенно счастлива, — повторяет она. — Только, пожалуйста, все-таки напишите Агнессе. Скажите, что я целую ее и очень, очень хочу ее видеть. Ничего не хочу так, как этого!

— Надеюсь, кроме того, Дора дорогая, чтобы опять стать здоровой.

— Ах, Доди! Порой мне кажется, — я ведь всегда была глупенькой, — что этого никогда уж не будет!

— Не говорите этого, Дора! Не думайте этого, любимая моя!

— Мне самой хотелось бы не думать об этом, Доди, да думается! Но я все-таки очень счастлива, хотя моему дорогому мальчику и скучно видеть пустой стул своей женушки-детки...

Ночь. И я опять с ней. Приехала Агнесса, провела с нами весь день и ночь. Мы все — она, бабушка и я — сидели с Дорой до самого утра. Говорили мы немного, но у моей женушки-детки был довольный и веселый вид. А теперь — мы с ней вдвоем.

Знаю ли я, что моя женушка-детка скоро покинет меня? Я был предупрежден, и для меня это не явилось неожиданностью, но я не могу сказать, чтобы в глубине души верил этому. Не в состоянии я примириться с этим! Не раз сегодня я выходил из комнаты, чтобы поплакать на свободе. Я стараюсь покориться своей судьбе, как-нибудь утешиться, но мне это не удается. Все-таки я не в силах осознать неизбежности конца. Я держу ее ручку в своей, прижимая ее сердце к своему, чувствую, как она любит меня, и слабая тень надежды на ее спасение, наперекор всему, теплится в моей душе.

— Мне хочется что-то сказать вам, Доди. За последнее время я не раз собиралась сделать это. Вы ничего не имеете против этого? — добавила она с милой улыбкой.

— Могу ли я иметь что-либо против этого! Что вы, моя любимая!

— Да потому, что я не знаю, как вы отнесетесь к моим словам. Быть может, вы сами не раз думали об этом, Доди, дорогой. Мне кажется, что я была слишком молода.

Я кладу свою голову на подушку подле нее, а она смотрит мне в глаза и продолжает тихонько, ласково говорить. Мало-помалу я начинаю с болью в сердце замечать, что бедняжка говорит о себе как о ком-то, покончившем счеты с жизнью.

— Боюсь, дорогой мой, что я была слишком молода, и не только годами, но и опытом, умом и вообще всем. Я была такой маленькой глупышкой. Боюсь сказать, но, мне кажется, было бы лучше, если б наша детская любовь окончилась ничем и мы забыли бы о ней. Я начинаю думать, что не годилась вам в жены.

Пытаясь удержать слезы, я говорю:

— Любимая моя, вы столько же годились в жены, как я в мужья.

— Не знаю, может быть, — отвечает она, по-старому встряхивая локонами. — Но, если б я была лучшей женой, то из вас могла бы сделать лучшего мужа. Притом вы такой умный, а я никогда умной не была.

— Мы были с вами очень счастливы, милочка моя!

— Я была счастлива, очень счастлива, но с годами моему дорогому мальчику его женушка-детка была бы в тягость. Она все меньше и меньше годилась бы в подруги его жизни, и он все больше и больше чувствовал бы, что ему чего-то нехватает дома. А перемениться она не могла. Все складывается к лучшему.

— Дора, дорогая, любимая, не говорите так! Каждое ваше слово звучит для меня упреком!

— О, совсем нет! — возражает она, целуя меня. — Дорогой мой, вы никогда не заслуживали этого, и я слишком любила вас, чтобы когда-нибудь всерьез упрекнуть в чем-либо. Вот это да еще то, что я была хорошенькой или казалась вам такой, — единственные мои достоинства. А правда, тоскливо одному там, внизу, Доди?

— Очень! Очень!

— Не плачьте!.. А скажите, стул мой все там же? Он стоит на своем старом месте?.. Ах, как плачет мой бедный мальчик! Ну, полноте, не надо! Теперь обещайте мне, что вы исполните мою просьбу: я хочу видеть Агнессу. Когда вы спуститесь вниз, скажите ей об этом и пошлите ее сюда. Пока мы с ней будем говорить, никого не пускайте сюда, даже бабушку. Я хочу говорить с Агнессой одна, да, говорить с глазу на глаз...

Я обещаю ей, что она немедленно поговорит так, как она хочет, но не в силах расстаться с ней, — я слишком убит горем.

— Говорю вам: все к лучшему, — шепчет она, обнимая меня. — Прошло бы несколько лет, Доди, и вы бы уж не так любили свою женушку-детку. Хорошо еще, если б, разочаровавшись в ней, вы любили бы ее вполовину того, как сейчас! Я прекрасно знаю, что я была и слишком молода и слишком глупа. Поверьте, так гораздо лучше...

Спустившись в гостиную, я застаю там Агнессу и передаю ей просьбу Доры. Она сейчас же идет к ней наверх, а я остаюсь один с Джипом. Его пагода стоит у камина. Он лежит в ней на своей фланелевой постельке и время от времени жалобно стонет, пытаясь уснуть. Я выглядываю в окно. Высоко на небе сияет луна. Горячие слезы льются из моих глаз, и на сердце так тяжело, тяжело...

Я сижу у камина и в глубине души упрекаю себя за мысли, порой приходившие мне в голову во время моей супружеской жизни. Я припоминаю все мельчайшие недоразумения, бывшие между мной и Дорой, и чувствую, как верно то, что жизнь состоит из мелочей. Из моря воспоминаний встает передо мной образ дорогой девочки — такой, какой я впервые увидел ее. Образ этот овеян прелестью нашей юной любви со всеми ее чарами. Неужели и в самом деле было бы



лучше, если б мы только по-детски любили друг друга, а потом забыли об этом? Отвечай, недисциплинированное сердце!

Не знаю, сколько времени сижу я так у камина. Меня выводит из задумчивости старый товарищ моей женушки-детки. Он начинает что-то беспокоиться, выползает из своей пагоды, смотрит на меня, тащится к двери и принимается визжать, чтобы его пустили наверх.

— Сейчас нельзя, Джип, нельзя!

Он очень медленно возвращается ко мне, лижет мне руку и глядит на меня своими тусклыми глазками.

— Ах, Джип, быть может, никогда уж не придется увидеть ее!

Он ложится у моих ног, вытягивается, словно собирается заснуть, взвизгивает и околевает...

— Ах, Агнесса, смотрите, смотрите!

Какое сочувствие, какое горе написано на ее лице! Слезы ручьем бегут по щекам. Ни слова не говоря, она рукой показывает мне на небо.

— Агнесса?!

Все кончено...

В глазах моих темнеет, и некоторое время я ничего не сознаю...

## *Глава XXV*

# *МИСТЕР МИКОБЕР ДЕЙСТВУЕТ*

И поныне я не представляю себе ясно, когда был впервые поднят вопрос о моей поездке за границу и как мы все сошлись на том, что мне необходимо искать успокоения в путешествии с его сменой впечатлений. Во всем, что мы думали, говорили и делали в это горестное время, так сказалось спокойное влияние Агнессы, что, мне кажется, ему следует приписать и этот проект.

С того незабвенного мгновения, когда Агнесса встала передо мной с поднятой к небу рукой, она была добрым гением моего опустевшего дома. Позже я узнал, что моя жена-детка умерла на ее груди с улыбкой на устах. Когда я очнулся от обморока, она смягчила мое горе слезами сострадания, а слова ее дышали миром и надеждой.

Но продолжаю свое повествование.

Я должен был уехать за границу. Теперь, когда Дора была похоронена, мне оставалось только дожидаться того, что мистер Микобер называл «окончательным распылением» Гиппа, а также отплытия эмигрантов. По настоянию Трэдльса, все время после «извержения» работавшего в Кентербери и проявившего себя в эту горестную пору моим самым нежным и преданным другом, мы — то есть бабушка, Агнесса и я — также поехали в Кентербери. Здесь мы начали с того, что направились прямо к мистеру Микоберу, где нас уже ждал со своими книгами и бумагами Трэдльс. Когда бедная миссис Микобер увидела меня в трауре, она была очень потрясена: видимо, многие тяжелые годы не убили ее доброты.

— Ну, мистер и миссис Микобер, обсудили ли вы мое предложение эмигрировать? — таковы были первые слова моей бабушки, когда мы с ней сели.

— Дорогая мадам, — ответил мистер Микобер, — пожалуй, невозможно лучше выразить то решение, к которому пришли мы — миссис Микобер, ваш покорный слуга и, могу прибавить, наши дети, — как воспользовавшись словами одного знаменитого поэта: «Наша ладья — на берегу, а наша барка — в море!»

— Прекрасно, — сказала бабушка. — Я жду много доброго от вашего разумного решения.

— Мэм, вы оказываете нам много чести, — ответил мистер Микобер. Затем, указывая на сделанные им в записной книжке пометки, продолжал: — Что касается вашей денежной помощи в этом нашем предприятии, то я считаю нужным оформить все принимаемые мною на себя долговые обязательства по всем правилам, принятым в деловом мире, причем с точным указанием сроков уплаты: восемнадцать, двадцать четыре и тридцать месяцев.

— Устраивайте все, как вам будет угодно, сэр! — сказала бабушка.

— Мэм, мы с миссис Микобер глубоко чувствуем трогательную доброту наших друзей и покровителей. Но, повторяю, я хочу, чтобы все было оформлено, как между деловыми людьми.

Бабушка заметила, что раз обе стороны согласны на все, это нетрудно сделать.

— А теперь, мэм, — продолжал с некоторой гордостью мистер Микобер, — прошу разрешения доложить вам о наших домашних приготовлениях к предстоящей нам новой жизни — приготовлениях, которым, понятно, мы всецело отдаемся. Моя старшая дочь ежедневно в пять часов утра посещает скотный двор, чтобы научиться процессу (если это можно назвать процессом) доения коров. Мои младшие дети получили инструкцию наблюдать как можно ближе привычки свиней и домашней птицы в беднейших кварталах города. Их даже два раза при этом едва не переехали. Сам я в последние две недели уделяю много внимания хлебопечению. Мой же сын Вилькинс, вооружившись тросточкой, выгоняет на пастбище рогатый скот, когда это позволяют ему делать пастухи.

— Чудесно! — одобрила бабушка. — А миссис Микобер, я уверена, также не теряла времени?

— Дорогая мадам, — отвечала миссис Микобер с деловым видом, — осмеливаюсь сознаться, что я активно не занималась вопросами, непосредственно связанными с земледелием или животноводством, хотя и хорошо знаю, что они потребуют моего внимания на чужбине. Время, которое я могу урвать от моих домашних обязанностей, я посвящаю переписке с моими

родственниками с целью примирить их с мистером Микобером, которого они никогда не могли понять.

Мистер Микобер был несколько взволнован упоминанием об этих родственниках, но миссис Микобер быстро успокоила его, сказав:

— Они неспособны понять вас, мистер Микобер, в этом их несчастье, и я могу только жалеть их.

Тут мистер Микобер, поглядев на кучу книг и бумаг, лежащих перед молчавшим все время Трэдльсом, подал руку жене и церемонно удалился с ней, оставив нас одних.

— Мой дорогой Копперфильд, — начал Трэдльс после их ухода, откинувшись на спинку стула и глядя на меня с таким чувством, что глаза его покраснели, а волосы стали дыбом, — я не прошу у вас извинения за то, что беспокоил вас вызовом по этому делу: я знаю, что вы глубоко заинтересованы в нем, и к тому же, оно может несколько рассеять вас. Хочу надеяться, дорогой друг, что вы не очень переутомились?

— Нет, я чувствую себя, как обыкновенно, — сказал я помолчав. — А вот о ком мы должны прежде всего подумать — так это о бабушке. Вы знаете, как много ей пришлось потратить сил.

— Конечно, конечно, — согласился Трэдльс, — разве можно забыть об этом?

— Но и это не все, — прибавил я. — Последние две недели она пережила какую-то новую тревогу и ежедневно бывала в Лондоне. Несколько раз она отсутствовала с раннего утра до позднего вечера. Знаете, Трэдльс, накануне нашей поездки сюда она вернулась домой почти в полночь, Вы ведь знаете, как бабушка всегда заботится о других. И вот теперь она ничего не хочет говорить мне, видимо боясь меня огорчить.

Бабушка, бледная и с глубокими морщинами на лице, сидела неподвижно, пока я не кончил; тут она заплакала и положила свою руку на мою.

— Ничего, Трот, ничего! Этого больше не будет, — промолвила она. — Со временем вы узнаете, в чем дело... А теперь, дорогая Агнесса, давайте займемся делами.

— Я должен отдать справедливость мистеру Микоберу, — начал Трэдльс: — хотя он как будто и не очень рьяно работал для себя, но для других он трудился неутомимо. Никогда не видал я подобного

человека! С каким пылом погружался он день и ночь в бумаги и конторские книги! А что сказать о невероятном количестве писем, написанных им мне и передаваемых часто из рук в руки через стол, когда ему было легче сказать, в чем дело!

— Письма! — воскликнула бабушка. — Да, я думаю, что он их и во сне пишет!

— И мистер Дик, — продолжал Трэдльс, — творил здесь просто чудеса! С непревзойденным усердием сторожил он Уриа, а как только его освободили от этого, он всецело посвятил себя интересам мистера Уикфильда. И надо правду сказать, что его жажда помочь нам в нашем расследовании и его несомненная полезность в выполнении разнообразных наших поручений усиливали нашу энергию.

— Дик — замечательный человек! — воскликнула бабушка. — Я всегда говорила это. Вам это известно, Трот!

— Я счастлив сказать вам, мисс Уикфильд, — мягко и серьезно продолжал Трэдльс, — что за время вашего отсутствия состояние мистера Уикфильда значительно улучшилось. Избавившись от «домового», так долго подавлявшего его, и от преследовавших его страхов, он стал совсем другим человеком. Временами к нему даже возвращалась его былая способность сосредоточивать свое внимание и память на отдельных деловых вопросах, и тогда он бывал в состоянии помочь нам выяснить некоторые обстоятельства, в которых без него мы не могли бы разобраться. Но перехожу вкратце к сути дела. Подсчитав наши ресурсы и приведя в порядок уйму бумаг, частью неумышленно запутанных, частью запутанных сознательно и подделанных, мы приходим к выводу, что мистер Уикфильд может ликвидировать свое дело без всякого ущерба для своих клиентов.

— Слава богу! — горячо воскликнула Агнесса.

— Но, — прибавил Трэдльс, — при этом ему остается так мало на жизнь (всего каких-нибудь несколько сот фунтов стерлингов, даже при условии продажи дома), что, пожалуй, было бы лучше, мисс Уикфильд, если бы он сохранил часть своих старых дел. Теперь, когда он освободился от «домового», его друзья могли бы помогать ему своими советами. Вы сами, мисс Уикфильд, Копперфильд, я...

— Я думала об этом, Тротвуд, — сказала Агнесса, глядя на меня, — и чувствуя, что этого не надо делать, несмотря даже на совет друга, которому я так обязана и так благодарна.

— Я ведь не советую этого, — заметил Трэдльс, — только считаю нужным подать эту мысль, не больше.

— Я счастлива, что вы так говорите, — ответила уверенным тоном Агнесса, — ибо это дает мне надежду, почти уверенность, что мы с вами одинаково смотрим на вещи. Дорогой мистер Трэдльс и дорогой Тротвуд, чего мне еще желать, раз папа свободен и сохранил свою честь? Я всегда мечтала о том, что когда мне удастся избавить его от тяжелых трудов, я смогу вернуть ему хотя частицу его любви и заботы обо мне и посвятить ему свою жизнь. В течение многих лет я горячо надеялась на это. Взять на себя наше будущее будет великим счастьем для меня.

— Но каким образом? Думали вы об этом, Агнесса?

— Часто думала! Меня не пугает будущее, дорогой Тротвуд! Я уверена в успехе. Так много людей знают меня здесь и хорошо ко мне относятся. Не сомневайтесь во мне. Нам не много нужно. Если я, взяв в аренду наш дорогой старый дом, открою школу, я буду счастлива, зная, что приношу пользу.

Уверенный и веселый голос Агнессы, так живо напомнивший мне и ее дорогой старый дом и мой, теперь такой пустынный и печальный, до того взволновал меня, что я не мог произнести ни слова. Трэдльс на минуту сделал вид, что усердно ищет чего-то в бумагах.

— А теперь, мисс Тротвуд, — обратился Трэдльс к бабушке, — поговорим о вашем имуществе.

— Хорошо, сэр, — со вздохом сказала бабушка. — Если оно потеряно, я перенесу это, а если оно уцелело, я буду рада получить его. Вот все, что я могу сказать.

— Оно составляло вначале, мне кажется, восемь тысяч фунтов стерлингов в ценных бумагах, — сказал Трэдльс.

— Да, — ответила бабушка.

— Я же могу дать отчет только в пяти, — смущенно проговорил Трэдльс.

— В пяти тысячах или в пяти фунтах? — спросила бабушка со странным спокойствием.

— В пяти тысячах фунтов, — ответил Трэдльс.

— Это все, что осталось, — заявила бабушка: — я сама продала бумаг на три тысячи фунтов. Одну тысячу я заплатила за ваше место проктора, дорогой Трот, а две остальные сохранила при себе. Когда я

потеряла остальное имущество, я сочла благоразумным ничего не говорить вам об этой сумме, но придержать ее про черный день. Мне хотелось посмотреть, как вы справитесь с испытанием, Трот, и вы благородно вышли из него, всегда уверенный в себе и самоотверженный! Так же вел себя и Дик... Не говорите мне ничего, так как я чувствую, что мои нервы немного пошаливают.

Никто не подумал бы этого, видя, как прямо сидит она со скрещенными на груди руками: она удивительно владела собой.

— Тогда я могу сказать, — с восторгом воскликнул Трэдльс, — что все ваши деньги целы!

— Не поздравляйте меня никто! — воскликнула бабушка. — А скажите, сэр, каким образом они могут быть целы?

— Вы ведь думали, что они были растрочены мистером Уикфильдом? — спросил Трэдльс.

— Да, — ответила бабушка, — и поэтому предпочитала молчать... Агнесса, не говорите мне ни слова!

— Действительно, — сказал Трэдльс, — бумаги были проданы в силу данной вами доверенности, и мне незачем говорить вам, кто продол их и за чьей подписью. Мошенник позже заявил мистеру Уикфильду и даже доказывал цифрами, что он употребил эти деньги, в соответствии с данными ему общими распоряжениями, на уплату долгов другим клиентам. К несчастью, мистер Уикфильд, чувствуя себя слабым и беспомощным в руках Гиппа, позже принял участие в этом обмане, выплачивая вам проценты на уже не существующий капитал.

— А в конце концов взял всю вину на себя, — заговорила бабушка, — и написал мне сумасшедшее письмо, обвиняя себя в воровстве и неслыханных злодеяниях. В ответ на это я одним ранним утром пришла к нему, потребовала свечу, сожгла письмо и сказала ему, что если он сможет когда-нибудь уплатить мне и реабилитировать себя, пусть он это сделает, а нет — так ради его дочери все надо держать в тайне... А теперь, если кто-нибудь вздумает сказать мне что-либо, я тотчас же уйду.

Мы все молчали. Агнесса закрыла лицо руками.

— Ну, дорогой друг, — немного погодя обратилась бабушка к Трэдльсу, — вы действительно отобрали у него деньги?

— О да! — ответил он. — Мистер Микобер припер его к стенке таким множеством доказательств, что он не мог вывернуться. Наиболее замечательно то, что он присвоил деньги не столько даже из-за своей непомерной жадности, сколько из ненависти к Копперфильду. Он прямо сказал мне это, прибавив, что охотно потратил бы еще такую же сумму, лишь бы нанести ущерб Копперфильду.

— Вот как! — проговорила бабушка, задумчиво хмурия брови и глядя на Агнессу. — А что с ним самим?

— Не ведаю, — ответил Трэдльс. — Он уехал со своей маменькой, и та все время продолжала кричать, умолять и каяться. Они уехали ночным лондонским дилижансом, и я ничего не знаю о нем, кроме того, что, уезжая, он проявил большую неприязнь ко мне, не меньшую, чем к мистеру Микоберу. Я не скрыл от него, что мне это доставляет только удовольствие.

— А как вы думаете, Трэдльс, есть у него деньги? — спросил я.

— О да, вероятно, есть, — с серьезным видом ответил мой друг, качая головой. — Он должен был немало прикарманить разными способами. Но деньги не удержат его от новых преступлений. И всегда он будет ненавидеть всякого, кто хотя бы нечаянно станет между ним и его низменными целями. За это говорит все его поведение здесь.

— Он просто чудовищно подл и низок! — сказала бабушка. — А как с мистером Микобером?

— О! — весело отозвался Трэдльс. — Я обязан еще раз воздать должное мистеру Микоберу. — Если бы не его терпение и настойчивость в течение столь продолжительного времени, мы никогда не добились бы ничего путного. И, мне кажется, необходимо отметить удивительное бескорыстие мистера Микобера: он ведь мог так много получить от Уриа за свое молчание!

— Я такого же мнения, — заметил я.

— А что, по-вашему, ему следовало бы дать? — спросила бабушка.

— У него есть вексельные долги Уриа Гиппу: тот брал с него векселя на деньги, выданные авансом, — проговорил несколько смущенный Трэдльс.



— Ну, их надо уплатить, — заявила бабушка, — А какую это составит сумму?

— Сто три фунта пять шиллингов.

— Сколько же мы ему дадим всего, включая эту сумму? Мне думается, пятьсот фунтов? Не так ли? — предложила бабушка. — А с вами, дорогая Агнесса, мы потом сговоримся о вашей доле в этих пятистах фунтах.

Мы с Трэдльсом рекомендовали дать мистеру Микоберу небольшую сумму наличными и взять на себя оплату его векселей, когда Уриа предъявит их. Мы также посоветовали оплатить снаряжение и переезд в Австралию мистера Микобера с семьей и дать ему перед отъездом сто фунтов стерлингов, придав всему этому форму займа, подлежащего в дальнейшем оплате. Я предложил, кроме того, заинтересовать мистера Микобера и мистера Пиготти судьбой друг друга в расчете на их взаимную поддержку в будущем, а также вручить мистеру Пиготти вторые сто фунтов для передачи их потом мистеру Микоберу.

Видя, что Трэдльс озабоченно поглядывает в сторону бабушки, я напомнил ему, что он собирался сказать еще что-то.

— Вы со своей бабушкой простите меня, Копперфильд, если я коснусь тяжелой для вас темы, — нерешительно проговорил Трэдльс, — но я считаю необходимым напомнить вам об угрозе Уриа, в памятный день разоблачений мистера Микобера, по адресу... супруга вашей бабушки.

Бабушка, сохраняя видимое спокойствие, молча кивнула головой.

— Быть может, — заметил Трэдльс, — это была лишь не имеющая значения дерзость?

— Нет, — возразила бабушка.

— Значит, простите... есть такой человек, и он целиком во власти Гиппа?

— Да, друг мой! — ответила бабушка.

Огорченный Трэдльс объяснил нам, что мы больше не имеем власти над Уриа Гиппом и он несомненно, если только сможет, не преминет нанести нам любой ущерб или неприятность.

Бабушка продолжала оставаться спокойной, только несколько слезинок скатилось по ее лицу.

— Вы совершенно правы, — наконец сказала она. — Было очень предусмотрительно с вашей стороны напомнить об этом.

— Можем ли мы, я или Копперфильд, предпринять что-либо? — мягко спросил Трэдльс.

— Ничего, — ответила бабушка. — Тысячу раз благодарю вас! Все это пустая угроза, дорогой мой Трот! Позовите мистера и миссис Микобер. И никто ничего не говорите мне!

Сказав это, она разгладила рукой свое платье и, выпрямившись на стуле, стала глядеть на дверь.

— Ну, мистер и миссис Микобер! — обратилась к ним бабушка, когда они вошли. — Мы обсуждали... простите, что так долго... ваш переезд в Австралию. Вот на чем мы порешили...

И она рассказала им, к величайшему их удовлетворению, что им надлежало узнать. Особенную радость проявил мистер Микобер, предвкушая удовольствие подписать несколько векселей на имя бабушки, и немедленно помчался за вексельными бланками. Но через пять минут он вернулся, рыдая, в сопровождении чиновника, предъявившего ему к немедленной оплате (под угрозой ареста) вексель Уриа Гиппа. Заранее готовые к этому, мы тотчас же оплатили вексель, чиновник ушел, а мистер Микобер, сияя, уселся за стол и принялся подписывать векселя. Он проделывал это с таким усердием и восторгом, что было просто забавно смотреть на него.

Так закончился этот вечер. Мы с бабушкой чувствовали себя измученными горем и утомленными, а завтра нам предстояло ехать обратно в Лондон. Было решено, что Микоберы последуют за нами, как только распродадут свою обстановку, что дела мистера Уикфильда будут возможно скорее урегулированы Трэдльсом, а тем временем Агнесса приедет в Лондон...

Мы переночевали в милом старом доме. Теперь, когда он был освобожден от присутствия Гиппов, в нем легко дышалось, и я спал в своей прежней комнатке, как человек, вернувшийся домой после кораблекрушения.

На следующий день мы отправились в Лондон, но не ко мне, а к бабушке. Когда мы по-старому сидели с ней одни, перед тем как идти спать, она сказала:

— Трот, вы действительно хотите знать, чем я была озабочена в последнее время?

— Да, бабушка! Теперь, больше чем когда-либо, я не хотел бы оставаться в стороне, когда вы переживаете какое-нибудь горе или беспокойство.

— У вас самого было достаточно горя, дитя мое, и без моих маленьких огорчений, — нежно сказала бабушка. — Иного основания скрывать от вас что-либо, Трот, у меня нет.

— Я хорошо знаю это. А теперь, бабушка, расскажите мне, в чем дело.

— Хотите проехаться со мной завтра утром? — спросила она.

— Конечно.

— Значит, в девять, — сказала бабушка. — И тогда, дорогой мой, я расскажу вам все, все!

Ровно в девять мы выехали в маленькой коляске в Лондон.

После продолжительной езды по улицам мы остановились у большого госпиталя. Возле него у самого входа стояли простые погребальные дроги. Возница узнал бабушку и, по ее знаку, тихо поехал впереди нас.

— Вы понимаете теперь, Трот? — промолвила бабушка. — Он скончался...

— И скончался в госпитале?

— Да!

Она сидела неподвижно подле меня, но я опять увидел слезы на ее щеках.

— Он и раньше бывал здесь, — начала рассказывать бабушка, — давно уж он болел: его организм последние годы был надломлен. Недавно, узнав, в каком он состоянии, он просил вызвать меня. Его мучило раскаяние, очень мучило.

— Вы, конечно, откликнулись, бабушка?

— Я навестила его и после того немало пробыла с ним.

— Он умер в ночь перед нашей поездкой в Кентербери? Не так ли? — спросил я.

Бабушка кивнула головой.

— Теперь уж никто не может повредить ему, — проговорила она, — то была пустая угроза.

Мы выехали из города, направляясь к Горнейскому кладбищу.

— Лучше здесь, чем в городе, — заметила бабушка. — Он родился здесь.

Мы вышли из коляски и проводили простой гроб к могиле в углу кладбища, где он и был похоронен.

— Тридцать шесть лет тому назад, мой дорогой, я вышла замуж, — проговорила бабушка, когда мы шли обратно к коляске. — Да простит нас всех господь!

Мы молча сели в экипаж, и она долго молчала, держа мою руку. Потом она вдруг неожиданно залилась слезами.

— Это был красивый мужчина, когда я вышла за него, Трот, и как он ужасно изменился! — промолвила она.

Бабушка недолго плакала. Слезы облегчили ее; она успокоилась и даже повеселела.

— Мои нервы что-то немного не в порядке, — заметила она, — иначе я не проявила бы такой слабости. Да простит нас всех господь!

Мы вернулись в ее домик в Хайгейте и здесь нашли доставленное утренней почтой письмецо от мистера Микобера.

«Дорогая мэм и Копперфильд! — писал он. — Благодаря проискам Уриа Гиппа я вновь арестован за неуплату по другому выданному ему мною векселю, и дни мои в долговой тюрьме сочтены».

Под этим была приписка:

«Я вскрыл письмо, чтобы сообщить вам, что наш общий друг мистер Томас Трэдльс (он еще не уехал отсюда и прекрасно выглядит) уплатил по векселю со всеми расходами от имени благородной мисс Тротвуд, и я с семьей на вершине земного блаженства!»

## **Глава XXVI**

### **БУРЯ**

Теперь я подхожу к событию, оставившему такой неизгладимый след в моей душе, событию такому ужасному, связанному такими бесконечно разнообразными нитями со всем предшествующим, что с самого начала моего повествования оно, словно какая-то громадная башня на равнине, все росло и росло в моих глазах и бросало тень даже на дни моего детства.

Это ужасное событие в течение многих лет я не переставал видеть во сне; и, когда, страшно потрясенный таким сновидением, я вскакивал, мне чудилось, что в моей спокойной комнате среди ночной тишины все еще бушует его ярость.

Оно и теперь снится мне, хоть и гораздо реже. Но буря или даже случайное упоминание о морском берегу сейчас же, в силу ассоциации, необыкновенно ярко воскрешает его в моей памяти. Постараюсь описать все так, как оно происходило, В сущности, тут даже не воспоминание, — я это вижу, это снова совершается на моих глазах.

Приближалось время, когда корабль, на котором отправлялись эмигранты, должен был отплыть, и моя милая старая няня (она была страшно убита моим горем) приехала в Лондон, Я постоянно бывал с нею, с ее братом и Микоберами (все они проводили много времени вместе), но Эмилии так ни разу и не видел.

Однажды вечером, незадолго до отплытия корабля, мы были одни с Пиготти и ее братом. Заговорили о Хэме. Няня рассказала нам, как нежно он простился с ней, как спокойно и мужественно держал себя, что особенно было удивительно в последнее время, когда, по ее мнению, на душе у Хэма было особенно тяжело. Любящая тетка могла без конца говорить о своем племяннике, а мы с не меньшим интересом, чем она повествовала, слушали ее.

Мы с бабушкой распрощались с нашими коттеджами в Хайгейте: я собирался путешествовать, а бабушка вернуться в Дувр. У нас с ней была временная квартира в Ковент-Гардене. Когда в тот вечер я, после всех рассказов о Хэме, пешком возвращался домой, я задумался о

нашем с ним последнем разговоре в Ярмуте и тут решил, что лучше теперь же написать Эмилии, чем передавать ей письмо через дядю, уже прощаясь с ним на корабле, как я первоначально хотел было сделать. Мне пришло в голову, что Эмилия, прочитав мое письмо, быть может, пожелает послать через меня несколько прощальных слов несчастному человеку, так любившему ее. Во всяком случае, думалось мне, ей следует дать возможность так поступить. И вот, придя домой, прежде чем лечь в постель, я написал Эмилии. Начал я с того, что недавно виделся с Хэмом, а затем дословно передал все, что он просил сообщить ей. И если бы я даже имел право добавить что-либо от себя, то этого не следовало бы делать: ни я, ни кто другой не смог бы лучше самого Хэма сказать о том, как он верен и добр.

Я написал еще записку мистеру Пиготти с просьбой передать Эмилии прилагаемое письмо и, запечатав то и другое вместе, распорядился отнести этот пакет рано утром по адресу. Лег я на рассвете, но, будучи расстроен более, чем мне это казалось, я заснул, только когда уже взошло солнце. Долго я спал, но сон не освежил меня. Проснулся я, почувствовав, что возле меня бабушка.

— Трот, дорогой мой, — сказала она, — видя, что я открыл глаза, — я все не решалась будить вас. Здесь мистер Пиготти. Можно ли ему войти?

Я ответил, что рад его видеть, и он вскоре появился.

— Мистер Дэви, — начал он, пожав мне руку, — я отдал Эмилии ваше письмо, и вот ее ответ. Она поручила мне, сэр, просить вас прочесть то, что она написала, и, если вы там не найдете ничего обидного, передать это письмо...

— А сами вы прочли его? — спросил я. Он с грустным видом кивнул головой.

Я открыл письмо. Вот что было в нем:

«До меня дошло то, что вы поручили передать мне. Как выразить вам свою благодарность за вашу великую, благословенную доброту! Слова ваши глубоко запечатлелись в моем сердце. Там я буду хранить их до конца своих дней. Они для меня острые тернии, а вместе с тем в них столько утешения! Я молилась над ними, много молилась... Видя, какие вы оба с дядей, я могу представить себе, каков должен быть господь, и нахожу в себе силы взывать к нему.

Прощайте, дорогой мой, друг мой. Теперь прощайте навсегда в этом мире! Если на том свете я получу прощение и, быть может, вновь стану невинным младенцем, тогда увидимся. Тысячу раз благодарю вас и благословляю! Прощайте навсегда!»

Таково было это залитое слезами послание.

— Мистер Дэви, могу я сказать ей, что вы не находите в этом письме ничего обидного и так добры, что беретесь передать его? — спросил меня мистер Пиготти, когда я кончил читать.

— Разумеется, — ответил я. — Но, знаете, я думаю...

— Что, мистер Дэви?

— Да думаю побывать в Ярмуте, — сказал я. — Времени больше, чем надо для того, чтобы до отплытия вашего корабля съездить туда. А у меня из головы не выходит, до чего одиноко должен сейчас чувствовать себя Хэм. И мне кажется, если я отвезу ему ее письмо, а вы, покидая Англию, сможете сказать племяннице, что оно передано, это должно порадовать их обоих. Я ведь торжественно обещал этому дорогому, славному малому как можно лучше выполнить его поручение и непременно хочу это довести до конца. Поездка же для меня ничего не составляет. Нигде не нахожу я себе места, и проехаться будет мне только полезно. Да! сегодня же еду в Ярмут.

Хотя мистер Пиготти, беспокоясь обо мне, и пытался отговорить меня от этой поездки, но я видел, что моя идея и ему улыбается, а это еще больше побуждало меня ехать. По моей просьбе, он сходил в контору дилижансов и взял мне билет на козлах рядом с кучером. В этот же вечер я пустился в путь по той дороге, по которой мне уж столько раз приходилось ездить при самых разнообразных обстоятельствах.

— Не находите ли вы, что небо какое-то особенное? — спросил я кучера на первой остановке. — Я не помню, чтобы когда-либо видывал подобное.

— Мне тоже не случалось, сэр, — отозвался кучер. — Это предвещает сильный ветер. Как бы вскорости море не натворило много бед.

Небо представляло собой мрачный хаос, в страшном беспорядке неслись по нему тучи, местами похожие на черный дым от горящего сырого дерева. Они громоздились причудливыми глыбами, а между ними виднелись бездонные пропасти. Среди всего этого порой

проглядывала, словно перепуганная царящим кругом смятением, луна и, казалось, собиралась стремглав лететь куда-то. Весь день дул ветер; теперь же он усилился и загудел. Прошел какой-нибудь час, и небо стало еще мрачнее, а ветер ревел еще яростнее.

Ночью тучи заволокли все небо, стало совсем темно, и ветер превратился в ураган. Наши лошади едва держались на ногах. Не раз среди тьмы они или поворачивали в сторону, или останавливались, отказываясь итти дальше, и мы не на шутку боялись, что наш дилижанс вот-вот перевернется. По временам бил прямо в лицо дождь, похожий на град, и тогда, не имея больше сил бороться со стихией, мы старались укрыться где-нибудь под деревьями или под стеной.

С рассветом буря еще более разъярилась. Мне случалось бывать в Ярмуте, когда рыбаки говорили, что свирепствует настоящий шторм, но никогда не видел я ничего, сколько-нибудь напоминающего эту бурю. Мы добрались до Ипсвича, конечно, с большим опозданием. На рыночной площади толпился народ: это жители города повскакивали среди ночи со своих постелей, напуганные грохотом обрушивающихся труб. Некоторые из них, бывшие во дворе гостиницы, где мы меняли лошадей, нам рассказывали, что ветром сорвало с крыши колокольни громадные свинцовые листы и они, сброшенные в соседний переулок, совсем загородили его. Рассказывали также, что крестьяне, прибывшие из соседних деревень, видели на дороге вырванные с корнями большие деревья и разметанные по полям скирды хлеба. Буря же не только не унималась, а, напротив, становилась все яростнее и яростнее.

По мере того как мы пробивались к морю, откуда вырывался ураган, он делался еще более свирепым. Задолго до того как мы увидели море, мы уже чувствовали на губах его влагу, и оно осыпало нас солеными брызгами. Вода затопила на несколько миль ярмутскую равнину. Каждая, можно сказать, лужа выступила из берегов и хлестала по колесам нашего дилижанса. Когда перед нами открылось море, то колоссальные валы у горизонта, вздымавшиеся над пучиной, казались громадными домами и башнями на далеких берегах.

Наконец мы достигли Ярмута. Жители, пригнувшись, с растрепанными волосами, выбегали из домов нам навстречу, дивясь, как это нашему дилижансу удалось пробраться в такую ночь.



Я остановился в той же знакомой гостинице и пошел поглядеть на море. С трудом, едва держась на ногах, я пробирался по улице, занесенной песком, морским илом и пеной. Каждую минуту на меня могла свалиться с крыши черепица или плитка графита. На перекрестках, где особенно свирепствовал ветер, приходилось, чтобы удержаться, хвататься за проходящих. Достигнув берега, я убедился, что здесь, не говоря уже о лодочниках, была добрая половина ярмутских жителей. Они прятались за зданиями, выглядывали из-за них, и только некоторые смельчаки отваживались выходить туда, откуда открывался более широкий вид на море; но, не будучи в силах противостоять чудовищным порывам бури, смельчаки эти, согнувшись и проделывая всевозможные зигзаги, сейчас же возвращались назад.

Присоединившись к толпе, я увидел плачущих женщин, мужья которых отправились на ловлю сельдей или устриц и легко могли погибнуть, прежде чем достигнут надежной пристани. Тут же стояли седые, старые моряки; они с озабоченным видом поглядывали то на море, то на небо и о чем-то перешептывались между собой. В большом волнении и тревоге были судовладельцы. Дети жались к старшим и робко заглядывали им в глаза. Даже у здоровенных моряков — и у тех был смущенный и встревоженный вид; они из-за своих прикрытий смотрели на море в подзорную трубу, словно наблюдая за действиями врага.

Ветер, вздымая целые тучи песка и мелких камушков, дул с оглушающим ревом прямо в лицо, и только в промежутках между его порывами можно было разглядеть море. И вот когда наконец мне удалось увидеть то, что там творится, я был поражен. Колоссальные волны, идя стенами, пенясь, разбивались на берегу с такой силой, что казалось, — самая меньшая из них способна поглотить весь город. Словно силясь подкопаться под берег, оставляя на нем глубочайшие ямы, волны эти с глухим ревом уходили назад. Некоторые из этих водяных чудовищ с белыми гребнями разбивались, не достигнув берега, но, будто не утратив от этого силы бешенства, они стремились соединиться с другими волнами, как бы спеша воссоздать новое чудовище. Движущиеся водяные холмы превращались в глубокие долины, над которыми порой проносился буревестник, а из этих движущихся долин снова поднимались холмы. Водяные массы с глухим ревом потрясали взморье, постоянно меняя и место и вид.

Фантастический берег на горизонте вместе со своими домами и башнями то поднимался, то опускался. А по небу неслись зловещие черные тучи. Мне казалось, что на моих глазах совершается какая-то ломка, во всей природе происходит какой-то сдвиг.

Не найдя Хэма на берегу среди толпы, сбегавшейся посмотреть эту памятную бурю (по словам старожилов, такой никогда не бывало на всем побережье), я направился к его дому. Он был заперт. Так как на мой стук никто не отозвался, я прошел задворками и переулками на верфь, где он работал. Там я узнал, что его, как искусного мастера, вызвали в Лоустофт, где срочно нужно было починить какое-то пострадавшее судно. Но при этом мне сказали, что он должен возвратиться на следующий день к началу работы.

Я вернулся в гостиницу, умылся, переоделся и попробовал заснуть, но мне это не удалось. Было уже пять часов пополудни; я спустился в ресторанный зал и сел у камина. Не прошло и пяти минут, как лакей, явившийся сюда как будто для того, чтобы помешать огонь в камине, сообщил мне, что уже два угольщика со всем экипажем пошли ко дну неподалеку от Ярмута, а несколько других кораблей на рейде борются с бурей, стремящейся выбросить их на берег.

— Спаси, господи, их и несчастных матросов, если им придется вынести еще одну ночь, подобную вчерашней! — прибавил лакей.

Я был чрезвычайно подавлен, чувствовал себя очень одиноким и почему-то беспокоился о Хэме гораздо больше, чем было для этого оснований. Пережитое за последнее время повлияло на меня сильнее, чем я думал, а тут еще эта медлительная борьба с бурей утомила и как бы ошеломила меня. В моей голове все спуталось, и я потерял ясное представление о времени и месте. Вероятно, я несколько не удивился бы, если бы, выйдя на улицу, встретил человека, который мог в эту минуту быть только в Лондоне. Словом, на меня нашла какая-то странная рассеянность. Только воспоминания, связанные с Ярмутом, были ясны и живы.

Находясь в таком душевном состоянии и слыша рассказы лакея о погибших и гибнущих судах, я невольно стал еще больше беспокоиться о Хэме. Меня начала мучить мысль, что он, пожалуй, вздумает возвратиться из Лоустофта морем и может погибнуть. Мысль эта до того не давала мне покоя, что я счел нужным еще до обеда сходить на верфь и спросить у судостроителя, считает ли он

вероятным, чтобы Хэм вернулся морем. Я решил, если у судостроителя будет хотя малейшее на этот счет сомнение, немедленно же отправиться в Лоустофт и привезти оттуда с собой Хэма. Наскоро заказав обед, я пошел на верфь и застал судостроителя с фонарем в руке, запиравшего ворота на замок. В ответ на мой вопрос он только расхохотался, а затем сказал, что опасаться совершенно нечего, ибо ни один человек не только в своем уме, но и сумасшедший не пустится в море в подобную бурю, не говоря уже о Хэме Пиготти — прирожденном моряке.

Покраснев за свою глупость, я направился обратно в гостиницу. Если подобная буря могла, усилиться, то мне казалось, что она еще усиливается. Рев и завывание ветра, дребезжание дверей и окон, вой в трубах, сотрясение дома, приютившего меня, грозный шум моря — все это было еще страшнее, чем утром. Спустившийся ночной мрак к действительным ужасам прибавлял еще новые, воображаемые. Я не был в состоянии есть, нигде не находил себе места, ни на чем не мог сосредоточиться. Что-то внутри меня откликалось на свирепствующую за окнами бурю, будило спавшие воспоминания и приводило их в смятение. Но, как ни металась вместе с бушующим морем мои мысли, на переднем плане все время была буря и беспокойство о Хэме.

Я почти не дотронулся до обеда, а, стараясь подбодрить себя, выпил стакан или два вина. Но это не помогло. Сидя у камина, я только погрузился в тяжелую дремоту, не переставая сознавать, где я, не переставая слышать свирепствующую за окнами бурю. Но к этому присоединилось еще что-то новое и ужасное. Когда я проснулся, или, вернее, стряхнул с себя то летаргическое <sup>[26]</sup> состояние, в котором находился, я весь дрожал от какого-то неопределенного, непонятного страха.

Я стал ходить взад и вперед по комнате, пробовал читать старую газету, прислушивался к чудовищному гулу, всматривался в горящий в камине огонь — и видел мелькающие в нем лица, фигуры, сцены... Наконец, не имея больше сил выносить однообразное тиканье безмятежных стенных часов, я решил лечь спать. В эту ночь успокоительным образом подействовало на меня то, что несколько служащих гостиницы сговорились бодрствовать всю ночь.

Пошел я спать чрезвычайно утомленным, в очень подавленном состоянии, но не успел лечь, как усталость и подавленность исчезли, словно по мановению волшебного жезла: спать мне больше не хотелось, а чувства мои как-то особенно обострились. Так пролежал я целые часы, прислушиваясь к завыванию ветра и гулу морских волн. Порой мне чудилось, что я слышу то крики, доносящиеся с моря, то сигнальные выстрелы из пушек, то грохот обрушивающихся домов. Не раз я вставал, подходил к окну, но ничего не видел, кроме отражения горящей свечи и собственного измученного лица, глядевшего на меня из ночной тьмы.

Наконец мое нервное состояние дошло до того, что я вскочил, оделся и сошел вниз. В просторной кухне, где в полутьме я заметил висевшие на потолочных балках окорока и связки лука, сидели в различных позах вокруг стола, нарочно придвинутого от печи к двери, служащие, решившие бодрствовать до утра. Хорошенькая девушка, закрывшая себе уши передником, увидев меня в дверях, вскрикнула, вероятно приняв меня за привидение. Но остальные обнаружили большее присутствие духа и были очень рады, что общество их увеличилось лишним человеком. Один из мужчин, видимо продолжая начатый разговор, спросил меня, какого я мнения относительно местопребывания душ только что погибшей команды потонувших судов: успокоились ли они в новой жизни, или продолжают все еще носиться над бушующим морем?

Пробыл я в кухне, по всей вероятности, часа два. Один раз я решился было открыть дверь и выглянул на пустынную улицу. По ней попрежнему несло песок, водоросли и брызги. Я не смог потом сам закрыть дверь и должен был прибегнуть к посторонней помощи.

Когда я вернулся в свою комнату, она показалась мне мрачной и пустынной, но я был так утомлен, что не успел лечь в постель, как погрузился в глубочайший сон, словно полетел с высокой башни в пропасть. Помнится, что сначала, хотя мне и снились совсем другие места и сцены, но все же до меня доносилась буря. Вскоре, однако, и эта связь с действительностью исчезла, и я с какими-то двумя друзьями осаждал какой-то город под грохот пушечной канонады...

Грохот этих пушек был так оплушитель и непрерывен, что я не мог расслышать чего-то, что мне очень хотелось слышать. Наконец я сделал над собою усилие и проснулся. На дворе был день — восемь

или девять часов. Вместо пальбы пушек неистовствовала буря, и кто-то, стуча в дверь, звал меня по имени.

— Что случилось? — крикнул я.

— Кораблекрушение, сэ, и совсем близко от берега!

Я сейчас же вскочил и начал расспрашивать о подробностях.

— Погибает испанская или португальская шхуна, груженная фруктами и вином... Спешите, сэ, если хотите еще увидеть. Там, на берегу, считают, что каждую минуту она может пойти ко дну!

Взволнованный голос продолжал на лестнице кричать о погибающей шхуне. Я наспех оделся и выскочил на улицу. Целая толпа неслась передо мной, все в одном направлении к берегу. Я побежал с ней и, обогнав многих, вскоре увидел перед собой разъяренное море.

Ветер за ночь как будто немного стих, но это было так же заметно, как если бы в той пальбе, которую я слышал во сне, убавилось полдюжины из сотен выстрелов. Зато море, бушевавшее вею ночь, было гораздо ужаснее, чем накануне. Казалось, оно все вздулось. Страшно было видеть, как шли эти бесконечные буруны, вздымаясь один над другим на огромную высоту, и, обгоняя друг друга, с чудовищным, оглушительным шумом разбивались о берег...

Сначала я до того был ошеломлен завыванием бури, ревом волн, невыразимым смятением толпы, такие должен был делать усилия, чтобы самому удержаться на ногах при этом вихре, что ничего не видел, кроме пенистых гребней гигантских волн. Полуодетый лодочник, стоявший рядом со мной, указал мне обнаженной рукой (на ней была вытатуирована стрела, острием вперед) влево, и тогда — о, боже! — я видел эту шхуну почти у самого берега. Одна из ее мачт, переломившись в шести-восьми футах от палубы, свалилась за борт, опутанная парусами и снастями. Под влиянием непрекращающейся отчаянной качки эти обломки с невероятной силой ударяли по шхуне, как бы стремясь обратить ее в щепы. На шхуне пытались избавиться от этих опасных обломков: когда волны повернули ее к нам боком, я ясно увидел людей, работавших над ними с топорами в руках. И среди этих людей особенно выделялся своей энергией один, с длинными кудрявыми волосами. Вдруг с берега раздался громкий крик, которого не мог заглушить ни рев ветра, ни шум моря: огромная волна

прокатилась по шхуне и смыла с ее палубы в кипящую водяную бездну, словно игрушки, людей, доски, ящики, бочонки...

Вторая мачта еще держалась. На ней висели обрывки парусов и перепутанных снастей; ветер с силой трепал их во все стороны. По словам моего соседа-рыбака, шептавшего мне на ухо хриплым голосом, шхуна эта уже раз садилась на мель, снялась было с нее и теперь снова села. По его мнению, она должна была треснуть посередине, и даже для меня это было ясно, ибо злосчастную шхуну трепало и било с такой чудовищной силой, против которой не могло долго устоять ни одно произведение рук человеческих. Рыбак еще продолжал шептать мне на ухо, когда с берега раздался новый крик сострадания: снова гигантская волна покрыла шхуну. Из-под волн вместе со шхуной вынырнуло только четыре человека, уцепившихся за снасти уцелевшей мачты. Среди них выше всех виднелась энергичная фигура кудрявого человека.

На шхуне висел колокол, и, так как ее качало и бросало, словно какое-нибудь живое беснующееся существо, колокол не переставал звонить. Ветер приносил нам этот точно похоронный звон по несчастным, цеплявшимся еще за жизнь людям. Волны снова хлынули на шхуну, и, когда она показалась из воды, у мачты ее было уже всего два человека. Отчаяние среди толпы на берегу все росло: мужчины со стоном ломали себе руки, женщины плакали и кричали, отворачиваясь от страшной картины. Некоторые, как безумные, бегали взад и вперед по берегу, моля спасти несчастных, для которых, увы, уже не было спасения. Я был в числе этих бегущих; вне себя, я молил знакомых рыбаков не дать погибнуть на наших глазах этим двум, еще уцелевшим.

Рыбаки, сами взволнованные, стали разъяснять мне (уж не знаю, как это им удалось), что час тому назад отважными моряками была спущена на воду спасательная лодка, но они были бессильны что-либо сделать. А так как не может найтись такого безумного смельчака, который, обвязав вокруг себя канат, пытался бы достигнуть шхуны вплавь, то спасение этих несчастных надо считать делом безнадежным.

Тут я заметил, что в толпе происходит какое-то движение, что-то новое привлекло ее внимание. Толпа расступилась, и показался Хэм. Я бросился к нему, помнится, с намерением молить его спасти

погибающих. Но как ни был я взволнован происходящим на моих глазах, а когда прочел на лице Хэма непоколебимую решимость, когда увидел его взгляд, устремленный в морскую даль, — тот самый загадочный взгляд, который подметил тогда, в первое утро после бегства Эмилии, — я понял, какая опасность грозит ему. И я ухватился за него обеими руками и стал молить рыбаков, с которыми только что говорил, не слушать Хэма, не принимать участия в его самоубийстве, не дать ему двинуться с места.

В это время на берегу опять раздались крики. Бросив взгляд на погибающую шхуну, мы увидели, как жестокий парус хлестал раз за разом несчастного, цеплявшегося за нижнюю часть вантов, и хлестал его до тех пор, пока наконец не сбросил в пучину. Затем, снова торжествуя победу, парус взвился вверх и стал кружиться вокруг уцелевшего энергичного человека, одиноко стоявшего у мачты.

Я почувствовал, что в такой момент, при такой решимости спокойного, охваченного отчаянием Хэма, которому, к тому же, привыкла повиноваться добрая половина присутствующих, мои мольбы были так же бессильны, как если бы я с ними обратился к ветру.

— Мистер Дэви, — сказал Хэм с добрым, веселым видом, схватив мои обе руки, — если мне сейчас суждено умереть, а если нет — буду ждать своего конца. Всевышний да благословит вас, да благословит он всех! Товарищи, готовьте все, что нужно, — я иду...

Меня легонько оттеснили от Хэма, и народ вокруг не пускал к нему. Я смутно понял, что меня старались убедить в том, что раз уж Хэм решил отправиться на помощь погибающему, то если бы даже никто из присутствующих не захотел оказать ему в этом содействия, и тогда он пошел бы, а своим вмешательством я только могу взволновать тех, кто принимает меры к сохранению его жизни. Не знаю уж, что я отвечал и что мне возражали, но я видел, как народ суетится на берегу, как кто-то тащит канат, предварительно прикрепив его к кабестану<sup>[27]</sup>. Но вот столпилось столько людей, что они совсем закрыли от меня Хэма, Еще минута — и я вижу его одного, о матросском костюме, с канатом в руках; другой канат обвязан у него вокруг пояса. Несколько самых сильных моряков держатся на малом расстоянии друг от друга за этот канат, большая часть которого, свернутая бухтой, лежит у ног Хэма.

Даже для меня, неопытного, не было никакого сомнения в том, что шхуне вот-вот грозит гибель. Я видел, что она каждую минуту готова развалиться надвое и жизнь одинокого человека на мачте висит на волоске. Но он все еще держался. На нем была какая-то особенная шапочка, не похожая на матросскую, более красивого красного цвета. И, в то время как последние доски, отделявшие его от гибели, трещали и гнулись, а у ног его раздавался погребальный звон колокола, он махал этой красной шапочкой. Когда я увидел, как он машет ею, я чуть не помешался: это напомнило мне когда-то горячо любимого друга.

Хэм стоит один на берегу; за ним, притаив дыхание, — безмолвная толпа, перед ним, — бушующее море. Он наблюдает за морем, ожидая удобного момента. Когда особенно большая волна отхлынула назад, Хэм, кинув взгляд на моряков, державших канат, бросается за волной; еще момент — и он уже борется с водяной стихией. Он то взлетает на гребни колоссальных волн, то опускается в глубокие лоцины между ними, порой совсем исчезая в пене. Но, несмотря на все геройские усилия Хэма, его все-таки отбрасывает к берегу. Смелычака поспешно вытаскивают из воды.

Он ранен. С того места, где я стою, мне видна кровь на его лице, но сам он не обращает на это ни малейшего внимания. Хэм торопливо делает указания, чтобы длиннее отпустили канат, — я это заключаю по движению его руки, — и снова бросается за отхлынувшей волной. Снова устремляется он к погибающей шхуне, снова то взлетает на гребни волн, то опускается с ними, исчезая в пене; валы то отбрасывают его к берегу, то несут к шхуне, а он все борется и борется с необыкновенной силой и мужеством. Расстояние само по себе ничтожно, но грозная сила ветра и волн делает эту борьбу смертельной. Наконец Хэму удастся приблизиться к шхуне; еще одни взмах его мощных рук — и он бы уцепился за нее, но в этот миг из-за шхуны надвигается, словно гора, чудовищный зеленый вал, и Хэм могучим прыжком взлетает на него. Вал перекатывается через шхуну, и... она исчезает.

Бросившись к месту, где вытягивали канат, я увидел и волнах несколько обломков, словно от разбитой бочки. Ужас был написан на всех лицах.



Хэма вытащили к самым моим ногам бесчувственного, мертвого. Его перенесли в ближайший дом. Теперь уж никто не препятствовал мне быть подле него, и я принимал самое деятельное участие в попытках вернуть его к жизни. Но гигантская волна убила Хэма наповал, и его благородное сердце успокоилось навсегда...

Когда все средства вернуть Хэма к жизни оказались тщетными, я сел подле кровати, на которую его положили. Вдруг я услышал, что меня шопотом зовут. То был рыбак, знавший меня много лет, еще в те времена, когда мы с Эмилией были детьми.

Слезы струились по его обветренному бледному лицу, белые губы дрожали.

— Сэр, — прошептал он, — можете ли вы выйти на минутку?

В его взгляде я прочел что-то, снова пробудившее во мне воспоминание о прежнем друге. В ужасе, едва держась на ногах и опираясь на руку рыбака, я пробормотал:

— Что? Выбросило еще тело?

— Да, — тихо ответил рыбак.

— Это кто-нибудь, кого я знаю? — спросил я.

Он ничего на это не сказал, но молча повел меня на берег, и здесь, где когда-то мы с Эмилией детьми собирали ракушки, а теперь обломки разбитой этой ночью старой баржи, обитателям которой Стирфорт причинил столько зла, — лежал он, заложив руку под голову так, как часто я видел его лежащим в дортуаре Салемской школы...

## *Глава XXVII*

### *НОВАЯ И СТАРЫЕ РАНЫ*

Вам не было надобности, Стирфорт, говорить мне при нашем последнем свидании (как далек я был от мысли тогда, что оно — последнее!): «Вспоминайте меня только с лучшей стороны». Я всегда так и вспоминал вас, и мог ли я теперь сделать иначе, видя то, что было пред моими глазами?

Принесли носилки, уложили его на них, покрыли флагом и понесли в город. Все люди, несшие его, знали его, ходили с ним под парусами в море и видели его веселым и смелым. Подойдя к коттеджу, где лежал мертвый Хэм, они остановились на пороге и стали шептаться. Я понял, что они не находят возможным положить оба трупа в одном и том же помещении. Мы двинулись дальше в город и сложили ношу в гостинице. Несколько придя в себя, я послал за Джорамом и просил его добыть катафалк, чтобы этой же ночью отвезти Стирфорта в Лондон. Я знал, что забота об этом и тяжкая обязанность подготовить мать к ужасной встрече может лечь только на меня. И мне очень хотелось как можно лучше выполнить свой долг.

Я выбрал для путешествия ночное время, чтобы своим отъездом возбудить меньше любопытства. Но хотя, когда я выехал, сопровождаемый катафалком, и было уже около полуночи, тем не менее нас ожидало немало народу и перед гостиницей, и дальше по улицам, и даже за городом. Но в конце концов я остался один среди черной ночи и широких полей у пепла моей юной дружбы.

Прекрасным осенним днем, около полудня, когда почва была пропитана ароматом опавших листьев, а солнце светило сквозь еще уцелевшую желто-красно-коричневую листву деревьев, я прибыл в Хайгейт. Последнюю милю я шел пешком, обдумывая, как мне следует поступить. Катафалк, следовавший за мной всю ночь, я оставил на дороге впредь до моего распоряжения.

Дом Стирфортов, когда я подошел к нему, выглядел все так же. Ставни были закрыты. Ни признака жизни на мрачном мощеном дворе с его крытой галереей. Ветер почти стих, и все было неподвижно.

Я не сразу решился позвонить у калитки, а когда наконец позвонил, самый звук колокольчика, показалось мне, говорил о цели моего прихода. Вышла маленькая служанка с ключом в руке. Отпирая калитку, она посмотрела на меня с серьезным видом и сказала:

— Прошу прощенья, сэр! Вы, верно, нездоровы?

— Я много пережил и устал.

— В чем дело, сэр? Мистер Джемс?..

— Тсс... — сказал я. — Да, случилось нечто, о чем я должен сообщить миссис Стирфорт. Дома ли она?

Девушка озабоченно ответила, что ее госпожа теперь очень редко выходит из дому, не покидает своей комнаты, никого не принимает, но меня примет. Сейчас она наверху я мисс Дартль с нею. Что ей передать?

Наскоро приказав ей быть осторожной, передать только мою карточку и сказать, что я ожидаю внизу, я присел в гостиной. Комната эта утратила свой прежний веселый вид. Ставни были наполовину прикрыты. А к арфе, видимо, давно не прикасались. Детский портрет Джемса висел на стене. Здесь же стоял письменный столик, в котором мать хранила его письма. Я подумал, перечитывает ли она их теперь и станет ли перечитывать в будущем?

В доме было так тихо, что я слышал легкие шаги девушки, поднимавшейся по лестнице. Вернувшись, она сообщила мне, что миссис Стирфорт нездорова и не может сойти вниз, но, если я поднимусь в ее комнату, она будет рада видеть меня. Через несколько мгновений я стоял уже перед ней.

Она была в комнате сына, а не в своей. Я понимал, конечно, что миссис Стирфорт заняла эту комнату потому, что она напоминала ей о сыне; даже все его вещи она оставила на прежних местах. Однако, здороваясь со мной, она тихо заметила, что ушла из своей комнаты потому, что та была неудобна во время ее нездоровья, и вид при этом у нее был величественный, не допускающий никаких сомнений в истине ее слов.

Роза Дартль, как всегда, находилась у ее кресла. Едва темные глаза Розы остановились на мне, как я понял, что она ждет от меня дурных вестей. Сразу же проступил шрам на ее губе. Она на шаг отодвинулась за кресло, чтобы спрятать свое лицо от миссис Стирфорт, и не сводила с меня своих пронзительных глаз.

— Мне очень грустно видеть вас в трауре, сэр, — начала миссис Стирфорт.

— К несчастью, я овдовел.

— Слишком молоды вы для такой утраты, — заметила она, — я огорчена, слыша это. Надеюсь, время принесет вам облегчение.

— Хочу надеяться, — проговорил я, глядя на нее, — что время принесет облегчение всем нам. Дорогая миссис Стирфорт, все мы должны верить этому, даже в самом тяжком несчастье.

Мой серьезный вид и слезы на моих глазах возбудили в ней тревогу. Я попытался придать твердость моему голосу, произнося имя Джемса, но он все-таки у меня дрогнул. Два или три раза она тихо повторила это имя про себя, затем, обращаясь ко мне, сказала с деланным спокойствием:

— Сын мой болен?

— Очень болен.

— Вы видели его?

— Видел.

— Вы помирились?

Я не мог сказать ни да, ни нет. Она слегка повернула голову в сторону Розы Дартль, и в этот момент я одними губами сказал Розе: «Умер!»

Я перехватил взгляд миссис Стирфорт, чтобы не дать ей возможности оглянуться назад и, еще не подготовленной, узнать истину по отчаянью Розы Дартль, в ужасе закрывшей лицо руками.

Красавица-леди (о, как была она похожа на своего сына!) смотрела на меня в упор, приложив руку ко лбу. Я умолял ее быть спокойной и приготовиться к тому, что я должен ей сказать, но лучше было бы мне молить ее плакать, ибо она сидела, как каменная статуя.

— Когда я был здесь в последний раз, — начал я заикаясь, — мисс Дартль сказала мне, что Джемс увлекается плаванием на яхте. Предпоследнюю ночь на море свирепствовала страшная буря. Если в эту ночь он был на море и, как говорят, у опасного берега, и если тот корабль, который видели, был действительно кораблем, где...

— Роза! — позвала миссис Стирфорт. — Подойдите ко мне!

Та неохотно подошла, не проявляя никакой симпатии. Ее глаза горели огнем, и, став перед матерью Джемса, она разразилась страшным смехом.

— Ну, теперь ваша гордость удовлетворена, сумасшедшая женщина? Да?! — крикнула Роза. — Теперь, когда он заплатил за свою вину пред вами жизнью! Слышите вы — своей жизнью!

Миссис Стирфорт в оцепенении упала на спинку кресла, застонала и широко открытыми глазами уставилась в лицо Розы Дартль.

— Да! — кричала Роза, страстно колотя себя в грудь. — Смотрите на меня! Со стонами и рыданиями смотрите на меня! Смотрите сюда, — показала она на шрам, — на дело рук нашего умершего сына!

Стоны, время от времени вырывавшиеся из-за стиснутых зубов матери, хватали меня за сердце. Они были такие истинные, сдавленные и сопровождались каким-то судорожным движением головы. Лицо же как будто застыло в своем отчаянии.

— Вы помните, когда он это сделал? — продолжала Роза. — Помните вы, как, унаследовав ваш характер (а вы еще так потакали его гордости), он сделал это, обезобразив меня на всю жизнь? Смотрите на меня, отмеченную его злобой, и мучайтесь тем, что вы из него сделали!..

— Мисс Дартль! — умолял я ее. — Ради Бога!..

— Буду говорить! Молчите вы!.. — крикнула она, сверкнув в мою сторону глазами. — Смотрите на меня, надменная мать вероломного и надменного сына! Оплакивайте то, что вы вскормили его, то, что вы испортили его, оплакивайте, что потеряли его! Оплакивайте меня!

Она судорожно сжимала руки и так дрожала всем своим худым, иссохшим телом, что казалось — страсть вот-вот убьет ее.

— Вы не могли простить ему его упрямство! — кричала она. — Вас оскорблял его надменный характер! Вы, с вашими седыми волосами, восставали против этих двух его черт, которыми сами же наградили его при рождении! Вы от колыбели делали его таким, каким он был, и не давали ему стать тем, чем он мог бы быть. Что же, теперь не вознаграждены вы за свои труды?..

— Постыдитесь, мисс Дартль! Какая жестокость! — крикнул я.

— Нет! Буду говорить! Никакая сила не остановит меня! Я молчала все эти годы. Что же, молчать мне и теперь? Я любила его сильнее, чем когда-либо любили его вы! — она гордо повернулась к его матери. — Если бы я была его женой, я рабски исполняла бы все его капризы за одно слово любви в год. Вы были требовательны,

горды, мелочны и эгоистичны. Моя любовь была бы преданной и вознаградила бы его за все, что он терпел от вас. Когда он был моложе и чище, он тоже любил меня. И, в то время, как он был груб с вами, меня он прижимал к своей груди. Но он унизил меня, он превратил меня в игрушку, в куклу, которую берут или бросают по настроению минуты... Когда мы разошлись с ним, вы не были огорчены. С того дня я стала для вас обоих чем-то вроде поломанной мебели. Вы забывали, что у меня есть глаза, уши, чувства, воспоминания... Вы стонете? Плачьте то, что вы из него сделали, а не свою любовь! Я говорю вам: было время, когда я любила его сильнее, чем вы когда-либо любили его!

Она уставилась своими пылающими злобой глазами в застывшее, с остановившимся взором лицо несчастной матери, и, когда у той снова вырвался стон, глаза ее несколько не смягчились, словно перед ними было не лицо, а портрет.

— Мисс Дартль, — заговорил я, — если вы можете быть до того жестокой и не жалеть этой несчастной матери...

— А кто жалеет меня? — резко отозвалась она. — Мать сама посеяла это и пусть стонет теперь над тем, что сегодня жнет!

— А если его недостатки... — начал я.

— Его недостатки! — крикнула Роза, заливаясь горячими слезами. — Кто смеет клеветать на него? По своим душевным качествам он был в миллион раз выше тех, кого удостаивал своей дружбой.

— Никто не мог любить его больше моего, никто не может сохранить о нем более дорогого воспоминания, чем я, — ответил я, — но я хотел сказать, что если вы не чувствуете сострадания к его матери или если его недостатки... ведь вы сами же с большой горечью отзываетесь о них...

— Это ложь! — крикнула она, начиная рвать свои черные волосы.

— Если его недостатки вы не можете забыть, — продолжал я, — то взгляните на эту несчастную так, словно вы никогда раньше не видели ее, и окажите ей помощь.

Все это время миссис Стирфорт находилась в том же состоянии — неподвижная, застывшая, с устремленным в одну точку взором. Так

же время от времени у нее вырывался вздох и беспомощно дергалась голова. Иных признаков жизни она не подавала.

Вдруг мисс Дартль опустилась перед нею на колени и стала ей расстегивать платье.

— Будьте вы прокляты! — крикнула она, оглянувшись на меня со смешанным выражением ярости и горя. — Будьте прокляты! Уходите!

Я вышел, но тотчас же вернулся, чтобы позвонить слугам. Роза, держа в объятиях бесчувственную миссис Стирфорт, плакала над ней, целовала ее, звала ее, прижимала к груди, точно ребенка, всячески стараясь привести ее в себя. Не боясь больше оставить ее с миссис Стирфорт, я бесшумно вышел и, уходя из дома, поднял слуг на ноги.

Позже я вернулся, и мы уложили тело Джемса в комнате его матери. Мне сказали, что миссис Стирфорт все в том же состоянии; мисс Дартль ни на минуту не покидает ее. Доктора перепробовали много средств, но напрасно: несчастная мать лежит, как статуя, и лишь время от времени слабо стонет.

Я обошел мрачный дом и закрыл оконные ставни. Последними закрыл я ставни комнаты, в которой лежал Джемс. Я прижал к сердцу его ледяную руку, и весь мир казался мне погруженным в мертвое молчание, прерываемое лишь стонами его матери...

## *Глава XXVII*

### *ЭМИГРАНТЫ*

Мне предстояло сделать еще одну вещь, прежде чем отдаться своим переживаниям. Нужно было скрыть случившееся от уезжающих и отправить их в путешествие в счастливом неведении, Нельзя было терять ни минуты.

Этим же вечером я отвел мистера Микобера в сторону и поручил ему позаботиться, чтобы мистер Пиготти не узнал о происшедшей катастрофе. Он горячо взялся за это и тут же решил перехватывать все газеты, из которых старик мог бы узнать о случившемся.

— Если что-либо дойдет до него, сэр, — заявил мистер Микобер, ударяя себя в грудь, — то не иначе, как пройдя предварительно через это тело.

Тут я должен заметить, что мистер Микобер, применяясь к своему новому общественному положению, приобрел вид отважного охотника на диких зверей, вид боевой, готовый отразить всякое нападение. Его можно было принять за сына пустыни, давно привыкшего к жизни вдали от цивилизации и готовящегося вернуться в свои дебри. Он обзавелся среди прочих вещей клеенчатой одеждой и просмоленной соломенной шляпой с очень низкой тульей. В этой грубой одежде, с простой подзорной трубой подмышкой, поглядывая на небо, словно определяя погоду, он больше походил на моряка, чем сам мистер Пиготти. Вся его семья была, если можно так выразиться, готова к бою. Миссис Микобер я застал в самой скромной, закрытой шляпке, завязанной под подбородком, и шали, превратившей ее в настоящий пакет с большим узлом на спине. Одежда мисс Микобер была также приспособлена для бурной погоды. Мистер Микобер младший утопал в шерстяной фуфайке и самом лохматом из когда-либо мною виденных матросских костюмов. А дети, словно мясные консервы, были упакованы в непроницаемые крышки. И мистер Микобер и его старший сын ходили с засученными рукавами, точно готовые каждую минуту итти на помощь куда угодно и по первому призыву с матросской песней броситься вверх на палубу поднимать паруса.



В таком виде мы с Тредльсом нашли их поздним вечером на пристани, наблюдающими за отплытием лодки с частью их багажа. Я по приезде сообщил Трэдльсу об ужасном происшествии; оно сильно поразило его, и теперь мой друг пришел, чтобы помочь мне сохранить все в секрете от мистера Пиготти и его племянницы. Здесь же я отвел в сторону мистера Микобера и заручился его обещанием помогать мне.

Семейство Микоберов помещалось у этой самой пристани, в небольшом грязном, полуразрушенном постоялом дворе, где некоторые комнаты свисали над рекой. Так как наши эмигранты привлекали к себе внимание любопытных соседей, то мы были рады скрыться в их комнате. Бабушка и Агнесса были уже здесь и усердно шили что-то детям в дорогу. Моя Пиготти, со своим старым рабочим ящиком, сантиметром и неизменным куском восковой свечи, не торопясь помогала им.

Нелегко было отвечать на вопросы моей старой няни, но еще труднее было прошептать мистеру Пиготти, что письмо передано и что все обстоит благополучно. Тем не менее я удачно проделал и то и другое и порадовал обоих. Если я тут и проявил некоторое волнение, то это легко можно было приписать моему собственному горю.

— Когда же отплывает корабль, мистер Микобер? — спросила бабушка.

Мистер Микобер, считая необходимым постепенно подготовить мою бабушку или, быть может, собственную жену, ответил:

— Скорее, чем я вчера ожидал.

— Вам, верно, сообщили об этом с корабля? — поинтересовалась бабушка.

— Да, — ответил он.

— Ну, хорошо, и он отплывает...

— Мэм, мне сообщили, что мы должны быть на корабле завтра, к семи часам утра.

— О! это что-то очень уж скоро, — сказала бабушка. — Так, значит, это факт, что корабль уже уходит в море, мистер Пиготти?

— Да, мэм! Корабль спустится утром по реке. Если мистер Дэви и моя сестра приедут завтра после полудня в Грэвсенд, то они смогут еще попрощаться с нами на корабле.

— Так мы и сделаем, — заявил я, — будьте уверены!

— До тех пор и пока мы не выйдем в море, — заявил мистер Микобер, бросая на меня многозначительный взгляд, — мы с мистером Пиготти будем вместе непрерывно сторожить наши вещи... Эмма, душа моя, — обратился он к жене, — мой друг Трэдльс сейчас шопотом испросил у меня разрешение заказать все нужное для приготовления напитка, особенно связанного в нашем представлении с ростбифом старой Англии. В обычных условиях я не решился бы просить мисс Тротвуд и мисс Уикфильд выпить с нами, но...

— Скажу за себя, мистер Микобер, — отозвалась бабушка, — я с величайшим удовольствием выпью за ваше счастье и успехи.

— И я, — улыбаясь, промолвила Агнесса.

Мистер Микобер немедленно спустился в буфет, где, повидимому, чувствовал себя как дома, и через некоторое время вернулся с дымящимся кувшином.

Не мог я не заметить, что он, как заправский поселенец, снимал с лимонов корку своим складным ножом в добрый фут и демонстративно вытирал его о рукав сюртука. Я обратил внимание так же на то, что и миссис Микобер и двое старших детей были вооружены таким же грозным оружием, в то время, как у младших детей болталось через плечо на крепком шнурке по деревянной ложке. Точно так же, очевидно в предвидении жизни на корабле, а затем в джунглях Австралии, мистер Микобер налил пунш своей жене и старшим детям не в стаканы, в изобилии имевшиеся здесь же в комнате, а в противные жестяные кружки, и сам все время пил из полулитрового жестяного котелка, который он с величайшим удовольствием в конце вечера спрятал в карман.

— Мы порываем с роскошью старой родины, — с живейшим удовлетворением произнес мистер Микобер. — Жители лесов не могут, конечно, ожидать встретить там утонченные удобства страны изобилия.

Тут в комнату вошел мальчик и доложил, что мистера Микобера ждут внизу.

— Я предчувствую, — сказала миссис Микобер, опуская свою жестяную кружку, — что это кто-нибудь из моей родни.

— Если это так, моя дорогая, — заметил мистер Микобер, по обыкновению вспыхнув при упоминании о родичах супруги, — то кто бы это ни был, мужчина или женщина, но этот представитель вашего

рода, так долго заставивший нас ждать себя, пожалуй, может теперь подождать и меня.

— Микобер, — тихо сказала ему супруга, — в такое время, как сейчас... Если мои родственники поняли наконец, что они потеряли в прошлом благодаря своему поведению, и хотят теперь протянуть нам руку дружбы, не следует отталкивать ее.

— Да будет так, моя дорогая!

— Если не ради них самих, то ради меня, Микобер.

— Эмма! — ответил он. — Против такой постановки вопроса в такой момент возражать невозможно. Но даже и теперь я не могу обещать, что брошусь на шею вашему родичу; тем не менее, поверьте, представитель вашего рода, ожидающий сейчас внизу, в ответ на свой родственный пыл не встретит с моей стороны холодного приема.

Мистер Микобер вышел и некоторое время отсутствовал. Наконец вновь появился тот же мальчик и подал мне написанную карандашом записку, из которой я узнал, что мистер Микобер, вновь арестованный за неоплату еще одного векселя Гиппа, пребывает в полном отчаянии и просит передать с подателем сего его нож и жестяной котелок, могущие пригодиться ему в тюрьме в немногие, еще оставшиеся ему дни жизни. Кроме того, мистер Микобер просил в виде последнего проявления дружбы препроводить его семейство в приходский работный дом, а затем забыть, что он вообще когда-либо существовал.

Конечно, я ответил на эту записку тем, что спустился с мальчиком вниз, чтобы уплатить по векселю. Мистер Микобер сидел в углу, мрачно глядя на полицейского чиновника, взявшего его в плен. Будучи освобожден, он с величайшим жаром обнял меня и тотчас же вписал в свою записную книжку новый долг, с точностью до полупенни.

По возвращении наверх мистер Микобер, объяснив свое отсутствие не зависящими от него обстоятельствами, вытащил из кармана заготовленный лист с подробным перечнем всех его долгов моей бабушке, на общую сумму в сорок один фунт десять шиллингов и одиннадцать с половиной пенсов, торжественно подписал его и вручил, рассыпаясь в благодарностях мистеру Трэдльсу.

— Я все же предчувствую, — промолвила миссис Микобер, задумчиво покачивая головой, — что мои родственники явятся на корабль перед самым нашим отплытием.

У мистера Микобера было, видимо, свое предчувствие по этому поводу, но он промолчал.

— Миссис Микобер, — обратилась к ней бабушка, — если у вас в дороге будет случай переслать письма на родину, вы непременно должны дать нам знать о себе.

— Дорогая мисс Тротвуд, — ответила та, — я буду очень счастлива при мысли, что кто-то ждет от нас вестей. Не премину писать вам. Мистер Копперфильд как старый друг также, наверно, не будет ничего иметь против получения время от времени сведений от особы, которая знала его в те времена, когда близнецы наши были еще несмышленишками.

Я заявил, что надеюсь слышать о них каждый раз, как только она будет иметь случай написать мне.

— Таких случаев будет, надеюсь, немало, — заметил мистер Микобер. — Океан в эту пору кишит судами, и мы, наверно, встретим их множество. А переход наш пустычный, — прибавил он, играя своим лорнетом, — пустычный переход! Дальность эта мнимая.

Теперь мне кажется таким странным и в то же время так похожим на мистера Микобера — говорить о переезде из Англии в Австралию, словно о маленькой прогулке через Ламанш, а отправляясь из Лондона в Кентербери, держать себя так, будто он уезжает на край света.

— Во время путешествия я буду рассказывать длинные истории, — продолжал мистер Микобер, — и я уверен, что никто не будет иметь ничего против того, чтобы, сидя у корабельного очага, послушать пенье моего сына Вилькинса, а миссис Микобер, когда приобретет «морские ноги» (надеюсь, в этом выражении нет ничего непристойного), также будет петь своего «Маленького Тафлина». С носа нашего корабля часто видно будет, как играют дельфины, а со штирборта<sup>[28]</sup> и бакборта<sup>[29]</sup> можно будет насмотреться на множество интереснейших вещей. Одним словом, — закончил мистер Микобер со своим былым барским видом, все и наверху и внизу у нас будет, вероятно, так восхитительно, что когда наблюдатель, поставленный у грота<sup>[30]</sup>, крикнет «Земля!», мы будем чрезвычайно удивлены.

Тут он с восторгом вынул содержимое своего жестяного котелка, словно он уже закончил путешествие и выдержал блестяще экзамен у

самых компетентных знатоков морского дела.

— На что я главным образом надеюсь, дорогой мистер Копперфильд, — заговорила миссис Микобер, — так это на то, что когда-нибудь мы сможем жить на старой родине в каких-нибудь отпрысках нашего рода. Не хмурьтесь, Микобер: я сейчас говорю не о своих родственниках, а о детях наших детей. И как бы ни был могуч новый представитель нашей семьи, я не могу забыть о родовом древе. И вот, когда наше потомство достигнет высокого положения и богатства, я, откровенно говоря, хотела бы, чтобы это богатство полилось в сокровищницы Британии.

— Дорогая, — проговорил мистер Микобер, — пусть Британия живет, как ей будет житься. Я вынужден сказать, что она не много сделала для меня, и у меня нет особого желания заботиться о ней.

— Микобер, здесь вы неправы, — возразила миссис Микобер. — Уезжая в далекие края, вы не ослабляете, а усиливаете связь между собой и Альбионом<sup>[31]</sup>.

— Эта связь, душа моя, — заметил мистер Микобер, — не наложила на меня, повторяю, таких обязательств, чтобы я уклонялся от новых связей.

— Микобер, скажу опять, — настаивала миссис Микобер, — что вы неправы. Вы не знаете своих сил, а они даже при вашем переселении усилят, а не ослабят связь между вами и Альбионом.

Мистер Микобер сидел в своем кресле, приподняв брови, не зная, принять ему или отказаться от предлагаемых ему его женой лестных перспектив.

— Дорогой мистер Копперфильд! — обратилась ко мне миссис Микобер. — Я хочу, чтобы мистер Микобер понял свое положение. Мне представляется чрезвычайно важным, чтобы мистер Микобер, уже с момента посадки на корабль понимал свое положение. Мы давно знакомы с вами, дорогой мистер Копперфильд, и вам хорошо известно, что я не обладаю темпераментом мистера Микобера. У меня, если я могу так выразиться, чрезвычайно практические наклонности. Я знаю, что нам предстоит длительное путешествие, знаю, что оно принесет нам много лишений и неудобств. На эти факты я не могу закрыть глаза. Но я знаю и то, что представляет собою мистер Микобер. Я знаю скрытые его силы. И поэтому я

считаю жизненно важным, чтобы мистер Микобер понял свое положение!

— Душа моя, — заметил тот, — быть может, вы позволите мне указать вам, что вряд ли я могу в настоящий момент понять свое положение.

— Я думаю, Микобер, что это не так, по крайней мере не совсем так, — возразила она. — Дорогой мистер Копперфильд! Положение мистера Микобера необычно. Мистер Микобер отправляется в далекие края специально для того, чтобы впервые быть вполне понятым и оцененным. Я хочу, чтобы мистер Микобер, став на носу корабля, решительно заявил: «Я иду на завоевание этой страны! Есть у вас почести? Есть у вас богатства? Есть у вас доходные места? Подайте их мне! Они мои!»

Мистер Микобер, глядя на нас, видимо, думал, что в словах его супруги было немало хорошего.

— Я хочу, чтобы мистер Микобер, — продолжала она, — был Цезарем своей собственной судьбы! Хочу, дорогой мой мистер Копперфильд, чтобы с первого же момента этого путешествия мистер Микобер, став на носу корабля, воскликнул: «Довольно проволочек! Довольно обманутых надежд! Довольно скудных средств! То было на старой родине, а здесь — новая, которая должна вознаградить меня. Подайте же мне все!»

Тут мистер Микобер с решительным видом сложил руки на груди, словно он уже стоял на носу корабля...

— А если так, — сказала миссис Микобер, — если мистер Микобер поймет свою миссию, то не права ли я, что он усилит, а не ослабит, свою связь с Британией? Разве не почувствуется на родине влияния крупной личности, проявившей себя в другом полушарии? Могу ли я быть такой малодушной и допустить, что мистер Микобер, завоевав себе благодаря своим талантам власть в Австралии, был бы ничем в Англии? Нет! Такое нелепое малодушие делало бы меня недостойной и себя (хотя я только женщина) и своего папы!

Убеждение миссис Микобер в неоспоримости ее аргументов сообщало ее тону небывалый моральный подъем.

— Вот почему, — продолжала она, — я так хочу, чтобы в будущем мы снова жили на родной земле. Мистер Микобер может стать... да, я не скрываю от себя этой возможности, что он станет

исторической, личностью, и тогда ему нужно будет снова появиться в стране, которая его родила, но не сумела найти ему применения!

— Душа моя! — заявил мистер Микобер. — Я не могу не быть тронутым вашей любовью и всегда готов положиться на ваш здравый смысл. Что будет, то будет! Да сохранит меня бог, чтобы я лишил свою родину какой-либо частицы богатств, которые могут собрать наши потомки!

— Это похвально, — заметила моя бабушка, кивая мистериу Пиготти, — и я пью за всех вас, за ваши успехи и благоденствие!

Мистер Пиготти спустил со своих колен двух детей, которых нянчил, и присоединился к мистериу и миссис Микобер, чтобы, в свою очередь, выпить за наше здоровье. Когда же после этого он и Микоберы сердечно пожали друг другу руки и загорелое лицо старого моряка осветилось улыбкой, я почувствовал, что он пробьет себе дорогу, завоюет себе доброе имя и будет любим всюду, куда бы ни попал.

Даже детей заставили зачерпнуть деревянными ложками содержимое котелка мистера Микобера, и они тоже выпили за наше здоровье. После этого моя бабушка и Агнесса встали и начали прощаться. Это было горестное прощание. Все плакали. Дети до последнего мгновения висели на Агнесе. Мы оставили бедную миссис Микобер в отчаянии, плачущей и рыдающей у тускло горящей свечи.

Приехав на следующее утро к Микоберам, я узнал, что они уже в пять часов утра на лодке перебрались на корабль. Тут я почувствовал, какую пустоту создают такие отъезды. Хотя я видел Микобера на этом свисающем над водой постоялом дворе и на пристани только один раз накануне вечером, но оба эти места показались мне печальными и заброшенными.

В этот же день после полудня мы с моей старой няней отправились в Грэвсенд и нашли корабль эмигрантов на реке, среди множества лодок. Дул попутный ветер, и на верхушке его мачты развевался флаг, сигнализирующий отплытие. Я нанял лодку, и мы добрались до корабля.

Мистер Пиготти ждал нас на палубе. Он рассказал мне, что мистер Микобер был только что снова (в последний раз) арестован за неоплату векселя Гиппа, но что он, Пиготти, выполняя мои указания,

уплатил следуемую сумму. Я сейчас же вернул ему деньги, и мы прошли с ним в междупалубное помещение. Здесь мои страхи, что до мистера Пиготти могли дойти слухи о катастрофе в Ярмуте, окончательно рассеялись; вынырнувший из мрака мистер Микобер дружески-покровительственно взял мистера Пиготти под руку и сказал мне, что они почти не расставались с прошлого вечера.

Кругом все было так необычно для меня, так тесно и темно, что сначала я почти ничего не мог разобрать, но мало-помалу глаза мои стали привыкать к темноте, и мне показалось, что я стою перед картиной Остэда<sup>[32]</sup>. Среди больших бимсов<sup>[33]</sup>, рымболтов<sup>[34]</sup> и других корабельных принадлежностей, коек эмигрантов, их ящиков, узлов, бочонков и разного другого багажа, среди всего этого, освещенного кое-где качающимися фонарями, а кое-где желтоватым светом, пробивающимся через люки, кучками толпились пассажиры. Тут они заводили новые знакомства, прощались, разговаривали, смеялись, плакали, закусывали и выпивали. Одни из них уже устраивались на нескольких доставшихся им футах, и даже их детишки сидели уже на своих креслицах; другие же, отчаявшись добыть себе место, где можно было бы отдохнуть, печально бродили из угла в угол. Казалось, что в этом узком междупалубном пространстве собрались все возрасты и все профессии: от грудных младенцев, которым не было и двух недель, до согбенных стариков и старух, которым осталось жить, быть может, не более двух недель, от земледельца, уносившего на своих сапогах (в буквальном смысле слова) землю Англии, до кузнеца, чья кожа была еще пропитана сажей и дымом.

Оглядываясь вокруг, я заметил сидящую у дверей рядом с одним из детей Микоберов женщину, похожую на Эмилию. С ней прощалась, целуя ее, другая женщина, которая затем, спокойно пробиваясь сквозь толпу, направилась к выходу. Что-то в ней напомнило мне Агнессу, но среди всей этой суматохи, к тому же будучи очень взволнован, я вскоре потерял ее из виду. Единственное, что я сознавал, это то, что посетителей уже предупредили о необходимости покинуть корабль, что моя няня плачет, сидя на ящике рядом со мной, а миссис Гуммидж с помощью какой-то молодой миссис в черном приводит в порядок вещи мистера Пиготти.

— Не хотите ли еще что-нибудь сказать мне, мистер Дэви? — спросил мистер Пиготти. — Не забыли ли вы чего-нибудь?



— Да, хотел еще спросить вас о Марте...

Старик прикоснулся к плечу молодой женщины в черном, та выпрямилась, и я увидел Марту.

— Да благословит вас бог, добрый человек! — воскликнул я. — Вы, значит, берете ее с собою?

Марта ответила за него, разразившись слезами. Я ничего больше не в силах был сказать, а только крепко пожал руку этому чудесному человеку, чувствуя к нему необыкновенную любовь.

Провожающие поспешно покидали корабль. Мне оставалось исполнить мой последний, тягостный долг — рассказать старику то, что поручил мне передать ему при прощании его благородный племянник. Мистер Пиготти был глубоко растроган. Но, когда, в свою очередь, он просил меня передать тому, кто уже не мог услышать это, о том, как он его любит и жалеет, я взволновался еще больше старика.

Наступил момент расставания. Я обнял его, взял под руку свою плачущую няню и поспешил к выходу. На палубе я распрощался с бедной миссис Микобер. Она с рассеянным видом смотрела вокруг себя, все еще ожидая появления своих родичей, и последнее, что она мне сказала, было: «Я никогда не покину мистера Микобера».

Мы пересели в нашу лодку и остановились на небольшом расстоянии, чтобы видеть отплытие корабля. Был спокойный, ясный закат солнца. На фоне красного неба отчетливо вырисовывался отплывающий корабль с мельчайшими его деталями. Весь экипаж и все его пассажиры с обнаженными головами столпились на палубе. Царило безмолвие. Я никогда не видывал такого печального и в то же время полного надежд зрелища!

Но вот паруса взвились, и корабль тронулся... С лодок грянуло «ура». Оно было подхвачено на корабле и отдалось многократным эхом на воде. Сердце мое забилося, когда я услышал эти крики, увидел, как отплывающие махали шляпами и платками. И тут я заметил Эмилию. Она стояла возле дяди, прислонясь к его плечу. Старик указывал в нашу сторону, и она, найдя нас, помахала на прощанье мне рукой. Эмилия! Прелестный поникший цветок! Прильни доверчиво своим разбитым сердцем к тому, кто прильнул к тебе с великой любовью!

Стоя в розовом свете заката высоко на палубе, в стороне от всех, они, прижавшись друг к другу, торжественно уплывали вдаль...

Когда мы пристали к берегу, ночь уже спустилась на холмы Кента. Мрачная ночь воцарилась и в моей душе.

## **Глава XXIX**

### **ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ**

Надо мной спустилась ночь, длинная и мрачная, тревожимая призраками обманутых надежд, многих дорогих воспоминаний, многих ошибок, многих бесплодных сожалений и горестей.

Я уехал из Англии, даже тогда еще не сознавая вполне, как тяжел был удар, обрушившийся на меня. Я покинул всех, кто был дорог мне, и отправился путешествовать. Мне казалось, что горе позади, что я уже справился с ним. Подобно тому, как человек, смертельно раненный на поле сражения, в первую минуту едва замечает, что он ранен, так и я, очутившись один со своим недисциплинированным сердцем, не отдавал себе отчета в том, как тяжело оно ранено, какая борьба с ним предстоит мне. Сознание этого явилось у меня не вдруг, а мало-помалу, так оказать, по крупинкам. Чувство одиночества, с которым я уехал за границу, все росло и углублялось с каждым часом. Вначале то, что я переживал, мне казалось только тяжелым горем по умершей жене; ничего другого я не различал в своей душе. Но как-то незаметно я стал сознавать, что лишился и любви, и дружбы, и участия. Все было разбито: мои юные надежды, моя первая любовь, весь воздушный замок моей жизни; а вместо всего этого передо мной до самого горизонта простиралась безотрадная пустыня.

Если в горе моем была доля эгоизма, я не сознавал этого. Я оплакивал свою женушку-детку, так рано, во цвете лет, унесенную в могилу; оплакивал друга, который мог бы завоевать любовь и вызвать восхищение тысяч, так же точно, как когда-то покорила меня; оплакивал разбитое сердце, нашедшее успокоение в бурном море; оплакивал и остальных скитающихся обитателей той убогой старой баржи, где ребенком я, засыпая, прислушивался к завыванию ветра.

Все больше и больше впадал я в уныние и наконец потерял совсем надежду выйти когда-либо из этого тягостного состояния. Я скитался с места на место, всюду нося за собой свое горе. Теперь только начал я сознавать его в полной мере, совсем падая под его тяжестью. Я не верил, что когда-нибудь может стать легче.

В своем отчаянии я решил, что непременно должен умереть. Иногда мне приходило в голову, что лучше было бы умереть дома, и я перебирался ближе к родине. А затем меня вдруг тянуло уехать подальше, и я переезжал из города в город, как бы от чего-то убегая и что-то ища.

Я не в силах описать одну за другой тяжкие стадии того мучительного душевного состояния, через которое я прошел. Есть сны, рассказать которые можно только в общих чертах, и, когда теперь я заставляю себя припомнить это время, оно мне кажется одним из подобных снов: словно во сне, проезжая через эти заграничные города, я брожу среди дворцов, соборов, парков, картин, замков, могил, причудливых улиц, среди всех этих памятников истории и человеческой фантазии, и проделываю я все это, таща за собою тяжкое бремя тоски, почти не замечая того, что проносится и исчезает перед моими глазами... Безразличие ко всему, что не было моей тоской, мрачной пеленой опускалось на мое недисциплинированное сердце. Но вот наконец, слава богу, среди этой мрачной ночи стала заниматься заря....

Я был в это время в Швейцарии. Добрался я туда из Италии через один из больших альпийских перевалов и странствовал с проводником по самым уединенным горным местам. Конечно, я не мог не изумляться, не чувствовать величия высочайших горных вершин, глубочайших пропастей, с шумом низвергавшихся горных потоков, ледяных и снежных полей, но сердцу моему это ничего не говорило.

Однажды перед заходом солнца я спускался в долину, где должен был ночевать. Пробираясь по вьющейся среди скал горной тропинке, я видел эту долину, залитую заходящим солнцем. Расстилавшаяся перед моими глазами мирная картина пробудила в моей душе давно заглохшее чувство красоты, спокойствия, умиротворения. Помню, я остановился и тут почувствовал, что в тоске моей уже не было столько подавленности, столько отчаяния, как раньше; у меня даже мелькнула мысль, что, пожалуй, и для меня могут еще наступить лучшие времена.

Я спустился в долину, когда вечернее солнце еще сияло на далеких снежных вершинах, нависших над ней, словно вечные облака. Лощина у подошвы гор, где приютилась деревушка, была покрыта роскошной яркозеленой растительностью, а над нею поднимались

темные хвойные леса, защищавшие эту деревушку в зимнюю пору от грозных лавин и снежных метелей. Выше громоздились уступами серые скалы, среди которых изумрудами зеленели пастбища, а над ними белели ослепительные снега и сверкали прозрачные льды. Там и сям по склонам гор были разбросаны, словно точки, деревянные домики; благодаря соседству с горами-великанами они казались игрушечными. Такой же игрушечной выглядела и деревушка со своим деревянным мостом, перекинутым через горный поток, несшийся с шумом по скалам среди деревьев. В тихом воздухе откуда-то издалека, словно из проходящего облака, доносилась пастушья песня... И вдруг среди этого безмятежного спокойствия великая природа заговорила, смягчила мое сердце, и я, упав на зеленую траву, заплакал так, как не плакал со дня смерти Доры.

Всего за несколько минут перед этим я получил пачку писем, и, чтобы прочитать их на свободе, я, пока готовился ужин, вышел из деревни. За последнее время много писем не дошло до меня, и я давно не имел вестей от близких. Сам я за все время своего пребывания за границей не был в силах писать настоящие письма, а ограничивался короткими весточками, гласившими о том, что я здоров и приехал туда-то.

Когда я открыл пакет, первое, что я увидел, было письмо Агнессы. Она писала о том, что счастлива, чувствуя себя нужной и полезной, и что дело ее, как она и ожидала, преуспевает.

Это все, что она рассказала мне о себе. Остальное письмо было полно мной. Она не давала мне советов, не убеждала помнить о долге, а только со свойственным ей жаром говорила о том, как верит в меня. По ее словам, она не сомневалась в том, что при таком характере, как мой, самое горе должно принести мне пользу: испытания и потрясения могут только сделать мой характер более энергичным и благородным. Говоря с гордостью о моей славе, она вместе с тем была убеждена, что я буду продолжать работать и приобрету еще более славное имя. Такие люди, как я, по ее мнению, от горя не слабеют, а делаются еще сильнее. Как тяжелые дни моего детства способствовали тому, что я стал таким, каков я теперь, так и более тяжелые переживания последнего времени побудят меня стать лучше, чем я есть, а многому, чему научило меня горе, я смогу научить и других. Заканчивала она письмо тем, что любит меня, как сестра, что

мысленно всюду со мной и, гордясь мной в настоящую минуту, с еще большей гордостью думает о том, что мне предстоит совершить.

Я спрятал это письмо у себя на груди, и мне не верилось, что я мог быть таким, каким был еще час назад! Когда вдали умолкли голоса, когда лучезарные облака померкли и все краски долины потускнели, а белые снежные вершины слились с бледным вечерним небом, я почувствовал, что на душе моей становится светлее, омрачавшая ее темная ночь уходит и нет у меня слов, чтобы выразить, как я люблю Агнессу, насколько она мне дороже, чем когда-либо раньше.

Много раз перечитал я ее письмо и в тот же вечер ответил на него. Я писал ей, до чего нужна мне ее помощь, уверял ее, что вдали от нее я не тот и никогда не был тем, чем она меня считает, но что ее письмо влило в меня новые силы и я попытаюсь стать таким, каким она хочет видеть меня.

И я действительно сделал такую попытку. Через три месяца должен был исполниться год со смерти Доры. И я положил себе до этого дня не принимать никаких решений, а пока, по совету Агнессы, стараться взять себя в руки. Все три месяца я прожил в этой долине и ее окрестностях.

В назначенный себе срок я решил еще некоторое время пожить вдали от родины, а пока остаться в Швейцарии — она стала мне дорога по воспоминаниям того вечера — и взяться снова за перо, за работу.

Покорно стал я выполнять и другие указания Агнессы: я искал утешения в природе, а она в нем никогда не отказывает людям. Я старался разжечь в своей душе угасший за последнее время интерес к людям, и вскоре у меня появилось в здешней долине почти столько же друзей, сколько было в Ярмуте. Когда я расставался с ними, уезжая зимовать в Женеву, а весной снова вернулся, их сожаления при прощании и радостные приветствия при встрече очень тронули меня, хотя и высказаны были они не на моем родном языке.

Терпеливо, упорно работал я с утра и до ночи. Я написал повесть, по содержанию близкую моим собственным переживаниям, и послал ее Тредльсу. Тот сговорился с одним издателем о напечатании ее на очень выгодных для меня условиях. Вести о моей растущей славе доходили до меня от случайно встречаемых путешественников.

Отдохнув и на время переменив обстановку, я с прежним жаром принялся за новую увлекшую меня тему. По мере того, как я писал, работа все больше и больше захватывала меня, и я напрягал все силы, чтобы она вышла как можно лучше. По счету это было мое третье беллетристическое произведение. Я не успел дописать его до половины, как однажды, в минуту отдыха, решил вернуться на родину.

Несмотря на то, что я много уделял времени научным занятиям и литературной работе, я давно приучил себя к сильным физическим упражнениям. Благодаря этому мое здоровье, подорванное при отъезде из Англии, совершенно восстановилось. Немало я перевидал, побывал во многих странах и, надо думать, увеличил запас своих знаний.

Теперь мне кажется, я воскресил в своей памяти все, что нужно было воскресить из времени моего пребывания за границей, все, за исключением одного обстоятельства. И сделал я это не оттого, что имел намерение умолчать о чем-нибудь, — нет (я говорил уже здесь о том, что это повествование является моими правдивейшими воспоминаниями), а потому только, что мне хотелось выделить эти тайные переживания моей души и коснуться их уже подконец.

Приступаю к этому.

Для меня самого неясно, когда впервые понял я свою ошибку, понял, что предметом моей первой любви могла быть Агнесса. Не могу сказать, в какой момент мне пришло в голову, что я, своевольный, капризный мальчик, сам отверг сокровище ее любви. Мне кажется, мысль эта неясно стала зарождаться в моей голове еще в первый год моей супружеской жизни, когда я начал сознавать, что мне нехватает чего-то недостижимого. Затем, когда я, потеряв Дору, чувствовал себя таким убитым и одиноким, эта мысль воскресла в моей голове в форме сожаления и упрека самому себе.

Если б в это время я часто виделся с Агнессой, то, будучи в отчаянии, потеряв самообладание, я, наверное, выдал бы себя.

Смутная боязнь этого, в сущности, и побудила меня жить вдали от родины. Для меня была невыносима мысль, что я могу потерять малейшую долю ее сестриной любви, а выдать мою тайну — значило бы создать между нами не существовавшую до сих пор преграду.

Я не мог забыть, что ее сестрина любовь была добровольным делом моих рук, моего образа действий. Если б даже она когда-либо и

любила меня иной любовью, — а порой мне казалось, что такое время было, — то я сам оттолкнул эту любовь. Еще когда мы были детьми, я привык смотреть на Агнессу, как на сестру. Свою первую страстную любовь я отдал другой, а то, что мог бы сделать, я не сделал. И если теперь она относилась ко мне, как к брату, то это, повторяю, дело моих рук и ее благородного сердца.

Когда я мало-помалу стал приходить в себя, когда я пытался разобраться в том, что происходило в моей душе, и сколько-нибудь приблизиться к тому, что хотела видеть во мне Агнесса, мне подчас рисовалась возможность, после длиннейшего испытания, исправить прошлые ошибки и удостоиться счастья стать ее мужем. Но со временем эта призрачная надежда стала исчезать и совсем умерла.

Я говорил себе, что если когда-нибудь она любила меня больше, чем брата, то теперь она должна быть для меня еще священнее, чем прежде. Ведь она помнит, что она являлась поверенной моих тайн, помнит, как ей нужно было побороть свое чувство, чтобы относиться ко мне по-дружески и по-братски. Если же она никогда не любила меня, то как мог я надеяться, что теперь она полюбит?

Я всегда считал себя слабым по сравнению с ней, такой твердой и сильной духом. А теперь я все больше и больше чувствовал это. Когда-то, пожалуй, мы с ней и могли быть ближе друг для друга, но время ушло, я упустил его и сам виноват, что ее потерял.

Конечно, все эти бесплодные сожаления очень терзали меня. В то же время совесть говорила мне, что честь и долг не позволяют мне теперь навязывать себя, смотрящего на все так безнадежно, милой девушке, от которой, будучи жизнерадостным, полным надежд, я сам легкомысленно отвернулся. Я даже не старался скрыть от себя, что люблю Агнессу и предан ей всей душой, но вместе с тем я уверил себя, что теперь слишком поздно и единственное, что остается делать, это беречь наши братские отношения.

Все это мучило и волновало меня с момента отъезда за границу и до самого возвращения на родину...

Прошло три года, как отплыл корабль с эмигрантами. И вот я снова стою на том же месте, только на палубе пакетбота, доставившего меня на родину, стою в тот же самый час солнечного заката и смотрю на розовую воду, в которой тогда отражался корабль, отплывавший с моими друзьями в далекую Австралию.



Три года... Как долго тянулись они, когда переживались один за другим, а теперь мне казалось, что они пролетели мгновенно. Мила мне родина, мила Агнесса, но она не моя и никогда не будет моей... А могла бы быть... Но все это позади.

## ***Глава XXX***

### ***ВОЗВРАЩЕНИЕ***

Я приехал в Лондон холодным осенним вечером. Было темно, шел дождь, и я в одну минуту увидел больше грязи и тумана, чем за весь последний год за границей. Из таможи я пошел пешком и только у Обелиска нашел извозчика. Хотя и фронтоны домов и вздувшиеся под ними водосточные канавы казались мне старыми друзьями, но все-таки я не мог не сознаться, что друзья эти очень закопчены. Я часто замечал, что когда уезжаешь из какого-нибудь хорошо знакомого места, то это как бы служит сигналом для перемены в нем. И вот из окна моей извозничьей кареты я заметил, что старинный дом на Флит-стрит, к которому, наверное, сотню лет не прикасалась рука ни маляра, ни плотника, ни каменщика, был снесен. Заметил я также, что соседняя улица, бывшая в почете за древность, но известная своими антисанитарными условиями и неудобствами, осушена и расширена. Тут у меня мелькнуло в голове, что, пожалуй, за это время мог постареть и самый собор св. Павла.

К некоторым же переменам в судьбе моих друзей я был подготовлен. Моя бабушка давно вернулась в Дувр, а у Трэдльса уже вскоре после моего отъезда появилась кое-какая адвокатская практика. Он жил теперь в номерах гостиницы Грэя и в последних письмах говорил мне о своих надеждах скоро соединиться с «самой милой девушкой на свете».

Они ожидали меня к рождеству, и им даже в голову не приходило, что я могу так скоро вернуться. Я нарочно ввел их в заблуждение ради удовольствия сделать им сюрприз. Однако я оказался настолько непоследовательным, что испытал разочарование, не будучи никем встречен. Молча и одиноко ехал я в извозничьей карете по туманным улицам Лондона.

Однако вид хорошо знакомых и весело освещенных лавок благотворно подействовал на меня, и, когда я подъехал к дверям гостиницы Грэя, я уже снова пришел в хорошее настроение.

— Знаете ли вы, где здесь живет мистер Трэдльс? — спросил я официанта, греясь у огня в ресторане гостиницы.

— Во дворе, квартира номер два, сэр.

Горя нетерпением скорее увидеть своего милого старого друга, я наскоро пообедал, что, конечно, не подняло меня в глазах старшего официанта, и вышел во двор. Скоро я нашел квартиру номер два и, узнав из надписи на двери, что мистер Трэдльс занимает комнаты верхнего этажа, стал подниматься по старой, трясущейся, плохо освещенной лестнице.

Пока я, спотыкаясь, поднимался по ней, мне показалось, что я слышу приятный смех. То был смех ни прокурора, ни адвоката, ни прокурорского или адвокатского клерка, — то был смех двух или трех веселых девушек. Но, остановившись, чтобы прислушаться, я случайно попал ногой в дыру на ступеньке лестницы и, падая, нашумел, а когда поднялся на ноги, смеха больше не было слышно.

Подвигаясь более осторожно, ощупью, наверх, я с сильно бьющимся сердцем обнаружил открытую парадную дверь с карточкой мистера Трэдльса. Я постучал. Изнутри донесся шум какой-то возни, и больше ничего. Я снова постучал.

Появился запыхавшийся разбитной небольшого роста парень, полулакей-полуписец, и недоверчиво взглянул на меня.

— Дома ли мистер Трэдльс? — спросил я.

— Да, сэр, но он занят.

— Мне надо видеть его.

Поглядев на меня немного, разбитной парень решил все-таки впустить меня и, раскрыв шире дверь, ввел меня сначала в небольшую переднюю, а затем в маленькую гостиную. Здесь за столом, согнувшись над бумагами, сидел мой старый друг (видимо, также запыхавшийся).

— Боже милостивый! — воскликнул Трэдльс, подняв глаза. — Да это Копперфильд! — и он с восторгом бросился ко мне.

Мы крепко обнялись.

— Все ли благополучно, дорогой Трэдльс?

— Все благополучно, дорогой мой Копперфильд! Одни только добрые вести!

Мы оба с ним плакали от радости.

— Дорогой мой! — начал Трэдльс, возбужденно ероша свои и без того взъерошенные волосы. — Дорогой мой Копперфильд! Так давно утраченный и вновь обретенный друг! Как я рад вас видеть! Однако до

чего вы загорели! Как я рад вам! Клянусь жизнью и честью, никогда не был я так рад, любимый мой Копперфильд, никогда!

Я же был не в силах выразить свои чувства, не мог выговорить ни слова.

— Дорогой мой! — все повторял Трэдльс. — А как вы стали знамениты, мой прославленный Копперфильд! Боже мой! Когда же вы приехали, откуда приехали, что вы там делали?

Не дожидаясь моих ответов, Трэдльс втолкнул меня с кресло у камина и все время одной рукой помешивал огонь, а другой дергал мой галстук, принимая его, вероятно, за пальто. С каминными щипцами в руке он снова обнял меня, а я обнял его, и оба мы с ним, смеясь и вытирая слезы, все пожимали друг другу руки.

— Подумать только! — сказал Трэдльс. Вы должны были так скоро приехать, а на церемонию, дорогой старина, не попали.

— На какую церемонию, дорогой Трэдльс?

— Боже мой! — воскликнул он, по обыкновению широко раскрыв глаза. — Да разве вы не получили моего последнего письма?

— Конечно, нет, если оно сообщало о какой-то церемонии.

— Дорогой мой Копперфильд, — проговорил Трэдльс, запустив снова обе руки себе в волосы, а затем кладя их мне на колени, — ведь я женился!

— Женился? — радостно крикнул я.

— Слава богу, да! — подтвердил Трэдльс. — Нас с Софи повенчал в Девоншире преподобный отец Гораций! Да вот, дорогой мальчик, она здесь, за занавеской... Смотрите!

В этот момент, к моему изумлению, «самое милое существо в свете», смеясь и краснея, вышло из своего убежища. И мне никогда не приходилось видеть молодой женщины более веселой, милой, счастливой и сияющей! Я не мог не высказать этого, не мог, как старый приятель, тут же не расцеловать ее и от всего сердца не пожелать им счастья.

— Что за восхитительная встреча! — воскликнул Трэдльс. Ну, до чего вы загорели, дорогой мой Копперфильд! Боже мой, как я счастлив!

— И я также! — отозвался я.

— А я-то как счастлива! — смеясь и краснея, заявила Срфи.

— Мы все так счастливы, как только можно быть! — с восторгом сказал Трэдльс. — Даже девочки счастливы!.. Ах, я совсем было и забыл о них!

— Забыли? О ком? — спросил я.

— О девочках — сестрах Софи, — пояснил Трэдльс. — Они гостят у нас: приехали посмотреть Лондон. Дело в том, что... А, скажите, Копперфильд, не вы ли это полетели на лестнице?

— Да, — ответил я смеясь.

— Так вот, когда вы упали, я играл с девочками в «углы». Но, так как это не вяжется с профессией адвоката и не предназначается для глаз клиента, они моментально удрали. А теперь я не сомневаюсь, что они... подслушивают нас, — прибавил Трэдльс, глядя на дверь.

— Очень жалею, что я вызвал такое смятение! — рассмеялся я.

— Честное слово, вы не сказали бы этого, — продолжал Трэдльс, пребывая в том же восторженном состоянии, — если б видели, как они убежали, заслышав ваш стук, вновь прибежали, чтобы поднять оброненные ими гребни, и наконец умчались, как сумасшедшие! Душа моя, не приведете ли вы сюда девочек?

Софи быстро вышла, и мы услышали встретивший ее в соседней комнате взрыв хохота.

— Не правда ли, мелодично, дорогой Копперфильд? — спросил Трэдльс. — Очень приятно слушать, как веселье оживляет эти дряхлые комнаты! Для несчастного холостяка, одиноко прожившего всю жизнь, это, знаете ли, в самом деле восхитительно... очаровательно! Бедняжки, они так много потеряли, лишившись Софи: она ведь, уверяю вас, Копперфильд, всегда была и осталась самым милым существом в свете, и вот меня невыразимо радует, что эти девочки в таком прекрасном настроении. Общество их — прелестнейшая вещь, Копперфильд! Правда, это не совсем подходит к моей профессии, но это чудесно!

Заметив, что он немного смутился, и поняв, что, при его сердечной доброте, он боится сделать мне больно своей жизнерадостностью, я поспешил согласиться с ним, и это было так искренне, что, видимо, облегчило его душу и доставило ему большое удовольствие.

— Сказать вам правду, дорогой Копперфильд, — заметил он, — весь наш домашний строй совершенно не подходит к моей профессии.

Даже Софи не следовало бы быть здесь, а что поделаете? У нас нет другого помещения. Мы в утлой ладье пустились по житейскому морю, но мы готовы к лишениям. К тому же, Софи — необыкновенная хозяйка! Вы будете удивлены тем, как она умудрилась разместить всех девочек. Я сам до сих пор не понимаю хорошенько, как ей это удалось.

— А много живет у вас этих молодых леди? — поинтересовался я.

— Здесь, — таинственно понижая голос, проговорил Трэдльс, — старшая — красавица Каролина, потом Сарра, та, знаете, о которой я вам говорил, что у нее неладно с позвоночником (теперь она чувствует себя несравненно лучше). Здесь же и обе младшие, воспитанницы Софи. Здесь и Луиза.

— Да что вы! — воскликнул я.

— Представьте себе! — подтвердил Трэдльс. — У нас только три комнаты, но Софи удивительнейшим образом устраивает девочек, и они даже спят со всевозможными удобствами. Три — в той комнате, а две — в этой.

Я невольно оглянулся в поисках уголка для мистера и миссис Трэдльс. Мой друг понял меня.

— Ну, как я вам уже говорил, мы умеем мириться с обстоятельствами, — пояснил Трэдльс. — Например, на прошлой неделе мы устраивали себе постели вот здесь на полу. Но у нас есть еще комната на чердаке (очень славная комнатка, когда до нее доберетесь), и Софи сама оклеила ее обоями, желая сделать мне сюрприз. Теперь это — наша с ней комната. Прекрасный уголок, да еще с великолепным видом!

— И наконец-то вы счастливы, женаты, дорогой мой Трэдльс! — воскликнул я. — Как я рад за вас!

— Благодарю вас, дорогой Копперфильд!

И мы тут еще раз крепко пожали друг другу руки.

— Я счастлив так, как только может быть счастлив человек! — сияя, проговорил Трэдльс. — Взгляните-ка... там наш старый друг! (Он с торжествующим видом кивнул в сторону цветочной вазы и подставки). А вот и столик с мраморной доской! Вся остальная обстановка, как видите, проста и практична. Что же касается серебра, то у нас в доме даже нет ни одной серебряной чайной ложечки.

— Значит, все должно быть заработано, не так ли? — весело сказал я.

— Совершенно верно, — ответил Трэдльс, — все должно быть заработано. Конечно, пока у нас есть нечто, имеющее форму чайных ложечек, но оно из белого металла.

— Тем лучше будет блестеть серебро, когда оно появится, — заметил я.

— Именно то, что мы говорим! — воскликнул Трэдльс. — Видите ли, дорогой Копперфильд, когда я... (здесь он снова таинственно понизил голос)... когда я провел тот процесс, который оказал мне такую услугу в моей адвокатской карьере, я отправился в Девоншир и серьезно поговорил наедине с преподобным Горацием. Я подчеркнул тот факт, что Софи, — она, уверяю вас, Копперфильд, самое милое существо...

— Не сомневаюсь в этом, — перебил я его.

— Действительно, она такова, — продолжал Трэдльс. — Но, боюсь, я отвлекся от своей темы. Ведь я упомянул о преподобном Горации?

— Да, вы сказали, что подчеркнули тот факт...

— Совершенно верно: тот факт, что мы с Софи уже давно помолвлены и что она, с разрешения родителей, будет более чем довольна выйти за меня... Одним словом, — докончил он со своей прежней открытой улыбкой, — готова выйти и с чайными ложечками из белого металла. Ну, прекрасно! Я предложил тут преподобному Горацию... (Великолепнейший священник, скажу я вам, Копперфильд, и должен бы быть епископом или, по крайней мере, получать достаточный оклад для безбедной жизни). Итак, я предложил ему, что мы с Софи обвенчаемся, как только я добьюсь дохода в двести пятьдесят фунтов стерлингов и буду иметь шансы на такой же или несколько больший доход в следующем году, да к тому же, еще смогу, хотя и просто, обставить небольшую квартирку. Я взял на себя смелость напомнить ему, что мы терпеливо ожидаем уже много лет и что если Софи чрезвычайно полезна в доме, то это не должно было бы служить в глазах любящих ее родителей помехой для устройства ее личной жизни.

— Конечно, не должно было бы, — согласился я.

— Я рад, что вы такого же мнения, Копперфильд, ибо, не касаясь преподобного Горация, я считаю, что родители, братья и прочие иногда довольно эгоистичны в таких случаях. Ну, я также указал ему, что горячо желаю быть полезным всему семейству, и если я сделаю карьеру, а что-нибудь случится с ним, преподобным Горацием...

— Понимаю, — вставил я.

— ...или с миссис Крюлер, то для меня будет счастьем заменить девочкам отца. Он удивительно отозвался на мои слова, сказал очень много для меня лестного и взялся добиться согласия миссис Крюлер. Очень трудно пришлось им с ней: она сильно огорчилась, и это подействовало сначала на ее ноги, затем на грудь и наконец на голову. Она, как я уже говорил вам, превосходная женщина, но не всегда владеет своими членами. Стоит ей взволноваться чем-либо, как это сейчас же отражается на ее ногах. А здесь пошло и дальше — на грудь и на голову, словом, это самым ужасным образом повлияло на весь организм. Однако неустанная заботливость и нежность поставили ее на ноги, — и вот мы уже шесть недель, как женаты. Вы не имеете представления, Копперфильд, каким чудовищем почувствовал себя я, когда увидел, что все семейство заливается слезами и падает в обморок. Миссис Крюлер не пускала меня к себе на глаза до самого нашего отъезда: она все не могла простить мне, что я лишаю ее дочери. Но она — доброе создание и позже все-таки простила. Не далее как сегодня утром я от нее получил чудесное письмо.

— Одним словом, дорогой мой друг, — сказал я, — вы добились счастья, которого заслуживаете.

— О, вы ко мне пристрастны! — рассмеялся Трэдльс. — Но мне действительно можно позавидовать! Я упорно работаю и без конца изучаю законы. Встаю я ежедневно в пять часов утра и ничего не имею против этого. Днем я прячу девочек, а вечером веселюсь с ними. И, поверьте мне, я весьма огорчен тем, что они скоро уезжают домой... Но вот и они! — сказал Трэдльс, обрывая свой шопот и повышая голос. — Позвольте вас познакомить: мистер Копперфильд, мисс Каролина, мисс Сарра, мисс Луиза, Маргарет и Люси!

Это был чудесный букет роз — такой свежий и здоровый вид имели барышни. Все они были прехорошенькие, а мисс Каролина — настоящая красавица. Но в ясных глазах Софи светилось столько чего-то милого, веселого и задушевного, что я понял: мой друг не ошибся в



своим выборе. Мы все сели вокруг камина. Тем временем разбитой малый (я догадался, что он тогда так запыхался, спешно раскладывая для виду бумаги) очистил стол от бумаг и расставил на нем чайные принадлежности, после чего он ушел спать, сильно хлопнув за собой выходной дверью, а миссис Трэдльс спокойно и весело принялась готовить чай и поджаривать хлеб в камине. Занимаясь этим, она рассказала мне, что видела Агнессу. Том возил ее во время свадебного путешествия в Кент, где она побывала также у моей бабушки. Обе они, и бабушка и Агнесса, были здоровы и не переставая говорили только обо мне, и Том, она была уверена, во время моего отсутствия все думал обо мне. Как видно, Том был для своей супруги авторитетом во всем, был ее идолом, и ничто никогда не смогло бы свергнуть Тома с того пьедестала доверия, любви и почитания, который она ему воздвигла в своем сердце.

Мне очень нравилось, с каким почтением относилась чета Трэдльсов к «Красавице». Не думаю, чтобы я считал это очень разумным, но это было восхитительно и так соответствовало их характерам. Если Трэдльс когда-либо и жалел о том, что еще не заработал на серебряные чайные ложечки, то, не сомневаюсь, лишь в тот момент, когда он подавал Красавице чай. А его кроткая жена, я убежден, могла бы отстоять себя только как сестра Красавицы. То, что мне казалось в Красавице капризами, избалованностью, явно рассматривалось Трэдльсом и его женой как проявление права первенства, как нечто, что было дано ей самой природой. Родись Красавица царицей улья, а чета Трэдльс — рабочими пчелами, они не могли бы чувствовать ее превосходство больше, чем теперь.

Меня очаровывала доброта, с какой они забывали себя. То, что они так гордились этими «девочками» и выполняли все их прихоти, было в моих глазах наилучшим доказательством их собственных достоинств. Каждые пять минут какая-нибудь из своячениц Трэдльса просила его принести одно, отнести другое, поставить вверх или вниз третье, разыскать или достать что-либо. Точно так же не могли они обойтись и без Софи. Если у кого-нибудь растрепались волосы — никто, кроме Софи, не мог привести их в порядок. Кто либо из них забывал мотив песенки, название какого-нибудь места в Девоншире только Софи могла вспомнить все это. Нужно было написать о чем-либо домой — это можно было доверить только Софи. «Девочки»

были здесь полными хозяевами, а Софи и Трэдльс прислуживали им. И в то же время, при всех своих требованиях, сестры проявляли большую нежность и уважение к Софи и к Трэдльсу. Я уверен, что ни одна столь взъерошенная голова и вообще никакая голова не бывала осыпана таким градом поцелуев, как его, когда я с ними простился и Трэдльс пошел провожать меня в гостиницу.

Долго еще после того, как я, пожелав Трэдльсу доброй ночи, пришел к себе, я с удовольствием вспоминал эту сцену.

Усевшись перед горящим камином в кафе-ресторане Грэя, я на свободе стал думать о счастье Трэдльса. Но постепенно в пламени камина предо мной стали проходить одна за другой картины моего собственного прошлого... Теперь я мог думать об этом прошлом с грустью, но без горечи, а в будущее смотреть без уныния. В сущности, у меня не было больше семейного очага. Ту, которой я мог бы внушить более нежную любовь, я приучил быть сестрой. Она выйдет замуж, другие предъявят права на ее нежность, и она никогда не узнает о любви, распустившейся в моем сердце. Было лишь справедливо, что я нес последствия своего безрассудного увлечения; я пожинал то, то посеял.

Я сидел и думал, действительно ли мое сердце готово к этому, смогу ли я вынести все и спокойно сохранить в ее доме то место, какое она занимала в моем? Вдруг глаза мои остановились на лице, которое как будто могло появиться только в пламени камина, вызвавшем во мне столько воспоминаний прошлого.

Маленький доктор Чиллип, оказавший мне добрые услуги при моем появлении в этом мире, сидел, читая газету, в противоположном углу кафе-ресторана. Прошло немало лет, но этот мирный, мягкий, спокойный человек так мало изменился, что, казалось мне, выглядел почти так же, как в тот день, когда, сидя в нашей гостиной, он ожидал моего рождения.

Мистер Чиллип покинул Блондерстон шесть или семь лет назад, и с тех пор я его не видал. Он безмятежно читал газету, склонив свою маленькую голову набок, а возле него стоял стакан горячего глинтвейна. Вид у него был такой, словно он готов просить извинения даже у газеты за то, что осмеливается читать ее.

Я подошел к нему со словами:

— Как поживаете, мистер Чиллип?

Он был смущен неожиданным приветствием совершенно незнакомого для него человека и, как всегда, тихо ответил:

— Благодарю вас, сэр! Вы очень добры! Благодарю вас! Надеюсь, и вы в добром здравии?

— Вы не узнаете меня? — спросил я.

— Видите ли, сэр, — ответил мистер Чиллип с очень мягкой улыбкой, покачивая головой, у меня такое впечатление, что ваше лицо мне как будто знакомо, но я действительно не могу вспомнить ваше имя, сэр.

— А между тем это имя вы знали задолго до того, как я сам узнал его, — ответил я.

— В самом деле, сэр? — проговорил мистер Чиллип. — Возможно ли, что я имел честь, сэр, быть при исполнении своих обязанностей, когда...

— Да, — сказал я.

— Боже мой! — воскликнул мистер Чиллип. — Но, несомненно, вы сильно изменились с тех пор, сэр!

— Вероятно, — согласился я.

— Ну, хорошо, сэр. Надеюсь, вы извините меня, что я вынужден спросить у вас ваше имя.

Узнав мое имя, он был так растроган, что даже пожал мне руку, а это было для него невероятным подвигом, так как обычно он едва протягивал кончики пальцев и даже избегал, чтобы кто-либо как следует пожал их. Впрочем, он тотчас же засунул свою руку в карман, как только ему удалось освободить ее, и, повидимому, чувствовал облегчение от того, что вернул ее невредимой.

— Боже мой! — промолвил мистер Чиллип, разглядывая меня, склонив голову набок. — Вы, значит, мистер Копперфильд? А знаете, сэр, мне кажется, я узнал бы вас, если бы только осмелился попристальнее взглядеться, вы очень похожи на вашего бедного батюшку.

— Я никогда не имел счастья видеть своего отца, — заметил я.

— Совершенно верно, сэр, — подтвердил мистер Чиллип, — и что было печально во всех отношениях. До наших краев, сэр, докатилась молва о вашей славе. Вы, наверное чувствуете вот здесь (он дотронулся указательным пальцем до своего лба) очень сильное

возбуждение? Должно быть, это очень утомительное занятие, сэр? — неожиданно прибавил он.

— Где же вы теперь живете? — спросил я, усаживаясь подле него.

— В нескольких милях от Бори-Сен-Эдмунс, сэр. Миссис Чиллип получила по наследству от отца небольшое имение в этой местности, а я купил там врачебную практику, и вы, наверно, сэр, будете рады слышать, что я преуспеваю. Моя дочь становится совсем большой девочкой, сэр, и ее мать должна была на последней неделе распустить две складки на ее платьях. Вот так летит время, сэр!

При этом он поднес пустой стакан к губам. Я предложил наполнить его и выпить со мной за компанию.

— Хорошо, сэр, — ответил он своим тихим голосом. Правда, я не привык пить столько, но не могу отказать себе в удовольствии побеседовать с вами. Боже мой, кажется, еще вчера я имел честь лечить вас от кори! И вы прекрасно справились с ней, сэр!

Я поблагодарил за эту похвалу и заказал пинтвейн.

— Совершенно необычайное для меня легкомыслие, заметил мистер Чиллип, помешивая пинтвейн, — но я не могу противостоять при таком чрезвычайном случае... У вас нет семьи, сэр?

Я покачал отрицательно головой.

— Я слышал, сэр, вы понесли недавно тяжелую утрату, — продолжал мистер Чиллип, — мне сообщила об этом сестра вашего отчима. Очень решительный характер, сэр, не правда ли?

— Да, — ответил я, — довольно-таки решительный. А где вы видели ее, мистер Чиллип?

— Разве вам не известно, сэр, что ваш отчим снова мой сосед?

— Нет, не знал этого.

— Да, да, сэр! Он женился на одной молодой леди из наших мест с очень неплохим имением. Бедная женщина!.. Но все-таки, сэр, как ваша голова? Не очень ли утомительно для нее? — спросил мистер Чиллип, с восхищением глядя на меня.

Я снова замаял этот вопрос и вернулся к Мордстонам.

— О том, что он снова женился, я был осведомлен, — сказал я. — А вы лечите у них?

— Не всегда. Меня только иногда приглашают. Уж очень решительные люди мистер Мордстон и его сестрица.

Мой выразительный взгляд, а также выпитое вино заставили его затрясти головой и воскликнуть:

— Боже мой! Вспоминаются старые времена, мистер Копперфильд!

— Что же, брат с сестрой остались верны себе и поныне? — спросил я.

— Видите ли, сэр, — отвечал мистер Чиллип, — врач, лечащий в семейных домах, должен не иметь ни глаз, ни ушей для всего, что не касается его специальности. Все же я должен сказать вам, сэр: у них очень суровые правила как для этой, так и для будущей жизни.

— Ну, будущая жизнь, я полагаю, устроится без их содействия, — ответил я. — А что делают они в этой?

Мистер Чиллип потряс головой, помешал свой глинтвейн и прихлебнул его.

— А она была очаровательной женщиной, — жалобным тоном проговорил он.

— Вы говорите о теперешней миссис Мордстон? — спросил я.

— Да, сэр, она была очаровательной, милейшей женщиной. Миссис Чиллип того мнения, что замужество совершенно надломило ее и она близка к сумасшествию. А женщины, — робко добавил мистер Чиллип, — ведь очень наблюдательны, сэр.

— Я полагаю, они должны были сломить ее, стремясь переделать на свой лад, — сказал я.

— Да, сэр, смею уверить вас, что на первых порах происходили жестокие ссоры, а теперь она превратилась в какую-то тень. Я не колеблясь скажу, пусть это будет между нами, что с тех пор, как сестра явилась на помощь к брату, они вместе довели ее почти до идиотизма.

— Охотно верю этому, — отозвался я.

После этого мистер Чиллип с полчаса пространно рассказывал мне о своих делах.

— А знаете ли, мистер Копперфильд, — вдруг вспомнил он, — мне понадобилось немало времени, чтобы притти в себя от обращения со мной той ужасной женщины в ночь вашего рождения!

Я сказал ему, что как раз завтра рано утром еду к той самой бабушке, которая навела на него в ту ночь такой ужас, и прибавил:

— Она — одна из наилучших и сердечнейших женщин в мире, в чем легко убедились бы, узнав ее ближе.

Но даже одно упоминание о возможности когда-либо снова увидеть ее явно ужаснуло мистера Чиллипа. Он проговорил слабо улыбаясь;

— В самом деле, сэръ? Действительно? — и почти сейчас же попросил свечу и отправился спать, словно ища в постели полной безопасности.

Была полночь. Чрезвычайно усталый, я тоже отправился на покой. Следующий день я провел в дуврском дилижансе. Благополучно добравшись до места, я ворвался в столь знакомую мне гостиную в то время, как бабушка сидела там за чаем (уже в очках), и был встречен с распростертыми объятиями и радостными слезами ею, мистером Диком и дорогой моей старой Пиготти, исполнявшей здесь обязанности экономки. Когда, несколько успокоившись, мы стали мирно беседовать, бабушку очень позабавил рассказ о моей встрече с мистером Чиллипом и о том ужасе, с каким он вспоминает о ней.

## *Глава XXXI*

### *АГНЕССА*

Оставшись наедине с бабушкой, мы проговорили с ней до глубокой ночи. Она мне рассказала, что все письма наших эмигрантов дышали радостью и были полны надежд; что мистер Микобер в самом деле, как и заверял, переслал несколько небольших сумм денег в уплату выданных им «денежных обязательств», что Дженет, снова поступившая к бабушке, когда та вернулась в Дувр, забыла свою ненависть к мужскому полу и вышла замуж за преуспевающего трактирщика, причем бабушка сделала приданое невесте и почтила своим присутствием брачную церемонию. Впрочем, все это было более или менее известно мне из бабушкиных писем. Мистер Дик, конечно, также не был забыт. Я узнал, что он не перестал заниматься перепиской всего, что только попадает ему под руку, и, воображая, будто он занят полезным делом, держится на почтительном расстоянии от короля Карла I. Тут бабушка не могла не прибавить, какой для нее радостью и удовлетворением в жизни служит то, что мистер Дик живет свободным и счастливым, вместо того чтобы томиться однообразной жизнью в какой-нибудь психиатрической лечебнице. В заключение бабушка высказала взгляд (далеко не новый), что только она одна вполне постигла, что это за человек.

— А когда вы думаете, Трот, поехать в Кентербери? — вдруг спросила она, ласково поглаживая мою руку. (Мы с ней, по нашей всегдашней привычке, сидели у горящего камина).

— Завтра же утром я хочу достать себе лошадь и поехать туда верхом, конечно, если только вы, бабушка, также не пожелаете отравиться вместе со мной в экипаже.

— Нет! — по своему обыкновению отрезала бабушка. — Я останусь дома.

— Ну, в таком случае я завтра еду верхом, — сказал я. — И сегодня еще я не преминул бы остановиться в Кентербери, если б ехал не к вам, бабушка, а к кому-либо другому.

Видимо, она была довольна моими словами, но все-таки возразила:

— Ну что вы, Трот! Мои старые кости могли бы подождать и до завтра.

Проговорив это, она снова стала нежно гладить мою руку, в то время как я задумчиво смотрел в огонь.

Задумчиво потому, что, снова очутившись так близко от Агнессы, как мог я но почувствовать с новой силой давно мучивших меня сожалений! Мне казалось, что в ушах моих снова звучат бабушкины слова: «О Трот! Какой вы слепой, слепой, слепой!» Теперь, увы, я лучше понимал эти слова, чем тогда, когда передо мной лежала еще нетронутая молодая жизнь...

Мы оба молчали несколько минут. Подняв глаза, я увидел, что бабушка пристально смотрит на меня, как бы стараясь прочесть мои мысли.

— Отец Агнессы постарел и совсем поседел, — заговорила бабушка, — но вообще он очень изменился к лучшему, можно сказать — стал новым человеком. А Агнесса все такая же хорошая, такая же красавица, такая же серьезная и самоотверженная, какой была всегда. У меня, Трот, просто нехватает слов для похвал этой чудной девушке!

В этой фразе бабушки звучало восхищение Агнессой и какой упрек мне! В самом деле, как мог я отвернуться от своего счастья!

— Если тех девочек, которых Агнесса теперь воспитывает, — продолжала бабушка, — она сделает похожими на себя, то, клянусь богом, жизнь ее не пройдет даром! Ведь она видит свое счастье в том, чтобы быть полезной, — добавила бабушка, растроганная до слез.

— А есть ли у Агнессы... — скорее громко подумал, чем сказал я.

— Ну, продолжайте, что есть у Агнессы? — резко отозвалась бабушка.

— ...какой-нибудь поклонник?

— Да их множество! — воскликнула бабушка с чувством оскорбленного достоинства. — Она, дорогой мой, со времени вашего отъезда раз двадцать могла выйти замуж!

— Я не сомневаюсь в этом, — ответил я, — нисколько не сомневаюсь, но есть среди поклонников кто-нибудь, достойный ее? Ведь за иного она не пойдет.

Бабушка задумалась и некоторое время просидела молча, опершись подбородком на руку, затем, медленно переводя на меня взгляд, проговорила:



— Мне кажется, Трот, что она любит кого-то.

— И взаимно? — спросил я.

— Трот, — с серьезным видом ответила она, — я не могу этого сказать. Мне, быть может, не следовало бы даже говорить и то, что я сказала. Она ведь никогда не поверяла мне этого, — я только подозреваю.

Говоря это, бабушка так пристально и беспокойно глядела на меня (я заметил даже, как дрожь пробежала по ней), что я не мог больше сомневаться в ее проницательности: она догадывалась, что творится в моей душе.

— Если, бабушка, ваше предположение верно, — снова начал я, — а надеюсь, что это так...

— Я ведь не знаю, так ли это, — перебила меня бабушка. — Вы не должны придавать значения моим словам и ни в каком случае о них не упоминать. Быть может, предположения эти неосновательны, и я не имела права говорить о них.

— Но если ваше предположение основательно, — возразил я, — то, конечно, Агнесса, когда найдет нужным, скажет мне об этом. Ведь, бабушка, не может же сестра, с которой я всегда был так откровенен, пожелать скрыть что-либо от меня!

Бабушка медленно отвела от меня глаза и, задумавшись, закрыла их рукой. Минуту спустя она положила другую руку мне на плечо, и так, оба заглядывая в прошлое, мы молча просидели до тех пор, пока надо было идти спать.

На следующий день рано утром я отправился туда, где протекли мои школьные дни. Не могу сказать, чтобы я был вполне счастлив от сознания, что одерживаю над собой победу, и даже от перспективы скоро увидеть Агнессу.

Быстро промелькнула хорошо знакомая дорога, и я очутился среди улиц, которые знал так, как школьник знает свой учебник. Я оставил лошадь на постоялом дворе и пешком пошел к старому дому Уикфильдов; войти в него сразу я не был в силах — слишком было переполнено мое сердце; я прошел дальше, но вскоре вернулся. Проходя мимо небольшого окна маленькой комнаты в башенке, где некогда работал сначала Уриа Гипп, а потом мистер Микобер, я заглянул туда и увидел, что теперь в ней не контора, а маленькая гостиная. Но внешний вид старинного дома совсем не изменился, он

был в таком же порядке, так же чист, как и в тот день, когда я впервые увидел ее мальчиком. Дверь мне открыла незнакомая служанка, и я попросил ее передать мисс Уикфильд, что ее хочет видеть джентльмен, у которого есть поручение к ней от ее друга, живущего за границей. Служанка провела меня по старинной величественной лестнице (предупредив о количестве ступенек, которые я знал на память) и ввела в совсем прежнюю гостиную. Книжки, которые мы когда-то читали вместе с Агнессой, стояли на своих полках; парта, за которой я столько вечеров учил уроки, стояла у того же стола. Все незначительные изменения, внесенные во время пребывания Гиппов, исчезли бесследно.

Я стоял у одного из окон гостиной и смотрел на дома по ту сторону старинной улицы, и мне вспомнилось, как в первое время моей жизни здесь, я, бывало, в дождливые сумерки следил за тем, что делается в этих домах; вспомнилось, как я строил предположения относительно людей, появлявшихся в окнах, как я провожал глазами поднимавшихся и спускавшихся по лестницам; вспомнился мне стук деревянных подошв женщин по тротуару, косой дождь, переполнявший водосточные трубы и заливавший улицу. И я так живо переживал жалость, с которой в те сырые сумерки я смотрел на проходящих прихрамывающих пешеходов с их узелками за спиной на конце палки, что мне казалось, будто я снова чувствую запах мокрой земли, листьев, колючек, ощущаю самое дуновение ветерка во время моих собственных тяжелых странствований.

Вдруг скрипнула маленькая дверь. Я вздрогнул, оглянулся, и мои глаза встретились с чудесными ясными глазами Агнессы. Она остановилась и схватилась руками за сердце. Я бросился к ней и обнял...

— Агнесса, дорогая моя девочка, я напугал вас!

— Нет, нет! Я так рада видеть вас, Тротвуд!

— А какое для меня счастье снова видеть вас, дорогая Агнесса!

Я прижал ее к своему сердцу, и некоторое время мы оба молчали... Затем мы сели с ней рядом, и она с приветливой улыбкой повернула ко мне свое ангельское личико, личико, о котором я так мечтал все эти годы!

Она была такая красивая, хорошая, искренняя! Я так был ей обязан, так дорога была она мне, что я не мог найти слов, чтобы

выразить свои чувства. Я пытался было говорить, но любовь и радость делали меня немым.

С милым, свойственным ей одной спокойствием Агнесса вывела меня из моего смятения. Она заговорила о времени перед нашей разлукой, об Эмилии, которую тогда тайком не раз навещала, с нежностью упомянула о могиле Доры. Благодаря непогрешимому инстинкту своего благородного сердца она до того деликатно прикасалась к струнам моей памяти, что ни одна из них не задрезжалась. И я прислушивался к этой грустной, издали доносившейся мелодии, не страдая от пробуждаемых ею в моей душе воспоминаний. Да и как это могло быть, когда с этими всеми воспоминаниями сливалась она, Агнесса, ангел-хранитель моей жизни!

— А как вы, Агнесса? — спросил я, когда она умолкла. — Расскажите мне о себе. Ведь все эти годы вы о себе почти ничего не сообщали!

— Что же мне рассказать вам! — промолвила она со своей лучезарной улыбкой. — Папа здоров. Живем мы с ним спокойно в нашем собственном, возвращенном нам доме. Тревоги наши рассеялись. А раз вы знаете это, дорогой Тротвуд, то вы все знаете.

— Все, Агнесса? — спросил я.

Удивленная и несколько смущенная, она посмотрела на меня.

— И, кроме этого, ничего другого, сестрица? — снова спросил я.

Она побледнела, покраснела и снова побледнела, потом, как мне показалось, спокойно-грустно улыбнулась и покачала головой. Я хотел навести ее на то, на что намекала мне бабушка. Как ни горько было мне услышать ее признание, но надо же было образумить свое сердце и исполнить долг брата относительно нее. Однако, видя, что ей не по себе, я заговорил о другом.

— У вас много работы, дорогая Агнесса?

— Со школой? — спросила она, уже смотря на меня со своим обычным безмятежным спокойствием.

— Это, должно быть, очень утомительно, — заметил я.

— Работа с девочками так приятна, что было бы просто неблагоприятно с моей стороны назвать ее трудной, — возразила Агнесса.

— Я знаю, хорошее дело для вас никогда не трудно, — сказал я.

Снова она покраснела, потом побледнела, и, когда опустила голову, я заметил на ее губах ту же грустную улыбку.

— Вы ведь подождете папу, — вдруг весело заговорила она, — и проведете с нами весь день? Не правда ли? А может быть, вы и переночуете в вашей собственной комнате? Мы всегда зовем ее вашей.

Я ответил, что ночевать не могу, так как обещал бабушке вернуться к ночи, а целый день проведу с ними с превеликим удовольствием.

— Я на некоторое время должна вас оставить, — сказала Агнесса, — но в вашем распоряжении, Тротвуд, старые ваши друзья: книги и фортепиано.

— Даже цветы прежние! — воскликнул я. — Во всяком случае, такие же, как прежде!

— Во время вашего отсутствия, — сказала с улыбкой Агнесса, — мне доставляло большое — удовольствие приводить все в доме в тот самый вид, в каком он был в годы нашего детства. Ведь, по-моему, тогда мы были очень счастливы с вами!

— Еще как счастливы! — воскликнул я.

— И всякая вещица, напоминавшая мне о моем братце, была для меня приятным компаньоном, — весело прибавила Агнесса, глядя на меня своими милыми глазами. — Даже это, — указала она на корзиночку, наполненную ключами, висевшую у ее пояса, — даже это напоминало мне своим звяканьем наше доброе старое время.

Она еще раз улыбнулась и вышла в ту же дверь, в которую вошла.

Теперь мне надо было благоговейно хранить ее сестрину привязанность. Это все, что мне оставалось и было драгоценно. Если бы я поколебал ее дружеское доверие, вошедшее в привычку, все могло погибнуть навсегда и безвозвратно. Я прекрасно сознавал это, и чем сильнее я любил Агнессу, тем больше надо было не забывать об этом.

Я пошел пройтись по улицам. Когда я увидел мясника (теперь он был констеблем) и атрибут его служебного положения — дубинку, висевшую тут же, мне захотелось побывать на том месте, где некогда происходил наш с ним поединок. Очутившись здесь, я предался воспоминаниям о мисс Шеферд, о старшей мисс Ларкинс, о всех этих пустых увлечениях того времени, неизменно кончавшихся разочарованиями. Из всего этого для меня продолжала существовать

одна Агнесса, и она, бывшая всегда для меня лучезарной звездой, теперь сияла еще выше, еще ярче...

Вернувшись, я застал дома мистера Уикфильда; он уже пришел из своего сада, находящегося милях в двух от города, где он почти ежедневно работал. Я нашел его именно таким, каким мне его описывала бабушка. Он казался лишь тенью своего великолепного портрета, висевшего на стене.

Обедали мы в обществе пяти-шести девочек, учениц Агнессы. Мир и спокойствие, издавна неразрывно связанные в моей памяти с этим домом, теперь снова воцарились в нем. Так как после обеда мистер Уикфильд не пил вина, а я также от него отказался, то мы с ним тотчас же поднялись в гостиную. Здесь Агнесса и ее маленькие воспитанницы работали, пели и играли. После чая девочки ушли спать, а мы, оставшись втроем, заговорили о минувших днях.

— Я о многом в прошлом могу очень пожалеть, во многом могу горько раскаиваться, — сказал мистер Уикфильд, качая седой головой. — Вам хорошо это известно, Тротвуд. Но, представьте, если бы даже я был в силах, то ничего не вычеркнул бы из того, что было.

Я легко мог этому поверить, видя подле него лицо его дочери.

— Зачеркивая свое печальное прошлое, — продолжал мистер Уикфильд, — я должен был бы вместе с тем вычеркнуть терпение, преданность, верность, дочернюю любовь, а сделать это я не хотел бы даже такую ценой.

— Понимаю вас, сэр, — тихо промолвил я. — И теперь и всегда я с благоговением отношусь и отношусь к вашим отцовским чувствам.

— Но никто не знает, даже и вы, Тротвуд, — горячо прибавил он, — что только сделала, что вытерпела, какую тяжелую борьбу вынесла она, дорогая моя Агнесса!

Желая заставить отца замолчать, Агнесса с умоляющим видом положила руку ему на плечо и была очень бледна при этом.

— Ну, хорошо, хорошо, — проговорил со вздохом мистер Уикфильд, отказываясь, как мне показалось тогда, от намерения рассказать о тех тяжелых переживаниях дочери, которые могли иметь отношение к тому, на что намекала бабушка. — Я ведь вам, Тротвуд, никогда не рассказывал о матери Агнессы. Быть может, вы слышали о ней от кого-нибудь другого?

— Нет, сэр.

— Рассказ будет недолог, хотя выстрадано было много. Она вышла за меня замуж против воли отца, и тот отрекся от нее. Ожидая появления Агнессы, она молила его о прощении. Но это был человек очень суровый, а мать ее давно умерла, и он оттолкнул ее, разбил ей сердце.

Агнесса тут оперлась на плечо отца и обняла его за шею.

— У нее было кроткое, любящее сердце, — продолжал мистер Уикфильд, — и оно было разбито. Я знал, как оно нежно... кто мог знать это лучше меня? Она горячо любила меня, но счастлива никогда не была. Втайне изнывала она под гнётом горя. И вот, когда отец в последний раз оттолкнул ее, — много раз она молила его, — бедняжка, будучи слабого здоровья и постоянно в подавленном состоянии духа, захла и умерла. Она оставила мне двухнедельную Агнессу и седые волосы, которые, помните, вы видели у меня, впервые появившись у нас. — Тут он поцеловал Агнессу. — Любовь к дорогой крошке у меня была нездоровая, да и вся моя душа была больна. Но об этом я не стану распространяться: ведь я не о себе хотел говорить, а о ее матери и о ней самой. Какова вообще Агнесса, мне излишне говорить, но я всегда находил, что на ее характере отразилась грустная история ее матери. Именно это я и хотел сказать вам сегодня, когда мы снова втроем — после таких больших перемен... Ну, я кончил.

Агнесса поднялась и, тихонько подойдя к фортепиано, сыграла нам несколько пьес, которые не раз, бывало, мы слушали в этой самой гостиной.

— Вы снова собираетесь уехать за границу? — спросила меня Агнесса, перебирая пальцами клавиши (я стоял подле вес).

— А какого мнения на этот счет моя сестрица?

— Я надеюсь, что больше не уедете.

— В таком случае, Агнесса, я не собираюсь ехать.

— Раз вы спрашиваете меня, мне кажется, я должна сказать, что вам не следует покидать Англию, — ласково проговорила Агнесса. — Благодаря все растущей известности и успеху вы имеете более возможности, чем раньше, делать добро. И если ваша сестра может ждать, то это не значит, что время будет стоять на месте и ждать.

— Тем, чем я стал, вы сделали меня, Агнесса. И вы это знаете лучше моего.

— Я, Тротвуд?

— Да, Агнесса, дорогая моя девочка! — воскликнул я, наклоняясь к ней. — Еще в момент нашей встречи мне хотелось сказать вам то, о чем я не переставал думать с тех пор, как умерла Дора. Помните, милая Агнесса, когда вы сошли в маленькую гостиную, вы указали мне рукой на небо?

— Ах, Тротвуд! — ответила она с глазами, полными слез. — Такое любящее, такое доверчивое, такое юное существо! Могу ли я когда-нибудь забыть ее!

— Так вот, сестрица, я часто потом думал о том, что такой, какой я вас видел в тот момент, вы были для меня и всегда. Всегда вы мне указывали ввысь, всегда вели меня к добру, всегда старались направить меня к благородным целям.

Она покачала головой и сквозь слезы улыбнулась той же спокойной, грустной улыбкой.

— И я так благодарен вам, Агнесса, так обязан, что не нахожу слов для выражения своих чувств! Хочу, чтобы вы знали, а не знаю, как сказать вам, что в течение всей моей жизни я буду смотреть на вас, как на свою путеводную звезду. Что бы ни случилось, какие бы перемены ни произошли, какие бы ни появились у вас новые привязанности, вы будете всегда моей путеводной звездой, всегда я буду любить вас, как люблю сейчас, и всегда вы будете для меня утешением и поддержкой! Любимая сестрица! До самой моей смерти вы будете стоять перед моими глазами, указывая мне ввысь!..

Агнесса взяла мою руку и сказала, что гордится мной и тем, что я сказал о ней, хотя, конечно, мои похвалы и преувеличены. Потом она стала тихонько играть, не сводя с меня глаз. Вдруг на ее лице промелькнула тень грусти. Это заставило меня вздрогнуть, но тень эта сейчас же исчезла, и она снова продолжала играть, глядя на меня со своей милой, спокойной улыбкой.

Я возвращался в Дувр глухой ночью; за мной мчался вечер, как беспокойное воспоминание. Я думал о грусти, промелькнувшей на ее лице, и в сердце мое вкралась боязнь, что она несчастлива. Я не был счастлив, но мне удалось честно поставить крест на прошлом. Я только мечтал, что когда-нибудь, в таинственной будущей жизни, я буду любить ее неведомой на земле любовью и тогда скажу ей, какую борьбу мне пришлось вынести здесь, любя ее.

## ***Глава XXXII***

# ***МНЕ ПОКАЗЫВАЮТ ДВУХ ИНТЕРЕСНЫХ КАЮЩИХСЯ***

Временно, во всяком случае до окончания моей книги, на что должно было уйти несколько месяцев, я поселился в доме бабушки в Дувре. И здесь, расположившись у того самого окна, из которого я когда-то, впервые попав под эту крышу, смотрел на луну, я спокойно продолжал свою работу.

Выполняя намерение упоминать о своих беллетристических произведениях только тогда, когда они имеют прямое отношение к моему повествованию, я умалчиваю о стремлениях, восторгах, беспокойствах, торжествах, связанных с моей литературной деятельностью. О том же, как я отдавался этой деятельности всей душой, тратя на нее всю энергию, на которую только способен, я уже говорил здесь. Мне думается, если мои книги представляют собой какую-нибудь ценность, они сами пополнят недоговоренное мной. А если они бесполезны, то, что бы я ни рассказывал, никому это интересно не будет.

Время от времени, когда мне или хотелось окунуться в столичный шум, или надо было посоветоваться с Трэдльсом по какому-нибудь деловому вопросу, я бывал в Лондоне. Трэдльс во время пребывания моего за границей вел мои дела с большим здравым смыслом, и они процветали. Так как благодаря своей известности я стал получать от совершенно незнакомых мне людей огромное количество писем, большею частью настолько бессодержательных, что на них было очень трудно отвечать, я условился с Трэдльсом, что мое имя будет стоять на его дверях и ему будут доставлять мою корреспонденцию. И вот преданный своему делу почтальон притаскивал сюда для меня целые груды писем. Приезжая в Лондон, я занимался ими, изображая государственного мужа без соответственных окладов.

«Девочки» Крюлер к этому времени уехали домой. Софи, спрятавшись в задней комнате с видом на крошечный садик, сидела по целым дням за работой. Часто заставал я ее за писанием, и она всегда



при моем появлении захлопывала тетрадь и торопливо прятала ее в стол. Сначала это удивляло меня, но вскоре тайна раскрылась. Однажды Трэдльс, только что вернувшись из суда, вынул из своего стола бумагу и спросил меня, что я думаю о почерке, которым она написана.

— О, не надо Том! — воскликнула Софи, гревшая в этот момент его туфли перед камином.

— А почему же нет, дорогая моя? — возразил Том с восторженным видом. — Копперфильд, что вы скажете об этом почерке?

— Великолепный почерк для деловых бумаг, — сказал я. — Мне кажется, я никогда не видел такой твердой руки.

— Правда, не похоже на женскую руку? — допрашивал Трэдльс.

— Женскую? — повторил я. — Ни в коем случае!

Трэдльс разразился смехом и с восторгом сообщил мне, что это почерк Софи. Он тут же рассказал, что его женушка торжественно заявила ему, что так как ее мужу вскоре понадобится секретарь, этим секретарем будет она — Софи. «Самая милая женщина на свете» была очень сконфужена и заметила, что, конечно, Том, став судьей, не будет уж так охотно разглашать подобные вещи. Но Том отрицал это, уверяя, что всегда, при любых обстоятельствах, будет гордиться этим.

— Какая чудесная и очаровательная жена у вас, дорогой мой Трэдльс! — сказал я, когда Софи, смеясь, вышла.

— Дорогой Копперфильд, — ответил Трэдльс, — она, без всякого сомнения, самая милая женщина в мире! Как удивительно она хозяйничает! Как она экономна! Какой у нее порядок, и как при всем этом она весела, Копперфильд!

— Вы счастливец! — сказал я. — Да, я верю, что вы оба принадлежите к числу счастливейших людей на свете.

— Я и не сомневаюсь в том, что мы с Софи самые счастливые люди на свете, — заявил Трэдльс. — Когда я вижу, как она поднимается до света, при свечах, чтобы хлопотать по хозяйству, как во всякую погоду еще до прихода клерков в контору отправляется на рынок, а затем из самых простых продуктов создает такие чудные обеды, с разными там пирогами и пудингами, как она все содержит в чистоте и порядке, будучи притом сама всегда так аккуратно и мило одета, как сидит со мной до поздней ночи, — так вот, когда я вижу все

это и чувствую, какая она кроткая, как подбадривает меня, живет для меня, я, клянусь, Копперфильд, порой не верю своему счастью.

Тут он стал надевать туфли и, казалось, даже к ним чувствовал нежность, — ведь они были согреты его Софи, — а затем с наслаждением вытянул ноги на решетке камина.

— Положительно порой не верю своему счастью, — еще раз повторил Трэдльс. — А наши развлечения! Боже мой! Правда, они стоят недорого, но как удивительны! Вот вечером, когда остаемся дома, запрем наружную дверь, спустим занавеси (ее произведение), и станет так уютно, что уютнее нам нигде не может быть. А когда погода хороша и вечером мы пойдем с ней пройтись, улицы щедро дарят нас радостями, Мы рассматриваем блестящие витрины ювелирных магазинов, а я показываю Софи, какую из золотистых змей с бриллиантовыми глазками, извивающихся по белому атласу, я преподнес бы ей, если бы у меня были на то средства. А Софи показывает мне золотые часы и многое другое, что подарила бы мне, будь она в состоянии это сделать. Потом мы в витринах начинаем выбирать серебряные ложки, вилки, рыбные ножи, щипцы для сахара, которые охотно купили бы, имей мы оба с ней на это деньги, и мы отходим от витрин совершенно довольные, словно и в самом деле приобрели все это! Затем, когда гуляя по скверам и большим улицам, мы набредем на дом, который сдается в наем, мы иногда осматриваем его и обсуждаем, подошел ли бы он нам, если бы я стал судьей, и начинаем уже распределять комнаты: вот эта комната — для нас, вот эта — для наших девочек... и так далее. По временам мы бываем в театре и, сидя в самых задних рядах партера, наслаждаемся игрой артистов, веря каждому их слову. По дороге домой мы покупаем что-нибудь в съестной лавочке и, придя к себе, роскошно ужинаем, болтая обо всем виденном. Право, Копперфильд, будь я лорд-канцлер, мы не могли бы доставлять себе больше удовольствий!

«Кем бы вы ни были, дорогой Трэдльс, — подумал я, — все, что бы вы ни делали, всегда будет и мило и хорошо».

— Кстати, — спросил я вслух, — вы теперь, надеюсь, уж не рисуете скелеты?

— В сущности, я не могу сказать, что не делаю этого, дорогой мой Копперфильд, — ответил Трэдльс, смеясь и краснея. — На днях, когда я сидел в суде на одной из задних скамей с пером в руке, мне

пришла фантазия проверить, сохранил ли я эту способность, и, боюсь, на скамье оказался нарисованный скелет... в парике!

Мы с ним искренне посмеялись. Затем, глядя с улыбкой на огонь в камине, Трэдльс примирительным тоном проговорил.

— Ах, этот старый Крикль!

— А представьте, у меня письмо от этого старого скота, — сказал я.

— От директора Крикля? — воскликнул Трэдльс. — Быть не может!

— Среди лиц, привлеченных моей растущей известностью, которые обнаружили, что они всегда были очень привязаны ко мне, оказался и этот самый Крикль, — пояснил я, поглядывая на груды писем. — Но он, Трэдльс, уже не директор школы: это дело он оставил и теперь является членом городского магистрата в Мидльсексе.

Я ожидал, что Трэдльс удивится, услышав это, но он почему-то не был удивлен.

— Как думаете вы, мог он пробраться в члены мидльсекского магистрата? — спросил я.

— Боже мой! — отозвался Трэдльс. — Очень трудно ответить на этот вопрос. Быть может, он голосовал за кого-нибудь, одолжил денег кому-нибудь, купил что-либо у кого-либо или иначе как-нибудь оказал услугу кому-нибудь, кто имеет связи с людьми власть имущими.

— Так или иначе, но он член магистрата, — сказал я, — и пишет мне, что он был бы рад показать мне в действии единственную надежную систему тюремной дисциплины, единственный неоспоримый способ приводить к искреннему и прочному раскаянию. И знаете, какой это способ? Одиночное заключение. Что вы скажете?

— Относительно системы? — спросил Трэдльс с серьезным видом.

— Нет, относительно того, чтобы я согласился на предложение и поехал туда вместе с вами?

— Я не возражаю, — заявил Трэдльс.

— Тогда я так и отвечу... Надеюсь, вы помните, не говоря уже об обращении с нами, как этот самый Крикль выгнал из дому своего сына и какую жизнь заставлял вести жену и дочь?

— Прекрасно помню, — отозвался Трэдльс.

— А если бы вы прочли его письмо, то нашли бы, что он самым нежным образом относится к своим заключенным, погрязшим во всевозможных преступлениях.

Мы тут условились относительно времени нашей поездки, и я в тот же вечер написал Криклю. В назначенный день мы с Трэдльсом посетили тюрьму, где Крикль был всемогущ. Это было огромное, внушительного вида здание, стоившее, повидимому, больших денег. Приближаясь к воротам, я не мог не думать о том шуме, который поднялся бы в стране, если бы какой-нибудь безумец предложил израсходовать половину суммы, потраченной на эту тюрьму, на постройку технической школы для подростков или убежища для престарелых.

В конторе, которая могла бы смело служить цокольным этажом<sup>[35]</sup> Вавилонской башни<sup>[36]</sup>, так массивны были ее стены, мы были представлены нашему прежнему наставнику. Он был в обществе двух или трех очень энергичного вида членов магистрата и нескольких приведенных ими гостей.

Крикль принял меня как человек, который в былые годы сформировал мой ум и всегда нежно любил меня. Когда я назвал ему Трэдльса, он хотя и с меньшим энтузиазмом, но заявил, что также всегда был его другом и руководителем.

Наш почтенный «руководитель» успел, конечно, очень постареть и от этого не стал привлекательнее. Физиономия его была более багрова, чем когда-либо. Жидкие, маслянистые седые волосы, без которых я не мог его себе представить, почти все вылезли, толстые же вены на голове были далеко не привлекательны.

После непродолжительного разговора с этими джентльменами, из которого можно было заключить, что на свете нет ничего более важного, чем благосостояние заключенных, и что за дверями тюрьмы делать совершенно нечего, — мы приступили к нашему осмотру. Было обеденное время, и мы начали с большой кухни, где выдавали обеды для передачи в камеру каждому заключенному, причем делалось это с точностью часового механизма, Я тихо указал Трэдльсу на поразительный контраст между обильной и изысканной пищей заключенных и обедами, не говоря уже бедняков, но солдат, моряков, батраков, всей массы честно трудящегося человечества, из которых едва ли один на пятьсот когда-либо обедал хотя бы наполовину так

хорошо, Но я узнал, что «система» требовала усиленного питания. Вообще никому, казалось, не приходило в голову, что возможны какие-либо сомнения относительно исключительно высоких достоинств «системы».

Главными преимуществами «системы» были: полная изоляция заключенных, дабы никто из них не мог ничего знать о своих соседях, а затем создание в них здорового душевного состояния, ведущего к искреннему раскаянию. Но посещение нескольких камер и коридоров, по которым заключенные проходили в церковь и в другие места, показало мне, что заключенные, видимо, знали друг о друге гораздо больше, чем предполагалось, и наладили собственную неплохую систему сношений между собой. Что же касается их раскаяния, то оно внушало мало доверия, ибо выражалось в одних и тех же по смыслу исповедях и почти в одних и тех же словах.

Я обнаружил здесь очень много лисиц, говоривших с пренебрежением о недостижимых виноградниках, и почти не встретил таких, которые устояли бы, будь перед ним положена хотя бы одна кисть из этих самых виноградников. Мне сразу же бросилось в глаза, что наибольший интерес возбуждали те из заключенных, которые откровеннее говорили о своих преступлениях, и они, видимо, широко этим пользовались.

Как бы то ни было, я столько наслышался во время нашего осмотра о каком-то заключенном «Номер Двадцать Семь», что решил отложить вынесение приговора «системе» до тех пор, пока не увижу этого самого Номера Двадцать Семь. Заключенный «Номер Двадцать Восемь», как я понял, был тоже довольно яркой звездой, но, к несчастью для него, слава его несколько меркла благодаря исключительному блеску Номера Двадцать Семь. Мне столько наговорили о благочестивых увещаниях, делаемых Номером Двадцать Семь всем окружающим, и о его частых прекрасных письмах к матери (она, по его мнению, была на очень плохом пути), что я горел нетерпением увидеть его. Но я должен был умерить свое нетерпение, ибо «звезду», видимо, приберегали на закуску. Наконец мы пришли к его камере, и мистер Крикль, заглянув в глазок, проделанный в двери, сообщил с величайшим восхищением, что Номер Двадцать Семь читает псалтырь. По приказу Крикля, дверь камеры была отперта, и Номеру Двадцать Семь предложили выйти в коридор Каково же было

паше с Трэдльсом изумление, когда мы узнали в Номере Двадцать Семь — Уриа Гиппа!

Он тотчас же узнал нас и, по обыкновению извиваясь всем телом, проговорил:

— Как поживаете, мистер Копперфильд? Как поживаете, мистер Трэдльс?

Это привело всех в восторг, являясь доказательством того, что Номер Двадцать Семь был не горд и готов был узнать нас.

— Ну, Номер Двадцать Семь, — обратился к нему мистер Крикль, видимо восхищаясь и одновременно печалясь о нем, — в каком вы сегодня состоянии?

— Я очень смиренен, сэр, — ответил Уриа Гипп.

— Вы всегда таковы, Номер Двадцать Семь, — заявил мистер Крикль.

— Вполне ли хорошо вы себя чувствуете? — спросил с большим беспокойством один из бывших с нами джентльменов.

— Да, благодарю вас, сэр! Мне здесь гораздо лучше, чем когда-либо на свободе. Я теперь вижу, сэр, свои заблуждения, и это дает мне хорошее самочувствие.

Некоторые джентльмены были очень тронуты, и один из них спросил с глубоким чувством:

— Как вы находите мясо, которое получаете?

— Благодарю вас, сэр, — ответил Уриа, — вчера оно было более жестко, чем бы я хотел. Но мой долг — терпеть. Я дурно вел себя, джентльмены (он с кроткой улыбкой посмотрел вокруг себя), и должен нести последствия не жалуясь.

В то время, как слышался шопот восхищения перед таким небесным состоянием души, к которому примешивалось и чувство негодования по отношению поставщика мяса, подавшего повод к жалобе (она была сейчас же записана Криклем), Номер Двадцать Семь продолжал стоять среди нас, как бы чувствуя себя чем-то вроде любопытнейшего экспоната в самом знаменитом музее.

Тут, очевидно, чтобы еще больше просветить нас, неофитов, был дан приказ вывести из камеры и Номера Двадцать Восемь.

Я был уже приведен в такое состояние изумления, что когда появился мистер Литтимер, читая нравоучительную книгу, это на меня как-то мало подействовало.

— Номер Двадцать Восемь, — обратился к нему молчавший до сих пор джентльмен в очках, — на прошлой неделе вы жаловались на плохое качество какао. Стало ли оно с тех пор лучше?

— Благодарю вас, сэр, — ответил мистер Литтимер, — какао стало лучше. Только, если бы я мог взять на себя такую смелость, я сказал бы, что оно готовится не на цельном молоке, но я знаю, сэр, что в Лондоне разбавляют молоко я, конечно, очень трудно достать цельное.

— Каково ваше душевное состояние, Номер Двадцать Восемь?

— Благодарю вас, сэр, — ответил мистер Литтимер, — теперь я вижу свои заблуждения, сэр! И очень сокрушаюсь, думая о грехах моих прежних товарищей, сэр! Но я верю, что они могут обрести прощение.

— Вполне ли вы счастливы?

— Весьма вам обязан, сэр, я совершенно счастлив.

— Заботит ли вас теперь что-либо? Если да, то говорите откровенно, Номер Двадцать Восемь.

— Сэр, — заговорил мистер Литтимер, не поднимая глаз, — если я не ошибаюсь, здесь находится джентльмен, знавший меня в прежней жизни. Этому джентльмену могло бы быть полезно знать, что я всецело приписываю свое прежнее дурное поведение рассеянной жизни, которую вел, находясь в услужении у молодых людей. Я позволял себе итти за ними, не имея сил сопротивляться соблазнам. Надеюсь, сэр, что джентльмен примет мое предостережение, не обижаясь на мою вольность. Оно имеет в виду его пользу. Я сознаю свои прошлые заблуждения и хочу надеяться, что и джентльмен может раскаяться во всем дурном и греховном, в чем он принимал участие.

Я заметил, что некоторые джентльмены заслонили глаза рукой, как это принято при входе в англиканскую церковь.

— Это делает вам честь, Номер Двадцать Восемь! Впрочем, ничего другого я и не ожидал от вас! Имеете ли вы еще что-либо сказать?

— Сэр, — ответил мистер Литтимер с потупленным взором, слегка только приподняв брови, — было время, когда я тщетно старался спасти одну молодую женщину дурного поведения. Так вот, я прошу этого джентльмена, если он сможет, сообщить этой молодой

женщине, то я прощаю ей ее дурное обхождение со мной и призываю ее к раскаянию.

— Я не сомневаюсь, Номер Двадцать Восемь, что джентльмен, к которому вы обращаетесь, очень живо воспринял, подобно всем нам, то, что вы так хорошо сказали. Больше мы не задерживаем вас.

— Благодарю вас, сэра, — промолвил мистер Литтимер. — Джентльмены! Я желаю вам здоровья и надеюсь, что вы и ваши семьи также осознаете свои прегрешения и исправитесь!

С этими словами Помер Двадцать Восемь ушел, обменявшись с Уриа Гиппом взглядом, говорившим о том, что они достаточно знают друг друга и как-то общаются между собой. Когда дверь его камеры за ним закрылась, послышался общий шопот, что он почтеннейший человек и его исправление — великолепный случай.

— Ну, теперь еще поговорим с вами, — обратился к «своему» Номеру Двадцать Семь мистер Крикль. — Нет ли у вас желания, которое мы могли бы выполнить? Скажите прямо!

— Я смиренно просил бы, сэра, разрешения снова написать матери.

— Конечно, оно будет дано вам! — ответил мистер Крикль.

— Благодарю вас, сэра! Я в тревоге относительно матери: боюсь, она в опасности.

Кто-то опрометчиво спросил, что ей грозит, но сейчас же раздалось «тсс...», полное возмущения.

— Ей грозит опасность в будущей вечной жизни, сэра, — ответил, корчась, Уриа. — Мне хотелось бы, чтобы мать моя переживала такое же душевное состояние, как я: хотелось бы, чтобы она была здесь. Да и для каждого было бы лучше, если бы его взяли и посадили сюда.

Эти слова вызвали безграничное удовольствие, мне кажется, наибольшее из полученных до сих пор.

— Прежде чем попасть сюда, — начал Уриа, бросая украдкой на нас взгляд, говоривший о том, что он охотно уничтожил бы, если бы мог, тот внешний мир, к какому мы принадлежали, — я предавался безрассудствам. Теперь я осознал их. Вне этих стен много грехов. Много их и у моей матери. Грех господствует повсюду, за исключением этого места.

— Вы, значит, совершенно изменились? — спросил мистер Крикль.



— О боже мой! Конечно, изменился, сэр!

— И, выйдя отсюда, вы не стали бы снова грешить? — поинтересовался кто-то из присутствующих.

— О боже мой! Конечно, не стал бы грешить, сэр!

— Ну, это чрезвычайно утешительно, — заявил мистер Крикль. — Вы, Номер Двадцать Семь, я видел, обращались к мистеру Копперфильду. Не желаете ли вы еще что-нибудь сказать ему?

— Вы знали меня, мистер Копперфильд, задолго до того, как я попал сюда и изменился, — сказал мне Уриа (при этом он посмотрел на меня таким омерзительным взглядом, какого я никогда даже у него не видел), — знали, когда, несмотря на свои заблуждения, я был смиренным среди гордых и кротким среди жестоких. Вы сами, мистер Копперфильд, были жестоки ко мне; однажды, помните, ударили меня по лицу?

Общее соболезнование. Несколько негодующих взглядов в мою сторону.

— Но я прощаю вам, мистер Копперфильд, всем прощаю. Мне ли питать к кому-либо злобу? Добровольно прощаю вам и надеюсь, что вы обуздаете в будущем свои страсти. Надеюсь также, что мистер У., и мисс У., и вся эта грешная компания раскается. Вас посетило горе, и я надеюсь, что это послужит вам на благо. Но было бы полезнее, если бы вы попали сюда, а также и мистер У. и мисс У. Лучшее мое пожелание вам, мистер Копперфильд, и всем вам, джентльмены, это — чтобы вы очутились в этих стенах. Когда я думаю о своих прошлых заблуждениях и своем теперешнем состоянии, я уверен, что это было бы самым лучшим для вас. Горячо сожалею о всех, кого не доставили сюда.

Тут он проскользнул в свою камеру под возгласы всеобщего одобрения, а мы с Трэдльсом, когда его заперли, признаться, почувствовали большое облегчение.

Характерно для обоих покаяний было то, что мне захотелось узнать, что вообще могли натворить эти двое людей, для того чтобы попасть сюда. Но присутствующие отказались наотрез ответить на мой вопрос. Тогда я обратился к одному из двух тюремщиков, по выражению лиц мне показалось, что они прекрасно знают цену всей этой комедии.

— Известно ли вам, — заговорил я, когда мы шли по коридору, — каково было последнее «безрассудство» Номера Двадцать Семь?

— Случай в банке, — сказал он.

— Должно быть, какое-нибудь мошенничество в государственном банке? — спросил я.

— Да, сэр, мошенничество, подлог и злоумышление. Он вовлек в это и других. Дело шло о большой сумме денег. Приговор — пожизненная каторга. Будучи самым хитрым и ловким из этой шайки, он почти было вышел сухим из воды, но банку удалось-таки насыпать ему соли на хвост, и поделом.

— А знаете вы, какое преступление совершил Номер Двадцать Восемь? — еще поинтересовался я.

— Номер Двадцать Восемь, — начал мой осведомитель, как раньше, вполголоса и оглядываясь кругом, очевидно опасаясь, чтобы Крикль и его приспешники не услышали, что он сообщает противозаконные сведения о двух «безупречных», — так вот, этот Номер Двадцать Восемь (ему тоже каторга) поступил в услужение к какому-то молодому джентльмену, и в ночь накануне их отъезда за границу он похитил у своего хозяина денег и ценностей на двести пятьдесят фунтов стерлингов. Мне особенно запомнился этот случай, потому что этот самый Номер Двадцать Восемь был пойман карлицей.

— Кем?

— Крошечной женщиной. Я забыл ее имя.

— Не Маучер ли?

— Вот-вот! Он успел ускользнуть от преследований и пробирался уже в Америку в белокуром парике и в таких же накладных бакенбардах, так ловко замаскированный, как вы, наверно, во всю жизнь не видывали, но крошечная женщина, заметив его разгуливающим по улице Саутгемптона, умудрилась-таки моментально разглядеть его своими острыми глазенками. Она бросилась ему под ноги, чтобы свалить его, и вцепилась в него, как безжалостная смерть.

— Чудесная мисс Маучер! — вырвалось у меня.

— Да, это действительно можно было сказать, если бы вы, как я, видели ее стоящей на стуле в ложе свидетелей, — вставил мой друг.

— Когда крошка схватила его, — продолжал тюремщик, — он рассек ей все лицо и избил ее самым жестоким образом, но она не выпустила его до тех пор, пока его не засадили в тюрьму. Эта маленькая женщина так вцепилась в него, что полицейские чиновники были принуждены взять их вместе. Потом на суде она давала показания так смело, что заслужила высшую похвалу судей, а публика сделала ей овацию и проводила до самого ее дома. На суде крошка заявила, что, зная все деяния этого субъекта, она захватила бы его голыми руками, будь он самим Самсоном<sup>[37]</sup>. И я уверен, что она это и сделала бы, — добавил тюремщик.

Я был такого же мнения и почувствовал к мисс Маучер величайшее уважение.

Теперь мы видели все, что стоило видеть. Было бы совершенно напрасно доказывать такому субъекту, как «почтеннейший» мистер Крикль, что Номер Двадцать Семь и Номер Двадцать Восемь верны себе и совершенно те же, что были и раньше: лицемерные негодяи, способные вот к подобным покаяниям в таких местах, знающие не хуже нас, как это котируется на филантропической бирже, и ожидающие, что их лицемерие должно сослужить им службу в ссылке. Словом, напрасно было бы доказывать, что все это в общем отвратительно, фальшиво и ужасно непристойно.

И мы, предоставив этих джентльменов их «системе», расстались с ними, с «системой» и, недоумевающие, отправились домой.

— А знаете, Трэдльс, — сказал я дорогой, — быть может, и полезно гнать всюю своего хилого конька, ибо так его можно скорее загнать досмерти.

— Хочу надеяться, что это так, — отозвался Трэдльс.

## ***Глава XXXIII***

# ***НАД МОИМ ЖИЗНЕННЫМ ПУТЕМ ЗАСИЯЛ СВЕТ***

Прошло уже больше двух месяцев со времени моего возвращения из-за границы. Приближалось рождество. С Агнессой я виделся часто. Как ни дорожил я лестными отзывами публики, как ни поощряли они меня в моей литературной работе, но малейшая ее похвала была мне в тысячу раз дороже всех этих дифирамбов.

По крайней мере раз в неделю, а иногда и чаще, я ездил верхом к Уикфильдам и проводил у них вечер. Обыкновенно возвращался я домой ночью. У меня попрежнему так тяжело было на душе, — и тяжесть эта еще больше увеличивалась, когда я расставался с Агнессой, — что я рад был проехаться верхом, вместо того чтобы, лежа в постели, терзаться бесплодными сожалениями или мучительными снами. Конечно, и едучи верхом, я не мог совершенно не думать о том, что бродило в моей голове во время моего пребывания за границей, но это было как бы эхо, доносившееся ко мне издалека. Я старался гнать от себя эти мысли и примириться с тем, что считал непоправимым.

Когда мне приходилось читать Агнессе рукопись своего нового произведения и я видел, как она внимательно слушает, когда при этом звучал ее смех или на глазах ее блестели слезы, когда она с таким жаром говорила о героях и происшествиях того фантастического мира, в котором я жил, — я с такой болью в сердце думал о том, как бы я мог быть счастлив. Но я мечтал об этом так, как, будучи женат на Доре, мечтал о том, какой хотел бы я видеть свою женушку-детку. Я чувствовал, что, испортив себе собственную жизнь, я не вправе эгоистично тревожить сестрину любовь Агнессы. Я прекрасно сознавал, что сам во всем виноват, а потому не смею роптать. Но я любил Агнессу, и для меня служило некоторым утешением рисовать себе в далеком будущем день, когда я смогу без угрызений совести сказать ей: «Вот что пережил я, когда вернулся тогда из-за границы. Теперь я старик, но с тех пор другой любви не знал».

А в Агнесе я не мог подметить ни малейшей перемены: она относилась ко мне совершенно так же, как и всегда.

У нас с бабушкой с самой ночи моего возвращения из-за границы установилось какое-то безмолвное соглашение вместе думать об Агнесе, не произнося ни слова. Когда мы с бабушкой, по нашей давнишней привычке, засиживались поздно вечером у горящего камина, мы часто погружались в такую безмолвную беседу. Она нам казалась такой естественной, словно мы с бабушкой условились о ней, и молчания нашего мы никогда не нарушали. Мне кажется, что еще в ту ночь бабушка прочла если не все мои мысли, то хоть часть их, к потому прекрасно понимала причину моего молчания.

Приближались рождественские праздники, а Агнеса все не открывала мне своей сердечной тайны. Меня начинала очень угнетать мысль, что она, поняв состояние моей души, молчит, чтобы не причинить мне мучений. Если же это было так, то жертва моя являлась совершенно излишней.

Значит, долга своего я не выполнил и ежечасно делал то, чего твердо дал себе слово избегать. И я решил во что бы то ни стало выяснить это и, если действительно такая преграда возникла между нами, разрушить ее, чего бы это мне ни стоило.

Был холодный, неприятный зимний день. Как не помнить мне его! За несколько часов перед этим выпал снег. Из моего окна было видно, как на море бушует суровый северный ветер, и я мысленно перенесся в недоступные человеку зимой Швейцарские горы, где свирепствуют теперь снеговые метели, и размышлял о том, где, в сущности, чувствуешь себя более одиноко — в тех горах или здесь, на этом пустынном море.

— Трот, вы сегодня собираетесь проехаться верхом? — спросила бабушка, приоткрыв дверь и заглядывая в комнату.

— Да, думаю съездить в Кентербери, — ответил я. — Хороший денек для верховой езды!

— Не знаю только, что на этот счет думает ваша лошадь, — заметила бабушка. — Пока что, стоя там у дверей, она опустила голову и прижала уши. У нее такой вид, что, пожалуй, она предпочла бы остаться в конюшне.

Надо тут кстати сказать, что бабушка допускала на свою заветную лужайку мою лошадь, но к ослам была попрежнему

неумолима.

— Ничего, — отозвался я, — лошадка сейчас же приободрится.

— Во всяком случае, прогулка принесет пользу ее хозяину, — проговорила бабушка, поглядывая на рукописи на моем столе. — Ах, мой мальчик, сколько часов вы убиваете на это писание! Никогда раньше, читая книги, не представляла я, как много стоят они труда!

— Да и прочесть их иногда не малый труд! — ответил я. — А что касается работы писателя, то она имеет и свою прелесть.

— Знаю, знаю, что вы хотите сказать: честолюбие, жажда похвал, поклонение и, вероятно, еще многое другое в этом роде. Ну, хорошо! Поезжайте. Добрый путь!

— Бабушка, не знаете ли вы чего нового относительно той привязанности Агнессы, о которой, помните, вы говорили мне тогда вечером? — спросил я, спокойно стоя перед бабушкой (она только что, потрепав меня по плечу, опустилась в мое кресло).

Бабушка некоторое время молча смотрела на меня, а затем ответила:

— Думаю, что знаю, Трот.

— Значит, ваши догадки подтвердились?

— Мне кажется, да, Трот.

Бабушка смотрела на меня так пристально, и во взгляде ее проглядывало такое беспокойство, жалость, нерешительность, что я сделал над собой величайшее усилие, чтобы казаться веселым.

— И знаете, Трот, что мне кажется?

— Что, бабушка?

— Мне кажется, что Агнесса скоро выйдет замуж.

— Да благословит ее господь! — весело воскликнул я.

— Да благословит господь ее и ее мужа, — добавила бабушка.

Я присоединился к этому пожеланию, простился с нею, сбежал с лестницы, вскочил на лошадь и поскакал. Уменя теперь было еще больше оснований сделать то, что я решил.

Как памятна мне эта зимняя поездка! Обледенелые снежинки, сметаемые ветром с сухой травы, бьют мне в лицо. Звонкий стук лошадиных копыт словно отбивает такт по замерзшей дороге. Кругом снежные белые поля. Лошади везущие воз с сеном, останавливаются, чтобы передохнуть на пригорке, от них валит пар, звучно побрякивают их колокольчики.

Я застал Агнессу одну. Ее маленькие воспитанницы разъехались по домам. Она сидела у горящего камина и читала. Когда я вошел, она отложила книгу в сторону. Поздоровавшись со мной, она, по обыкновению, взяла свою работу и уселась у одного из старинных окон гостиной. Я примостился подле нее, и мы стали говорить о моей книге. Агнессу интересовало, когда я думаю ее закончить и что успел я сделать с тех пор, как был у них последний раз. Она была в очень веселом настроении и, смеясь, уверяла, что скоро я стану слишком знаменит для того, чтобы со мной можно было говорить о таких вещах.

— Поэтому, как видите, я и пользуюсь, пока с вами можно говорить об этом, — улыбаясь, прибавила она.

Я смотрел на ее красивое лицо, склонившееся над работой. Она подняла свои ясные, кроткие глаза и увидела, что я гляжу на нее.

— Вы сегодня что-то задумчивы, Тротвуд, — промолвила она.

— Агнесса, можно мне вам сказать, почему я задумчив? Нарочно для этого я и приехал.

Агнесса, как всегда, когда у нас с ней бывал серьезный разговор, отложила работу и с самым внимательным видом приготовилась меня слушать.

— Дорогая Агнесса, разве вы сомневаетесь в том, что я ваш верный, преданный друг?

— Нет, — ответила она, с удивлением глядя на меня.

— Неужели вы сомневаетесь в том, что для вас я такой же, каким был и всегда?

— Нет, — еще раз проговорила она.

— Помните, дорогая Агнесса, когда я вернулся из-за границы, я пытался высказать, какую чувствую к вам безграничную благодарность и горячую дружбу?

— Да, я помню это, — ласково промолвила она, — Прекрасно помню.

— У вас есть тайна, — откройте мне ее, Агнесса!

Она опустила глаза и вся задрожала.

— Конечно, я и сам узнал бы, если бы не услышал, — удивительно только, что не из ваших уст, Агнесса, — что есть кто-то, кому вы отдали свою драгоценную любовь. Не скрывайте же от меня

своего счастья! Будьте со мной всегда, а особенно в данном случае, как с братом и другом.

Она встала и, взглянув на меня умоляюще и даже несколько укоризненно, прошла по комнате, словно не сознавая, что она делает, и вдруг, закрыв лицо руками, зарыдала так, что у меня замерло сердце. Однако эти рыдания пробудили во мне тень надежды. Они почему-то ассоциировались с той грустной улыбкой, не раз подмеченной мной на лице Агнессы, и вызвали в моей душе скорее надежду, чем страх или огорчение.

— Агнесса! Сестрица! Любимая моя! Что я наделал!

— Дайте мне выйти отсюда, Тротвуд... Мне что-то нехорошо... Я сама не своя... Потом как-нибудь поговорю с вами... в другой раз... Напишу вам. А сейчас не говорите со мной, не говорите!..

— Агнесса, мне невозможно видеть вас в таком состоянии и знать, что я виновен в этом. Дорогая моя девочка, самая дорогая на свете, если вы несчастливы, поделитесь со мной своим горем. Если вы нуждаетесь в помощи или совете, разрешите мне попытаться быть вам полезным. Если у вас на сердце тяжело, позвольте мне облегчить это! Ведь для кого же теперь я живу, Агнесса, как не для вас?

— О, сжальтесь надо мной!.. Я сама не своя... В другой раз... — Вот все, что я мог разобрать из ее ответа.

«Что это — ошибка, самомнение? — пронеслось в моей голове. — Или в самом деле проблеск надежды на то, о чем я и не смел даже и мечтать?»

И я снова заговорил:

— Нет, я должен вам все сказать. Я не могу допустить, чтобы вы покинули меня. Ради бога, Агнесса, после стольких лет дружбы, после всего, что они принесли нам, не будем обманывать друг друга! Я должен высказать все чистосердечно! Если у вас есть тень подозрения, что я могу завидовать тому счастью, которое вы кому-то дадите, и не буду в силах примириться с мыслью, что у вас есть более дорогой для вас избранник и защитник, что я не смогу радоваться вашему счастью, — бросьте эти мысли: я не заслужил этого. Поверьте, Агнесса, не совсем напрасно я так много выстрадал, и не пропали даром ваши уроки. В любви моей к вам нет ни капли эгоизма!



Теперь она уже успокоилась. Немного погодя она повернула ко мне свое побледневшее лицо и сказала прерывающимся, но ясным голосом.

— Я не сомневаюсь, Тротвуд, в вашей чистой, искренней дружбе, и вот она-то и заставляет меня откровенно сказать вам, что вы ошибаетесь. Когда в минувшие годы я нуждалась подчас в помощи и совете, я не оставалась без них. Порой я чувствовала себя несчастной, но это уже позади. На сердце у меня бывало тяжело, теперь же стало легче. Если же у меня и есть тайна, то она не нова и не та, которую вы предполагаете. Я не могу ни открыть ее, ни поделиться ею. Тайна эта всегда была только моей и должна остаться моей.

— Агнесса! Погодите! Еще один миг!..

Она хотела уйти, но я удержал ее, обнял за талию. Ее фраза: «Эта тайна не нова», вихрем заставила кружиться в голове моей новые мысли, новые надежды, и мне казалось, что вся жизнь моя озарилась новым светом.

— Агнесса, дорогая моя, любимая! Когда сегодня я явился сюда, то был уверен, что никакая сила не может вырвать у меня это признание. Я думал, что тайну свою я буду носить в сердце до тех пор, пока мы с вами не состаримся. Но вдруг, Агнесса, у меня мелькнула надежда, что, быть может, когда-нибудь я смогу назвать вас не сестрой, а именем, в тысячу раз более дорогим!

Слезы заструились по ее щекам. Но это не были прежние слезы, в них засияло для меня еще больше надежды.

— Агнесса! Звезда моя путеводная! Если бы вы, когда мы с вами росли здесь вместе, больше думали о себе и меньше обо мне, то никогда мое мальчишеское воображение не отвлекло бы меня от вас! Но вы всегда казались мне на такой высоте, вы так охотно выслушивали рассказы о моих детских увлечениях и разочарованиях, что я как-то незаметно привык смотреть на вас, как на дорогую сестру. Вот причина, почему та любовь, которую я всегда чувствовал к вам, была временно как бы заглушена...

Она продолжала плакать, но это были не горькие слезы печали, а радостные, сладкие слезы. И я обнимал ее так, как никогда не обнимал и никогда не мечтал, что могу обнимать.

— Когда я любил Дору, и нежно любил, — вы, Агнесса, это знаете... — начал я.

— Да! — с жаром воскликнула она. — И рада знать это!

— Так вот, когда я так любил свою женушку-детку, то и тогда мне нужна была ваша дружба. А когда я потерял ее, что было бы тогда со мной без вас?

Я еще крепче обнял ее и прижал к своему сердцу. Ее дрожащая рука лежала на моем плече, а ее милые любимые глаза сквозь радостные слезы глядели в мои.

— И уезжая за границу, я любил вас, дорогая моя, и там, в чужих краях, любил, и вернувшись — люблю!

Тут я попытался изобразить ей свою душевную борьбу, поведал ей решение, к которому я пришел, старался самым искренним образом открыть ей всю душу. Я рассказал ей, как благодаря пережитым страданиям я лучше узнал и себя и ее, как, считая, что она любит другую, я примирился с этим и даже сегодня приехал, чтобы выяснить это.

— Если вы настолько меня любите, чтобы выйти за меня замуж, — закончил я, — то, конечно, не потому, что я этого заслуживаю, а потому только, что цените мою великую любовь и ту душевную борьбу, в которой эта любовь созрела.

— Я так счастлива, Тротвуд! Сердце мое переполнено счастьем! Но мне надо сказать вам что-то...

— Что, моя любимая?

Она положила свои милые руки мне на плечи и спокойно смотрела мне в глаза.

— Догадываетесь ли вы о том, что я вам скажу?

— Боюсь даже думать! Говорите, дорогая!

— Всю жизнь я любила вас!

Ах, как мы были счастливы! Как счастливы! Мы плакали — не о минувших горестях, но от восторга, что ничто больше не разлучит нас!

В этот зимний вечер мы пошли с ней гулять за город. И блаженное спокойствие, царившее в наших душах, словно передалось морозному воздуху. Мы не спешили возвращаться. На небе начали загораться звезды, и мы, глядя на них, благодарили бога за то, что наконец он привел нас к спокойному счастью...

Ночью мы с ней стояли у того же старинного окна гостиной. Сияла луна. И Агнесса своими спокойными глазами и я — мы оба

глядели на нее, а мне рисовалась длинная-предлинная дорога, по которой бредет одинокий, всеми брошенный, истомленный мальчуган в лохмотьях... И вот этому мальчугану суждено было овладеть сердцем, которое билось сейчас подле моего...

Приближалось время обеда, когда мы на следующий день явились к бабушке. Пиготти сказала нам, что она в моем кабинете. (Милая моя бабушка особенно старалась держать его в порядке). Мы застали ее в очках, с книгой, у камина.

— Ах, господи! — воскликнула она, стараясь рассмотреть сквозь сумерки. — Кого это вы привезли с собой, Трот?

— Агнессу!

Мы условились, что сразу бабушке ничего не будем говорить. И вот, когда я объявил, что привез Агнессу, в глазах бабушки блеснула была надежда, но, увидя, что я такой же, как всегда, она с отчаянием сорвала очки и стала тереть себе ими нос.

Тем не менее она очень сердечно поздоровалась с Агнессой, и скоро мы спустились обедать в ярко освещенную столовую. За обедом бабушка два или три раза надевала очки, чтобы получше поглядеть на меня, но каждый раз с разочарованным видом снимала их и снова начинала тереть себе ими нос. Мистер Дик был этим очень встревожен, зная, что это предвещает мало хорошего.

— Кстати, бабушка, — сказал я после обеда, — я ведь передал Агнессе то, что вы мне говорили.

— Ну, нехорошо же вы поступили, Трот, не сдержав своего обещания! — вся красная от негодования воскликнула старушка.

— Бабушка, надеюсь, вы не будете сердиться, узнав, что Агнесса вовсе не несчастлива в любви.

— Какой вздор вы несете! — опять воскликнула бабушка.

Заметив, что она на самом деле сердится, я счел за благо не тянуть больше. Я обнял Агнессу, и мы оба наклонились над бабушкиным креслом. Она взглянула на нас, всплеснула руками, истерически засмеялась, а затем зарыдала. Это был первый и последний раз, когда я увидел бабушку в истерике.

На шум прибежала Пиготти и принялась ухаживать за бабушкой. Несколько успокоившись, бабушка бросилась к Пиготти и, обзывая ее «старой дурой», принялась обнимать ее. После этого она кинулась обнимать также и мистера Дика (старик был в высшей степени

польщен, но также и чрезвычайно смущен) и наконец объяснила причину своего восторга. И тут все мы пережили большое, большое счастье...

Через две недели мы обвенчались. Трэдльс и доктор Стронг с их женами были единственными гостями на нашей скромной свадьбе. Когда мы садились в экипаж, отправляясь в свадебное путешествие, все были в самом радужном настроении. При громких радостных криках двинулся наш экипаж. Мы были вдвоем. Я обнял и прижал к себе ту, которая явилась источником всего, что было во мне хорошего, ту, которая была центром всей моей жизни. Я обнял мою собственную дорогую жену... и чувствовал, что любовь моя к ней зиждется на скале.

— Дорогой муженек, — тихо промолвила Агнесса, — теперь, когда я могу вас так назвать, мне надо еще что-то сказать вам.

— Говорите, моя любимая!

— Это произошло в ту ночь, когда умерла Дора. Помните, она послала вас за мной?

— Помню.

— Когда я пришла к ней, она сказала, что оставляет мне какое-то наследство. Догадываетесь вы, что это было?

Мне казалось, что я догадался, и я еще крепче прижал к себе ту, которая так давно любила меня.

— Дора прибавила, что у нее есть ко мне последняя просьба, последнее поручение.

— Какое же?

— Чтобы только я заняла опустевшее место.

Прильнув головой к моей груди, Агнесса заплакала, — и я плакал с ней, хотя мы были очень, очень счастливы...

## *Глава XXXIV*

### *ГОСТЬ*

Я почти подхожу к концу своего повествования; но есть еще одно событие, на котором мысли мои всегда останавливаются с огромным удовольствием; не рассказать о нем — значило бы не закрепить одной нити в сотканной мной паутине.

Прошло уже счастливых десять лет. И известность и состояние мое за это время возросли. Я наслаждался идеальной семейной жизнью. Однажды весенним вечером мы сидели с Агнессой в нашем лондонском доме у горящего камина, трое наших детей играли тут же, когда вдруг слуга доложил мне, что какой-то незнакомец желает видеть меня. На вопрос слуги, явился ли он по делу, незнакомец ответил отрицательно и заявил, что приехал он издалека ради удовольствия навестить меня. По словам того же слуги, это был старик, похожий на фермера. Все это нашим детям показалось очень таинственным, к тому же еще напомнило им начало любимой их сказки, которую им рассказывала Агнесса где злая, всех ненавидящая фея появляется в мужском плаще, — и среди них произошло некоторое смятение. Один из мальчуганов прижался к маме, уткнув головку в ее колени, а маленькая Агнесса, наш первенец, оставив на стуле своей представительницей куклу, спряталась за оконные занавески, откуда из-под золотистых кудрей выплывали ее быстрые глазки.

— Попросите гостя войти сюда, — сказал я слуге.

Вскоре появился высокий крепкий седой старик и остановился в полутьме у двери. Маленькая Агнесса, которую гость сразу покорила своим добродушным видом, выбежала из-за занавески, чтобы ввести его. Не успел я еще разглядеть его лицо, как моя жена, вскочив со своего места, крикнула мне радостно-взволнованным голосом:

— Да ведь это мистер Пиготти!

Действительно, это был мой старый друг. Он, правда, постарел, но был румян, крепок и силен. Когда первое радостное волнение улеглось и дорогой гость уселся против пылающего камина с нашими

детьми на коленях, мне показалось, что я никогда в жизни не видел более крепкого и красивого старика.

— Мистер Дэви!.. — начал он, и как естественно и привычно прозвучало для меня давно знакомое имя, произнесенное давно знакомым тоном. — Мистер Дэви, какая для меня радость увидеть вас с вашей собственной верной женой!

— Да, поистине радостный час и для меня, старый друг! — воскликнул я.

— А что за хорошенькие крошки! Люблю смотреть на эти цветки! — воскликнул старик. — Знаете, мистер Дэви, вы были не больше самого младшего из них, когда я в первый раз увидел вас. Маленькая Эмми была такая же, а наш бедный Хэм тоже был еще подростком.

— Время с тех пор больше изменило меня, чем вас, — заметил я. — Однако этим милым шалунам пора идти спать, — прибавил я. — Вы сейчас же скажете мне, куда послать за вашими вещами (ведь само собой разумеется, что вы будете жить у нас), а затем за стаканом ярмутского грога вы сообщите нам все новости за десять лет.

— Вы одни приехали? — спросила Агнесса.

— Да, мэм, один-одинешенек, — ответил старик, целуя руку жены.

Мы с Агнессой усадили нашего дорогого гостя между собой и не знали уж, как и приласкать его и выразить нашу радость. Слыша так давно знакомый голос, я мог вообразить, что старик все еще странствует в поисках своей любимой племянницы.

— Уж и сколько воды надо переплыть, чтобы добраться до вас! — проговорил мистер Пиготти. — Побывать же здесь придется всего каких-нибудь четыре недели. Впрочем, вода, да еще соленая, вещь для меня привычная. А для дорогих друзей как не переплыть и морей!.. Да я что-то стихами заговорил! — сам удивился мистер Пиготти. — Совсем не имел такого намерения!

— Неужели вы так скоро хотите пуститься обратно в такой дальний путь? — сказала Агнесса.

— Да, мэм, — ответил он, — уезжая, я обещал Эмми не засиживаться здесь. Видите ли, года не молодят, и если бы я сейчас не попал сюда, то, быть может, уж и никогда не пришлось бы. А мне хотелось во что бы то ни стало, пока я еще не совсем состарился,

повидать вас, мистер Дэви, вашу славную, точно цветочек, хозяйошку, полюбоваться на ваше семейное счастье.

И он смотрел на нас такими глазами, словно не мог насмотреться. Агнесса, смеясь, откинула с его лба седые кудри, как бы для того, чтобы он лучше мог нас разглядеть.

— А теперь, — обратился я к нему, — подробно расскажите нам про свое житье-бытье.

— Ну, мистер Дэви, об этом недолго рассказывать! Ведь мы ехали туда не для того, чтобы сидеть сложа руки, а ехали, чтобы трудиться, — мы же всю жизнь трудились, — и заработали мы там, как должно, и хотя сначала, быть может, нам и пришлось тяжеленько, но мы, не унывая, изо всех сил продолжали работать. И вот, слава богу, помаленьку обзавелись мы и овцами и другой скотиной, обзавелись вообще и тем и другим в хозяйстве. А теперь, можно сказать, мы преуспеваем. Словно какое-то благословение божие нам ниспослано, — прибавил мистер Пиготти, благоговейно склонив голову, — Если вчера что-либо не вышло, так выйдет сегодня, а не сегодня, так уж непременно завтра.

— А как Эмилия? — спросили мы с Агнессой в один голос.

— С тех пор, мэм, как вы простились с ней, мне никогда не случалось слышать за все время нашей жизни в лесах, чтобы Эмми не упомянула вашего имени в своих молитвах. Так вот, когда мы потеряли вас из виду, мистер Дэви... помните, еще был такой яркий солнечный закат?... она чувствовала себя очень плохо. Мне кажется, узнай она тогда про то, что мистер Дэви был так добр скрыть от нас, пожалуй, бедняжка не перенесла бы этого. На корабле было несколько больших бедняков, и она стала ухаживать за ними. Были на корабле и дети, и с ними она также принялась возиться. У нее явилось дело, доброе дело, и это помогло ей.

— Когда же она узнала о несчастье? — спросил я.

— Первым услыхал о нем я и почти целый год скрывал от Эмми, — ответил мистер Пиготти. — Мы жили тогда в очень пустынном месте, но какой там был красивый лес, какие чудесные розы вились по всему нашему домику до самой крыши!.. Однажды, когда я работал в поле, зашел к нам земляк из Порфолкского или Суффолкского графства... уж не помню, из какого именно. Конечно, его радушно встретили, накормили, напоили, приютили. Так мы все в

колонии делаем. У этого самого земляка и оказалась старая газета, да еще какой-то напечатанный рассказ об этой ужасной буре... Вот таким образом Эмми об этом и узнала. Когда я вернулся вечером домой, ей уже все было известно.

Он произнес последние слова более тихим голосом, и на лице его появилось хорошо знакомое мне серьезное выражение.

— Что, это очень на нее подействовало? — снова в один голос спросили мы с Агнессой.

— Да, очень подействовало, — качая головой, ответил мистер Пиготти, — да, верно, и до сих пор она не совсем еще пришла в себя. Мне думается, ей пользу принесло одиночество, и еще помогало справляться с горем то, что ей приходилось смотреть за птицей и вообще за домашним хозяйством. Интересно знать, мистер Дэви, — задумчиво проговорил он, если бы вы теперь увидели мою Эмми, узнали бы вы ее?

— Да разве она так изменилась? — сказал я.

— Право не знаю. Я ведь вижу ее каждый день, а тогда это не так бросается в глаза. Но все-таки иной раз мне кажется, что она совсем не та. Такая она худенькая, словно измученная, — рассказывал мистер Пиготти, глядя в огонь, — кроткие ее голубые глазки грустны, личико худенькое, хорошенькая головка все больше к земле клонится, вид какой-то робкий... вот вам теперешняя Эмми.

Мы молча глядели на него, а он попрежнему сидел, уставившись в огонь.

— Некоторые из наших соседей, — снова заговорил старик, — думают, что она была несчастна в любви, а другие считают, что у нее перед самой свадьбой умер жених. Никто не знает, что с нею приключилось. У Эмми было много случаев хорошо выйти замуж, но она объявила мне: «Нет, дядюшка, с этим навсегда покончено». Со мной она весела, а когда кто придет, сейчас же исчезает. Охотно пойдет бог знает как далеко поучить ребенка, поухаживать за больным, помочь готовить приданое девушке, выходящей замуж. (Сказать к слову, она для многих таких девушек трудилась над их приданым, но никогда не бывала ни на одной свадьбе). Старого своего дядю она крепко любит. Очень терпелива. Вокруг в ней души не чают и старые и малые. Каждый, кто в беде, идет к ней. Вот какова теперь Эмми.



Старик провел рукой по лицу, подавил вырвавшийся у него из груди вздох и, оторвав глаза от огня, стал смотреть куда-то вверх.

— А Марта все еще живет с вами? — поинтересовался я.

— Нет, мистер Дэви, она на второй же год после нашего приезда вышла замуж. За нее посватался один парень, батрак фермера, возивший мимо нас разные припасы своего хозяина на соседний рынок: это, знаете, прогулочка миль в пятьсот в оба конца! И вот этот самый парень захотел на ней жениться (женщин ведь у нас там мало), чтобы потом с нею вместе устроиться на своем хозяйстве в наших зарослях. Марта попросила меня рассказать этому парню всю ее историю. Я это сделал. Они поженились и живут теперь миль за четыреста от всякого человеческого жилья, — там, кроме собственного голоса да певчих птиц, ничего не услышите!

— Ну, а как миссис Гуммидж? — спросил я. Очевидно, это была веселая тема, так как мистер Пиготти вдруг разразился громким хохотом и стал потирать свои колени руками совершенно так же, как делал это, бывало, находясь в особенно веселом настроении, в своей ярмутской старой барже.

— Поверите ли! — воскликнул он. — Ведь и за нее сватались! Ну, вот провались я на этом месте, если корабельный повар, собиравшийся стать колонистом, не предлагал ей руки и сердца!

Я никогда не видел, чтобы Агнесса так неудержимо смеялась. Сообщенное мистером Пиготти и то, как он передавал это, до того восхитило ее, что она просто заливалась смехом, и чем больше хохотала она, тем больше хохотал и я, и тем в еще больший экстаз приходил мистер Пиготти, все сильнее и сильнее при этом потирая себе колени.

— А что же ответила повару миссис Гумми? — спросил я когда наконец был в состоянии это сделать.

— Поверите ли, — ответил мистер Пиготти, — вместо того, чтобы сказать: «Покорно вас благодарю, очень вам обязана, но в таких летах я не хочу менять своего положения», миссис Гуммидж схватила бывшее под рукой ведро и надела его на голову злосчастному повару. Бедняга принялся кричать не своим голосом. Я прибежал и выручил его.

Тут мистер Пиготти снова разразился хохотом, а мы не отставали от него.

— Но знаете, мистер Дэви, — через некоторое время заговорил старик, утирая лицо, когда мы все уже обессилели от хохота, — я должен сказать к чести этой доброй женщины, что она не только выполнила все, что обещала, но даже больше того. Старушка была для нас самой старательной, самой верной, самой чудной помощницей на свете. Ни разу я не слышал, чтобы она пожаловалась на одиночество или заброшенность даже в самое первое время, когда для нас в колонии все было внове. И вот что еще удивительно: она с тех пор, как покинула Англию, ни разу не вспомнила о своем старике.

— Ну, а теперь расскажите нам, как чувствует себя мистер Микобер, — попросил я. — Должно быть ему неплохо живется, так как он уплатил по всем своим «денежным обязательствам», не исключая даже векселя Трэдльса... Ведь вы помните это, дорогая Агнесса?.. Но все-таки интересно получить о нем самые свежие новости.

Улыбаясь, мистер Пиготти вынул из большого кармана пакет с бумагами и осторожно вытащил оттуда небольшого формата и странного вида газету.

— Надо вам сказать, мистер Дэви, что когда наши дела наладились, мы из зарослей перебрались в порт Мидльбей, — это, знаете, то, что мы там зовем городом.

— А перед этим мистер Микобер был вашим соседом в зарослях? Не так ли? — спросил я.

— Да, как же! — ответил мистер Пиготти. — И еще с каким усердием он там работал! Никогда, верно, не придется увидеть, чтобы джентльмен так из кожи лез на работе. Точно сейчас вижу его перед собой с его лысиной, как он обливается потом на тамошнем солнышке! Я порой, мистер Дэви, просто боялся, как бы он совсем не растаял. А теперь он судья!

— Судья? Вот как! — воскликнул я.

Мистер Пиготти указал мне на заметку в извлеченной им из кармана мидльбейской газете, и я прочел вслух следующее:

«Вчера в большом зале местной гостиницы состоялся обед в честь и нашего знатного соотечественника-колониста, и согражданина здешнего города, и судьи Мидльбейского округа Вилькинса Микобера эсквайра <sup>[38]</sup>. Зал был набит битком. Уверяют, что не менее сорока семи персон сидело за столом, не говоря уже о тех, кто толпился в

коридорах и на лестнице. Все самое красивое, самое светское, самое выдающееся порта Мидльбей стеклось сюда, чтобы почтить своим присутствием человека, столь высокоуважаемого, столь талантливому, заслужившего столь широкую популярность! Председательствовал за этим обедом доктор Мелль (директор колониальной Салемской школы в порте Мидльбей), а по правую его руку восседал наш знатный гость. Когда по окончании обеда была снята скатерть и местный хор пропел гимн «Non nobis» (исполнен он был великолепно, причем особенно выделялся звучный голос даровитого любителя пения Вилькинса Микобера эсквайра младшего), были провозглашены обычные верноподданнические и патриотические тосты, восторженно принятые всеми присутствующими. Затем доктор Мелль произнес прочувствованную речь в честь «знатного гостя, красоты нашего города». «Дай бог, — закончил председатель, провозглашая тост, — чтобы никогда мистер Микобер не покинул нас, разве только ему будет предстоять что-либо гораздо лучшее. Но мы должны так обставить его, чтобы нигде ему не могло быть лучше, чем здесь». Тост этот был встречен восторженными возгласами, не поддающимся описанию! Несмолкаемое «ура», то затихая, то усиливаясь, грохотало, словно океанские волны! Наконец удалось восстановить тишину, и Вилькинс Микобер эсквайр поднялся, чтобы произнести ответную благодарственную речь. Ввиду сравнительной ограниченности средств, какими располагает наша редакция, мы не в силах передать все плавно текущие периоды этой удивительной по своей изящности и образности речи нашего знатного согражданина. Достаточно сказать, что она была образцом ораторского искусства. А те моста, где глубокоуважаемый оратор набросал свой жизненный путь, начиная от его истока, и где он предостерегал юношей не выдавать «денежных обязательств», которые они не в состоянии оплатить, вызвали слезы у самых мужественных из присутствующих. Еще были провозглашены тосты в честь доктора Мелля, миссис Микобер (поблагодарившей публику грациозным поклоном из дверей соседней комнаты — здесь восседал целый цветник мидльбейских красавиц, явившихся украсить это торжество), миссис Риджер Бекс (урожденной мисс Микобер), миссис Мелль, мистера Вилькинса Микобера эсквайра младшего (он заставил гомерически хохотать все общество, заявив, что не находит слов отблагодарить за оказанную ему честь и, с разрешения

присутствующих, выразит свою благодарность пением). Наконец, были провозглашены тосты за родственников миссис Микобер, пользующихся заслуженной известностью в метрополии и т. д. и т. д. По окончании тостов столы исчезли, словно по мановению волшебного жезла, и начались танцы. Среди поклонников Терпсихоры<sup>[39]</sup>, предававшихся веселью, пока взошедшее солнце не предупредило их о необходимости разойтись, особенно выделялись мистер Вилькинс Микобер эсквайр младший и очаровательная, благовоспитанная мисс Елена, четвертая дочь доктора Мелля».

В то время как я еще раз пробежал глазами те места заметки, где упоминалось о докторе Мелле, радуясь, что бывший бедняк, помощник учителя в школе нынешнего попечителя мидльсекской тюрьмы, дожил до более счастливых дней, мистер Пиготти указал мне на другое место в газете, где я увидел мое собственное имя и прочитал следующее:

«Его высокородию Давиду Копперфильду — знаменитому писателю.

Дорогой сэр!

Протекли годы с тех пор, как я имел случай лицезреть собственными глазами черты, ныне знакомые, по крайней мере по портретам, значительной части цивилизованного мира.

Но, дорогой сэр, хотя я и был удален, по не зависящим от меня обстоятельствам, от личного общения с другом и товарищем моей юности, это не мешало мне следить со вниманием за выпревшим полетом его гения, и, хотя, по словам поэта, «моря ревели между нами» (Бернс), это нисколько не препятствовало мне принимать участие в тех интеллектуальных пиршествах, которые задавал он нам.

Вот почему, зная, что в скором времени отправляется из наших мест в метрополию лицо, которое мы оба с вами уважаем и почитаем, я, дорогой сэр, не мог не воспользоваться этим случаем, дабы при посредстве нашей газеты не принести вам благодарность как от себя лично, так и от всех жителей порта Мидльбей за те духовные наслаждения, которыми вы нас дарите!

Продолжайте, дорогой сэр, свою работу! Здесь знают вас, здесь ценят ваш талант. Продолжайте же свой орлиный полет! Жители порта Мидльбей жаждут следить за ним с восторгом, интересом, с великой пользой для себя!

Среди глаз, устремленных на вас с этого полушария, всегда, пока не закроются навеки, будут и глаза судьи Вилькинса Микобера».

Просматривая мидльбейскую газету, я убедился, что мистер Микобер является ее деятельным, почитаемым сотрудником и корреспондентом. В этом же номере было его другое письмо относительно какого-то моста. В объявлениях я нашел сообщение о том, что скоро должен был выйти из печати том его корреспонденций, появлявшихся в этой же газете, причем указывалось на то, что автором будут сделаны значительные добавления. Передовая статья в газете, если я не ошибаюсь, также была произведением его пера.

Мы не раз говорили еще о мистере Микобере в те многие вечера, которые провел с нами мистер Пиготти. Старик прожил с нами все время, какое пробыл в Англии, — кажется, что-то около месяца. Сестра его и моя бабушка приезжали в Лондон, чтобы с ним повидаться. Мы с Агнессой простились со стариком на палубе отплывающего корабля. Прощаясь, мы прекрасно знали, что больше с ним на земле не встретимся.

Перед его отплытием мы с ним съездили в Ярмут, чтобы взглянуть на плиту, которую я заказал на могилу Хэма. В то время как я, по поручению старика, списывал простую надгробную надпись, высеченную на плите, я заметил, что он нагнулся и взял с могилы немного земли и травы.

— Это для Эмми, я обещал ей, мистер Дэви, — пояснил старик, кладя пакет с землей и травой в боковой карман.

## **Глава XXXV**

# **ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД, БРОШЕННЫЙ В ПРОШЛОЕ**

Мое повествование приходит к концу. Но, прежде чем закончить, мне хочется еще раз — уже последний раз — заглянуть в прошлое.

Я вижу себя рядом с Агнессой странствующим по жизненному пути, вижу вокруг себя наших детей, наших друзей слышу голоса людей, близких мне...

Какие же образы яснее всего вырисовываются среди этой, проносимой мимо меня толпы? Вот они сами оборачиваются ко мне.

Тут моя бабушка — в очках, более сильных, чем прежде, она старушка восьмидесяти лет с лишним, но все еще держится прямо, и ей ничего не стоит в зимний день пройти пешком шесть миль.

Всегда вместе с ней передо мной появляется и моя добрая старая няня, тоже в очках. Она со своей работой усаживается поближе к лампе. И всегда подле нее, как бывало, лежит кусочек восковой свечки, сантиметр в своем домике и рабочий ящичек с изображением собора св. Павла на крышке. Щеки и руки моей Пиготти, которые в детстве казались мне такими твердыми и красными, что я удивлялся, почему птицы не клюют их, предпочитая яблоки, теперь покрыты морщинами. Глаза ее, когда-то такие черные и блестящие, теперь потускнели, и только ее шершавый палец, казавшийся мне в детстве теркой, остался совершенно таким же, и, когда я вижу, как мое младшее дитя, ковыляя нетвердыми шажками от бабушки к моей старой няне, хватается своей ручонкой за этот шершавый палец, я мысленно переношусь в нашу маленькую гостиную в «Грачах», где я сам когда-то учился ходить. Бабушка удовлетворена: она теперь крестная мать настоящей, живой Бетси Тротвуд, и Дора, следующая дочь за нею, уверяет, что бабушка слишком балует ее...

А что топорщится в кармане моей Пиготти? — Это не что иное, как книга о крокодилах! Она теперь в довольно жалком виде, многие листы ее изорваны и истрепаны, но Пиготти показывает ее моим

детям, как драгоценную реликвию. И мне так странно видеть перед собой свое собственное детское личико, выглядывающее из-за книги о крокодилах. Оно напоминает мне моего старого знакомого — Брукса из Шеффилда.

Вот в летние каникулы я вижу среди своих мальчиков старичка. Он делает для них огромный змей и, запуская его, глядит в небо в неопишемом восторге. При встрече со мной старичок радостно здоровается и, многозначительно подмигивая и кивая головой, говорит:

— Тротвуд, вам приятно будет узнать, что я решил теперь кончить свои мемуары, а также то, сэр, что ваша бабушка — самая замечательная женщина на свете.

А кто эта сторбленная дама, опирающаяся на палку? Я вижу на ее лице, на котором душевное расстройство наложило печать слабоумия, следы былой красоты и гордости. Дама сидит в саду, и рядом с ней сухая, увядшая брюнетка с белым шрамом на губе. Послушаем, о чем они говорят.

— Роза, я забыла имя этого джентльмена.

Роза наклоняется к ней и говорит:

— Мистер Копперфильд.

— Я рада видеть вас, сэр, — обращается ко мне дама, — но мне очень грустно видеть вас в трауре. Надеюсь, время залечит ваши раны.

Ее спутница с раздражением объясняет ей, что я вовсе не в трауре, и вообще старается вразумить ее.

— Видели ли вы, сэр, моего сына? — спрашивает меня старая дама. — Примирились ли вы с ним?

Она пристально смотрит на меня, хватается рукой за голову и начинает стонать. Вдруг она кричит страшным голосом: — Роза, сюда! Ко мне! Он умер!

Роза бросается перед нею на колени и то ласкает ее, то бранит, то уверяет, что любила ее сына гораздо больше ее самой, то убаюкивает ее на своей груди, словно больного ребенка. Вот в таком состоянии я их оставляю и в таком же самом нахожу их всегда. Так из года в год эти две женщины влачат свое существование.

Какой это корабль приплыл из Индии, и кто эта английская леди, вышедшая замуж за старого, ворчливого, богатого, как Крез<sup>[40]</sup>, шотландца с отвислыми ушами? Неужели это Джулия Мильс?

Да, это она, сварливая и нарядная. При ней состоит негр, подающий ей визитные карточки и письма на золотом подносе, и краснокожая служанка в белом полотняном платье и ярком платочке на голове, приносящая ей второй завтрак в туалетную комнату. Но Джулия теперь уже не ведет дневника и никогда не поет «похоронной песни любви». Она вечно ссорится со своим старым шотландским Крезом, похожим на желтого медведя с выдубленной шкурой. Джулия погрязла по горло в деньгах и ни о чем другом не говорит и не думает. Признаться, она больше мне нравилась, когда пребывала в пустыне Сахаре.

Но, быть может, теперь-то и расстилается вокруг нее пустыня Сахара? Ведь, несмотря на то, что Джулия живет в роскошном доме, у нее огромное знакомство, она задает ежедневно роскошные обеды, я не вижу подле нее ни единого зеленеющего побега, ничего, что со временем могло бы расцвести и принести плоды. Вокруг нее я вижу только то, что Джулия называет «обществом». Среди него замечаю я и Джека Мелдона. Он до сих пор занимает место, купленное для него доктором Стронгом, что, однако, не мешает ему насмехаться над благодетельствовавшей его рукой и, говоря со мной о докторе Стронге, называть его «очаровательной древностью». Если вы, Джулия, называете подобных пустых джентльменов и леди «обществом», а отличительной чертой этого общества является самое холодное равнодушие ко всему, что может двигать вперед или назад человечество, то, должно быть, мы с вами заблудились в этой самой Сахаре, и лучше было бы нам выбраться из нее.

А вот и сам доктор Стронг, с которым мы попрежнему друзья. Он продолжает трудиться над своим греческим словарем (как будто уже добрался до буквы «Д») и наслаждается с любимой женой безоблачным семейным счастьем. С ними живет Старый Полководец, но он значительно понизил свой тон и далеко не пользуется тем влиянием, каким пользовался в былые дни.

Наконец, я дошел до моего доброго старого друга Трэдльса. Он работает с деловым видом в своей конторе в Темпле. Волосы его (те, что еще не вылезли) торчат еще упрямее на голове благодаря постоянному трению об адвокатский парик. Письменный его стол завален грудями деловых бумаг. И, глядя на них, я говорю:



— Если бы Софи попрежнему служила вам секретарем, у нее не было бы недостатка в работе.

— Ваша правда, дорогой Копперфильд. А все-таки было чудесное время, когда мы жили с ней на адвокатском подворье! Не так ли?

— Это в те времена, когда Софи предсказывала вам, что вы будете судьей? — отозвался я. — Но тогда в городе еще не поговаривали об этом, как теперь.

— Во всяком случае, — сказал Трэдльс, — если когданибудь я стану судьей...

— Да ведь вы прекрасно знаете, что будете им.

— Ну, так когда я стану судьей, Копперфильд, я всегда буду рассказывать, как Софи исполняла у меня обязанности секретаря!

Вот мы выходим с Трэдльсом под руку из его конторы. Я иду к нему на праздничный обед по случаю дня рождения Софи. Дорогой мой старый друг рассказывает мне о своих удачах.

— Знаете, дорогой Копперфильд, мне посчастливилось выполнить свое заветное желание: его преподобию отцу Горацию назначена пожизненная пенсия в четыреста пятьдесят фунтов стерлингов в год. Наши оба сына получают наилучшее образование: они прекрасно учатся и отлично ведут себя. Три сестры Софи очень недурно вышли замуж. Три живут с нами. Остальные три после смерти миссис Крюлер ведут хозяйство в доме отца. Все девочки счастливы.

— За исключением... — намекаю я.

— Вы хотите сказать — за исключением Красавицы? — говорит Трэдльс. — Конечно, очень печально, что бедняжка вышла замуж за такого праздношатающегося. Правда, он такой показной и блестящий, что, понятно, мог вскружить ей голову. Но теперь, когда она избавилась от него и вернулась к нам, я надеюсь, мы снова развеселим ее.

Дом, в котором живут Трэдльсы, очень вероятно, один из тех домов, который они облюбовали, гуляя в былое время по вечерам, но тем не менее Трэдльс держит свои деловые бумаги в туалетной комнате, там, где находятся и его сапоги. Сами они с Софи ютятся в верхнем этаже, предоставляя лучшие комнаты Красавице и «девочкам». В доме никогда нет ни одной свободной комнаты, ибо,

кроме постоянно живущих «девочек», здесь всегда под тем или иным предлогом гостит их еще несколько.

Когда мы с Трэдльсом входим в дом, нас встречает целая толпа этих «девочек», бросающихся на шею Трэдльсу и осыпающих его поцелуями, — бедняга едва не задыхается от них.

Здесь поселившаяся на постоянное у них жительство бедная Красавица — вдова с маленькой девочкой. Здесь же явившиеся на именинный обед три замужние сестры Софи со своими мужьями. К тому же, они привезли с собой кузена одного из мужей и сестру другого. Мне показалось, что эти двое — жених и невеста.

Трэдльс, совершенно такой же, как прежде, простой, добродушный малый, восседает, как патриарх, во главе стола. Софи, сидя против него, радостно улыбается ему через стол, где весело поблескивают приборы, отнюдь уже не из белого металла.

А теперь, когда все же приходится мне кончать свое повествование, образы эти мало-помалу отходят... Лишь один остается — он выше всех, он над всеми, он и меня и все кругом озаряет чудесным светом... Я поворачиваю голову и вижу его подле себя с его всегдашним чарующим спокойствием.

Лампа моя догорает — ведь я писал до глубокой ночи, но дорогая моя, без которой я был бы ничем, все сидит со мной.

О, как хотел бы я, Агнесса, родная моя, чтобы ты была подле меня и тогда, когда мне надо будет уходить из жизни, когда реальный мир станет исчезать передо мной, как исчезли только что промелькнувшие видения...

*Конец.*

---

|              |
|--------------|
| <b>notes</b> |
|--------------|

## **Примечания**

# 1

Тауэр — старинный замок в Лондоне. Вначале в нем жили короли. С XVI века Тауэр был превращен в тюрьму для знатных преступников.

**2**

Пикник — увеселительная прогулка за город.

3

Коттедж — в Англии так называются небольшие дома.

Вестминстерское аббатство — старинный собор в Лондоне, где коронуются английские короли, а также место погребения королей и великих людей Англии. Здесь похоронен и писатель Чарльз Диккенс.

Эпистолярный стиль — стиль писем, посланий.



Феникс — сказочная птица, в существование которой верили в древние и средние века. Состарившись, Феникс сгорает на костре и вновь возрождается из пепла молодым и сильным.

Филиппики — пламенные обвинительные речи. Такое название получили речи знаменитого греческого оратора IV века до нашей эры Демосфена, направленные против македонского царя Филиппа.

Мегера — имя одной из трех фурий (фантастических зловещих старух), которые у древних греков и римлян считались богинями мести.

Готический стиль — господствовал в архитектуре Западной Европы в XII-XV веках. Его характерные особенности: узкие, устремленные ввысь здания с остроконечным верхом, узкие высокие башни, арки, высокие стрельчатые окна.

Демаркационная линия — пограничная линия, отделяющая одну область от другой.

Гуавы — растущие в жарких странах плоды, похожие на небольшие груши.

Дебаты — споры, прения.

Пагода — храм или часовня в Китае, Индии, Японии. Джип жил в китайском домике, похожем на пагоду.



Парагон — по-английски — образец, совершенство.

Кварта — мера жидкостей, около двух литров.

Джин — крепкая водка, настоянная на можжевельных ягодах.

Капорцы или каперсы — цветочные почки каперсового кустарника; употребляются как приправа к кушаньям.

Фолианты — толстые книги большого формата.

Сомнамбулическое состояние — болезненное состояние спящего человека, во время которого он встает, ходит и действует как будто в сознании.

«Табу». — У некоторых диких племен отдельные предметы или местности считались «табу», то есть священными и потому запретными. Никто к ним не мог прикасаться. Отсюда все запретное, неприкосновенное иногда называют «табу».

Поэтом с берегов Твида (небольшой речки на границе между Англией и Шотландией) Микобер называет Роберта Бернса, выдающегося шотландского народного поэта, жившего во второй половине XVIII века.



Черный принц — принц Эдуард, сын английского короля Эдуарда III (XIV век); был прозван так потому, что носил латы черного цвета. Он прославился в войнах с Францией.

Жабо — кружевные или кисейные оборки на воротнике и на груди мужской рубашки.

Фартинг — самая мелкая монета в Англии, равняется одной четверти пенни, то есть одной копейке.

Ратуша — здание, в котором помещалось городское управление.

Летаргия — болезнь, выражающаяся в продолжительном, глубоком сне, от которого человека нельзя пробудить. Летаргическим состоянием называют состояние полной бесчувственности, бездеятельности.

Кабестан — механизм для передвижения грузов, состоящий из вертикально установленного вала, на который при вращении наматывается цепь или канат, прикрепленный другим концом к передвигаемому грузу.

Штирборт — правый борт судна, если встать лицом к носу.

Бакборт — левый борт судна.



Грот — большой нижний парус на средней мачте.

Альбион — древнее название Великобритании.

Остаде — по-английски Остэд — голландский художник XVIII века, очень живо изображавший народные сценки.

Бимсы — брусья, которые служат основанием палубы и связывают бока судна.

Рымболты — железные болты с неподвижным кольцом на одном конце

Цоколь — нижняя часть здания, служащая основанием для стен. Цоколь делается несколько толще стен и из особо твердого, прочного материала.

Вавилонская башня — по библии, башня, которую потомки Ноя хотели построить вышиной до неба.

Самсон — по библии, древнееврейский герой, обладавшим необыкновенной силой.



Эсквайр — в Англии так называют лиц из незнатного дворянства.

Терпсихора — по мифологии древних греков и римлян, муза танцев и пения, изображавшаяся с лирой в руках.

Крез — живший в VI веке до нашей эры царь Лидии (страны в Малой Азии), который прославился своим огромным богатством.